ДЕКАБРЬ

№ 4

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА • 1921.

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

—

ВЫХОДИТ 1 РАЗ В ДВА МЕСЯЦА

—

№ 4

НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1921

(Г. В. П. Москва) № 854. 25.000 экз.

...ая типография М. С. Н. Х.

Порыв.

Рассказ Ал. Яковлева.

Цементный завод „День" широко раскинулся по самому берегу Волги, верстах в двух от города, если итти по терсинской дороге. Лет пятнадцать назад на этом месте был глухой лес: дубы, старые, как время, спускались до самой воды, а в высокое половодье так и в самую воду заходили по колено; а теперь здесь тянутся в небо гигантские красные трубы, и над трубами, как помело, колыхается живое облако сизого дыма. Белая пыль стоит столбом над кирпичными корпусами завода, над Волгой, над белой горою и над ближним лесом. Срублены, умерли старые дубы. Редко-редко кто из них остался, заблудился среди красных корпусов - вон у конторы два дуба осталось, у жилых казарм с десяток—и стоят они, осыпанные от маковки до пят белой пылью, слушают полуденный и полуночный грохот, вспоминают свою молодость, тишину, пение птиц и грустят. О, уйти бы из этого белого грохочущего ада!..

Белая гора Маяк—высокая, с нее Волгу на двадцать верст вверх и на столько же вниз видно, с нее, по преданию, Степан Разин наблюдал за плывущими судами, и эта гора призадумалась.

Тишь-то была какая. Бывало, пролетит над вершиной волжский коршун с серебряной рыбкой в когтях, крикнет торжествующе, прошумит ветер, иногда прогремит гроза. И тихо.

А теперь и день и ночь грохот. И нет ни единого часа тихого. Смотрит гора вниз—кипит там работа, как в котле. С визгом и грохотом летают вагонетки; горят ослепляющие огни; с барж по длинным мосткам к заводу бесконечной вереницей тянутся тачки с желтой глиной; в бондарке, где строят бочки для цемента, оглушительно визжат электрические пилы и рубанки; всюду мелькают люди, лошади; на склоне горы, где еще совсем недавно рос мелкий кустарник и в нем пели птицы, теперь построено длинное деревянное здание, вырыты глубокие ямы, из которых каждые пять минут вагонетка по воздушным канатам тащат вниз к заводу сверкающий мел—лучший мел для цемента... В глухую полночь на заводском дворе светло, как днем.

А как это можно жить без сумерек, без темноты думающей?..

— Нет,—думает старуха-гора,—это не жизнь—ад.

Правда, ад. Не даром же люди, как вырвется свободный часок, тянут в лес, от завода, вон туда, на широкий Уступ,—там у них есть любимое местечко, где они собираются, разговаривают, иногда поют, пляшут, иногда ссорятся... Всяко бывает. Там вольготно забыться от

грохота и от пыли заводской едучей, вольготно глянуть на небо, на Волгу, на лес, незапятнанные дымом...

* * *

И повелось давно вот так: с ранних дней вешних, каждое воскресенье, как завтрак отошел,—слышь, захлопали двери в жилых казармах, забегали нарядные девки по коридорам.

— Эй, собирайся живее. Идем!

— Куда?

— На Уступ. Скорее, скорее.

И пойдут. Нарядные—в белых, желтых, синих и малиновых кофтах, в разноцветных косынках, с красными и голубыми лентами в полосах—будто сама дуга-радуга их одевала.

И только выйдут за заводскую ограду, теребище не пройдут, как сейчас:

— Машенька, запевай-ка!

А Машеньку и просить не надо. Этак тряхнет она голбвой, моргнет серым лукавым глазом, вся шевельнется, могутная да ядреная, как орех наливной, и затянет:

Позарастали стежки-дорожки,
Где проходили мило-о ножки.

И всей пестрой артелью подхватят девушки знакомые слова. Аж эхо откликнется в лесу и в подгорье.

Позарастали мохом травою,
Где мы гуляли, милый, с тобою.

Хорошо!..

Вот и нынче—запели, доходят до мостика, что в прибрежном лесу через ручеек перекинут, а из-под мостика гурьба парней,—с хохотом, шутками, лезут, балуются, тоже все принарядились...

— С праздником вас!

Этот Федька Лысяков—он озорной, выдумщик: лезет пряко к Машеньке целоваться, картуз снял.

— Христос Воскресе!

А Пасха-то уже три недели как прошла. Машенька ловко поймала его за руку, дернула, повернула его к себе спиной, толкнула рукой между крыльц, у Федьки аж волосы вздыбились, нелепо замахал он руками, еле на ногах устоял. Звонко засмеялась Машенька, показывая белые зубы. И девки засмеялись и парни, и сам Федька смеется...

— Что? Съел?

— Ну, и озорная ты, Маша,—пробурчал Федька,—прямо сказать, атаман Устя.

Побалагурили, дальше вместе пошли, с шутками, с криками, с хохотом звонким девичьим. Опять запели. Все вместе. Стройно... Терсинские мужики в это время из города с базара ехали, примолкли, прислушались.

— Хорошо поют заводские!

Федька все норовил рядом с Машенькой итти, раза два пытался ее за руку взять, да ведь девка-то с норовом: вырвет сердито руку из федькиных цепких лап и, не прерывая песни, погрозит ему пальцем:

— Не тронь.

— Другие, вон поглядеть, ничего—и под руку идут, а кто посмелее, так в обнимку, а Машенька что королева—не подступишься.

Идет одно, этакая прямая да высокая, а грудь-то, а плечи-то... Эх... Сняла платок, и отливисто засветились ее темные волосы, а Федька так и вцепился жадно всеми глазами в вырез синей кофты, что открывала чуть-чуть Машенькину грудь.

Дерзкий он, Федька-то. Серые глаза круглые, как у хищной птицы. Лицо чуть-чуть в рябинках. Уж на что заводские ребята хлесткие, ни перед чем не остановятся, а Федор Лысяков прямо на отличку. И работяга, и плясун, и гармонист, и драка если—никому не уступит. Кажется, захоти—и все будет. А вот перед Машенькой... тут, можно сказать, нашла коса на камень. Сломи-ка этакую...

Странно как-то оглянулся назад Федька, сделал товарищам знак рукой, те своих подруг подхватили и сотни шагов не прошли, разбрелись парни, девки парами по лесу, идут по-за кустьями вдоль дороги, а на дороге остались только Машенька да Федька. Да вдали еще маячит Ксюша, хроменькая девушка.

— Ты мне прямо скажи, Маша, пойдешь за меня или нет? Что ты задумала? За Пашку Тотухова хочешь итти?

Сердито смотрит Федор, как-то поеживается, будто от холода.

— А ты мне кто такой?—смеется Машенька.—Ты почему спрашиваешь? За кого хочу, за того и пойду. Гармонь-то где, женишок? Пиджак-то где?

Федька развел руками.

— А где ж им быть? В закладе.

— То-то в закладе... Ты и жену-то заложишь и пропьешь.

Потемнел весь Федька, остановился, хотел еще что-то сказать, а Машенька уже кричит в лес подругам:

— Куда вы, ведьмы, разошлись? А-у! Где вы?

За деревьями послышался задушенный смех, сдержанный горячий шопот и голоса:

— Вот мы!

— Ну, идите скорей,—крикнула нетерпеливо Машенька и, обернувшись к Федьке, сказала:

— Ты что на меня все зенки пялишь?

— Аль не знаешь?—усмехнулся Федька,—где больно, там рука; где мило, там глаза.

— А тебе не стыдно людей?

— А что мне их стыдиться? Все равно, любви да кашля от людей не спрячешь.

* * *

Приуныла вдруг Машенька: смола этот Федька, пристал—не отлепишь. Ну, какой он жених? Довольно она нагляделась на мужей пьяниц и картежников. Сколько на заводе таких-то? Еще одну несчастную хочет сделать? Нет, она не таковская. Уж если выберет себе мужа, так выберет настоящего. И будто не замечая серых пытливых глаз Федьки, она заговорила с подругами, опять сбила всех гурьбой и опять все пошли к Уступу.

А Уступ за Сутягиным ключом. Так прозывался глубокий овраг, на дне которого бежит родниковый ручеек. Здесь когда-то городские и терсинские мужики подрались кольями из-за земли и лет сорок потом судились—сутяжничали. С тех пор ключ и прозван Сутягиным. Глубокий овраг, прохладный и дух такой в нем густой, весенний. Свернула с дороги Машенька, обрывистой тропкой сломя голову вниз пустилась бежать, а парни и подружки с хохотом, с криками—за нею. Даже земля загудела.

Выбралась Машенька на другую сторону оврага, запыхалась, стала малиновой, повела плечами, оправилась—глядь, а на тропинке кто-то стоит... В шляпе, с тросточкой в руке, по всей груди от самой шеи распустился пышным бантом голубой галстух.

— Мария Ефимовна, мое вам почтение.

Раскрыла удивленно глаза Машенька, пуще зарделась вся. Павел! Да каким же франтом-то!..

— Здравствуйте, Павел Петрович!—сказала срывисто она. И в горле даже заперхшило от волнения. Маша... ее конем не задавишь, а здесь смутилась так, что в глазах зарябило. Видит только бант голубой, улыбку Павла. А Павел уже здоровается с другими:

— Танечка, здравствуйте. Дмитрий Васильевич, мое почтение.

Говорит—воркует, и кланяется так вежливо, с перегибом, ровно бухгалтер Иван Константинович.

И всем лестно с таким чистяком поздороваться. Вот вам—наш брат мастеровой, а как одевается, какое обхождение знает. Теперь и начальство его отличило: недавно табельщиком сделало.

И все так хорошо с ним здороваются.

— Павлу Петровичу, как жив-здоров?..

Только Федька—вышел, запыхаясь из оврага, и сейчас:

— Э, да какой ты нынче, Пашка, красивый при голубом ошейнике-то. Чать, рубля два с полтиной за красоту-то заплатил? А?

* * *

Хорошо на Уступе. Так хорошо, передать нельзя. Справа Волга мутная, неохватно широкая, идет, как сила непобедимая, а слева старый лес—в гору лезет. И так привольно на поляне. Здесь играли в горелки, в столбы, в свои соседи. Федька напролом только за Машенькой и гнался, только ее одну ловил и выбирал. И Павел тоже. Потом пошли—побрели парами кто под деревца, кто на самый берег Волги, кто на гору полезли. Машенька подхватила хромоныкую Ксюшу, за которой ни один парень не увивался, пошла с ней к воде, села на темный коричневый камень-железняк. Сняла косынку, перекрылась и так, будто невзначай, посмотрела на поляну. Где Павел? Не ударился ли за другой какой? А, нет... сюда идет.

— Ты, Ксюша, отойди, когда Павел подойдет, мне поговорить с ним надо,—шепчет Машенька.

— Ладно, знаю я,—смеется Ксюша.—Да только Федька не даст. Аль не видишь, какими глазами за тобой следит. Вон-вон лезет сюда.

Оглянулась испуганно Машенька. Тьфу, прости Господи! Из-за мелких ветвей ивняка глядит рябая, задорная Федькина рожа.

— А, вот вы куда спрятались. Мир да сиденье.

Машенька досадливо насупилась, глядит на воду—широкая-широкая Волга об эту пору. Потом поднялась, пошла навстречу Павлу, хоть и нехорошо это. Вот просто так пошла, чтобы озлобить рябомордому. Федька засвистал пронзительно.

— Эге-ге... Вот оно куда кинуло!..—сказал он насмешливо,—смотри Марька.

— А что мне смотреть?—вызывающе спросила Машенька.

Федька быстро, как лютый зверь, подошел к девке Та совсем повернулась к нему навстречу. Вся, грудью. Голову подняла, тряхнула плечами.

— Ну, что мне смотреть?.. Говори!..

Глаза у Федьки засверкали, как угли.

— Смотри, как бы у твоего Пашки в глазах головокруженья не сделалось,—прошипел он,—да и у тебя вместе с ним.

— Ну, это мы посмотрим.

Павел подходит, вот уже недалеко. И Ксюша придвинулась, чуя беду. Федька скрипнул зубами, повернулся и в лес. Этак сердито проводила его Машенька глазами. Грудь ходенем ходит. А Павел уже рядом стоит, смущенно улыбается.

— Вы в одиночестве, Марья Ефимовна? - говорит он вкрадчиво

— Нет, вдвоем,—резко ответила Машенька.—Ксюша, идем домой.

И с Павлом не стала разговаривать. Вот она какая. На зло. И этого в сторону, и другого. Пошла размашисто по дороге туда, где дымился завод, не замечая ни духа зеленого лесного, ни ласкового трепета Волги, ни глаз искательных Павла. Ксюша еле за нею поспевала И только, когда перешли Сутягин ключ, она малость приостановилась, жалливо глянула на Ксюшу и сказала со вздохом:

— Ох, чтоб им сдохнуть, и погулять не дадут. Ровно собаки.

— И гордая ты, Марька,—с завистливым укором сказала ей Ксюша,—за тобой самые лучшие парни вьются, а ты...

— А я что?

— А ты их отшибаешь.

— Не больно нужны они мне. Что я одна не проживу? Много их таких.

И опять нахмурилась.

— Да ты на что рассердилась,—допрашивала Ксюша,—что они тебе сделали?

— Ничего не сделали, а просто я хочу, чтобы никто у меня поперек дороги не стоял. А то один грозит, другой хвостом вертит, вроде лисы. Смерть не люблю этого.

И так раздосадовала Машенька, так раздосадовала, что вечером даже в хоровод не пошла. До самой темноты пробыла в казарме, где жили семейные рабочие, у Спиридонихи—с ее ребятишками провозилась. А когда стемнело, вышла на крыльцо, где на ступеньках сидели бабы, старухи, лениво разговаривая. Села с ними, прислушалась и так тоскливо ей стало. Говорили бабы про свои дела, про соседей, про свою скучную бабью жизнь. Вот и Маша выйдет замуж, так же будет сидеть на крыльце и рассказывать о ссорах, о недостатках, о болезнях, о том, что муж пропил два рубля.

С Волги тянуло сыростью. Завод устало по праздничному шумел. Ближе к городу, на горе, четко виднелся ветряк, темный, на фоне красного неба. Его крылья вертелись. Маша долго смотрела на него. Ей почудилось, что кто-то большой-большой молится, поднимая руки к небу. Поднимет и опустит; поднимет—опустит; и опять поднимет.

Ах, как одиноко, как тоскливо! Куда бы деться от этой серенькой жизни? Вот Спиридониха заговорила про разбойников. Речистая она—заслушаешься. Рассказала про разбойника Редедю, про Ивана Кольцо, про клады, зарытые в приволжских горах. И что ни скажет, то за сердце голой рукой так и возьмет. Чем-то родным повеяло на Машу от этих слов. В них все так диковинно было,—а чья душа не ищет диковинного? И малость угомонилась тоска. Должно быть, раньше людям лучше жилось: были разбойники, смелые, сильные, была борьба. А теперь вот кончился день, и нет тебе ни радости, ни печали.

Умолкла Спиридониха, и все тихо сидели, думая о чем-то своем, что и не скажешь ни себе и никому. Вдруг послышались какие-то

крики. Все прислушались. Над поселком, заглушая слабый, воскресный шум завода, ревел чей-то голос:

Маша, Маша, улыбнись,
Ко мне грудью повернись.

Маша обомлела от досады: это Федька поет о ней.

Ровно кто толкнул ее. Встала она и шасть к себе в комнату. Хлопнула дверью, бросилась на кровать и залилась слезами.

— Господи, какая я несчастная! Один на весь завод срамит, а другой—не человек, а угодник какой-то!..

* * *

С того дня и пошла раздеряга. Такой ненавистью воспылала Маша к Федьке, что и сказать невозможно. Увидит его где, сейчас в сторону, лишь бы не встречаться. И в хоровод перестала ходить. Как с работы, сейчас к себе и сидит, или пойдет к Спиридонихе: кузнецовой жене. На дворе весна. Волга так призывно пахнет, за заводской оградой, на притеребу, молодежь песни поет; смех, шутки. А Маша в кузнецовой конурке с ребятишками возится. Кузнец мрачный за столом сидит, отдыхает после тяжелого дня, курит—ровно пароход дым пускает, а Спиридониха—рекой разливается. Рада она гостье. Прознала, какая причина толкнула Машу к ней.

— Федька-то?.. Федька не человек, а мордоплясс. Ему ха-ха-ха, да хи-хи-хи. Шалыган. Он забуженил в буйстве, от него и ждать нечего. Вот за тобой гоняется. Ну, куда ему? Не свиным рылом лимоны нюхать.

Кузнец пустил клуб дыма и сказал:

— Не скрипи, Наталья...

— Вот... вот он тоже такой мордопляс был, когда молодой-то. Все пел да смеялся. Думала, весь век с ним смеючись проживу, а на поверку что вышло?.. Безбожный ты человек!

Кузнец свирепо вытаращил глаза, что-то хотел сказать, но не сказал и только безнадежно махнул рукой.

— Зато уж другой-то вот,—умильно продолжала Спиридониха, не обращая внимания на мужа.

— Кто другой?—спросила смущенно Маша. Ей было совестно, что весь разговор идет при кузнеце.

— Ну, да ты—будет притворяться. Знаешь сама, про кого говорю, про Павла. Вот это муж будет. И в глаза и за глаза скажу: хороший парень. Этот копейки не растранжирит. И собой такой справный, вроде как в песне—„Русы волосы сто рублей, буйна голова тысячи, а всему молодцу и цены нет". Вот это жених.

— Знаем мы твоего Павла,—опять вмешался мрачный кузнец, к начальнику лезет. Подлипало. Чистоплюй.

— Ну да, ну да. Вам, пьяницам, степенные люди не по нраву. Вот вам такие, как Федька, это вам по плечу.

— Что ж Федька?.. Он и гуляет, он и работу знает. Этот не выдаст. А Пашка?.. Я-ста, да мы-ста. Нас по рылу видать, что мы не из простых свиней. Тоже чванства в нем... Какой рабочий в начальники лезет, на того плоха надежа. А Федька—наш брат.

— Знамо—наш брат. Вот и я говорю, он вроде тебя. Ты вот в субботу где был? В городе? А где рупь-то сорок копеек делся?

— Не скрипи, не твое дело.

— Как это не мое дело?.. Дети не жравши сидят, а ты говоришь, не мое дело. Ах, ты!..

Маша вышла. Совестно было слушать спиридонихину брань. Опсела у окна своей комнаты и задумалась. Из квартиры кузнеца все еще слышались визгливые крики рассерженной кузнечихи и равнодушный голос кузнеца:

— Тебе говорю, умолкни, Наталья!

Под окном кто-то мелькнул, остановился и тихонько спросил:

— Марья Ефимовна, это вы? Выходите гулять.

Маша всмотрелась—Павел... Неслышно засмеялась она, отошла от окна, момент постояла в раздумьи.

А вкрадчивый голос звал:

— Марья Ефимовна, откликнитесь.

Э, была не была. Что там долго думать?

— Сейчас выйду,—сказала она, высунувшись из окна. И сама не узнала своего голоса: так он дрожал... А где-то в сердце веселая прибаутка: „Русы волосы сто рублей, буйна голова тысяча, а всему молодцу цены нет". Тихонько отворила дверь, застучала подкованными башмаками по каменному полу коридора. Словно толкал ее кто-то...

Ну, что там долго рассказывать?—от Адама-Евы все идет одинаково...

Через две недели Троица пришла,—девий праздник, с венками, цветами и песнями. Опять ходили девушки с завода на Устун, опять пели,—Машенька запевку вела, а когда темной ночью назад шли, парами разбились. Маша с Павлом шли в обнимку лесной дорогой глухой, чтобы Федьке на глаза не попадаться, и до самого утра у казарм на лавочке просидели. Говорили, ровно мед пили.

* * *

Эх, хорошо жить! Что труд тяжелый, если он спорится? Что тучки на небе, если знаешь, что завтра будет день хороший, летний, солнечный?

И прежде жила Маша не унывая, а теперь—когда же унывать? Все ясно, все хорошо, весело.

В половине шестого заводский гудок будил ее. Поспешно поднимется она с узкой девьей кровати, подбежит босая к окну, глянет,—а Волга легким паром курится, широкая, блестит на солнышке серебряными чешуйками. Засмеется Маша, сама не знает чему, волчком забегает по коморке, собираясь, а в шесть, по второму гудку, вместе с толпами рабочих, идет через контрольную будку на заводский двор. Молодые, старики, бабы, девушки... Отдохнувшие, веселые, бодрые, смеются, зубоскалят.

А завод уже совсем проснулся и, как разгневанный зверь, ворчит, хрипит, пыхтит. В дробилке раздается громовый грохот—там тяжелые тиски дробят меловые глыбы, что вагонетками доставляются с горы Маяка. В главном корпусе, окруженном высокими трубами, гудят американские вращающиеся печи, в которых раскаленный газ обжигает сырой цемент. В другом здании мельничные жернова с тяжелым урчанием и скрипом размалывают цемент в мелкий порошок. В бондарке воют электрические пилы и рубанки. Из слесарной несутся звонкие удары молота по железу...

Все кипит и мчится в неудержимом беге, зажигает, захватывает. И только покажется во двор Маша, как этот шум властно подхва

лит ее. Через двор, по пыльным плитам поспешно пройдет она в насыпную—длинное серое здание, сплошь закутанное цементной пылью и бодрая и смеющаяся примется за работу.

В насыпной полумрак от пыли: цемент, перемолотый жерновами, ссыпается по желобам в боченки и густым облаком летит в воздух. Насыпщицы и насыпщики работают с закутанными головами, с завязанным ртом, чтобы тяжелая цементная пыль не попадала в легкие. Все они серые от пыли и работают молча. Ловко подставляют они боченки под желоба, потом перекатывают их на весы, потом на вагонетки и по рельсам везут через двор в другое здание—заделочное, где уже другие рабочие пристраивают боченку второе днище, оклеивают ярлыками и увозят дальше, в склады. Маша ловко вкладывает бумагу в пустой боченок; ловко подставляет его под желоб, утрясает и полный цемента, тяжелый, перекатывает на весы. Привычные руки крепки... А глаза под серыми запыленными бровями смеются лукаво. Крикнула бы, пошутила бы, да рот завязан. И только, когда доходила очередь и Маша вместе с другими работницами везла боченки на вагонетке в заделочную, она отряхивалась на дворе и, вздохнув глубоко, рассыпалась смехом.

— Что ты, Маша, нынче веселая какая?—спросят подруги.

— А так. Хорошо.

И, опершись могучими руками в железную стенку вагонетки, она толкнула ее, вся изгибаясь. А встречные рабочие глядели жадно и откровенно на ее изогнувшийся стан и зубоскалили.

— Эх, девка-то, люли-малина.

— Что, аль завидко?

— Да, Господи, как же не позавидовать!

И смеются все, показывая белые зубы. И Маша смеется сама.

К полдень обед и короткий отдых. Потом опять работа, уже чуть-чуть ленивая,—до вечера. В шесть опять гудок—и поспешно бежит Маша к воротам, к выходу.

Толпа теперь утомлена, измучена, но шутки и смех дрожат в воздухе: все рады, что кончился тяжелый день, что теперь можно отдохнуть.

И солнце за горы не уйдет, а Маша умытая и принаряженная уже за заводской оградой на притеребу, в хороводе... И песни, и пляс, и Федькина гармоника,—умри и то проснешься. Павел придет чистяк такой, он и польку может протанцевать и разговор может на манер господского. Сразу видать, не шантрапа какая-нибудь.

Первые дни Маша немного боялась за Павла: как бы Федька беды какой не сделал. Ему что? Он на все решится. Но нет, ничего не случилось. Как-то после Троицы, вечером встретилась Маша с ним на дороге. Федька ястребом к ней.

— Так, Маша, так,—сказал он укоризненно.

— Этак, Федя, этак,—в тон ответила ему Маша.

— Значит, покорнейше прошу в сторону? По чужой дорожке ходишь, чужую траву топчешь?

— Выходит, что так.

— Ну, что ж, это мы поглядим.

— Погляди, коли хочешь.

И ушел Федор, ничего не сказавши. А теперь только посмотрит, как издали завистливыми пронзительными глазами,—Маше даже не по себе станет, вроде как жаль парня. И приятно в то же время. Ну, да не менять же сокола на ястреба.

Раз подговорила она подруг. Заставили они Федьку играть плясовую, а сами с платками в руках в пляс пустились, каблуками ловко пощелкивают, поют, смеючись, заливаются:

Ах ты тпруська, ты тпруська, бычок.
Молодая телятинка,
Отчего же ты не телешься?
Да на что же ты надеешься?
Ах ты, Федя ты, Федя, дружок,
Удалая ты головушка.
Отчего же ты не женишься?
Да на что же ты надеешься?

То-то насмешили. Хохотали все до упаду над Федькой, а тот лишь головой крутил, пуще всех смеялся.

— Ну и Маша! Ну и бой девка!

И вот чудеса: помирился ведь Федор с Машей. На нет и суда нет.

Пошли для Маши дни веселые, полные новой неизведанной любви.

Может быть, с головой бы без оглядки, отдалась она новому чувству,—она не умела задумываться,—да тут Спиридониха—вот ведь карга: как обод,—смотришь, уже идет к Маше, этак умильно усмехается.

— Видала я, все видала. Все, матушка, знаю, как есть все. Слава тебе, Господи, что у вас все так наладилось. Ну, только ты, Маша, смотри, не свихнись, не давайся в лапы. Павел, конечно, хороший человек, а все же на душе-то у него никто не бывал. Мало ли что он может сделать? Женится, ну тогда все, что хочешь, а до свадьбы ни-ни...

— Да что ты, тетка Талища,—смеялась смущенно Маша, вся красная, как малина,—да разве я допущу?

— Ну да, мы все вот так говорим. Да не из железа мы. Бес-то силен, а ночки-то сладки. Если бы не ночки, то ни с одной бы девкой греха не случилось. Не поддавайся. Требуй, чтобы он свадьбу назначил. Теперь время. Теперь он в распаленность пришел. Вот его и скрутить тут. Хорошего жениха, как соловья, ловить надо.

И Маша потребовала, чтобы Павел назначил свадьбу. Тот и глазом не моргнул, согласился с полной готовностью.

— Когда?

Маша смутилась. Когда? Она сама не знала, когда. К Спиридонихе за советом.

— В наших местах свадьба-то на Покров больше. Я и сама на Покров венчалась.

На Покров? Пусть будет на Покров. А Спиридониха опять за свое:

— Смотри, теперь самые опасные дни. Не поддавайся.

— Не поддамся.

— Я знаю, девка ты с головой. Да бес-то силен.

— Ну, я и с бесом слажу.

— Эх, силяга. Ты сладишь. Я знаю, ты сладишь.

* * *

И не заметила Маша, занятая своею любовью, как в размеренную жизнь завода вдруг ворвалось что-то новое. Откуда-то пошли слухи об увольнениях рабочих, о сокращении заработка, слухи неясные, но

сразу заставившие насторожиться. Пожилые семейные люди заволновались. Вечерами, на лавочках возле казарм, где был „бабий клуб". говорили уже не о разбойниках и кладах, а вот об этих слухах. И тревожились.

— Если это правда: куда мы денемся? Куда пойдем?

— Ну, глядишь, до нас не дойдет.

— А если дойдет?

— Авось, Бог помилует...

Но Бог не помиловал: дошло.

Раз утром—это уже было после Ильина дня—Маша с удивлением увидела перед контрольной будкой большую шумную толпу рабочих. Гудок уже прогудел, но никто не шел во двор.

— О чем тут шумят?—спросила она у бородатого рабочего.

— Да вот каталям сбавили, а те работать не хотят. И других рабочих просят не работать, чтобы поприжать контору,—живо ответил рабочий.

Резкие крики стояли над толпой. Рабочие спорили, кричали, ругались. Каталя—симбирские мужики, все богатыри, как на подбор, стеной стояли перед будкой, загораживая проход.

— Выручай, братцы, ныне нас прижали, завтра вас...

— Правильно. Вместе надо действовать.

— Как это вместе? Каталя не рабочие. Волга замерзнет, они все домой уедут. На печке спины греть будут. Их дело особое. Они мужики...

— А ты из мужиков давно ли? Две зимы проработал и уже нос гнешь?

— Правильно, вместе надо. Поддерживай, ребята.

— Забастовку объявить! крикнул чей-то молодой голос в средине толпы,—если дадим наступить себе на ногу, нас заедят. Рабочий за рабочего должен горой стоять. Все мы из одной конуры, все одним миром мазаны. Разве теперь время разбирать, что каталя зимой делают?

Толпа примолкла. Кто это говорит? Маша поднялась на цыпочки, глянула через головы.

— Ой, батюшки! Это ведь Федор Лысяков. Что с ним такое стало?

— К конторе! К конторе!..—зашумела толпа.

И не через будку, а через ворота всей толпой, шумной, возбужденной пошли к конторе. Шли, подымая пыль, решительные. Впереди каталя и с ними Федор. Загорелась любопытством Маша и тоже вперед пробралась. Сердце у ней забилось, руки и ноги странно загудели...

Из-за корпусов еще показались рабочие—ночная смена, слились с толпой, пошли вместе. И суровой молчаливой массой подошли к конторе. А там уже их ждали. Коренастый помощник управляющего стоял на крыльце. Черный, как жук, злой. Только толпа сгрудилась, он резко закричал:

— Бунт затеяли? Или забыли прошлое? Сейчас же на места! Табельщики, идите по мастерским и записывайте, кого нет на работе. Потом мы поговорим с теми. А вы,—резко сказал он, обращаясь к толпе, марш на работу.

Повернулся и пошел с крыльца. Табельщики один за другим стали пробираться через толпу, и Павел между ними. Толпа заревела от гнева. Федор решительно сдернул с себя фуражку, замахал ею в воздухе и закричал:

— Стой, братцы, так нельзя. Аль мы собаки, что нами собираются помыкать?

В густом шуме нельзя было разобрать отдельных слов. Видно было, как рабочие выскакивали на крыльцо конторы, махали руками, что-то кричали и снова ныряли в толпу.

— Забастовку! забастовку!—кричали отдельные голоса.

— Э, какая там забастовка. Глядите-ка, вон за табельщиками народ как повалил.

Глянула Маша,—и правда. Пока у крыльца яростно кричали, рабочие гужом потянули к корпусам за табельщиками. Шли и сами себя смущенно оправдывали:

. . — Нет, не дружный у нас народ...

* * *

Сбавили каталям, оштрафовали Федьку, пригрозили уволить, тем дело и окончилось. Над Федькой смеялись. Кричали ему вслед: „Эй, забастовщик!..“

И над каталями подсменвались:

— Ну, что, забастовали? „Стой дружно?..“

Маша тоже подсмеивалась над Федькой. И после этого случая будто дороже ей стал Павел. Вот он уже не вмешается не в свое дело, над ним уже никто не посмеется.

Теперь Павел ходил к ней, в ее комнату, как жених, открыто- и соседи видели. Пили вместе чай—балагурили. Он все такой же был уважительный, очесливый. Вкривь словечка не скажет.

— Ну вот, я же тебе говорила,—шептала Спиридониха Маше,—я же говорила, что это не парень, а золото. Не чета буяну Федьке. Ты посмотри пиджак-то у него. Пиджак один тридцать целковых стоит. Ну, прямо тебе скажу: выискала ты себе счастье.

И, вдруг заплакав, закрывалась кончиком головного платка и глухо говорила:

— Сгубила вот я свою жизнь. Вышла за мого прохвоста. Меня меньковский приказчик сватал, теперь жила бы в холе да в сыти. А я не пошла.

— Почему же не пошла?

— Искала лучше чего-то. Я ведь красивая была- вот не хуже тебя. Все думала, лучше найду. Ну и нашла, убила бобра.

Маша жалостливо смотрела на Спиридониху. Правда, какая она несчастная, забитая, во всем у ней нехватки, недостатки.

— Смотри, Маша, держись за свою судьбу. Прямо тебе говорю, держись.

— Да я держусь,—улыбалась Маша.

— Не упусти смотри.

— Не упущу.

И правда, как можно упустить свое счастье? Парень такой умный, обходительный. Придет этакий чистенький, усядется за стол, начнет говорить, как они будут жить после свадьбы, какую квартиру займут, что купят. И Маше так приятно от этих разговоров. Загорится вся. Свой самовар, своя кухня, свое все.

— Я цветы люблю. Ты, Паша, купи цветов.

— Беспременно. Чего ты хочешь, то и куплю. Вот одеяло тканьевое купим. Я намедни был у господина Обухова, заведующего из бондарной, знаешь? Что за чистота в квартире! Картины в рамах, все в

порядке, а на кровати тканьевое одеяло. Разговор у меня очень интересный вышел с господином Обуховым.

— Какой?

— Ты,—говорит,—Павел, слышь, женишься? „Женюсь, говорю, Тимофей Василич".—Дело хорошее. Приходи потом в гости с молодой женой". „Спасибо,—говорю,—беспременно приду". Как женимся, так и пойдем.

Маша краснеет от удовольствия.

— Не пойду я,— застенчиво улыбаясь, говорит она.

— Как это? Почему?

— Боюсь я.

— Вот так... Разве ты деревенщина? Раз за меня замуж пошла, надо образованной быть, развязной, с разговором. Ты сообрази, честь-то какая—сам господин Обухов в гости приглашает.

Да, честь большая. С кем бы поговорить об этом? Разве к Спиридонихе сходить? Э, да она сама вот идет. Но что с ней? Встревоженная, заплаканная...

— Ведь ушел мой-то. На собрание ушел.

— На какое собрание?

— Да вишь, забастовку ходят делать... Господи, как бы опять какой беды не случилось. Я к вам, Павел Петрович, с докукой. Поговорили бы вы там в конторе-то, запретить бы надо.

— Ничего, не бойтесь, Спиридоновна. Скоро коноводам попадет. У нас в конторе о них уже поговаривают.

— А кто коноводы-то, чтоб им на том свете дороги не найти!

— Ха... И не узнаете. Федька коновод. Из буянов да в политики попал. Да потом есть еще два слесаря. Все, как на подбор, неосновательные люди. Потом из города кого-то приглашают.

— Ну, таких и не жалко.

— Попадет им, попадет.

Большими глазами смотрела Маша на Павла и на Спиридониху Что такое? О чем они говорят? Что за собрание? При чем здесь Федька?

— Да из-за чего шум-то?—наконец, спросила она.

— Из-за чего?.. Хотят прибавки и вообще, чтобы ни царя, ни начальства, ни полиции не было,—понизив голос, ответил Павел.

— Ай, батюшки!—ахнула Спиридониха.—Вот безголовщина валяется. Вот уж, подлинно, без ума, без разума меня матушка породила

А мы почему не пойдем?—спросила Маша.

Павел нахмурился.

— Ну, это не наше дело. Нам и без забастовок хорошо будет Пусть бунтует, кто хочет.

— Знамо, знамо,—поддержала Спиридониха,—кажнее ваше слово на месте, Павел Петрович, ну, кажнее слово на месте. На-ка их, чего захотели!

Но и этот случай прошел незаметно для Маши. Правда, она видела, что на заводе люди стали жить как-то по-новому. Рабочие собираются кучками, сдержанно о чем то толкуют. Меньше ругаются, меньше зубоскалят. Часто говорят о собраниях. Раз за работой Ксюша спела вполголоса новую песенку, какую Маша раньше не слышала.

— Отчего ты меня не возьмешь с собою на собрание?—спросила Маша Ксюшу.

— Ну, зачем это тебе? Ты все со своим Павлом — ответила Ксюша Пренебрежительно так ответила, как будто эта маленькая убогая девушка, которая перед ней так заискивала прежде, теперь вдруг выросла. Маша обиделась.

— Ах, так? Ну, что же и не надо.

И перестала больше думать об этом. Шила себе приданое, мечтала о тканьевом одеяле, о самоваре, о своей квартире...

И вдруг случились события, которые сразу перевернули всю жизнь завода, а вместе и жизнь Маши.

Как то ночью из города приехала полиция, жандармы и арестовали человек двадцать рабочих. Когда арестованных увозили, по всем казармам слышался истерический плач. Тюрьма для всех—это было страшное слово. На следующую ночь арестовали еще человек десять. Между другими рабочими хотели арестовать и Лысякова, но тот успел скрыться.

Пошли слухи, что будут арестовывать всех, кто ходил на собрания. Рабочие заволновались. Как бы в отместку за аресты, в одну из ближних ночей кто-то разбил стекла в квартире управляющего и поджег штабеля леса, заготовленного для заводских построек. У рабочих появились прокламации. Каждое утро на дверях у заводской конторы и у ворот вывешивались угрожающие объявления за подписью самого управляющего, а ночью эти объявления кем-то срывались и заменялись прокламациями. Имя Федора Лысякова теперь не сходило с уст. Хотя его никто не видел, но все говорили, что это он действует. Аресты продолжались. Те из рабочих, кто постарше летами, присмирели, а молодежь, наоборот, начала бравировать.

— Тюрьма? Пусть тюрьма! Все в тюрьму пойдем!

Тюрьма скоро стала слишком обычной, и страх перед ней начал исчезать. На завод привели стражников. Но в первую же ночь кто-то поджег дом, где они спали... Кто-то портил дорогие машины и материалы. Работа, такая налаженная, сразу заколебалась. Все работали плохо, нервничали, неуверенные в завтрашнем дне. Молодежь открыто говорила, что надо разбить тюрьму и освободить товарищей. В городе, где волнения начались еще раньше, убили пристава. Незнакомые люди появлялись открыто в мастерских, устраивали сходки. Иногда на этих сходках выступал и Федор, хотя все знали, что его и день и ночь ищут стражники. Администрация грозила закрыть завод, но угрозы не действовали. У всех было новое чувство, будто небо сейчас обрушится на голову.

И вот однажды по всему заводу была расклеена дерзкая грамота.

— Ждите, товарищи, решительного боя. Ночью, когда в городе зазвонит набат, вооружайтесь кто чем может, идите выручать товарищей.

Спиридониха плакала:

— Господи, вот времена пришли, жизни не рада. Утеши ты, Господи, вражду сердец их. А все эти социалисты окаянные! Не будет им добра ни на том, ни на этом свете. Жили мы тихо-мирно, а теперь ни одной ноченьки спокойной. Все ждешь,—вот-вот придут, заберут моего пьяницу.

Маша вспоминала „тихую и мирную" жизнь Спиридонихи—постоянные ссоры и драки с мужем, постоянную нужду—и смеялась про себя. Ей-Богу, ей нравилось теперь. Жутко, а хорошо. Вечерами, когда вполголоса говорили о Федьке, он казался ей героем. Одни его ругали, другие хвалили.

— Это вот молодец. Это вот заварил кашу.

Но словно сжатая двумя стенами - Павлом и Спиридонихой - Маша молчала, стояла в стороне, занятая своим маленьким личным счастьем..

А весь завод ждал решительного часа. И час пришел.

* * *

Ночью тревожно завопил заводский гудок. Маша в ужасе соскочила с кровати, дрожащими руками оделась в темноте и выбежала на крыльцо. Из всех дверей бежали рабочие, одеваясь на ходу. Слышались истерические крики женщин. У ворот завода гудела толпа, вооруженная кольями, железными палками, охотничьими ружьями. На высоком шесте над толпой развевался красный флаг—при электрическом свете казавшийся темным, почти черным. Толпа быстро увеличивалась.

— В город, выручать товарищей!—слышались крики.

А гудок все выл. И в те короткие моменты, когда он останавливался, слышно было, как в городе тревожно звонили: дон... дон... дон...

— Все собрались?

— Все. Завод остановлен.

— Ну, двинулись, двинулись.

И толпа, тяжело дыша, как тысячеголовый зверь, пошла к городу. Вдруг вспыхнула песня: „Дружно, товарищи, в ногу"...

Маша, толкаясь, пробралась к флагу. Там гуще толпа. Она вся дрожала, как в ознобе. Ей казалось, что вот сейчас откуда то выскочут стражники и произойдет страшное. Но их не было. Толпа шла берегом Волги. Вот прошли завод, стали подходить к Белому утесу, за которым открывался город. Все шли плотной массой, дышали жарко. И все казалось странно новым, диковинным. На Волге бежал пароход. И из-за песен и тяжелого топота не было слышно его шума. Только бледнели огни.

— „Сами набьем мы патроны"...

Маша не знала этой песни. Она жадно ловила отдельные слова, повторяющиеся припевы и выкрикивала их...

Ей в темноте улыбнулся кто-то. Ее окружили кольцом. Кто-то взял ее под руку. И она не удивилась. Кто? В темноте она стала всматриваться. Блеснули чьи-то острые глаза.

— Федор? Ты?

— Да. Я.

Когда вышли из-за утеса, увидели яркое зарево, стоявшее над городом. Тревожный набат несся навстречу толпе.

— Ура! К тюрьме! Выручай!

И Маше казалось, что горячее море движется кругом и что она плывет в этом море. Вошли в улицы и песнь теперь стала как-будто громче и шаги тревожнее. Толпа будто выросла. Теперь пели во многих местах. Нестройно. Но все кругом двигалось, колыхалось, и вся улица была запружена черной могучей толпой.

Вдруг громкий треск раздался далеко впереди. Песня оборвалась.

— Что это?—раздались тревожные голоса.

— Стреляют. Держись, товарищи! —закричал пронзительный голос.

Все кругом смешалось. Толпа остановилась, бросилась к заборам. Машу прижали в какой-то угол. Выстрелы затрещали ближе. Навстречу толпе кто-то бежал.

— На мосту солдаты. Берегитесь!

Многие бросились убегать назад, к заводу. Мостовая стала пустеть. Темные фигуры замелькали на ней. Где-то впереди гремели стекла, разбитые ударом кола. Зарево красным столбом поднималось до неба и в улицах было видно далеко. Вот вдали показались скачущие всадники. Все бросились врассыпную. Маша, захваченная общей

тревогой, тоже куда-то побежала, натыкалась на заборы, торкалась в калитки, чтобы спрятаться во дворе. Но калитки все были заперты. Наконец, ей удалось перелезть через какой-то забор, потом через другой, через третий. Она попала в переулок и долго бежала по нему, задыхающаяся, перепуганная до смерти. И опомнилась, когда увидела последние домики на окраинах города. Она оглянулась. Над городом стоял столб пламени—горели амбары недалеко от тюрьмы. Слышались выстрелы, набат, яростные крики и топот скачущих лошадей...

Только под утро Маша пришла на завод.

* *

Движение так же быстро было сломлено, как быстро оно вспыхнуло. Больше двадцати человек было убито на улицах в ночной свалке. Главари были арестованы. Был арестован и Федор Лысяков. Всех их предавали военному суду. Те времена были суровы...

На заводе всем уменьшили плату, и рабочие покорно приняли это известие. Все трепетали от ужаса и молчали.

А та ночь положила странный отпечаток на душу Машеньки. Как-то все ей вдруг показалось маленьким и ненужным. И близкая свадьба не очень радовала. Какая-то тяжесть упала на жизнь и так давит, что кажется на свет бы не смотрел. И будто дым из заводских труб идет ленивее, чем прежде шел.

Вечерами, оставшись одна, она вспоминала, как в ту ночь шла с Федором, окруженная взволнованной толпой. И странно; она о чем-то плакала, как будто ее кто-то обманул. Пытливо присматривалась она к Павлу, словно впервые его видела. Кто он? Любит ли она его?

В конце августа однажды вечером, возвращаясь с работы, она встретила молодого рабочего. Она знала его в лицо, но никогда не слышала его имени.

— Здраствуй, Маруся Грачева,—сказал он, улыбаясь.

— Здраствуй, коли не шутишь,—ответила Маша, принимая слова рабочего за обычную шутку.

Она хотела пройти мимо.

— Постой, у меня к тебе дело. Вот возьми, —сказал он, вытаскивая из кармана скомканную бумажку.

— Что это такое?

— Записка тебе из тюрьмы.

— От кого?

— Иль не догадаешься? От Федора Лысякова.

— Он?.. Как?.. Жив?

— Мертвый бы не написал. Пока жив, ну только... Он в первую голову пойдет под военный суд. Все говорят и сам он знает, не сдобровать ему. Да ты прочти, все узнаешь. А затем прощайте.

Он ушел. Маруся задрожавшими руками развернула записку и прочла каракульки:

„Сообщаю вам, что меня предали военному суду и будет смертная казня. Все думаю про тебя, драгоценная Машенька. Кажну ночь ты перед глазами, как живая. Люблю я вас, люблю навек".

Не дочитала записки Маша, заплакала. Пошла домой и все как будто изменилось кругом: и Волга, и завод, и горы, и дорога. Она вспомнила задорное Федькино лицо, его глаза, всегда блестевшие, белые зубы, его шутки... Неужели смерть?

В этот вечер она ушла из дома, чтобы только не видеться с Павлом. Долго сидела одна в уголке у ограды. И мысли были не-

привычно мучительные, тяжкие. Хотелось вопить—просто упасть головой наземь и вопить, как вопят в деревне бабы по покойнику.

Но прошла ночь, день,—и внешне все пошло по-старому. Спокойная, крепкая мужичья натура взяла свое.

— Н', что же, плачь не плачь дело не поправишь. Хоть головой камень бейся.

Только суровее стала с Павлом.

— Тебя словно подменили, -смущенно говорил тот.

— Да, подменили,—вызывающе отвечала она.

И уже не говорила ни о тканьевом одеяле, ни о самоваре, ни о своей квартире. Записку Федора берегла. Читала часто „Люблю навек".

О, если бы вернулось назад время. Все бы можно было поправить. Вот оно, теперь ясно: Федор ей люб. Вот он, желанный...

* * *

За неделю до Покрова решили справить рукобитье: Павел требовал. А Маша, равнодушная теперь ко всему, делала все, хотел он. Суета иногда зажигала ее, но не надолго...

Приходили подружки, хроменькая Ксюша от утра до вечера тел толкалась в каморке у Маши. Смеялись, суетились, иногда пели... что значит своего хозяйства не иметь. Чего ни хватись, за всем в лк беги. Тарелочек с пяток надо, а их нет. Куда итти? К Спиридони

— Тетка Талиша, дайте тарелочки две на вечер нам.

— Бери, бери. Для такого дня как не дать?

А на лавке сам кузнец сидит, как сыч, угрюмый. Глянул исп лобья на Машу.

— Аль у вас праздник?

Маша зарделась, ничего не ответила. Спасибо, Спиридониха рупила.

— Знамо, праздник. Рукобитье нынче Маша справляет. У девуш раз в жизни такой праздник. Пасха вот каждый год приходит, а раз придет и—уже нет его.

Кузнец сердито повернулся.

— Что ж, справляйте рукобитье, празднуйте, самое теперь вре Наших-то тридцать человек в тюрьме. Нынче сказывали, что мно к вешалке приговорят. Федора беспременно повесят. Вы тут лимон лимоны устраиваете, а их вешают.

Маша испуганно глянула на кузнеца. Тот сидел мрачный, гля куда-то в угол, и Маша видела только его ухо, рыжий ус и щеку, которой бродили злые тени.

— Празднуйте.

Будто свет погас. Так стыдно стало Машеньке.

— Ну, ты, закаркал!—крикнула Спиридониха на мужа.—Как кому дело до того, что она хочет по-людски свою свадьбу справи Вольному воля. Те дураки, как твой Федька, захотели в тюрьму петлю лезть, пусть лезут. А здесь свой черед идет. Бери, Машень тарелки; ты не смотри на него.

Кузнец скрипуче засмеялся.

— Да, ловкое дело.

Не помня себя, Маша вернулась в свою комнату.

— Ты что, аль тебя водой окатили? —спросила Ксюша, глядя на н

Маша постояла среди комнаты с тарелками в руках, потом пос вила их на стол и, вдруг зарыдав, бросилась вниз лицом на разубранну чистую постель. Ксюша испуганно поглядела на нее, подбежала ковыл

— Ты... Что с тобой?

А Маша, сжимая рукой подушку, судорожно рыдала.

— Господи,—Машенька, да что же с тобой?—чуть не плача, допрашивала Ксюша.

· Федора... хотят... повесить...

Ксюша вздрогнула:

· Как... Федора?

· · Милый Феденька,—рыдала Маша.

Ксюша отшатнулась и поглядела испуганно на дверь—не слушает ли кто.

— Опомнись, что ты. Сюда идут, услышат.

И, подойдя к столу, сурово глянула на Машу и сказала:

· · Эх, ты, невеста. О ком ты плачешь?

Но Маша вдруг выпрямилась, перестала плакать и испытующе смотрела на Ксюшу.

Ксюша, а если не надо?

Что не надо?

— Вот этого рукобитья-то.

- Что ты!.. Что ты! Раньше надо было об этом думать, а не теперь. Теперь ты попробуй-ка, отступись, все собаки залают. Теперь поздно.

— Поздно? А если мне он не люб, Павел-то?

— А чего же ты раньше смотрела?

Ксюша сердито глянула прямо в глаза Маши. Была она тоненькая, маленькая, мышка-хлопотунья. А теперь вдруг выросла и показалась будто она больше Маши.

· - Теперь поздно.

Эх,· поздно, так поздно. Ну, что же, пусть идет, как идет. Теперь без радости, лениво все делала Маша. И, кажется, если бы не Ксюша, она бросила бы все и ушла.

* * *

Рукобитье справляли в просторной комнате у семейного соседа. Венчальными песнями оно началось. По старому обычаю. Прадедовскому, занесенному сюда, на завод „Цепь“ с его американскими вращающимися печами и полуночным светом, занесенному из деревенек глухих, саратовских, где в людских душах еще бродят тени скифов. Величали князя Павла Петровича и молодую княгиню Марию Ефимовну.

Ни жива, ни мертва сидела Маша. Увяли розы на щеках. Ни кровинки в лице, ни искры в глазах. Господи, убежать бы отсюда... Но все исполняла она по-хорошему, по-уставному. И руку дала жениху нареченному и поклонилась ему трижды в пояс. А потом настал самый торжественный момент. Сирота она была, Машенька-то,—ни отца, ни матери. А подружки высокими голосами запели прощальную песню сироты-девушки:

Ой вы девушки-подруженьки,
Вы пойдите в церковь Божию,
Вы ударьте в громкий колокол
Разбудите и го батюшку.
Вы пойдите на погост святой,
Вы разбейте гробову доску,
Разбудите мою матушку,
Пусть поглянут они на меня, сироту...

Надрывно высокими голосами, рыдающими, пели они. Плакали бабы, что набились у притолки, подружки плакали. Даже Павел будто не таким самодовольным смотрел.

А Маша побелела вся и закаменела будто. Из полузакрытых гла. одна за другой побежали слезинки. И почудилось всем, вскочит сейчас убежит она. Этакой судорогой дрожат у нее губы.

Куда? От волюшки девьей, куда? К Павлу?..

Вдруг затопали в сенях чьи-то сильные ноги: топ-топ-топ, и дверь скрипнула. У притолки кто-то крикнул испуганно:

— Ай, батюшки!

Отодвинулись от двери бабы, девушки, и вот прямо перед столом за которым сидели жених и невеста, встал высокий парень, остриженный на-голо, в серой арестантской куртке.

— Федор! Федя!—крикнула Маша, протягивая к нему руки.

Тот схватил девушку, потянул к себе. Все видели, как его темные руки обвились вокруг талии белого Машина платья. И неловко шагая, молча, они вышли. Федор и Маша. И дверь не затворили, и в тишине было слышно, как шли они по коридору все дальше и дальше а здесь все стояли и сидели, как оглушенные, и переглядывались испуганно. И странно: у Павла почему-то спутались полосы, будто вздыбились.

— Что... Что это такое?—забормотал он.—Я жаловаться буду.

Кто-то засмеялся. Спиридониха застонала, и потом все разом бросились к двери. Маши не было ни на крыльце, ни на дворе.

У заводских ворот стояла кучка каких-то людей. В полутьме чей-то голос взволнованно говорил:

— Разгромили тюрьму, убежали.

А Павел без фуражки и без пальто бежал к конторе.

Загудел могуче гудок—и белый столб пара, освещенный электрическим светом, будто до неба поднялся над темными крышами заводских корпусов.

Зачем?

Простые рассказы.

Борис Пильняк.

Всегда командировка.

I.

Весь день провел на карьере, подкладывал фугасы и рвал извест-
ик. Внизу, в лощине, лежал завод, дымились трубы, к карьеру и от
его бегали, поскрипывая вагонетки. Наверху, над обрывами, стояли
окрые сосны. Небо весь день было серым, сырым, дым из труб
лался по земле. Фугасы взрывались с рокотом и дымом.

Шел домой с штейгером Бицкой, уже упала осенняя темнота и
жо горела турбинная. Инженерский поселок лежал по ту сторону
расчищенном лесу, цементные постройки домиков стояли одно-
бразно, горели, свистели голубые шары фонарей, кидая черные тени
сосновых ветвей и стволов. Кожаная куртка прилипла к спине;
рно, также она прилипла и у Бицки. Бицка говорил:

— Дома сейчас чайку, каседка, Серкей Терентьич, шена,—Бицка
давно женился.

А в доме инженера Сергея Терентьича Агренева было темно.
окна падал свет фонарей, и лишь в комнате жены, сквозь плотно
винутые двери виднелся свет:—любимая жена, одна на всю жизнь,—
жая. Раздевался, мылся, пошел дождь — зашумел по крыше, взял
зету. Вошла горничная, сказала—чай готов.

Анна высокая, тонкая, прекрасная, *чужая*, стояла у окна, спиной
нему, с книгой; около, на подоконнике стоял стакан, запотело стекло
е повернулась, сказала—наливай чаю.

Электричество горело ярко и холодно. Пахло клеем от свежих
делок. Не сказала больше ни слова, тонкие пальцы перебирали
раницы,—читала стоя, склонив голову. Спросил:

— Ты уйдешь вечером, Анна?

— А? Нет, буду дома.

— Кто-нибудь придет?

— А? Нет никто. А ты уйдешь?

— Не знаю, наверное. Завтра я еду в командировку, на неделю.

— А? Да, в командировку.

Остался, остался бы, говорил, говорил бы бесконечно много—
ю всем: о том, что без личного невозможно, без любви нельзя, о
оей любви и о тоскливых своих вечерах,—и тоже замолчал.

— Ася спит?

— Да, уже.

На столе, на холодной белой скатерти, в прямых складках стоял никкелевый чайник, одинокий стакан. Ровно щелкали часы

— Не обманет, не изменит, не уйдет,—а чужая, чужая, и мать

II.

Мрак окончательно укутал землю, фонари вырезывали в нем белые шары, дождь капал безнадежно, безнадежно ревел заводский гудок.

Шел по квадратным аллеям парка, через парк, к клубу, не дошел, свернул к школе, пошел к Нине: вместе, в маленьком городишке учились—и с тех пор, ибо любовь одна, — он остался для нее навсегда—одним, единственным: металась по России, боролась с собою с ветренными мельницами своей чести,— не смогла, сломилась, приехала, чтобы жить подле.

Шел темными коридорами школы, постучал.

— Войдите.

В маленькой комнате, у маленького столика— с книгой, одна, в сером платке, некрасивая, с щекой, покрасневшей от ладони,—и заметил с тоскою, что глаза ее углубились, засветились нежно, отодвинула книгу.

— Ты, милый? Здравствуй. Дождик?

— Здравствуй. Пришел посидеть.

— Скинь пальто, хочешь чаю, — протянула обе руки; без слов говорила—спасибо, спасибо.

— Как живешь?

— Устаю. Ничего. Очень устаю.

Ставила в игрушечной кухонке самовар, на столе—около тетрадей—раскладывала баночки с вареньем, усадила в единственное кресло, — суетилась, улыбалась, алела щека — не могла померкнуть — на том месте, что подпирала ладонь весь долгий вечер, — любящая, отдавшая все, от которой ничего не надо.

— Не надо... суетиться. Потолкуем... Сядь же.

Так нежно коснулась руки, стала рядом.

— Что, милый? — гладила руку, обжигалась касаниями. Что, милый?

Иногда негодовала, ломала руки, говорила с ненавистью, туманились глаза в возмущении, иногда становилась на колени, молила и плакала,—но всегда была нежною, тою, от которой ничего не надо...

— Что, милый?..

— Устал. Ведь она,—Анна, не любит. Не уйдет, не обманет, не любит. Знаю,—любишь...

Дома стены, холодно. Штейгер Бицка, румяный, весь день шутит, в дождь. Подожжет и стоит у шнурка. Тридцать лет—пять десятых жизни—половина—десять двадцатых. Холостой патрон. Нету ласки. Без личного невозможно.

Показалось—потухла лампа, на глаза легло теплое: ладони. Сначала слова были тихи, потом безумны.

— Уйди, уйди, милый. Или ко мне, ко мне,— пусть не любишь, люблю, люблю...

Промолчал.

— Молчишь? Все отдам, все будет. Отдай мне ребенка. Ведь она—она мертвая. Ей ничего не надо. Слышишь? — Отдай... Все страданья возьму себе...

Опять вспыхнула лампа, —серенький человеческий комочек упал на узкую девичью кровать.

Мрак стал так, что не было видно в двух шагах. Около бара ков горланили рабочие и пиликала гармоника. Кто-то свистел во мраке в два пальца, озорно и нелепо гогоча. Фонари по прежнему вырезывали белые круги. Шел, освещая дорогу карманным фонариком, машинально выбирая дорогу, и рядом во мраке, по лужам, спешила за ним Нина. Сосны шумели глухо, и было дико и страшно. Говорил, не думая, что говорит, думал вслух:

— Тебя, Нина, не люблю. Мне от тебя ничего не надо. Анна. Анне—приказал отец. Старая кровь. Анна сказала—никогда не полюбит. Ася растет у нее—люблю ее, дочку мою,—смотрит на меня пустыми глазами, чужая—тоже чужая—моя дочь. Я украл ее мать,—украл ее от небытия. Приду домой и лягу один. Или пойду к Анне, и она примет меня с сжатыми губами. От тебя дочери—не хочу. Зачем?.. Завтра то же, что и вчера.

Уже на инженерском поселке, около дома, вспомнил о Нине, заботился:

— Простудитесь, голубушка, и страшно возвращаться...

Постоял против нее, помолчал, протянул руку.

— Ну, всего хорошего.

Прошла мимо ватага парней, кто-то осветил фонарем.

— Ай-да училка. С инженериками. Го-го-го...—загоготали, завели раз похабную частушку:

Подавали девки в суд
Земскому начальнику... Эх!

III.

Пред сном раскладывал пасьянс, ел холодный ужин, у Анны был свет, долго стоял у ее двери, постучал.—„Войдите".—Зашел на минутку: сидела у столика, с книгой, книгу положила на раскрытую тетрадь-дневник. Когда, когда он узнает, что там?

— Завтра с ранним уезжаю в Москву в командировку. Вот, пожалуйста, возьми денег на хозяйство.

— Спасибо. Когда приедешь?

— Через неделю,—стало быть в пятницу, на той неделе. Ничего не надо?

— Нет. Спасибо,—встала, подошла, поцеловала щеку около губ. Всего хорошего, прощай, Асю не беспокой.

И опустилась к столу, спиною, взяла книгу.

На рассвете подали лошадь, ехал с Бицкой по шоссе на пассажирскую, было сыро; в дожде, мраке, черные, торопились ко второму гудку рабочие; обогнало на автомобиле начальство и сейчас же заревел гудок. Бицка, в котелке, с редкими латышскими усиками, румяный, смотрел кругом строго.

— Не выспались, Роберт Эдуардович?

— Нет, не то. У меня плохая настроение,—помолчал.—Мне сорок лет, а мой шена—восемнадцать. Мне надо шена сериозная, несолфная, хосяйка. Она фсе шутит и тянет меня са узы, и смеется. Прафда, не выспался. Тала мерку к новым патинки... Ерунта...—и улыбнулся узкими своими хитрыми глазками.—Шеншина!..

Волчий овраг.

I.

Агренев в детстве, ребенком, слышал из разговора матери о том, что вот Нина Каллистратовна Замоткина с дочерью ходила—сегодня утром в девять часов—к фельдшерице Часовниковой на квартиру давать пощечину Часовниковой, которая разбила семейный очаг, потому что у ней была связь с Павлом Александровичем Замоткиным, мужем Нины Каллистратовны. Тогда Агреневу-ребенку ярко представилось, как Нина Каллистратовна за руку с дочерью и с ридикюльчиком в другой руке—идет; походка, конечно, необыкновенна, раз идут на квартиру давать пощечину,—надо было, должно-быть, итти в присядку или раскорякой, что ли; семейным же очагом было нечто, вроде маньчжурки, обязательно железное, раз идут за него давать пощечину; и чрезвычайно любопытно, как Нина Каллистратовна придет на квартиру, размахнется рукой и—даст; и походка, и квартира, и руки—все имело для ребенка сокровенный смысл, чрезвычайно любопытный.

Это осталось в воспоминаниях от детства, от маленького городка, провинции, где все было необыкновенно, как детство. Здесь, в Волчьем овраге, вспомнил это Агренев—и затосковал. Никто, никогда не пойдет давать за него пощечин. Какое варварство—пощечины, и нет никакого решения—в пощечинах. Была осень, и, когда стоял в овраге и ждал Ольгу, низко над головой пролетели журавли, выстраиваясь в стрелку и курлыкая нестройно. Потом с горизонта на востоке небо стало наливаться свинцом, небо стало зимним и над головой вспыхнула голубая Вега. Ольга пришла неожиданно, опоздав, сразу — вся с головы до ног—став на обрыве оврага, чтобы опуститься к Агреневу в овраг—в овраг.

II.

Александр Александрович Агренев, семейный человек, инженер-металлург, и Ольга Андреевна Головкина́, учительница—девушка, живущая с тетей, окончившая восемь классов гимназии. Ее все звали Оля Голо́вкина, и это было неправильно, потому что она носила древнюю русскую фамилию, славную еще Петром Первым и сенатором Головкины́м. Но тогда еще, при Петре Первом, эта фамилия соскочила в низы, чтобы оставить в этом городе Головки́нскую улицу и дом на Головкинской, сдачей внаймы которого жила тетя. Агренев знал, что тетя—имени ее Агренев не знал—старая дева, имела одну радость, Олю, что тетя вечерами сидела у окна без лампы, поджидая Олю, и Оля, поэтому, возвращаясь со свиданий, обходила квартал, чтоб заместь следы. О тете никогда не говорилось прямо, лишь вскользь упоминалось слово, как вещь,—тетя. Оля же была милой девушкой, о которой трудно говорить, очень похожей на ивовую лозинку, такую хорошую провинциалочку. Город разметался по холмикам среди полей и древних каменоломен, всей энергией своей город истекал в завод на том конце,—и случайный разговор, бывший весной в начале знакомства между Агреневым и Олей, — был в стиле и города, и Оли: Агренев сказал к чему-то:

— Бальмонт, Блок, Брюсов, Сологуб...

Оля перебила его поспешно, милая лозинка:

— Я вообще иностранных писателей мало знаю...

В городе, ни в гимназии, ни в библиотеке, ни в журналах, не тали ни о Бальмонте, ни о Блоке,—но Оля любила декламировать на амять Козлова и говорила по-французски. Завод жил темной, нехоошей, трескотной жизнью, нищенки — рваной снизу и непривычноэскошной сверху,—и завод пугал городок с его Головкинскими, Заэрными, Спасскими улицами, городок жил среди полей, придавленый заводом и все же живущий своею какою-то жизнью.

За городом, в противоположной стороне от завода, в мрак леал овраг, который назывался Волчьим оврагом. Правее, к реке, была эща, куда ходили гулять парами. В овраг никто не ходил, потому о он был совсем не поэтичен, без деревьев, скучен, не глубок и не рашен. Но он шел по холму, господствовал над окрестностью и. ли лежать в канавке у его верха, видно все кругом на версту, а жащие — сокрыты: Александр Александрович Агренев был семейым человеком. А мальчишки-пастухи, которые пасли на лугу стадо. риметили, как каждый вечер летом с большака на велосипеде свочивал в овраг мужчина, а потом, мимо них, проходила тоже в овраі вушка, спешащая, как гонимая ветром лозинка: мальчишки, как добает мальчишкам, кричали вслед девушке всякую мерзость.

Оля все лето просила Агренева привезти ей книг, почитать,— к она не заметила, что за все лето ни разу книг не привозил он ей.

III.

Потом был вечер, уже в сентябре, после того, как несколько ей шли дожди и они не встречались,—когда случилось все, что лжно было случиться, что бывает у каждой девушки раз в жизни. Они гречались всегда в восемь, и восемь в июне идут совсем не так, к в сентябре. Дожди прошли, но остался холодный осенний, опустоющий ветер, и вечер грузился свинцовыми тучами, холодом, нетом. В тот вечер летели на юг журавли, курлыкая в небе. Трава овраге пожелтела и пожухла. Днем было солнце, и Оля пришла в юм платье. Пастухи, карауля стадо, кричали всякую мерзость. ыкновенно они, Агренев и Оля, расставались здесь же в овраге. тот вечер, поистине черный, Агренев провожал Олю до дома, и обі и были заняты только одной мыслью: — о тете, — что тетя сидит у а без лампы и ждет Олю, или она зажгла уже лампу и готовит ни?—Оле надо было во что бы то ни стало, чтоб тетя сидела у а без лампы, чтобы можно было в **темноте** пройти в свою мнату, так как Оле надо было секретно от тети переодеться. Они. я и Агренев, шли даже не под руку, а тесно—рядом, склонив друг другу головы и шепчась—только о тете. Оля не могла думать ни о ии, ни о радости, ни о страдании, — она думала о том лишь, как ойти, чтоб не заметила тетя. А Агреневу было скучно, жутко и жливо от мысли о скандале. — И у тети в окне был свет, и Оля ловкина затрепетала, как лозинка, от света в окне, прошептав апло, как крикнув:

— Я не пойду!..

Но все же она пошла домой, лозинка, гонимая ветром. Агренев ювился с ней встретить ее на утро в заводской конторе, чтобы іать,—в сущности, о тете, как тете, минул или нет скандал.

В овраге, когда Оля, отдавшая все, плакала и прижималась к его ленам, в черной ночи совсем над головой, даже слышен был шелест алъев, пролетели на юг дикие гуси, гогоча, встревоженные его

папиросой, десятой под-ряд, — и защемило: „на юг, гуси, на юг! ты же никуда не уйдешь, раб, ненужный с ненужными!", и вспомнилась та пощечина, которую ходила давать за мужа Нина Каллистратовна и которую никто не даст за него — Оле Головкиной. „Оля — ненужное, случайное бремя!" Тогда в тот вечер от Головкинской улицы через весь город и потом по заводу, на инженерский поселок, проезжая на велосипеде кратчайшим путем, ибо за ночным мраком не надо было прятаться, Агренев думал не об Ольге, а о тете: о том, что она, старая дева, что у нее одно — Оля, и Оля скроет от нее свою трагедию, что она, тетя, целыми вечерами — целыми вечерами сидит у окна, одна, без лампы, — конечно, не для Оли, а потому, что всю жизнь она умирает, как умирает город, где знают Козлова, как умирает он, Агренев, как умерла девушка — Оля. Как сильна жизнь! Какая трагедия в этих вечерах без огня, у окна!

IV.

Дома у Агренева горничная каждое утро приносила ему в кабинет на подносе уже остывший кофе. Агренев уходил на завод, когда все еще спали. На заводе были драные рабочие, всячески — нищие до последней степени, остроты Бицки, лязг вагонеток, — на заводе был завод, именем своим определяющий все. В обеденный перерыв Агренев приходил домой, мылся и слышал, как за стеной жена — белая Анна — гремит ложками. И это — вся жизнь. Чрезвычайно любопытно, как Нина Каллистратовна придет на квартиру, размахнется рукой (какой рукой, — той, в которой ридикюльчик, или предварительно переложит ридикюль в другую руку?) и даст пощечину фельдшерице Часовниковой. Оля — милая Оля Головкина, от которой, как от всех, ничего не надо!

В тот вечер тогда пришла дочь, Ася, сделала книксен и сказала:

— Покойной ночи, папо́.

Агренев задержал ее, посадил на колени, — любимую, единственную.

— Что же ты делала, Асинька?

— А когда ты уезжал в поле к Головкиной, мы с мамой играли в бегающую игру.

V.

Утром в контору — якобы по делу — Оля пришла такая же, как всегда. И Оля радостно сказала:

— Тетя ничего не узнала. Она мне отперла без лампы и замешкалась в коридоре, и я проскочила мимо нее поскорее. Потом переоделась и вышла к ужину, как ни в чем не бывало!

Гонимая ветром лозинка!

В конторе звонили телефоны, было утро, щелкали на счетах. В кабинете они были вдвоем, уговаривались, как встретиться вновь. Оля не хотела итти в овраг, потому что мальчишки говорят гадости. Агренев не сказал ей, что дома у него все известно. Прощаясь, она прижалась к нему, как лозинка в ветре, и прошептала:

— А я сегодня не спала всю ночь. Ты заметил, я никак не называю тебя — у меня нет для тебя имени.

И просила, чтобы он захватил — не забыл! — книг.

Город лежал на пересечении таких-то широты и долготы. О городе ничего не знали. О заводе же печаталось каждый год в промышлен-

ных ежегодниках и изредка в газетах, когда бастовали рабочие или заваливало рабочих известняком. Завод был акционерной компанией. Агренев писал отчеты по своему отделу, отчеты тоже печатались, чтобы их никто не читал, и там стояло: „Инженер А. А. Агренев". Оля же Головина писала только ведомости и дневник, в ведомости по своему отделению в начальной школе, против фамилий учеников она ставила баллы.

. . .

Первый день весны.

Утром мама встала такой же, как всегда за эти бесконечно долгие месяцы: я привыкла звать мамой — мать Александра. На ней черное платье и в руках белый большой платок, который она так часто подносит к губам.

В столовой было светло. На столе чинно стоял чайный сервиз, из самовара шел пар. Я уже привыкла, что столовая все время напоминает, будто мы уезжаем на дачу. Это происходит оттого, что сняты все картины, завешено висевшее здесь случайно зеркало.

Я обыкновенно встаю очень рано, моюсь и сейчас же берусь за газеты. Я раньше почти никогда не думала о газетах и они для меня были совсем безразличны, но теперь я не представляю без них жизни ... чаю я уже знакома со всем, что делается в мире и рассказываю маме: мама не может читать газет.

Мама выходит из своей комнаты, бывшей Александра, высокая, вся в черном, и в ней какая-то строгость. Это все так, как должно быть. Она крестит меня, целует в лоб и губы, и, как всегда, отворачивается быстро и подносит платок к губам. Я знаю, она вспоминает, что Юрий убит, а Александр — там... и что я одна, ее, осталась с ней.

За чаем, мы всегда молчим, мы вообще молчим, и только один вопрос она задает:

— Что в газетах?—и эту фразу она говорит всегда хриплым голосом. И я, очень волнуясь и бестолково, рассказываю ей все.

После чая до двенадцати я хожу около окон, вижу все прежний вод и поджидаю почтальона.

И так, за почтой, газетами, горем матери и моим, проходят дни за днями. И всегда, когда я жду писем, я вспоминаю маленький эпизод войны, переданный мне на эвакуационном пункте раненым прапорщиком. Он был легко ранен в голову, но я уверена, что он был психически ненормален или неврастеник. Он лежал на носилках, смуглый, с черными глазами и с белой повязкой. Я его поила, но он пил чая, отставляя кружку и держа меня за руку, говорил:

— Вы знаете, что такое—война?— Не смеете, не можете знать ... я знаю. Все знают, кто там были!.. Шли мы в штыки, понимаете? ... штыки, то-есть резать, колоть, кромсать друг друга, человеков ... нас пулеметом стреляли. Ну, вот, шел рядом со мной рядовой ... ьмин, и в него сразу две пули попали. Он упал и, уже ничего не ... бражая, забыв, что я их офицер, как-никак, протянул ко мне руки ... закричал: „Земляче-ек, — приколи!" Понимаете?! — „Земляче-ек, при... и!"—И вам не понять — не смеете!

Он говорил это, то шопотом, то крича.

Он говорил, что этого нельзя понять мне. Но я понимаю ... земляче-ек, приколи!" — в этой фразе для меня слит весь ужас ...

войны, и смерть Юрия, и рана Александра, и горе матери, и все, все, что дала война,—слит до боли в висках, до физического ощущения тоски.— „Землячс-ек, приколи",—как просто, не человечески.

Я эту фразу вспоминаю каждый день, особенно часто в зале, когда жду писем. Александр пишет редко и сухо, о том, что здоров, и опасностей или нет, или они миновали; он пишет всем сразу—маме, мне и Асе.

Так было и сегодня, я ждала писем.

Пришел почтальон, принес несколько писем, и одно из них — от Александра. Я его вскрыла не первым, поджидая маму.

Вот оно:

„Родная Анна.

Вчера и сегодня—прорвало—тоскую и думаю о тебе, только о тебе. Когда живешь покойно, без передряг, тогда не замечаешь многого хорошего,—это я говорю о тех цветах, что посылаю тебе. Они растут как раз у окопа, а достать их страшно трудно, потому что можно быть убитым. Так я цветы эти и раньше видел, но как называются они, не знаю, и очень обидно.

Прощай. Люблю тебя. Прости за „армейский" стиль. Это письмо только тебе".

В письме были две фиалки, две маленьких голубых фиалки, которые растут сейчас же после снега.

Я дала—все же дала—прочесть это письмо маме—его матери,—и у мамы задрожали губы и потекли слезы. Она заплакала, но в слезах смеялась. И мы обе, я—молодая и мама—старая, мы обе плакали и смеялись одновременно, тесно прижавшись друг к другу. Я раньше представляла войну фразой—„землячек, приколи". А теперь у меня оттуда—от Александра—фиалки, две фиалки, которые еще не завяли

Я замечала раньше, что весна, лето, осень, зима в человеческом сознании приходят как-то сразу. Помню в детстве, на даче. Все еще лето, все как всегда, но вдруг утром подул самый обыкновенный ветер, бросились в глаза красные листья виноградника, которые уже появились недели три,—и вдруг сразу чувствуешь, что осень, сразу меняется настроение и начинаешь собираться домой, в город.

Сколько лет я не видела ни осени, ни зимы, ни весны,—не чувствовала их?

А сегодня я сразу—после давно-давно ушедшего лета почувствовала весну.

Я только сегодня заметила, что окна у нас замазаны, что на мне черное платье, что уже май, что уже в полях цветут колокольчики. Я забыла, что я молодая: сегодня я помню это.

И еще я знаю, что верю, люблю—давно люблю—Шурика, Александра. И я знаю—пусть много ужаса, много нелепого и безобразного, но есть еще прекрасная молодость, и любовь, и весна, и голубые фиалки, растущие на окопах.

Мы с мамой плакали и смеялись, вдвоем, тесно сжавшись на диване. Потом я одна ушла в поле, за завод—любить, думать, мечтать... Я люблю Александра—на всю жизнь, навсегда...

Моря и горы.

I.

Окопы — совсем не там в Литве, в Полесьи: в дождливую ночь
;а Виндаво-Рыбинском, в поезде, как окоп,— окопы в самой Москве.
Рядом, в соседнем купе говорят:

— А вы какой части?—„Да-да, как же! Помните, там еще овраг,
есь в валунах, и озеро внизу, много в этом озере народу уплыло в
царствие небесное“.—„Командир третьей дивизии, позвольте предста-
виться“.

— Братушка, дай закурить, пожалуйста. Из побывки мы.

Поезду итти в ночь на Ржев, на Великие Луки, на Полоцк. Вон
ратва забилась под скамью, пьет чай, очень довольна. За окном
азовые фонари, в дожде—Виндаво-Рыбинского, и глаза у женщин под
ождем под окнами,— как фонари в дожде. Пахнет нафталином.—
Где вагон коменданта?“—Женщинам в вагон—нельзя,— тут на войне
дни мужчины, и пахнет уже кожей, дегтем и портянками, мужской
апах.

— Да-да-да-да, хо-хи! Врет — вре-от. Нет-с, красавица, такого
еловека, который шел бы в атаку не сумасшедшим!—хохочет и го-
орит басом, очень довольно.

Третий звонок —„Где вагон коменданта?!“—„Что же, прощай!“
Хо-хо-хо-хо! Вре-от, врее-от-с, сударыня“.—„Мозоль я себе натер,
уцы новые выдали, вот и натер обратно“,—это из-под лавки и на
есенке, по которой взбираются на верхнюю полку, повесили новые
ортянки, со свежими казенными ярлыками и все же пропахнувшие
же потом.— Сдвинулись лакфиолевые фонари по дебаркадеру в ночь,
ползли женщины и носильщики, козырнул дежурный, дождь стал
осым, в смене стрелок ночь стала такой.

Ночью в дожде во Ржеве через окно лазили за чаем, в окно
алезли отставшие с винтовками, поезд гремел манерками. Дождь
лещет, как веник в бане. В коридоре братва недовольна поверкой
окументов. Под лавкой беседуют, военные пустяки.

А утро — в розовых облаках,— с деревьев капают капли, дождь
рошел, светло, благоуханно. Великие Луки, Ловать, на станции кофе
солдаты, нет женщин. Поезд обходит контр-разведка. Солдаты,
олдаты, солдаты,— винтовки, винтовки,— манерки: братва. И это уже
е Великороссия, кругом еловые леса, холмы, озера и всюду на земле
авалены круглые точеные камни, валуны,— а на станцийках из-под
ней выползают молчаливые люди, летом в овчинных тулупах и
апках, и босиком: литва. Контр-разведка — как развлечение, длинный
линный, пустой день, как праздник и все уже знаемо: какой части,
олько ранен, в каких боях. В Великих Луках многие сошли — не
овых. Весь день тихо и празднично.

А к ночи Полоцк, белые стены монастыря ушли назад, Двина,
огремели по мосту. Здесь ездят уже только ночью, без расписания,
ез огней, и опять мелкий дождичек. Без свистков останавливается
оезд, без свистков идет, и кругом тихо, как в октябре,— над землей
е ночь. С Полоцка на каждой остановке только слезают, никто не
адится вновь, от каждой остановки по декавыльке до окопов тридцать
ерст. Такая усталость — после Москвы, слов, проводов, после беско-
ечного дня! Едва-едва светает, небо как бутыль из зеленого стекла,
м сзади, на востоке.

— Вставайте, приехали.

Станция Будслав, крыша у станции съедена бомбой с аэроплана. На асфальте перрона, под кротегусами, в садике спят вповалку солдаты, книжная лавка к приезду поезда открыта, стоит заспанный еврей: Чарков, фон-Визин, Вербицкая. И где-то в отдаленьи, почему-то, так четко слышно, как хлопают руками в рукавицах.—„Что такое?"—„Это долбит тяжелая артиллерия".—„Где комендант, где тут комендант?"— „Спит комендант"...

II

Неделя проходит в окопах, идет другая.

Надо было бы записать все в первый день: теперь все сгладилось, вот это, что там на луговине на проволоке висит человек и у него постепенно отваливается голова. Впрочем, я мало вижу. Днем мы спим. Почти нет ночей — июнь, о вечере я узнаю вот почему. Я живу в землянке и когда приходит семь часов, минута в минуту,—оттуда из-за болота начинают обстреливать землянку: через каждую минуту шлют пулю — чик. Еще минута и опять — чик. Выстрела не слышно за гулом остальных выстрелов, слышно как пуля втирается в землю и бревна на крыше. И это всю ночь, до семи часов утра, минута в минуту. В землянке нас трое, они двое играют в шахматы, я все перечитал, мне надоело и лежать, и ходить, и спать. Жизнь человеки чрезвычайно скудна, потому, что в три дня — троим — можно все рассказать. Вчера прибежал солдат, ему в разведке оторвало кисть, он мотал огрызком руки и молил бестолково:

— Приколи, приколи-и, касатик!..

Иногда ночью мы выходим полюбоваться фейерверками. В землянку — это стреляют в нас или, чтобы нас нервировать — втираются пули: чик! чик!— чик! Мы стоим и любуемся. Вдалеке тявкают орудия, и вот весь горизонт дрожит зеленым светом. Ракеты поднимаются непрерывно. Здесь были такие, какие пускали мы на Оке, были разрывающиеся на два медленные шара, были огромные диски, состоящие из сотни огней. Но ракеты исчезают, из-за леса ползут три световых пальца. Сначала они протянулись в небо, судорожно сжались и падают лихорадочно на нас, на окопы, вправо, влево. Наши гимнастерки в их свете кажутся белыми. В Полесьи на могилах ставят огромные деревянные кресты, большие как у Гоголя в „Страшной мести": сзади на холме стоят два креста, один скренился, повис на другом.

Все солдаты, солдаты, солдаты. Ни одного старика, ни одной женщины, ни одного ребенка. Ни одной женщины я не вижу уже третью неделю.—Вот о чем я хочу рассказать — о том, что значит женщина.

На пункте, вне зоны обстрела, мы обедали,— и за фанерной стеной засмеялась сестра: я **н и к о г д а** не **с л ы ш а л** **л у ч ш е й** **м у з ы к и**. Других слов я не нахожу: лучшей музыки. Это сестра пробиралась к госпиталю, ее платье, ее прическа — **к а к а я** **р а д о с т ь**! Она что-то говорила заведующему пунктом, **я** **н е** **з н а ю** **л у ч ш е й** **п о э з и и**, **ч е м** **е е** **с л о в а**. Все прекрасное, все красивое, все целомудренное, что есть во мне, что дала жизнь — женщина, женщина. Вот я все.

Вечером я пошел в штабный кинематограф, я сидел в ложе. Когда потушили электричество, я написал на барьере синим карандашем:

„Я блондинка 22-х лет, с голубыми глазами. Но — кто же ты? Я жду?"

Я сделал жестокую вещь.

Это написал я, но у меня защемило сердце, я не мог сидеть в кинематографе. Я стал бродить меж скамеек, ушел на поселок, ходил вокруг костела, у которого не уцелело ни одного окна, и собрал букетик незабудок в канавке у кладбища. Когда я вернулся в кинематограф, я увидел, что в набитом кинематографе ложа была пуста: ко мне вошел офицер, сел беззаботно, чтобы наслаждаться, прочел написанное мною — и стал другим человеком, я влил в него страшный яд, и он ушел из ложи. Я вышел за ним — он пошел к костелу. Я сделал жестокую вещь.

Это я написал о блондинке с голубыми глазами,— я шел и видел ее, и ждал ее, я, написавший. Во мне играли сотни оркестров, но сердце было сщемлено, точно его взяли в руки. Больше всего — больше всего во всем мире — я любил и ждал несуществующую блондинку, которой я отдал бы все мое прекрасное.

Я не остался в кинематографе и поплелся в окопы. На холме стояли два громадных креста, я сел под ними и шептал, сжимая руки.

— Милая, милая, милая. Любимая, нежная. Я жду.

Там вдалеке взлетали зеленые ракеты, такие же, какие мы пускали над Окой. Потом забегали пальцы прожектора, моя гимнастерка стала белой, — и сейчас же около крестов упал снаряд: это заметили меня и стреляли по мне.

В землянку чикали пули: чик!—чик!—чик! Я лег на нары, зарылся головой в подушку. Мне было очень одиноко и я шептал, вкладывая в слова всю нежность, какую имел:

— Милая, милая, милая...

III.

Любовь!

Верить ли романтике,— что вот, через моря и горы, и годы есть такая, необыкновенная, одна любовь,— всепобеждающая, всепокоряющая, всеобновляющая — любовь.

В штабном поезде, что стоял у Будслава и где жили штабные офицеры, знали, что такая любовь у поручика Агренева, одна, на всю жизнь. Жене, женщине, девушке, любящей один раз, когда любовь прекраснейшее и одно в жизни,— принять героические меры, пройти все штабы, все контр-разведки, чтобы пробраться к любимому, чтобы видеть любимого, ибо — одно сердце, огромное, в мире и больше ничего.

Купе поручика Агренева было в дальнем вагоне № 30-05.

Штабный поезд стоял за прикрытием. Огня зажигать не позволялось. По вечерам, занавешивая окна одеялами, собирались в вагоне командующего XX корпусом играть в железку и пить коньяк. Кто-то острил, что между фронтом и мужским монастырем много сходства, и тут и там говорят только о женщинах, поэтому нет причин не посылать монахов на фронт для поста и молитвы.

Банк купил и держал ротмистр Кремнев. Вошел проводник пан Пвятский и позвал ротмистра. Остальные остались за картами. Он сказал ротмистру, что есть женщина, очень дорого. У ротмистра дрожали колени, он сел беспомощно на подножку и достал папиросу. Пан Пвятский предостерег: нельзя зажигать огня. Пушки вдалеке гудели, точно приближалась ночная гроза. Ротмистр Кремнев

никогда не испытывал большей радости, чем в эти минуты, когда сидел на подножке,—физической радости бытия, физиологической Пан Попятский повторил, что это очень дорого, что она—ждет, медлить нельзя. Пан Понятский вел его вагонными коридорами, во мраке. В вагонах пахло мужчинами и кожей, за дверками громко смеялись, должно быть за картами. Так прошли пол-поезда. Когда переходили из вагона в вагон, вдалеке вспыхнула ракета, и в зеленой мути блеснул желтый номер вагона 30-05. Пан Понятский отпер своим ключом дверь купе и сказал:

— Здесь. Только, пожалуйста, тише.

Пан же замкнул ключ за ротмистром Кремневым. Это было офицерское купе, пахло духами, на скамейке внизу, кто-то дышал. Ротмистр Кремнев скинул тужурку и сел рядом. На диване спала женщина. У ротмистра закружилась, онемела голова, сердце и купе покатилось,—ротмистр взял онемевшей рукой колено женщины. И тогда женщина потянулась, просыпаясь.

— Это ты, родной?—спросила женщина.—Вернулся.

— Да—я,—ответил ротмистр.

И вдруг женщина вдвинулась в угол дивана, беспомощно раздетая, протянула вперед руки, обороняясь.

— Кто тут? Уйдите! Уйдите, ради бога!

— Что-о? Не ломай дурака!

Дверь приотворилась, в дверь втиснулась голова пана Понятского, прошептала:

— Не стесняйтесь, ваше-ст-во, она так... Только потише,— и исчезла.

Больше не было слов, потому что в ротмистре, как во всех, сидел еще тот человек, который выходил у станций из лесов, в овчине и босиком и который—„любил" женщину, глуша ее дубиной. Тогда, в купе, женщина бессильно сопротивлялась, и потому, что сопротивлялась, ему хотелось придушить ее, вдавить в подушки, еще больше насиловать, пока не постучал пан. Уходя, ротмистр засунул в чулок женщины две двадцатипятирублевки.

Любовь! Любовь через моря и горы, и годы.

У пана был ключ одинаковый для всех купе. Проводники проследили, что к поручику Агреневу пробралась женщина. Поручик на сутки был откомандирован в дивизию. Кто в темноте разберет, какой проводник отпер дверь и какой офицер насиловал? Да и посмеет ли кричать женщина, раз она там, где нельзя ей быть, откуда ее просто выгонят,—и скажет—и скажет ли она об этом мужу—или любовнику?—разве знал Попятский о любви через моря и горы?—скажет ли она об этом м у ж у, другому мужчине?!—рассчитает, поди, обдумает, вымоется,—и никогда, никому, не расскажет... женщина... Почему не содрать лишнюю полсотни пану Понятскому?

IV.

Третьего дня, вчера, сегодня,—бой, отступление. Штаб армии уехал в поезде, но штабные офицеры идут пешком. В каше человеческих тел, повозок, лошадей, пушек, ординарцев, извещений, приказов—ничего не разберешь. Пулеметного и винтовочного огня не слышно.

щет дождь. К вечеру кто-то сказал — проорал, что остановали.
:ряли в лесной сторожке. Ротмистр Кремнев в погребе нашел мо-
› и творог,— он, Агрепев, с женой, командующий дивизией, фен-
ки — пьют молоко. Братва разыскала в лесу корову, зарезала,
кт и ест, притащили каких-то двух местных девок, их насилуют в
ведь, они очень покойны. Все говорили, что надо лечь отдохнуть,—
: заметили, как пришел рассвет,— заметили же потому, что через
ожку загудели снаряды, заговила поблизости русская батарея
и приказ итти в контр-атаку. Потащились обратно, в дожде, не-
стно почему — Агрепев, Кремнев, три женщины, братва.

(Посвящаю Я. З. С.)

О пути.

Дневник.

Ларисa Рейснер.

I.

Первый день.

Очень тяжело. И днем, и утром, и в самый сжатый час отъезда—неприятное, совершенно физиологическое чувство гнета. Стрелка внутреннего радио тревожно дрожит, даже во сне поворачивая свое слепое острие—куда? Может быть, к будущему или к глухо запертым дверям совести.

II.

Второй день.

На протяжении нескольких сот верст одно и то же: мир. Бледный дол едва отогревается, и от поля к полю, справа и слева, до края неба ходят медленные пахари. За их плугом дымится легкое облако теплой земляной пыли. Вернувшийся домой кавалерист сидит на худой крестьянской лошади и за ним, подпрыгивая, ползет борона, касаясь земли своей жесткой лаской. Как безумно далеко ушла война! Весенние реки заливают старые окопы—невозможно себе представить падение снаряда среди робкой зелени озимей, на опушках болотистых рощ. Бесконечный покой.

III.

Станция.

Все торгуют: азиаты и крестьяне, и проезжающие солдаты. Ничто не сравнится с лицами, составляющими „толчок". Это не люди, а лес. Около крестьянки, предлагающей полотенце, столпились рыжие дубы, несколько пней, сожженных грозой; ветки без листьев, покрытые отсырелой корой, гибкие изогнутые ивы. И там, где кора лесных лиц нежна и красновата, живет их голос и этот голос шелестит, поскрипывает или рокочет.

— Сколько? Десять.—Даю пять косых.

И смеясь, как у себя в чаще, великаны качают мохнатыми шапками. В пальцах, разгибающихся, как прутья, приготовленные для плетения корзин—у них зажаты бумажные деньги. Белки глаз из снега, не успевшего растаять на колючих хребтах этой страны. Зрачок—таинственно текущие вещие воды, невидимые, пока молодая луна в них не бросит кусок серебра.

Чистильщик сапог, азиат, сидит на голой коричневой земле и кимает между колен свою подставку, точно ящик с драгоценностями. го Пушкинский Черномор: это—его огненные глаза и мшистая волна мос на бороде. Равнодушный к судьбе волшебник сидит со своими янцевитыми ваксами и красной бархатной тряпочкой, вырванной из аща Людмилы и бесстрастно наблюдает босые ноги прохожих, до иена выпачканные в грязи. Его лицо темно, а ремесло эфемерно.

IV.

Туркестан.

Между совершенно плоским небом и плоской землей дым, ухо ящий в ничто. Белый лунный свет на мертвых полях, озера и холмы тающего снега, и замурованная тишина на протяжении сотен верст эроги, опустошенные копытами Тимура, сожженные зноем и стужей: стыни, которые не спят и не грезят: они не существуют.

Читать невозможно: жгучие слезы Гейне всасываются черной ıхлой землей. Даже дебелая пышность Елизаветы Петровны, ленивые грязные анекдоты ее царствования, даже холод Бестужева, мужиц я широта Разумовского, даже шуваловские кружева и ломоносовские ы—блекнут в этой степи, где камни из лунного света и облака. амеепвшие в пустоте.

Здесь не может быть истории—этого искусства мертвых. Все носительно на куске земли, где песок смешан с солью и солнечным етом.

V.

Полустанок.

Киргизка, поставив овцу над неопрятным глиняным сосудом, ле во выпрастывает ее продолговатые сосцы. Возле матери шелко стый ягненок на больших и слабых ногах. Его мордочка, которой тыкается в подол дикарки и в пустое вымя матери—имеет чистый тичный рисунок: тот беспомощный и порочный профиль, который к любил ампир. Пахнет азиатским жильем, горькими травами и ме м. В степи нежнейший звон ветра в сухих прошлогодних травах. ют песчаные холмы, где согретые солнцем пески пересыпаются как мчуг, восходят волной, падают в мгновенные долины, и опять ссы ются в подвижный вал с серафической, непрестанной и сонливой зыкой.

Воздух полон степных жаворонков. Тысячи влюбленных крылий елещут в синем и золотом, и с легким стоном тают в ослепитель м блеске неба, и небо ими полно, как ангелами.

Холмы золотого песку, с которых верблюды неторопливо снимают еноватый пушок. Долины, точно янтарные чаши, поставленные ря м, полные запаха трав и, как пену, источающие червонный свет. лм у холма, это сот возле сота—они медленно наполняются огнен ıм медом дня.

VI.

...Как далеко мы уже уехали. Не на сотни и тысячи верст, а на ого сот лет, на целую вечность в прошлое. Здесь ведь скалы, пески ущелья—как вчерашний едва истекший день помнят Тамерлана, и рип его диких повозок, иноходь его конницы еще живут там, где ерь лежит железная дорога.

И какое неслыханное богатство дала нам эта поездка: скольк солнца, меда и целебных запахов источает пустыня, каким темны изумрудом пылает Ташкент и, наконец, эта сказочная средневекова Бухара! Здесь есть крытые базары, которые тянутся на две-три верст Они прохладны, под крышей воркуют голуби, в щели льется золото полуденный дождь, а справа и слева, у порога крохотных лавок си дят пестрые халаты, чалмы белее снега; и старики с бородами проро ков, высчитывая барыши и плутни, покоятся с видом богов и нюхаю влажные розы. Везде бегут крохотные ослики с вьюками свежего кл зера и тростника, с женами в чадрах, бог знает с чем. Иногда сред этой толчеи проезжает наш кавалерист в высоком шлеме, и со спин он выглядит как победитель Иерусалима, паладин Красной Звезд

И все-таки, несмотря на пестроту красок, блеск и внешнюю ум ительную красоту этой жизни—меня обуревает ненависть к мертвом востоку. Ни проблеска нового творческого начала, ни одной книг на тысячи верст. Декаданс, прикрытый однообразным и величавым течением обычаев. Ничего живого. И в конце концов эти город неумолимо идут к вымиранию, к праху, пыли,—все к той же пустын из которой они возникли.

Лучше всего сады и гаремы. Сады полны винограда, низкорс слых деревьев, озер, лебедей, вьющихся роз, палаток, граната, голу бизны, пчелиного гудения и старинных построек, да и аромат: Такого крепкого и густого, что хочется закрыть глаза, лечь на раска ленные плиты маленького раскаленного двора и душой быть легч ласточек, легче маленьких деревянных столбиков, на которых висят і густом воздухе старинные балюстрады. Под деревьями расстилаю ковры, подают чай с пряными сластями. И тишина такая, что ручь немеют, и деревья перестают цвести.

А вот и гарем. Крохотный дворик, на который выходит мнол дверей. За каждой дверью — белая комната, расписанная павлиньим хвостами, убранная сотнями маленьких чайников, которые стоят і нишах парочками, один большой и один маленький, совсем как голуб с голубкой. И в каждой комнате живет женщина — ребенок лет три надцати-четырнадцати, низкорослая, как куст винограда. Все они опу скают глаза и улыбку прикрывают рукой. Их волосы заплетены в сотню длинных черных косичек. Они бегают по коврам босиком, и миниатюрные ноготки их ног выкрашены в красный цвет. Лукавые и молчаливые, эти бесенята в желтых и розовых шальварах уселись вокруг меня, потом придвинулись, потрогали меня своими прохладными ручками, засмеялись и заболтали как птицы. Кажется, мы очень друг другу понравились. В общем они—очаровательнейшее вырождение из всех, кого мне пришлось видеть.

VII.

Кушка — пограничный пункт между Россией и Афганистаном. Вокруг его старинной крепости громоздятся пыльные песчаные горы. Ветер подымает на их склоне тучи желтого праха и разносит его, как пепел целого мира, сожженного неизвестным завоевателем. Но улицы городка тенисты, вдоль тротуаров шумят ручьи, ленивые тутовые деревья, разомлев от жары, роняют переспелые ягоды на чистые дворы казарм, на крыши и пороги выбеленных домов, в которых расквартирован гарнизон. Словом, настоящий пограничный городок, белый, зеленый и крепкий, со своим военным населением и тревожной бдительностью, превозмогающий и жару, и лень, и лихорадку. Лихие.

:.озитые коменданты, седые трубачи и племена, угоняющие друг у
луга еженощно стада жирных баранов, эти угоны и есть претknовс-
:е нашей восточной политики, знаменитый джемшидский вопрос

От столба, вбитого в лысый затылок какой-то старой горы, начи-
ется настоящая Азия, огороженная синеватыми линиями гор и золо-
:м поясом пустыни. До самого Чильдухтерапа, первого привала г
фганистане, нас провожает эскадрон кавалерии. До вечера звучи.
ы русская речь, и среди белых чалм мелькают красноармейские
лемы. Вечером они уходят; при свете фонаря над разгоряченной
ловой лошади наклоняется милое и взволнованное лицо кушкинского
мендавта, и затем его руки, пожимавшие наши, и вся его славная
игура времен „Капитанской дочки", и глаза, в которых влажный
еск—все исчезло, и мы остались одни.

VIII.

Из Кушки до Герата.

Ночь, надо начать с нее. После целого дня, проведенного в седле.
сле солнечного жара, медленно растущего от рассвета к белому
лдню и, как река, разливающегося к вечеру—ночь такое огромное
астье, награда за всю усталость, слабость и жажду.

Дорога, горячая и каменистая, идет из одной мертвой долины в
угую, от песчаных гор к плоскогориям, ровным, твердым, похожим
плиту необозримой могилы, с которой вечность давно стерла над-
си. Степь, только степь, и по краю ее плавные, убегающие друг
друга, отроги Гиндукуша, над ними бледное, зноем истерзанное
бо. И все-таки жизнь не вся выпита солнцем. Она только пригну-
сь лицом на пески, затаила дыхание, бесконечно смирилась. Но в
лли, в увядшей листве—везде живое. Пепельные ящерицы оставляют
песке извилистые следы; упрямые скарабеи среди золота и янтаря
скаленной дороги скатывают свои шарики. В колючих кустах шеле-
ят саранча, кузнечики дождем сыплются из-под лошадиных копыт.
воздух полон их сухой, скрипичной музыкой. Проходит час, другой
етий—время превращается в длинную, красную ленту, дорога—в
крогание и толчки сердца. Зной опьяняет, солнце нагибается так
изко; оно обнимает голову, проникает в глубину мозга, осеняет его
янными и вместе мгновенными вспышками. И тогда мне предстает
лая Азия, голая, горячая, на раскаленном железном щите.

IX.

Изредка в песках оазис: из-под камня выбегает ключ, и люди и
.вотные жадно приникают к его певучей, прозрачной, целомудрен
й поверхности. После короткого отдыха трубит гортанный рожок.
кая кавалерия афганцев обгоняет пурпурные носилки, которые ме-
енно и ритмично покачиваются между двух лошадей. Вьючные кони
пью скованные друг с другом, продолжают свой путь, и только
редка какой-нибудь горячий жеребец с нетерпеливым ржанием
ырается сбросить со спины гнетущий ящик. Постепенно долина сме-
ется холмами, и первые всадники вступают в горный перевал. Дикая
прелестная картина, и горы как-то неожиданно, почти внезапно
еняют плоскогорие.

Лава, железо и коричневый мрамор висят зубчатыми глыбами
.д краями прохладных пропастей, вдоль которых солнце медленной

золотой завесой опускается в неизмеримую глубину. Их непередаваемый беспорядок и величавая стройность не изменялись со д мироздания, они лежат здесь, на краю мира, точно в никому неведом мастерской, приготовленные для постройки, для творческого ак который не совершился. Вот над пустотой, пронизанной полуденн жаром, прямые и мощные столпы: само небо могло бы покоиться на несокрушимой вершине. Вот глыбы, положенные в основание дворца, в башни, поднятые к солнцу, и не знающие головокружения на сво орлиной высоте. В минуту самого жгучего желания жить, когда го громоздились друг на друга, и среди ликований и каменного скреже строилась новая вселенная, в пламени и кипящей крови металл прошла охлаждающая смерть: все остановилось, застыло, уснуло. П лицу земли, искаженному творческой мукой, потекли ледяные руч

Лошади, осторожно ступая сухими и крепкими ногами, спус ются наконец на дно новой долины, где по каменистому ложу беж горная река. Вздрагивая ушами и глубоко дыша, они пьют чист холодную воду. Вокруг великая тишина, горные склоны снизу кажут совсем отвесными, и на одном из них, блестя повязкой из голуб эмали, того действительно неизъяснимого цвета, какой разучили приготовлять современники, высится конусообразная башня—сторо вой пост Тамерлана. Дальше, уже на краю пустыни лежит его двор преданный разрушению и шакалам. За квадратной высокой стеной груды опавших кирпичей, но внутри еще цела прохладная сводчат палата с широкими очагами, с уступами для приготовления пищи удобными сиденьями. В потолке, среди запутанных граненых свод похожих на раковины, узкие отверстия, теперь пропускающие солн ный свет и диких голубей. Раньше через них выдыхался густой и п ный запах жареного мяса, заправленного шафраном и лимонными к ками,—может быть, меланхолически-воинственные песни Саади, бря ние кувшинов и оружия. По мановению руки, длинной и желтоват с ногтями, окрашенными хиной, спешили десятки слуг, белея чалма постукивая задками изношенных, когда-то серебром вышитых туфе Несли воду для омовения, ковры для молитвы и сладострастных н горячий плов под червлеными шапками, прогуливали любимую л шадь, под белым чепраком, с ожерельем бирюзы на молочной ш И у низкой двери, ведущей на женскую половину, стоял рослый ка реец и бледнея, если за нею раздавался смех.

Издали трубит гортанный рожок, и наши лошади несколькими скачками выбираются из развалины на палящий простор. Высока пошатнувшаяся арка провожает нас молчаливым благословением: мягкие очертания—две сомкнутых руки, усталых, готовых опуститьс

Опять дорога по плоскогорию, ровному, безмолвному, горячем Одинокая деревня без построек, даже без устоев из дерева. Глин скомканная человеческими руками и высушенная солнцем. Шатры черной, прокопченой и промасленой ткани, низкие и широко разостла ные по земле. Под их сенью, в грязи и полумраке, целые семьи: де поразительной красоты, пастухи и их стройные жены, которых нище и труд освободили от чадры. В широких тазах они подносят воду кислый кумыс утомленным всадникам так же просто и величаво, к это делали библейские женщины.

Изредка колодезь, прячущий свои влажные ладони, полные ут мления и прохлады, под остроконечной каменной шапкой. Полден потом за-полдень; весь мир охвачен торжествующим солнцем, погруже в голубые и белые бездны огня. Вся земля в сладостном, смертельно головокружении погружается в золотую пустоту.

Уже не помня себя, ничего не чувствуя от усталости, приближается наш караван к подножию гор, к расселине, где источник дает жизнь нескольким деревьям и пастбищам. И тут на голом месте возникает целое чудо: нас уже ждут палатки, устланные коврами, с накрытым столом посредине.

С ржаньем и щелканьем бичей останавливаются грузовые лошади. Конвоиры, сбросив винтовки и пепельный кавалерийский мундир, превращаются в толпу слуг, быстрых, бесшумных, как духи тысяча одной ночи. Они несут кувшины с водой, ковры и веера и накрывают ужин прямо на траве, зажигаются ночные лампады: это—хрустальные тюльпаны на длинной серебряной ножке, и в матовом их пламени архаические персидские львы заносят над мягко-тлеющим фитилем свою ржавную лапу. Лагерь кострами, лампами и палатками, как сновидение, белеет и блестит средь пустыни. Падают крупные звезды, иные исходят до темных ночных деревьев, и в их дремучей листве теряются, как в распущенных волосах. Хорошо до сумасшествия!

X.

От Герата к Кабулу.

Нигде мертвое так близко не прикасается к живому.

Справа обрыв, и на дне его цветущая долина реки Гери-руд. Она вся засеяна рожью, и тысячи мелких ручьев, направленных с гор, бегут прямо по хлебным полям. Ножка каждого колоса, стебель каждого цветка, примешавшего к хлебу свой пурпур или синеву—сосет, прохладную струйку воды, опьянен едва слышной, только для него поющей струной жизни. У нас спелый урожай сух, как золото, а здесь под рожью вечная свежесть горной воды, воздух садов, звон жаворонков пополам с плеском водопадов,—вино и вода в стакане солнечного лета.

Среди безмятежных полей частые кладбища: песчаные холмы, похожие на желтые пузыри от ожога, и на них ломаные осколки камней над обломками жизней: следы старых и новых побоищ и усмиренных хазареян.

Красные, фиолетовые, бурожелтые зубцы совершенно голых гор стоят над долиной двумя стенами. Обе в древних коронах, обе близко к небу в порфире бессмертия. Но когда-нибудь эти два хребта обрушатся друг на друга и тогда не станет голубой реки Гери, которая между ними лежит как свистящий, стремительный, пенистый меч.

Тропинка бежит под нависшими валунами: они, как исполинские каменные жабы прижались к краю обрыва, готовые прыгнуть. За ними целое множество мягкотелых туфов, добрых, застывших на своих местах, точно собрание. И вдруг—кровь. Где-то в глубине пластов лопнули гранитные жилы. Может быть, сердце, оживлявшее семью великанов, переполнилось огнем и лавой и разорвалось на каменные брызги. Или утомленные вечным окостенением, горы захотели ожить, итти, и, оторвав от земли уже мертвое тело, изошли кровью, пораженные новым, еще более немым покровом. Но все кругом обрывы, скалы, пыль и щебень, все пропитано пурпуром, все красно и розово, как предсмертная пена, и даже мазанки пастухов—из глины, смешанной с драгоценной металлической киноварью. Из такой глины был вылеплен человек.

XI.

Вершины. Их покатые плечи в цветах едва видимых, но крепко и нежно пахнущих. Их скаты блестят слюдой, малахитом и мрамором Ветер, пробегающий здесь, чист и холоден, как ключевая вода. Но сами они—неописуемы. Нет на человеческом языке таких слов, чтобы показать, как они все сразу подымаются к небу, более дерзкие, чем знамена, более спокойные, чем могилы; громадные, каждая в отдельности, и больше, чем океан, больше всего, что есть на земле великого—когда они вместе.

Может быть Гете, стоя на безоблачной высоте, над которой спокойно плавают орлы, увидел бы и выразил все солнце, пролитое на металлические латы камней, эти дымки опалового, жемчужного и пепельного цвета, из которых зной и свет подымаются в вечность, как неслыханные цветы—и легче, чем медузы. Или дикарь, герой, победитель: он бы взглянул и издал свой бранный клич, это смеющееся рычание, бесплотное и сладострастное, в котором все упоение при виде земли, которой можно обладать, все ненасытное сожаление о том что ею нельзя владеть вечно.

XII

Среди пологих холмов встретили большие стада овец—маленьких, на крепких игрушечных ногах, мохнатых. Встретили домовитых сусликов, вечно мучимых ненасытным любопытством, и ящериц с квадратной головой и много птиц, почти синих. Встретили и семейства гвоздик, которые объединились, срослись в общий корень и покрылись колючками, но запах у них все тот же, полевой, как у девушки.

Был еще белый шиповник, мох в розовых цветах и бледное небо как всегда, на большой высоте. Все это почти невесомо, почти без запаха и плоти. Закутанные, как в легкий иней в дуновении мяты и лаванды, горы все-таки бесплодны, наги и огромны.

Последние девять верст вдоль реки, имеющей зеленовато-мыльный цвет, летим как безумные по совершенно белым известковым скалам. Песок не может быть более желтым, скалы не бывают белее этих, камни острее, и не может быть небо из лучшего золота, расплавленного до того, что оно стекает на горные кряжи ослепительными потоками, не имеющими окраски

XIII.

На одном из поворотов тропы обгоняем барана, которого терапский генерал-губернатор посылает в подарок эмиру. Животное едет в особой клетке, перекинутой через спину вьючной лошади. Между прутьев выставляется только его великолепная, обезображенная голова: вместо рогов костяная шапка, два шара сросшихся над его желтыми глазами фавна. Шелковистые длинные уши и доброе вытянутое лицо совершенно не согласованы с шлемом. Он в нем, как ребенок в шапке взрослого. Сознавая нелепость своего положения, баран не ест и худеет и поэтому сегодня вечером пошлют в горы за веселой разговорчивой козой—может быть, она поможет. Двадцать слуг дрожат за здоровье печального барана, перетирают его ячмень, чистят ошейник с бубенцами и убирают помет. Все они будут биты до полу-

смерти, если с ним что-нибудь случится. Так, по дороге, проложенной Тимуром и Александром и ставшей кровеносным сосудом, в котором смешалась ненависть двадцати завоеваний,—шествует больной и капризный баран, и встречные пастухи и крестьяне сгоняют своих ослов в арык, чтобы уступить ему дорогу. И когда они стоят, униженно и подозрительно озирая наш караван, отчетливо видны их профили македонских всадников с примесью персидской и еврейской подлинности.

XIV.

Теперь о рабате. По всему пути, на расстоянии тридцати—пятидесяти верст друг от друга, лежат старинные гостиницы, когда-то крепости. Да они и сейчас сохранили воинственный вид; расположенные на скалах в неприступных гнездах, узких и каменистых, как западни. Квадратная стена, ров, узкие ворота, в которые вместе с караваном вливается студеный ручей, — все это как тысячу лет тому назад.

Конный двор отделен внутренней стеной от жилых помещений. Словом, каждый квадрат земли, каждую сторожевую башню можно защищать отдельно. В дальнем углу, вокруг особого тоже крепко огороженного двора выведена сводчатая галлерейка и тут, под арабскими нишами, пять или шесть комнат, отводимых путешественникам. Стены келий еще темны от зимнего очага, и они слепые, без окон. В потолке круглое отверстие. Ночью сквозь него на пестрые ковры льется лунный свет и неопределенное сияние азиатского неба, утром золотой столб света, пыли и розовых листьев зари.

Посредине ковра зеленый бархатный тюфяк. На нем одеяло серое, на нем розовое, на грязно-розовом грязно-фисташковое, а сверху хаяуми сефир-санб*, снедаемая отвратительными „верблюжьими" клопами. Скинув туфли, входят черные добрые разбойники—слуги с чаем. Сквозь тонкие пестрые чашечки (летом у акаций бывает такой тонкий, ломкий и прозрачный стручок) просвечивает румянец и узор ковра.

Странные люди—эти афганские слуги. Сами они лишены всяких потребностей—им ничего не надо, кроме куска сурьмы, чтобы подвести глаза, хорошей лошади и ружья, из которого они могли бы всласть подстреливать иностранцев, попавших на большие дороги Афганистана,—и вот каждый из этих пастухов, наездников и садоводов оторван от седла и оросительного канала, и обучен нелепому, фантастическому ремеслу, не имеющему ничего общего со всей его жизнью. Например, Фаизмамед—великан и красавец, подает к столу солонки, только солонки, ни больше и ни меньше. Он за них отвечает, они въелись в его привычки и поведение, эти дешевые базарные штучки со своим никкелем и мелкими дырочками. Худодад—вообще уже не Худодад—он тарелки, которых сам, правда, не употребляет, но которые заполняли всю его жизнь то сальные, то чистые, то сложенные дюжиной, то недостающие тарелки. И ничего, кроме тарелок, навязанных ему чуждой культурой и чужими удобствами. Худодад не может, не видит, не понимает. Вы можете со слезами на глазах просить у него стакан воды—он придет с лицом, сосредоточенным и пустым, как у загипнотизированного и принесет свою проклятую тарелку. Вообще мы живем среди наших слуг и конвоиров, как личинки в муравейнике. Они схватывают нас и несут на солнце, когда надо, кормят с усиков, защищают и переносят с места на место, повинуясь инстинкту, бессмыс-

ленному относительно каждого муравья в отдельности, но охватывающему весь муравейник мудрыми узами привычки и единообразия. И точно так же, как Худодад относительно своих солонок и тарелок, поступает со своим полем любой крестьянин, любой пастух долины Гери-руд. От дедов и прадедов ему достался клочок земли, орошаемый непостижимо мудрой канализацией с целой системой плотин, водопадов, устий и истоков. Он никогда не знал и не узнает смысла и божественного происхождения воды, дающей ему хлеб и виноград, но как правоверный свою молитву лениво и механически исполняет великий обряд орошения. И земля родит, пока где-нибудь в горах не обрушится античный виадук, и песок не засыпет последние остатки давно исчезнувшей высшей культуры. И никто не поймет смысла и причины бедствия, ни у кого нет ключа к старому знанию, и поля чернеют, и каналы сравниваются с землей пустыни и соседнего кладбища. Худодад, у которого разбита тарелка или не достает солонки, перестает быть человеком.

Один рабат похож на другой, и каждый вечер после трудного дня как будто вступаешь в те же стены, в ту же глиняную коробочку-комнату. Одинаково картавят дикие голуби, звенят колокольца отдыхающих лошадей, трубит вечернюю зарю рожок кавалериста. Тихо бесконечно, горы висят над нашими стенами, и на лицах и во сне остается спокойный загар, отсвет их мощных, коричнево-лимонных склонов.

Вечер—время чая, походных дневников и писем.

Так как мы—„сефир-саиб" (послы), то всякая работа по местным *понятиям* для нас унизительна, кроме письма, конечно. И к моей рукописи солдаты-крестьяне питают такое же уважение, как к старым могилам, убранным обломками греческого мрамора и рогами горных коз, или тем неразгаданным глыбам, которые иногда срываются с горных карнизов и падают на дорогу, все в тонких рисунках и точких письменах.

XV.

Сквозь дремоту, усталость и лень проникает охлаждающая струя: пыль, смешанная с водяными брызгами. Это водолей, комичным и несколько двусмысленным образом держа перед собой устье бурдюка, поливает наш двор. Его складчатые синие штаны завязаны у голых щиколоток. Свободный конец тюрбана, он же полотенце, обмотан вокруг сухой черной шеи и на него спускаются концы длинных грустных усов. Водолей получает 4 рупии в год, его кормят впроголодь, и ежедневные переходы впереди каравана он совершает верхом на осле, который пронзительно и похотливо визжит, показывая из-под вьюка черные уши на белой подкладке. Его путь украшают остовы лошадей, павших на крутом перевале, ободранных, красных и страшных с уцелевшими копытами на красных голых ногах, и кучи лошадиного помета, уже снедаемого жуками и мухами, едва он коснулся пыльной тропы,—так жадно здесь мертвое проглатывает куски жизни, отставшие от своего длинного, бесконечно изнуряющего каравана.

Водолей — самое низкое лицо на рабате, ему не делают селяма ни заведующий чаем, у которого за грязной пазухой хранится дюжина красных чашек, вложенных друг в друга розаном, ни конюх, намазывающий глиной рога эмирского барана, ни собиратель сухого помета, которым зимой топят очаги.

XVI.

Альпийский холод. Дорога вьется по вершинам, соединенным высоким плоскогорьем, и по внешнему виду пологих пирамид нельзя угадать, что они—корона цепи 14.000 фут вышиной. Холодно. Суровая, металлическая трава шелестит, как венки на похоронах, и только кое-где на серых алтарях высоты тлеют желтые свечи с слабым, как бы выветрившимся дыханием—единственные цветы мертвых гор.

У ручьев, выложенных изумрудным бархатом, когтистые и седые развалины македонских крепостей, охранявших горные проходы и прохладные пастбища, так похожие на гористые луга северной Греции.

Высоко в бледном небе дерутся белые, как метель, орлы.

XVII.

Все тот же возвышенный холод.

Горы обрызганы темной росой редких трав, они пологи и песчаны. Но везде из-под зыбкой пыли выступают камни и на них страшно смотреть,—так они бесконечно стары, так разъедены и разрушены временем. Уцелело только то, что действительно вечно. И обглоданные, источенные веками, они сами еще больше, еще сильнее хотят истлеть. Кряжи, острые, как нож, отделяют почти солнечную пыль, в течение столетий раздирают свои крохотные трещины, разверзают их немыми усилиями, крошат и сбрасывают пепел с зазубренных краев, как остатки иссохшей кожи. Точно эти валы окаменевшего океана бесконечно устали быть и, раздавленные собственной тяжестью, ищут соединения с легким прахом, мягко засыпающим их склоны. Нет молодых камней, нет новых громад. Нежнейший желтый мрамор и розовый, и серый с черными венами,—все они хранят и расточают блеск, приобретенный на заре мироздания, они вянут и потухают из века в век, эти гранитные цветы, эти букеты из мрамора.

И дни, бегущие на ровной, старой высоте, тоже не новые. Все они уже были и облачные, и ясные, все они выходили из щелей и оврагов, из сырости бешеных горных рек, и тысячи раз умирали на зубчатых, голых хребтах, и, уходя в вечность, каждый вечер говорили земле:—Я вернусь опять, пока ты не разрушишься до конца, пока последний из твоих камней с радостным вздохом не обратится в прах.

XVIII.

Там, где стрела солнца крепко вонзила золотое острие в мягкую пыль; вон там, между кусками лавы и кустиком лаванды, курится легкая, седая струйка тепла. Песчинки пляшут и пляшут в напряженном эфире, который на месте образует тонкую, вертящуюся воронку. В нее вливается солнце, солнце ее переполняет и уже течет через бирюзовые края, как горячее вино из тесного и захмелевшего сосуда. Волчок из пыли вращается все быстрее и вдруг это уже пляшущий костер, и костер продолжает неистовый, круговой, пылающий танец. Он движется, бежит, из крутящегося огня подымается седая колонна, обезумевшая, наклоненная башня с дымными знаменами на воспаленной вершине. Основание ее скомкано; серый колдун со связанными ногами несется в гору; дерево, растущее ежеминутно из огня в пустоту неба, и в безветреной буре развивает свои ветви в дымные, клещущие, согнутые в золоте луки.

XIX.

Ночлег. Тени лежат на почернелом потолке, и свеча под желтым колпачком шевелит и двигает их по ветхому своду, как полководец свои полчища.

Одна доска двери выбита, и в эту дыру видно ночь и небо. Я лежу очень тихо и по замедленному сердцебиению, по странным спазмам чувствую, что жизнь мою сейчас переполнит то немое и безымянное чувство, блаженное страдание, у которого самые остро-режущие прозрачные и сладостные края.

XX.

Взяв приступом последние перевалы — скалистые, цветущие самыми яркими и разнообразными породами камней, дорога, наконец спустилась на дно Кабульской долины. Это самая цветущая и оживленная часть Афганистана, по крайней мере его юго-восточной части Шоссе покрыто тенью богатых садов, и скалы, ее обрамляющие, только своим багряным цветом напоминают дикие застенки горных перевалов. Несчастные лошади, привыкшие переходить под палящим зноем тысячефутовые кручи, исхудалые, как скелеты, шагавшие с опущенной головой и огромными натертыми ранами у передних ног, теперь оправились, пошли веселее, бодро покачивая пятипудовые яхтаны. Все чаще навстречу нам идут караваны верблюдов, груженые хлопком. За гладкими, как бы голыми матерями, у которых при каждом шаге мягко раздается широкая сильная ступня, похожая на исполинскую руку, бегут тонконогие верблюжата, мигая темно-голубыми, влажными глазами новорожденных. Среди зелени высоких, узеньких тополей мелькают пестрые одежды купцов, свесив ноги, медленно едущих на сильных мулах или неторопливых лошадях под тенью старого, грозно растопыренного черного зонтика. Обгоняем несколько женщин, идущих с открытым лицом, это крестьянки со смуглым, низким лбом, глазами и профилем античного еврейского типа. Круглые, костлявые головы горцев и узкие глаза цвета янтаря и заржавленного железа здесь в Кабульской равнине уступили место мягким овалам и бледности породистых хищников. Люди красивого крупного сложения. Особенно хороши дети. Они, как темные птенцы, унизывают глиняные стены домов, блестя агатовыми глазами из-за их зубцов и башенок.

Возле горы, покрытой белыми обломками античной крепости и кубическими постройками афганской деревни, в роще из странных деревьев, покрытых узкими, тусклыми, как бы шелковыми, листами, расположены священные пруды. Бассейны не особенно глубоки, и наполнены холодной, прозрачной водой горного ручья, сохранившего голубоватый цвет снега. К их поверхности ниспадают ветви пепельно-зеленой ивы, где покачивается клетка добродушной и крикливой перепелки—любимицы всех афганских садов и базара. Она пронзительно и все же музыкально покрикивает, обчищая о прутья свой коралловый клюв. Изредка какое-нибудь зерно падает в воду, и тогда вся ее светлая поверхность вдруг оживает, темнеет и бросается к одному месту, отбрасывая на дно тысячи темных теней, свинцово-синих стрел. Это форели священных прудов. За каждой крошкой хлеба их неуловимые стада бросаются так стремительно, что вода кажется собранной и завязанной в их кишащий переливчатый узел

Свесив одну ногу к источнику и положив руку серпом на согнутое колено другой, жнец, отдыхающий от работы, сидит совсем неподвижно. Он дремлет с открытыми глазами или погружен в напряженную мечтательность, для которой быстрые, хищные рыбы в холодном зеркале чертят серебряные лезвея.

Женщина, оставив на верхней ступеньке свои туфли и отстранив от лица покрывало из синего полотна, моет круглый кувшин, потом наполняет его и, не спеша, удаляется. Все вместе—спокойствие, шелест, плеск и тепло, смягченные трепещущей тенью.

Жатва между тем уже достигла в долине того напряжения, которое делает ее похожей на старый языческий праздник. По межам, которых еще не коснулся серп, движутся все те же, собранные на затылке в тысячу плавных складок, покрывала женщин. Занятые совершением неведомого нам обряда, они не опускают чадры, и в синеве одежды и золоте хлеба видны их сосредоточенные, темные и правильно-архаические лики. Они идут, изредка нагибаясь, и каждая из этих матерей, освящающих поле, собирает в своей руке пучок самых крупных и червонных колосьев. Со снятых полей ветер доносит щекочущую пыль соломы и зерна. Здесь хлеб сложен огромным костром, на котором пылает весь огонь плодородного лета. Черные волы, заменяя собою цепы и подгоняемые всей семьей, медленно переступают круг за кругом, и топчут снопы, из которых течет зернистый дождь. Жницы, отделяя солому, встряхивают ее высоко над головой, и сквозь янтарную и сияющую дымку сухой пыли и солнца просвечивают их синие холщевые покрывала и красные шаровары. Жар в зените. Утомленные стада прячутся в тени частых, но еще юных и пронизанных светом тополей, которые образуют аллею не вдоль дороги, а вдоль ручья, влагу которого они и пьют и охраняют. На самом солнцепеке, среди местности, совершенно пустынной, сереют прижатые к земле постройки. Ветер издали доносит их запах, запах нагретой глины и абрикосов. Старик, безразличный ко всему, разложил в пыли свои огненно-желтые товары.

Вот, наконец, и последний рабат. Лошади ускоряют шаг ввиду его квадратных стен и башен, равномерных, землистых башен, какие воздвигают термиты. В последний раз, — рожок у ворот, ведущих тлого вниз, точно в глубину. Два солдата, приложившие руку к запыленным вискам. Пронзительный крик барана, которого режут на ужин, облако пыли, поднятое ветром из-под стреноженных, непрерывно кующих грузовых лошадей: все, что составляет в пустыне покой, отдых, почти счастье.

XXI.

Еще очень рано, очень тихо. Садовники поливают свои клумбы— тысячи пестрых, незатейливых, но очень душистых цветов, посеянных прямо среди дикой травы. Возле прудов моются усталые солдаты, караулившие нас ночью, и без меховых шапок и мундиров видна вся их старость, похожая на пепельное и голое разрушение камней: их служба обязательна и пожизненна. Еще молчит в своей клетке, подвешенной к яблоне, красноклювая перепелка. Ночью ей не дает покоя электрический фонарь, на который она смотрит бессонными, кровавыми глазками, и вероятно проклинает цивилизацию своей дикой родины. Среди зелени крыши ближней деревни, но туда не стоит смотреть. Там начинается глиняная нора, полная первобытной нищеты и грязи, которой все равно нельзя коснуться. А вот мой тополь. Он

здесь, совсем близко, с белым стволом, почему-то раздвоившимся к верхушке, зеленый, полный движения и говора—по ночам он притворяется белой худенькой березкой, и тревожит и мучит знакомым трепетом листьев, — течением лунного света вдоль узких ветвей. Но о России я не хочу, не смею думать. Голод!—радио уже принесло это проклятое слово, и среди сытости и рабьего услужения оно бьет нас по щекам. Все бросить и ехать домой. Но, ведь, нельзя? И я каждый день беру свой кусок сладкой баранины, которую подает любимый камердинер эмира — старая, дрессированная обезьяна в белых перчатках ..

Мы приехали!

„Православные“

Рассказ С. Подъячева.

I.

— А ты вот что, скажу я тебе, сходи ка попытай в Липовку... там в трех дворах есть... я знаю и противу прочих дешевле...

— А у кого?

— А у Осипа у Гущина есть, у Юфима у Ободэвого есть, да у церковного у старосты Петра Иванова.

— А продадут?

— Попытай... должны словно бы продать. Ты не говори, кто ты. Да, правда, как не говорить-то: тебя все знают...

— А что?

— Да ведь ты кто? Как с тобой дело-то иметь. Учены люди... напуганы... настращены... боятся...

— Да что же я—чорт, что ли, что меня боятся-то?

— Чорт не чорт, а - все-таки. Опасаются, говорю, вашего брата коммунии... Ну, да увидишь... Сходи...

— Да небось дорого?

— Да уж знамо не задаром... цену скажут... Пойдешь?

— Пойду, конечно... Завтра же утром и пойду...

— С Богом...

Излишне, конечно, пояснять, что разговор этот происходил „о хлебе насущном“.

Хлеба у меня своего нет. Сеять и обрабатывать его мне самому не под силу, ибо устарел, а сыновья на службе—красноармейцы. Вот и бьешься и ищешь и ухитряешься, где бы раздобыть „по сходной цене“ какого-нибудь зерна...

А как оно, это зерно, добывается иногда, я и хочу по силе возможности рассказать здесь...

По совету приятеля „благодетеля“ я на другой же день отправился, захватив деньжонок, по его указанию, в деревню Липовку.

Итти надо было до этой Липовки верст за восемь. Пошел я поутру, захватив с собой мешок, не по дороге во избежание встреч и вопросов: „Куда идешь? Зачем“ и т. д., а напрямки, сначала яровым полем, а потом смешанным мелкорослым березовым и осиновым лесом...

Погода стояла ясная, солнечная. В лесу было тихо и печально. Чувствовалось во всем скорое приближение осени и оно уже было разлито здесь и нагоняло на душу ту особенную щемящую грусть

и жалость к прошедшим дням, к молодости, ко всему тому далекому, милому и радостному, что было когда-то и что уже не придет и не возвратится никогда!

Падали сами собой, без ветра, золотые кружочки березовых листьев, пожухла и побурела местами нескошенная трава, не пели и не чирикали птицы и не пахло как в летние дни цветами и земляникой. Но все-таки хорошо еще было в лесу и, забывшись, странно и дико было опомниться и сразу, вдруг представить себе то, что есть сейчас, куда и зачем иду и вообще весь тот ужас и все то бедствие, которое беспросветной тучей нависло над родиной.

Лесом я шел не торопясь и долго. Пройдя его, вышел к оврагу, за которым было поле с хорошо уже зеленевшей озимью. За этим полем видна была деревня,—та самая Липовка, куда я держал путь..

К деревне подошел от овинов... На гумнах кое-где стояли еще необмолоченные скирды и глинистая глянцевитая почва на току блестела под солнцем, точно покрытая лаком... Около соломенных ометов копошились куры и, треща крыльями, взвиваясь, перелетали с места на место стайки сизых голубей.

Крайний овин от деревни, мимо которого надо было пройти мне, „сушился", и крепкий с запахом хлеба дым проникал в пазах между прокопченных почерневших бревен и вился сквозь соломенную покосившуюся на бок крышу.

В передовиннике сидели и что-то делали три подростка девочки. Увидав меня и пропустив мимо овина, они вдруг тоненькими голосами дико и враз закричали, запели:

Меня тятя не ругает,
Меня мама ничего:
„Гуляй, дочка до бела
Я сама така была!"

Я остановился, потом подошел к ним и спросил:

— Где изба церковного старосты Петра Иваныча?

— Она с того краю,—указала на противоположный конец одна из девочек,—большая-то... Вторая от краю... Крашеные окна.

И, оглядывая меня любопытными глазенками, спросила:

— А тебе зачем он?

— А уж это дело мое,—сказал я и как только отошел от них они опять и еще громче закричали пронзительными голосами, мне вслед какую-то гадкую бессмысленную циничную „частушку".

II.

По указанию девочки, я сразу нашел избу Петра Иваныча, да ее и нельзя было не найти или не заметить, потому что она была самая большая во всей деревне, новая, крытая под железо с расписными, крашеными желтой краской окнами...

Перед избой, через дорогу, насупротив окон, была калитка, дверка в яблоневый идущий под горку на южную сторону сад-огород...

Изба разделялась посредине на две половины—на два жилых помещения: одно—летнее—побольше, другое—зимнее—поменьше.

Но жили, как я это сразу заметил и догадался, и зимой и летом в одном, которое поменьше—в зимнем.

Я подошел к окнам, которые были открыты, и еще издали, не доходя, услыхал несущийся в них ребячий пронзительный крик-вопль...

В открытое окно с заваленки я увидал, что крик этот испускает маленький, пузатый большеголовый мальчишка, которого, приподняв на нем рубашенку, стегает какой-то тряпкой здоровая, толстомордая, покрасневшая от злости баба.

Мальчишка, раскрывая рот до ушей, вопил благим матом, а баба стегала его и приговаривала:

— Замолчи, дьяволенок! Замолчи, дьяволенок!

Другая баба постарше этой, худая и высокая, наклонившись над корытом, около печки, стирала белье, а с печки, выставя оттуда голову, глядел древний, вероятно, уже забравшийся сюда совсем, навсегда до смерти, дед и, шамкая беззубым ртом, странно, точно в пустую бочку, как филин из лесной „чапыги“, протяжно говорил, „ухал“ все одно и то же:

— Лахудра, брось младенца! Лахудра, брось младенца!!

По полу избы бегал, хрюкая, маленький белый с завернутым кренделько̀м хвостиком поросенок.

Постояв под окном и видя, что меня не замечают, я громко кашлянул и, когда на этот кашель стиравшая белье баба обернула в мою сторону голову, сказал:

— Здравствуйте! Хозяин дома?

Баба, стиравшая белье, обтерла руки концом подола и подошла к окну, а та, которая стегала мальчишку, перестала стегать его и уставилась на меня большими, круглыми с выражением злобы глазами.

— Тебе кого?—спросила подошедшая к окну баба.

— Хозяина.

— А на что он тебе?

— Надо.

— Нет его!

— А где же он?

— Не знаю!..

Я молчал. Она тоже молчала, разглядывая меня, и потом спросила:

— А ты чей? Откуда? Чего тебе, самдели, надать-то? Зачем он тебе?

— Да надо... по делу по одному, сказал я.

— По какому по делу? Говори... все одно... я его жена...

— Да нащет хлебца я... мучки не продадите ли?—точно извиняясь перед ней и конфузясь чего-то, сказал я.

Она тоже в свою очередь, точно испугавшись этих моих слов, замахала руками и закричала:

— Какой тебе мучки?! Что ты это... Господь с тобой! Какая у нас мука? Самим впору... Вот богачей нашли!.. Расславили... Нету! нету! нету!.. Иди с Богом откеда пришел!!

— А мне сказали, есть у вас... продаете...

— Кто тебе сказал? Какая это сволочь тебе наговорила? Плюнь ему в бельмы! Мы не спикулянты... Ишь, ославили... Баржуями сделали... Нету!.. Ступай с Богом!..

— Что ты его гонишь-то?- вступилась в разговор другая,—та, которая хлестала мальчишку, молодая баба.— За глотку вить он тебя не берет... Что ты никому взайти не даешь?.. Почем ты знаешь—может у тебя нету, а сам даст.

— А тебя с языком-то просили здесь?—обернулась к ней говорившая со мной баба,—сунулась сучка! Спрашивали? Ко всем бочкам гвозды! Кому знать-то лучше: тебе али мне? Чай я здесь хозяйка-то, а не ты... Как по-твоему, а?

Молодая баба не ответила ей на это и, обратившись ко мне, сказала:

— Абожди чуток...Я самого позову... Он никак на гумне...Сейчас я!..

Она вышла из избы ко мне на улицу и, перейдя дорогу, отворила дверку в калитке и крикнула:

— Франца!!

— Го-о! - раздался откуда-то из садочка ответ

— Хозяина не видал?

— Не-е-е!!

— Куда ж это его черти унесли?—недоумевающе вопросительно, глядя на меня, сказала баба.

Я пожал плечами и спросил:

— А это у вас кто же?

— Австрияка... посля войны... пленный... прижился у нас... Не идет. Некуды ишь ему... работник,—ответила она и добавила:—Погоди чеся... постой... Я сбегаю в одно место... Не тама ли он...

Она ушла, оставив меня одного у отворенной в садик дверки. От нечего делать и чувствуя, что поход мой сюда навряд ли увенчается успехом, я закурил.

В это время из глубины сада вышел ко мне, почесываясь, здоровый, коренастый, плечистый австриец и, видя, что я дымлю, усмехнулся и, кивнув на оконца избы, сказал, коверкая слова:

— Ни-и дозволяйт курыт!!

И действительно, как бы в подтверждение его слов, из окна высунулась та, стиравшая белье бабенка и заворчала:

— Ходят тута неизвестно кто... курят... Шут вас носит! Шли бы курить-то где в другое место, а не здеся...

Я молчал. Австриец отошел...

В садочке под яблоней, недалеко от калитки и от того места, где я стоял, устроена была беседка-сторожка. В ней видна была постель, валялось на скамейке ружье, стоял столик—на нем газета... Вокруг беседки на яблонях висели кое-где не собранные еще яблоки и беседка, как я догадался, служила местом для сторожа австрийца, который только что отошел от меня...

Ушедшая куда-то искать хозяина баба пропала... Мне надоело ждать и я было направился к беседке, чтобы присесть около на скамейку и подождать еще; да не успел сделать трех—четырех шагов, как был остановлен закричавшей из окна и, вероятно, наблюдавшей за мной бабой.

— Куды это ты пошел то? Чего тебе таматко надыть? Чего забыл? Не ходи!.. Нельзя!.. Выдь вон из саду!.. Жди, коли надыть, здеся, а тама тебе делать нечего!.. И шел бы отседа... Сказано, вить, нету у нас никакой муки... Жди не жди—нету! Чего пристал... в сад лезет, а тама яблоки...

— Что ж я их у тебя съем, что ли?

— Мы уж учены... Знаем!.. Нонче как верить-то? Народ-то какой пошел... машенник на машеннике... грабители. И Бога-то и того говорят нету... Тьфу!..

— Кто говорит?..

— Да вот таки, как ты, франты... коммунисты... Господь-то и не дает вам за это ничего...

Ушедшая в поиски за хозяином молодая баба, наконец, возвратилась.

— Ждешь все?—усмехнувшись, сказала она мне,—нашла... нашелся... отыскала... идет сейчас... Я туды, я сюды,—продолжала она,—ищу его, а он, не будь глуп, забился в омет в солому, спит тама на солнышке, задеря бороду... Разбудила... Злю-ю-щий раззлющий пад-

мялся!.. Изругал меня всячески, а мне наплевать! Очень-то я его испугалась! Эва они у меня где оба с женой-то сидят... Хы, хы, хы! да пра, ей-Богу!.. Вон он... лезет, чортушка... возьми его за рубль двадцать... Захотел ты у кого купить, у чертей!.. Да они оба по ветру сходют, поглядят: в квас не годится ли... Хы, хы, хы! ей-Богу! Нешто у них, у чертей, купишь!.. Возьми вон его... вон он!..

Из глубины сада, переваливаясь с боку на бок, как хорошо откормленный селезень, без картуза в одной рубахе, в опорках на босу ногу, подошел к нам сам хозяин Петр Иваныч...

Судя по седой бороде, по „тараканьему бегу", как называют в народе плешь на голове, годов этому Петру Иванычу было немало но телом он мог еще, так сказать, постоять за хорошего молодого.

Со сна он, видимо, был сердит и не в духе.

— Н-ну, кому я тута понадобился?—спросил он, глядя на меня,—только, господи благослови, ляжешь, думаешь: отдохну, сосну... ан не тут-то было: кого-нибудь да уж леший, чисто вот на смех, нало—принесет!! Ну-у, что надо? Ко мне, что ли?..

— Да.

— Зачем боле?

Я хотел-было ответить „зачем боле", да не успел, потому что сделала это за меня баба, глядевшая из окна избы.

— Да вишь ты,—закричала она,—ващет муки пришел... „продай муки"... Богачей нашел!.. Я говорю: нету!.. Нет, не верит... тебя ждал... Скажи ему сам, кака у нас мука... Ходют вот эдакие. Славют везде... Чего и нету-то наговорят; а опосля придут да еще прибьют, придушат ни за что... Богачами расславили... Насказали чего и нету... Убьют—того и жди!..

Пока она кричала это, Петр Иваныч слушал и, немного прищурив левый глаз, глядел на меня, а когда она кончила, сказал:

— Та-а-к!.. понял половинку!.. Хлебца тебе? Мучицы... Гм! Та-а-к! Сколько?

В тоне его голоса слышалась нескрываемая язвительная насмешка. Я промолчал.

— Мо-о-жно!—продолжал он все в таком же духе.—Да-а-м!.. Я тебе дам, а ты мне?.. У меня вот сапоги плохи... неси сапоги, а я тебе пудик хлебца... Хы, хы, хы!.. Товарообмен, значит, по-вашему по-нонешнему произведем... Тащи сапоги!..

— Я не сапожник...

— Не сапожник... Гм!.. Та-а-к!.. А кто же ты? Пастух?

— Нет...

— Ну, дык дурак, коли не пастух... все едино... За что я тебе должен хлеба давать?

— За деньги!

— Тьфу!.. за деньги!.. А ты спроси: нужны они мне ваши чортовы деньги-то?.. Ты мне, небось, настоящих царских не дашь, а этими, вашими, бумагой-то, ж... подтирать... Мне сапоги нужны, а не бумага... бумага у меня есть...

— А, дурак, старый чорт!—опять раздался из окна бабий голос.—Деньги у него есть!... бахвал! Трепло!.. Другой и взаправду подумает есть... Трепли помялом-то... Натреплешь на свою голову!..

— Значит нету?—спросил я.

— Есть.

— Не продашь?

— Нет.

— Почему же?

Самому нужна.

— Да у тебя много, а у меня нет.

— А мне какое дело і Христа ради подам тебе, а за деньги несу.

— Я не нищий.

— А не нищий, так иди со своими деньгами ищи в другом месте у меня нету...

— Ну, а если тебе что-нибудь понадобится, да ты ко мне придешь а я тебя эдак же вот налажу, как ты меня?— сказал я.

— Ну к, что ж... так и надыть... „налаживай"... не ходи попче—и с так ты меня укусишь, а я тебя вовси живьем съем.. Всяк сам об себе должен заботу иметь... Я, вить, не отказываю,— продолжал он, немного помолчав,— кто просит Христа ради, подаю... Я в Бога верю, в Исус Христа... На мне крест есть... православный я христианин... по вашему не живу, кык вы вот все сверзили... Думали: ничего сделали... воскресли! Ан Господь-то и наказал... не жрамши все и ходите... В непотребное в какое нибудь, скажем, место, к девкам идете — отбою нет, а в храм в господний, в праздник в престольный а то на аркане не затащишь... Нет никого! А придут, дык норовят и тех какую нибудь фальшивую негодящую марку сунуть Богу-то в кружку... Эна их у меня накопилось — куча! На-а-воз!.. так по этого, за что вам Господь пошлет? Ходите вот не жрамши... дохнете а все свое не бросаете... нехристи, богоотступники... Тьфу! Провалились бы вы все скрозь землю с порядками-то с вашими!.. Нет у меня муки... Не продаю. Избаловались на готовеньком-то на всем... привыкли задаром-то получать... гра а-бители!.. Не-е-т, а ты погни горб-то! Поклапяйся сохе-то матушке в задние-то копыта — узнаешь, на чем он хлеб-то растет.

— Да это я все и без тебя знаю.

— Знаешь, а идешь просить... людей на грех наводишь...

— Да ты сам на грех идешь... Наговорил, чего не надо... Я прошу муку, а ты бога приплел... „Нехристем" меня обозвал... А ведь сказано: „не осуждай".

— Да я к примеру...

— Так ты на себе примеривай хомут-то этот, а не на мне... Фарисей, брат ты, Петр Иваныч, а мне сказали, „человек хороший, староста церковный, богобоязненный, добрый православный, по-старому живет, по-хорошему, бога помнит". А ты вон сразу осуждать начал, смеяться... Прощай! Найду, может, и без тебя какого нибудь „нехриста" подобрее... Всего хорошего!..

— Постой, постой! — заволновался он, видя, что я хочу уходить,— обожди... Что ты это? Слова сказать нельзя — сичас на дыбашки!.. А ты должен выслушать... я постаре тебя... Ты должен все путем разъяснить — как и что и почему, а не с бухту барахты: „давай муки!" „Фарисеем" обозвал... у меня, вить, не лавка... не торгую я... Самому надать... Семья, что ли, у тебя? Дети?

— Да уж понятное дело не один.

— Да как же ты это без хлеба то, а? Чудно! Небось на службе тоже... исполкомщик... коммунист... вся, вить, влась ваша: „бери... тащи с православных"... Задушили нашего брата,— не знаешь, чего давать... В карман все себе, мошенники, норовят... гра-а-а-бители!!

Он помолчал и потом сказал:

— Пудик я тебе так и быть уступлю. Боле не дам, а пуд дам.

— Сколько возьмешь?

— А это уж дело мое... Ты бери, а про цену я знаю... цены Бог строит... Мешок есть?

— Вот он...

— Пойдем в амбар!

Но итти нам не пришлось и этот его „порыв“ пропал даром...

Слушавшая, очевидно, из избы весь этот наш разговор, баба, как только он сказал „пойдем в амбар“, выскочила к нам на улицу и страшная, как ведьма, заголосила:

— Нет, не пойдешь! Не пойдешь, старый пес! Не дам! убей меня — не дам! Много их тут шатается, сволочей... Всем давать — полос не хватит... Богач какой выискался! Не дам! Убей меня — не дам! Дармоеды ходят тута, и стыда нету... про-о-клятые! На грех право сманивать наводят... Из глотки вытащить рады... Сказано: „нету“, нет — не свое!.. Не дам! Не надать нам никаких денег... Может, и деньги то фальшивые... Не надать! Нам самим впору... Самим придется покупать. Кто даст-то? Всех слез не утрешь...

Петр Иваныч молчал.

Та баба, которая давеча стегала мальчишку, стояла в сторонке и смеялась. Из калитки выглядывал австриец и тоже ухмылялся... Я рад был провалиться сквозь землю и не знал, как отойти от них.

Злая баба, с побелевшим лицом и с пеной по углам губ, стояла передо мной и глядела на меня, как на разбойника грабителя, готовая отбиваться до последней крайности и изо всех сил...

Не помню путем, как я „откатился“ от них.

Из недавнего прошлого.

(Из моих прошлых скитаний.)

С. Подьячов.

I.

Три дня и три ночи (ночи в особенности) жил я какой-то страшной, кошмарной жизнью.

От стихийного общего, ни на единую минуту несмолкаемого шума работающей машины, от крика, вопля, плача, визга, ругани собранных и загнанных в одно место множества людей, кружилась голова, болела и вопила душа и являлось желание провалиться куда-нибудь, умереть, не слыхать бы и не видать всего этого ужаса!!

Помимо нас простых смертных, пассажиров третьего класса и пассажиров не из простых смертных, а так называемых в то время „привилегированных" 1-го и 2-го, ехала на пароходе партия новобранцев в шестьсот человек, да отпускных из своих частей домой солдат, озлобленных дальней дорогой, наголодавшихся, обовшивевших тоже, должно быть, в общем человек до двухсот.

Новобранцы ехали из Саратова до Казани. Пароход отвалил вечером... Погода стояла ветренная, холодная, гадкая.

По разлившейся, взбаломученной, мутной Волге, от дувшего с северной стороны ветра, ходили, сталкивались, плескались, с зловещим шумом, с белыми гребнями сердитые волны.

Вся нижняя палуба парохода от носа до кормы, вся была переполнена людьми. Буквально негде было повернуться. На носу, около машины, около дверей отхожего места, в проходах, на дровах, на люках клади, на скамейках и под ними везде были люди.

Женщины, старые и молодые, иные с маленькими грудными детьми, перепуганные и затертые в этой одуревшей, потерявшей всякую меру скромности и стыда толпе, жались как и где попало...

Новобранцы, точно на подбор, все малорослые, тощие, с землистого цвета лицами, нищенски грязно одетые, в опорках, в каких-то туфлях, в резиновых калошах на босу ногу, в рубашках, пиджаках, в бабьих „обжимках", еще на пристани, садясь на пароход, устроили скандал.

— Не поедем!—кричали они, ругаясь,—давай нам место!.. Гони к чорту всех с парохода... О-о-о! Го-го, го! Вали, товарищи! Чего на них глядеть-то!.. Все наше!

Самая отборная ругань, пронзительные свистки, визг гармошек пение на особый заунывный и жуткий мотив, от которого делалось страшно, наполнил весь пароход, когда толпа эта, заливая его, ворвалась на нижнюю палубу.

Пассажиры первого и второго классов попрятались по каютам, заперлись и закрыли окна изнутри решетками.

С пристани несся гам провожавших, а на сходнях, толкая друг друга, отпихивая милицию, лезли солдаты, мужики, бабы с котомками а за ними „перли“ носальщики с багажем, татары и русские, не разбирая ничего и крича:

— Эй, берегись, убью!.. По-о-о-сторонись, дери чорт твою душу! Не видишь, что ли... ослеп?!

— А ты, носатый дьявол, татарская морда, куда прешь без разбору на человека!!.

— Хо-о-ды прочь, сабака!!

А с верху в медную трубку вопил капитан парохода:

— Отойди от борта!.. Эй, глухари, русским языком говорю: отойди от борта!

Его не слушали и перегруженный до-нельзя пароход наклонялся до того в сторону пристани, что образовал из себя покатую горку, а с другой стороны, где было сравнительно пусто, в бок парохода хлестали разгулявшиеся волны настоящего шторма и он, вздрагивая от колоссальной работы машины, никак не мог отвалить от пристани.

Когда же наконец осилил и отвалил, то с берега с пристани и с парохода раздался вой, крики ура, пение, свист и все это слилось во что-то такое кошмарно-безумное, невыразимо грустное и страшное, от чего хотелось провалиться куда-нибудь сквозь землю...

II.

Между тем, пока отваливали, начало быстро смеркаться... Вспыхнуло электричество, и вот, при его освещении, картина переменилась и приняла другой, совсем уже фантастический вид...

Я приткнулся где-то в носовой части и мне далеко было видно вперед к корме, как всюду копошились, двигались, толкались, слились в один клубок, людские фигуры. В глазах пестрело, а когда я на минуту закрывал их, то слышался один только общий сплошной гул, сквозь который вдруг вырывались, как звуки выстрелов, отдельные, особенно звонкие, вскрики ругательств и где-то там от кормы доносилось пение, казавшееся в этом сплошном гуле не пением, а жалким хватающим за сердце, точно вой по покойнике, воплем...

Шла ночь... За бортом быстро темнело... плескались волны, свистел ветер, барабанил дождь и, как страшное, спрятанное внутри парохода чудовище, гудела и шипела, не умолкая, машина.

Возбужденные, иные полупьяные, новобранцы или, как они сами себя называли, „товарищи“, не видя над собой никакой власти, опьяненные сознанием того, что: „Вали, товарищи, бояться некого... все наше“,— делали что хотели. На них тяжело, обидно и до слез больно было смотреть, а главное слушать то, что кричали они, говорили и пели... Все словно сговорились делать одно только гадкое. Особенный подчеркиваемый, самый отвратительный цинизм и в ухватках и в ругательствах и во всем был хозяином этих молодых людей. И не так обидно и больно было глядеть на то, что они босы, грязны и что тесно и гадко им ехать, а на то, как все они, цвет и надежда наша, „свободные товарищи“ обновленной родины, не сознают и не пони-

мают ничего и что нет в них никакой нравственной скромности и нет гордости к человеческому достоинству...

. . . .

Каюты первого и второго классов находились наверху, а ход туда в хорошие глянцевитые двери был снизу и ходить пассажирам третьего и четвертого классов, как и водится, в эти двери наверх было заказано.

Там, по каютам, сидели на заперти другие уже и в то время „бывшие люди" и положение их, действительно, было небезопасно...

Там, наверху, было чисто, светло, тепло, уютно и это все вместе взятое, даже не имеющего ничего против человека, коробило и резало глаза своим резким контрастом в сравнении с тем, что делалось внизу.

Товарищи новобранцы, еще не садясь на пароход, как я уже говорил, протестовали, крича: „Гони их всех, буржуев проклятых, к чорту! Что на них глядеть-то!"—и вот здесь на пароходе, когда со всем уже надвинулась темная, холодная, суровая ночь и когда людям, большинству из них, действительно, негде было приткнуться не только что лечь, а даже присесть, какой-то все время бегавший по всему пароходу новобранец, тщедушный в белой рубашонке, парнишка, с папироской в зубах, ругавшийся и кричавший больше всех, заорал вдруг пронзительно громко:

— Ура, товарищи! айда наверх!.. Собаки мы, что ли?! Теперича все равны... На кой они нам нужны!!

Этого было достаточно... Через боковые лазейки наверх, и через двери в первый и во второй класс с криком и свистом, толкаясь и сквернословя, точно подстегивая себя этими ругательствами и ободряя, полезли новобранцы...

Прибежал капитан и начал было призывать к порядку, крича что-то. Но его не слушали, и кто-то завопил:

— Дай ему по рылу, товарищ!.. Чего на него глядеть-то?.. Чай мы тоже люди! Напихали их, тама, сволочей всяких, а мы мерзни из-за них. Бей их чертей, боле никаких!!

В это время появился откуда-то, должно быть из первого класса какой-то белобрысый бритый щеголевато одетый офицер, молодой и красивый, с Георгиевским крестиком на груди и сделал замечание одному из новобранцев. Новобранец обернулся к нему, злобно засмеялся, обругал его матерно, послал к чорту и пошел прочь.

Франтоватый офицеришка, видимо, пораженный дерзостью „хама" побежал за ним и крикнул:

— Как твоя фамилия, ме-е-е-рзавец?! Как твоя фамилия, ме-е-е-рзавец?!

Новобранец полуобернулся к нему и, скаля зубы, вызывающе-нагзительно кинул:

— Камаров, ваше высокоблагородие!

— Я тебя, мерзавца!—начал-было офицер, да не докончил, потому что новобранец перебил его, закричав:

— Очень-то я тебя испугался!.. На кой ты мне чорт нужен! На-а-чальство тоже! Много вас!! Достаточно помытарились над нами, сволочи проклятые... Теперь наше время!..

Офицер дернул за шашку, но в это время кто-то ударил его сзади и он упал на пол, оглядываясь назад полными ужаса глазами и елозя по полу коленками.

Хохот, визг и рев покрыли эту сцену.

III.

Я пошел посмотреть, что делается наверху.

Здесь, в этом помещении для избранных „привилегированных господ" хозяйничали уже „подлые людишки". Они бегали по коридорам, барабанили в запертые изнутри двери кают, харкали на чистый глянцевитый пол и сквернословили...

В столовых „рубках" первого и второго классов, где особенно было хорошо и чисто обставлено мягкими диванами, стульями, зеркалами,—расположились они на почлег...

По коридорам тоже нельзя было пройти, потому что здесь тоже устроили „ночлежку". Сидевшим на запертн по каютам „господам" нельзя было высунуть носа... они притихли, притаились и, вероятно, думали, что „авось Бог даст ничего".

Но случилось то, чему и надо было случиться. Кто-то предложил громким криком ломать двери.

Прибежал капитан, что-то залопотал и потом, махнув рукой, произнес: „Пронеси только Господи" и—скрылся...

Затрещали двери, показались в них испуганные лица „господ". Хватывались эти „господа" с перепуганными лицами за шиворот и выволакивались в коридор с ругательствами и криками:

— Тащи их чертей! Волоки сволочей! Пущай поваляются здеся, где мы валяемся, мы не хуже их!—раздавались крики.—Тащи, чертей, за ноги! Кидай за борт!..

Разгулявшиеся новобранцы, все больше и больше чувствуя себя хозяевами положения, пошвыряли, неизвестно зачем, с обоих бортов парохода висевшие там спасательные круги в воду. Отвернули электричество, исцарапали чем-то зеркала, выведя на них „чисто русские" надписи, разбили окна и до омерзительного состояния довели отхожее место.

Я опять спустился вниз. Здесь все гудело и спертый кислый воздух щекотал горло, вызывая тошноту.

Молодая бабенка с ребенком на руках выла во весь голос, сидя скорчившись на полу как раз против двери в мужское отхожее место и вся тряслась. У ней, как оказалось, кто-то и как-то ухитрился в тесноте вырезать карман, в котором были деньги и проездной билет. Страшно было слушать ее отчаянный вопль и смотреть на нее.

— Разинула рот-то, думаешь дома на печке,—говорил ей бородатый мужик в лаптях.—Ишь здеся аки ад кромешный... Вольница! Кнутом бы их, разбойников! Допустили до чего... Нешто это порядок? Эх не ори, а дело сделано...

— Как же я теперя?.. ба-а-тюшки! ай, ай! ай, ай!

— Как быть - никак... дело, говорю, сделано. Знамо, кабы знали кто,—убили бы... В реку бы его, разбойника... да нешто найдешь?.. Эн, гляди, что делается: ад кромешный... Тьфу... Божеское наказание... больше никаких!..

А неподалеку от этой воющей бабы, за дровами в узкой лазейке лежит, обнявшись с бабой, прикрывшись шинелью, солдат и, не обращая внимания на то, что видно и стыдно... и т. д., и т. д.

Я оглушенный „обалдевший", как говорится, брожу по пароходу, ища где бы приткнуться (то место, где сидел раньше, когда ходил наверх, заняли), возбуждая на свой счет ругань и насмешки. Дело в том, что меня чорт догадал вместо картуза надеть купленную когда-то года три назад на какой-то гонорар, полученный с Сытина, шляпчонку. Она то проклятая, и принесла мне множество неприятностей

— Эй, барин, — кричали мне,— господин хороший! Ты чего тут, не потеряв, шаришь?.. Надел шляпу-то, думаешь: „Кто я?!. дай ему, Хренов, по шляпе-то раза хорошего... Буржуй, чорт, ишь ходит—высматривает"

Что будешь делать? Слушаешь да глотаешь... И смешно немного, и грустно...

Слово „товарищ", повторяемое беспрестанно и к делу и без дела, в конце концов, до того надоело и опротивело мне, что я не мог слушать его без какой-то, так сказать, отвратительной отрыжки.

— Эй, товарищ! (следовало отвратительное ругательство) дай курнуть!

— Товарищи! (опять ругательство) поедемте назад! Капитана за глотку—вези! Так, что ли, товарищи, а? Го, го, го!.. Прощай, Саратов!..

. . . .

Ночью, часу в первом, на большой пристани, когда пароход подвалил к ней, произошло побоище. На пристани, как оказалось, собралась толпа дожидавших его прибытия солдат и частных пассажиров. Наш пароход запоздал и все они дежурили здесь на пристани давным давно.

Сажать бы их на наш перегруженный пароход по-настоящему нельзя бы было ни в каком случае, но вышло иначе. Как только он соприкоснулся с пристанью, и не успели еще сдвинуть сходни, солдаты, бывшие на пристани, с котомками и без котомок, начали прыгать на него, перелезать через борт.

А когда положили сходни, то „товарищи" новобранцы с нашего парохода, обрадованные случаю поскандалить, одуревшие на пароходе от тесноты, полезли на пристань,—а с пристани им навстречу лезли солдаты, ругаясь, крича и махая руками...

Началась свалка и из этой свалки неслись ругательства, бабьи визг, ура, ка-а-а-раул!!.

Я смотрел и в душу мне закрадывалось нехорошее сомнение в том, что мы вообще люди...

Невежество это, дичь, тьма проклятая наша, душила меня!.. И тогда, как и теперь, я думал и думаю, что пусть каждый из нас, у кого в фонаре есть, остался еще, не догорел до конца хотя бы самый маленький огарок свечки, идет в тьму и светит столько, сколько может!!!

Ворова мать

Рассказ Н. Ляшко

1.

Спала Федоровна в эту ночь на покрытом дерюгою садовом сене. Коса была не под силу, — серпом сжала под вишнями и яблонями траву. Луг скосить умолила родича, да не верила, что скосит. Боялась за корову и тосковала по сенокосью, — не пропитаются двор и сарай луговыми запахами.

Спала под тонкой холстиной, до подбородка невидная, худенькая и смутная в свете зари. Нос вострый, лоб восковой, в жилочках и морщинках, волосы серебряные.

Вечером дала слово встать до солнца, дополоть огород и сходить в село, — нету ли от Никиты весточки какой. Вскинула сквозные с синеватым отливом веки, но сна превозмочь не могла. Поплыла, поплыла. Окошко дрогнуло и ну звенеть:

— Динь-динь...

Трепыхнула руками и вынырнула из омута сна на свет:

— Господи Иисусе...

Оглядела окошки, — никого. Воздух был сквозным до синевы. В вишеньи теնькало, чирикало. Огород шептался шопотом предрассветного роста. Зевота свела челюсти и оскалила не по летам белые зубы Федоровны.

„Почудилось", решила она, тужась стряхнуть истому. Но слабость пустнула локтем; в глаза прыгнули стеклянные мушки, запрядали, спутали думы и, померцав, погасли. Опять навалился сон, опять с окошка прыгнуло на пол:

— Динь-динь-динь...

Федоровна схватилась, поджала под себя ноги и захолонула: со стороны огорода об окошко билась пичуга — не то воробей, не то соловей, — маленькая, серая.

„Весть подает", подумала Федоровна и шопотом укорила себя:

— А я дура, а я дура...

Все лето с вишенья и огорода гоняла пичуг, чучело поставила. Люди, и эту пугала, бранила, а она вот на, — может, с полуночи тревожилась, будила ее, старую.

— Махонькая...

Умиление выжало из глаз по капле. Было уже раз так: постучала на заре пичуга, пошла Федоровна в село, а там письмо ей...

По...

Сам Никита редко заглядывает,—ой, редко. Перед войной, ка смерть прибрала отца, был как то тайком. Война давно кончилас началась другая, новые порядки повелись, а его все нету. Мож сгинул: вор, жизнь горькая, волчья...

II.

День был богатым. Нетерпение, печаль и надежда—все вмест лось в нем. Федоровна звенела от настороженности. Все прислушив лась, думала о встрече, шептала разное, будто сын был уже дом

Солнце поднялось в вышину голубого шатра. Она собралась итт в волость и оробела: уйдет, а Никита явится, походит, подумает неладном да и уйдет. Потревожилась и не пошла.

Крепче всего ей хотелось, чтобы Никита поцеловал ее и сказ

— Ну, больше ты не ворова мать. Будет.

Неслыханные, желанные слова знобили. Она приготовилась ним, откликалась на них своими и всхлипывала от горькой боли боязни: не скажет сын ласкового, не снимет с нее тяжести. Ну, а х и не скажет, заветное тлело в душе, пило силы.

После полудня Федоровна охмелела от картофельного цвета, терков и золотого пчелиного звона. Перестала полоть, пожалела, ч вишни отошли, насобирала палых яблоков на пирог, зарезала цыплен устряпалась и до вечера сидела на крылечке.

При каждом шорохе спешила на огород; выбегала на тарахтен телег за ворота. А как затрюкали во ночному за задами перепелки хлебах, да вызернилось золотом небо, затосковала:

— Не придет, не придет...

Но дверь на ночь не заперла и легла в одеже. Одолеваемая сн ушла в думы о завтрашнем дне и чуть оторвалась от них, в четыр угольнике двери вырос Никита и спросил:

— Жива, мать?

— Жива, жива...

Вскочила и глянула. Чужой будто,—без усов и бороды. Ли глаза родные, да и их, кабы не пичужки весть, не узнала бы в т мени. С гудящим сердцем шагнула к четырехугольнику и, касая крепких губ, жестких щек, почуяла—он, он, единственный. С его т плом на лице заметалась и забормотала:

— Огня бы, да это... Ахти мне... Керосину-то нету... Лучин вот...

— Не надо, мать... у меня есть. Только это... завесь-ка ок а то...

В сердце Федоровны вполз холодок. Она завесила окна и з перла. Никита закрыл дверь, повозился в вещах у порога, постав зажженную свечу в накапанную на подоконник слюдку стеарина глянул на мать:

— Все такая же? Не-эт, сдала, сдала... Не гомозись, сиди... Плох знать, было.

— Мне... мне ладно. Покормить тебя надо,—отозвалась Федоров и юркнула к печке:—Наготовила, знала, что будешь.

Никита резко выпрямился и шагнул к ней:

— Как знала? кто сказал?

Его расширившиеся глаза испугали ее.

— Птичка весть подала,—торопливо проговорила она.

— Какая птичка? ты толком говори .

— Да птичка... в окошко... под утро нынче...

Никита покраснел, готов был кричать, да вспомнил примету и смущенно протянул:

— А-а, а я думал, что...

Стал ниже, сел на скамью, потупился и заиграл носком пыльного сапога. А когда мать подала пирог и жареное, оживился:

— О-о, ай да мать! Целая буржуйка. Фу ты... вот так чудеса. Впору памятник этой самой птичке ставить...

Федоровна глядела на него растерянно. Окна завешаны, у двери корзина, чемодан. Что в них? откуда? Ее беспокойство передалось и Никите...

— Да, мать, дела...—неопределенно сказал он, отодвигая чашки.— Не говори никому, что явился. Спасибо... дремлется что-то...

Взял с чемодана узел и ушел на сарай. А она осталась у стола с тлевшим под сердцем угольком: не будет, не будет желанного. С болью приподняла с пустой половины стола скатерть, накрыла ею посуду, покрестилась:

— Спаси меня, окаянную,—и фукнула на свечу.

III.

Утром поставила самовар и села. Сжала одной рукой локоть другой, тремя пальцами уперлась в висок, четвертым, большим, прижала мочку уха, а сухой мизинец оттопырила и оцепенела.

Ловили Никиту на кражах. Сидел в тюрьме. Пригоняли его в деревню. Ее прозвали воровой матерью. Горько, зазорно. Служила на молебны, дала зарок не брать ничего от сына.

Во время войны обыскивали ее; кричали, велели указать, где краденные Никитой вещи и деньги, где сам прячется он; грозили и ее угнать в Сибирь.

Сколько лет минуло, а он все хоронится. Значит, есть что-то за ним. Шевельнулась и так сжала руки, что они хрустнули: — Ох, мать пречистая... Боль, серебрящая волосы, углубляющая морщины, свела рот и, вспугнутая шагами, затаилась.

Никита поздоровался и сразу же заговорил о мелочах. Вспомнил детство, отца, разные случаи. Умывался с приговорками и, сев к столу, бодро сказал:

— Садись, мать. Отдыхать тебе пора. Хоть на старости да поживи. Садись...

Затаившаяся боль дрогнула в груди. Горло обожгла щекотка,— ведь, для этих слов, поди, и родила она сына. Вот зазвучали же они, сыновние, снившиеся. Она вслушивалась в них сердцем, душою. Здесь, в избе поют они, жалеют ее лаской:

— При отце горевала; я мыторился...—горевала... Баста, будет...

Федоровна стала большой. Сердце охмелело, глаза замутились. Она торопливо передохнула и захлебнулась:

— Да я... я что... все думала, придешь же, вместях будем... хозяйствовать... А то луг сдала... и нива вот... самим надо бы...

— Ну, это ты, мать, оставь.—прервал ее Никита и обескрылил ее слова.

Она сомкнула губы и сжалась.

— Нельзя мне этого, сама знаешь: тебе проходу не давали, а меня и совсем...

Федоровна взметнулась, схватила Никиту за рукав и, будто поворачивая его на нужную дорогу, горячо проговорила:

— Потерпи малость: увидят, иначе повелся, и отойдут.

— А как я не хочу иначе вестись?—хмуро спросил Никита.—Мо мне стыдно так, что хоть в петлю, а только от людей подальше. Н мать, ни к чему ты это, ни к чему... не стоит... Ты без меня пот жи а я предоставлю, я все предоставлю. Поняла? С тем и приехал. Пуст

Никита стал выкладывать из корзины и чемодана ситец, вален сахар, шаль и разную мелочь. Сверток за свертком клал на скам и говорил:

— Вот, бери, прячь сюда... Эту корзину оставлю тебе... и пост оставлю. А теперь давай чай пить.

Федоровна заспешила к печке—за ложкой будто,—провела рук по глазам и с мукой оттеснила слезы.

IV

За чаем сидела на кончике скамьи и жила своим. Никита р спрашивал о соседях, о деревне. Отвечала односложно, скоро умаял и со вздохом сказала:

— Наши все живут ничего. Город близко, в праздник нар приходит видимо-невидимо. Кто за хлебом, кто за картошкой, молоком.

— Прижучило,—уронил Никита.

Это кольнуло ее.

— Бедуют люди, а наши забижают их.

— Чем забижают?

— Дорожатся все. Сахару, керосину, мыла давай им. А где взять, раз нету. Не картошка, чай, какая, на поле не растут...

Никита впервые видел мать занятой людьми и с усмешк отметил:

— А ты, выходит, мать, добрая.

И это кольнуло ее.

— Это я-то?—смущенно спросила она.—Не с чего раздобрет Ходит ко мне из города одна за молоком с мальчонкой. Даю. Муж войну взят. Картошки обещала ей. Хорошая бабенка и мальчон ладный...

Никита проглотил улыбку, взвихрил волосы, пробормотал:

— Добрая, добрая ты,—и указал ей место рядом с собой.— Садись ближе, давай поговорим толком.

Она придвинулась к нему. Хотела положить на его плечо рук но что-то удержало. Он вынул бумажник, раскрыл его и провел пал цами по разноцветным пачкам:

— Видишь? за все труды твои. А то еще случится что, так хот ты бедовать не будешь. Получай..

Вытаскивал пачку за пачкой, клал на стол и считал:

— Двадцать тысяч, сорок, шестьдесят...

Опорожнил бумажник, придавил пачки смуглой пятерней и сказа

— Двести пятьдесят тысяч рублей. Все тебе. Всего покупай Нужды чтоб ни-ни-ни.

Сердце Федоровны ушло в плечо и дергало руку. Голову глу шил мутный шумок. Никита подумал, она опьянела от счастья. Он улыбкой перенес руку с денег на ее плечо:

— Хоть раз, да горазд, мать!—и заторопил:—Ну, прячь их, прячь, а то еще пойдет кто...

Она сидела, вытянув шею, полная гула, и не шевелилась.

— Ну, ну... обомлела... давай я сам.

Никита снял с ее пояска ключ, открыл сундук, сложил деньги в ситцевый платок, ударил по ним:

— Эх, родные! — и сунул их под холст и одежу на дно сундука. Но тут же вынул их, взял одну пачку, разорвал ее и кинул в коробку матери к двум керенкам:

— Это на мелкие расходы. Помни: в каждой пачке двадцать тысяч рублей. Не береги, а то пробережешься: дорожает все. И не пугайся, этого сору много. Поняла?

Федоровна молчала.

V.

Хорошо еще, что двор на отлете и изгородь есть. И так издрожалась вся.

Сын был дорог. Жалко его, но он и пугал, и жутко с ним. Родной, кровь, а какой? что делал? откуда явился? чего боится? украл? убил? ограбил? Ведь, сам не скажет, а спрашивать боязно. А ну как глянет в глаза, улыбнется и отрежет: „Убил!“ — что тогда?

Смирилось сердце лишь под вечер. Закат был погожий и золотил печь и стены. У Никиты был расстегнут ворот рубахи. Он сидел за столом и рассказывал:

— Хохлы избу зовут хатой. Полы глиняные, ровные, только блох много. Пашут на быках, плугами. Свиньи у всякого, коровы, а молока много — хоть залейся.

В голосе чуялся звон зависти к хорошей сытой жизни. Федоровна любовалась им, крепким, загорелым до ямочки ниже шеи. Казалось, давно ли водила она его мальчиком в город, не отдавала в лавку, не был дома. Вернулся вот из солдатчины и рассказывает. Завтра пойдет в поле, исхлопочет земли, поправит хозяйство, женится, пойдут внучата. Федоровну холодило ветерком счастья.

Но брякнули ворота. Никита приник к окну и затревожился:

— Баба какая-то... выйди, а то увидит и загалдит, — и с сердца схлынули тишина и холодок.

Федоровна метнулась к двери. Перед соседкой бегала по сторонам глазами и притворялась спокойной. Оставшись одна, стояла, как в чаду. От неловкости и лжи ломило голову, в глазах забилась муть, будто их засыпало пылью.

В темень вновь пришлось завешивать окна. Никита ел молча, а после ужина сказал:

— Ну, мать, я завтра в дорогу. Собери чего-нибудь съестного, то дорогою не купишь. Клади в чемодан.

Федоровна уткнулась лицом в руки и заплакала. Он сдвинул брови, растерянно пробормотал:

— Ну, чего ты? будет, будет... Я приеду еще... На покой пора, а поезд рано уходит, — и ушел спать.

Она долго корчилась под тяжестью боли и одиночества. Выплакала слезы, поглядела на огонь свечи, дрожавший в мокрых ресницах желтой паутиной, и принялась за стряпню. Глухо топала босыми ногами и прислушивалась: а ну как придет кто на свет. Придется прятать глаза и лгать. Обрадовалась, когда все сделала. Задула свет, легла и почувствовала, что не уснет. Охала, утишала себя:

— Спи, спи, старая...

Познабливало, кололись думы о деньгах и подарках, о зароке, о том, что она не посмела сказать всего сыну. Надо было что то сде-

лать, чтоб пришел сон. Крепко сомкнула веки, вжала в мозг глаза и с шопотом:

— А-а, ну да,—села.

Пробралась к сундуку, вынула платок с деньгами и вложила его в чемодан, под лепешки. Дрожащими руками опутала себя крестами, покивала в сторону икон, легла и уснула.

VI.

...Никита умылся в темноте. Сунул в чемодан полотенце с мыльницей и наткнулся на платок с деньгами. Вытащил его и замер. До зудящего в сердце озноба ощутил между матерью и собою кражи, тюрьмы,—всю свою волчью жизнь.

Вытянувшись, увидел мать такой, какой она была вчера,—робкой, молчаливой, печальной, и на цыпочках подошел к ней. Нагнулся и остановил глаза на сером расплывчатом пятне. С минуту глядел, хотелось зажечь свет, разбудить мать, но было страшно. А вдруг на прощанье она заговорит, заговорит по-настоящему, по-матерински?

Повел плечами, положил на пол деньги и заторопился. В глазах его осталось окутанное запахом садового сена серое пятно.

VII.

На рассвете Федоровне привиделось беспокойное. Она локтем задела за что-то твердое, лишнее и вскинула веки. Скользнула взглядом по цедившим розоватую мглу окнам и пошарила вокруг руками. Рядом лежал с деньгами платок. Вскочила и пошла к скамейке,—чемодана не было. Кинулась во двор, в сарай заглянула,—пусто. Кликнула:

— Никит!

Занемела и, пока вдалеке не заиграл пастух, ничего не слышала и не видела. Звуки рожка как бы кинули под ноги кур с цыплятами. Она встрепенулась, юркнула за кормом и еле овладела голосом:

— Тип-тип-тип...

Руки дергало. Выгнав корову, опрокинула надоенное молоко, заперла избу и метнулась с деньгами через огород к дороге на станцию.

По сизеющим хлебам позолотою разливалось утро. Безлюдную дорогу обмахивали толпы колосьев и изумленно шептали бежавшей Федоровне:

— Ш-што се тобою? ш-што се тобою?

Дорога зыбилась, меняла тона и сквозь толпы мчала Федоровну на мреющие крыши. В глазах сверкали ниточки, будто уже стояли покровские паутинные дни.

К станции ближе было дорогою, но Федоровна боялась встреч и свернула на межи. В запахах ржи, под голубыми взглядами васильков сил стало меньше, в душе все посмутнело и расплылось. Федоровна остановилась и, подрагивая, с минуту растерянно думала: куда это она в такую рань идет? Опомнившись, укорила свою память:

Решетом стала, дырявым, и ринулась дальше.

Не слышала росы, полоскавшей подол и ноги, размахивала рукою и жалобно говорила:

— Не надобны мне деньги те... украл, небось, ты их...

VIII.

На станции было людно. Одни пробирались за хлебом, другие приехали на подводах и ждали поезда. Говорили о ценах, менке, заставах и отрядах.

— Эй, сына искаешь?! — окликнул метавшуюся Федоровну однодеревскец-стрелочник. — Уехавши! Кинул, небось, штуки те свои? Не поймешь, говоришь? Теперь ничего не поймешь. Дома-то долго жил?

Федоровне трудно было отвечать. Сердце колотилось часто, близко, — стучало в узелок с деньгами. Когда стрелочник убежал, ей стало душно. Мнилось, сердце разрастается и втягивает ее в свою боль. Вот-вот подкосятся ноги. И некуда бежать, некому сказать. И не с кем словом перекинуться, не перед кем душу открыть... Надо молчать, молчать...

К горлу подкатил жар, стеснил грудь и разлился мурашками слабости. Федоровна заспешила под навес и плюхнулась на мешок с зерном. Прижала к лицу руки и запричитала. И чем труднее давались ей слова, тем теснее было груди, тем жарче палила скорбь.

Не увидит она избы, не услышит запахов садового сена, — упадет здесь с узелком денег, в грязной рубахе и испустит дух. И там, где-то спросят, где же прибереженная для смертного часа рубаха, чьи это деньги, зачем она взяла их?

Она затряслась и закричала в руки о том, что она не виновата, что деньги — сыновний грех, что у нее нет дочери, некому доглядеть за нею, — оттого и рубаха грязная.

Сознавала, что кричит не о том, — с ласковой дочерью всякий умрет в чистой рубахе. Как воск в пламень — уходила в жажду оправдать себя, приблизиться к какому-то кусочку света о себе. Ведь, должна же быть где-нибудь эта искра. Ведь, должна же она где-то вновь стать Марфой.

Вдруг она стала легкой и потеряла власть над собою. Болезненно взвизгнула и развязала платок; путаясь в его концах, выхватывала пачки, разрывала их, комкала и кидала:

— Вот они, вот...

Говор вокруг оборвался. Люди оторопели. За них ахнула какая-то женщина:

— Ах ты, батюшки! — и они ринулись к Федоровне.

Вырывали, перехватывали бумажки. Один, сильный, жадно схватил вместе с деньгами руку Федоровны и дернул ее. Боль и толчки смяли в ней легкость. Она вскинула помертвелые глаза, встрепенулась и испуганно вскликнула:

— Ахти мне!

Люди будто ждали этого, — опрокинули ее, ногами разбили мешок, и из него мутным золотом брызнула пшеница. Хищными пальцами комкали деньги, совали их в карманы и толкались, как слепые, ужаленные. Глаза лили яростное и уже не напоминали белых небес с черными солнышками в кольцах. Первым опомнился старик в сальном сюртуке. Его качало плечами, а он кричал:

— Стойте! раздавите!

Наклонился, вырвал из чьих-то рук клочья платка, в которых были деньги, и взмахнул ими:

— Ничего нету! покалечитесь!

Его не слушали, толкались, пока в спины не плеснули криком:

— Красноармейцы идут!

Толпа притихла и раздалась. Хозяин разбитого мешка упал на колени и принялся сгребать разбрызганную ногами пшеницу.

...Понять, что произошло, трудно было. Одни разводили руками:

— Да кто его знает.

Непоживившиеся осыпали красноармейцев криками о каких-то деньгах, о платке. Старик в сальном сюртуке твердил, будто Федоровну ограбили.

— Это мы-то ограбили?—накинулась на него женщина,—за эти слова да по кумполу бы тебя, старого дурака. Сама она в мешок забралась, вот и хлопнули ее—не воруй...

Юркий, вероятно, поживившийся мещанин уверял, что Федоровну хватила падучая, и она упала на считавшего деньги старика:

— С эстого и закуралесилось...

Прибежавший стрелочник торопливым говорком:

— Да это тутошняя... От горя это она: сын уехавши. Деньги? Какие там у нее деньги?..—угомонил красноармейцев и сбил с толку толпу.

IX.

Очнулась Федоровна в запахах садового сена. Сама не подняла бы век,—помог розовато-синий рассвет. Было тихо, обычно, а на скамье дремала соседка. Это озадачило и испугало Федоровну. Она превозмогла боль и села:

— Лизанька.

— Ась! ты что?—вскочила соседка.

— Сон умаял... тяжелый, страшенный. Дай водицы, пересохло все,—просипела Федоровна и затревожилась: „Сон ли? али сон? ой, не сон, не сон".

Постучала зубами о край корца, залила водою грудь и с натугой встала:

— Кричала я, небось, а?

— Не-э. Егозилась все, а как привезли, вроде и не живая была.

— Снилось, не приведи Бог что. Ты не томись, иди... Я ничего.

Соседка заглянула Федоровне в глаза, помялась и шопотом спросила:

— А откуда, бабушка, у тебя столько денег?

— Каких денег?—испугалась Федоровна.

— А на станции раздавала ты всем?..

— Христос с тобою... где у меня? Одна корысть - горе: Никита заявился, было, и стрекача. Я за ним на станцию, да не застала, уехал. А деньги снились мне. Сижу это вроде я на мешке, плачу и рву деньги. Сколько их там, и не знаю. Только много, много. Вот так.

Рукой показала, какую кучу денег видела во сне, и уже верила, что это было наяву. Не глядела на Лизаньку и шептала:

— Сон это, сон... спасибо тебе... не осуди, а гостинец за мною.

Чувствовала: правда принесет расспросы, беду. Со словами лжи плелась по избе, по сенцам. Окунулась в розовый свет, сошла в него и стала у крыльца. Притворилась даже, будто зевает, и заспешила в избу. Выглянула оттуда,—не идет ли соседка обратно — и в тревоге открыла сундук. Из коробки разноцветными пятнами в глаза ударила разрозненная Никитой пачка денег и выдавила из груди:

— Не сон, выходит, не сон...

X.

Совсем побелели волосы. Покойнее стало сердце. Все реже душа просила слез, а если и просила, то настоящих, пахучих. Глаза глядели пристально, и в них светилась боязнь чего-то не дождаться и потерять свет и все, что в нем.

Каждый день заходили однодеревенцы, соседи и родичи. Вздыхали и осторожно заговаривали о деньгах. Верили: раздавала она их на станции. В душе осуждали ее. Ждали чуда: полюбятся они ей, и она наградит их,—укажет место наворованного Никитой. Мялись, говорили вкрадчиво, заботились, пытливо следили за нею и уходили с придушенной досадой, как от недавшегося клада: вот оно счастье, рядом, а не возьмешь.

Федоровна всем твердила о бедности, о сне и болезни. Это было самым горьким, гнетущим. Молва о ней, лепет детей пугали, знобили ее и лишали сна.

Она горестно думала о случившемся и корила себя. Не так стала, ой не так сделала. Коли не себе, так хоть раздать надо было кому следует. Ну, где это видано? Пришла к чужим и раскидала добро на ветер. Наградила неведомо кого, а обиженных обидела. Только с рук сбыть бы.

Крепче всего, верилось ей, обидела она ту, что с мальчонкой приходила из городка за молоком. Вот уж у кого душа, вот кто бедный и хороший. А мальчонка то, мальчонка какой! Ей надо было дать. Тогда, поди, и Никите простилась бы толика волчьей жизни.

О женщине с мальчонкой Федоровна думала много и, думая, забывалась и грустила. Порою ей слышались их голоса. И это было самым ярким в эти дни.

Ждала она их жадно. А сознание того, что говорить о случившемся не с кем,—вот только с этой, а может быть, с ее мальчонкой—распаляло жажду. Федоровна часто представляла женщину рядом, говорила с нею, мысленно падала ей в ноги и молила:

— Не кидай ты меня... торопко мне с бедою... Не родила я дочери. Хоть ты поживи у меня перед кончиною...

XI.

Женщина пришла на шестой день после отъезда Никиты. Федоровна не думала о ней в эту минуту,—от печки увидела ее идущей к двору и обомлела. Кинулась, было, в сени, хотела сказать о своей радости и—не посмела.

Тужилась казаться спокойной. Вглядывалась в женщину, в мальчонку и часто теряла нить разговора. Крепилась и таила главное: верила, наступит минута, станет ей невмоготу, и она заговорит. Намекала, что в избе не тесно жить и втроем, что по ночам ей зябко одной.

После обеда повела гостью на огород и взяла у нее мальчонку. Под яблоней провела щекою по его пушистой теплой голове и села. Слова жгли, теснились.

Прижала мальчонку и не то ему, не то женщине, яблоням, вишнью, небу, золотому пахучему свету стала рассказывать. Слова ее дождем пали на лицо женщины и зажгли глаза. Она долго слушала неподвижно. Она вдруг встрепенулась, всхлипнула, приникла к босым ногам в подоле Федоровны ногам сына и запричитала:

— Не сама это ты делала — сердце... Оно знает... Деньги, да будь они прокляты... Беда без них, а подумаешь, сдавит, духу нет... Горе они наше, змея лютая. А ты, бабушка, хорошая, какая ты хорошая...

Обнимая мальчонку, Федоровна обхватила руками ее голову — нет, не голову: давно жданное: искорку света о себе — и уже не могла говорить. Да и не нужно было.

Обе плакали. Мальчонка беззаботно слушал их плач, шелест огорода и сада, лепетал о чем-то, размахивал руками и мочил их в падавших из старых глаз горьких капельках.

В деревне на масленице.

Рассказ Арт Веселого

Всю Сплошную и Пеструю строгали морозы. По ясным дням греющее солнышко сердито прядало ушачки и по светлым звездным ...ам морозище поухывал—только держись.

Потом сразу теплом дыхнуло. Путь рынул. Все поплыло. Стари ... ранняя весна не радовала и они каркали: к засухе.

Масленица выдалась мокрохвостая.

Всю неделю пригревало солнышко. По широким разметам полей ...урели грязные половики дорог. Обтаявший за лугом лес встал ...ной стеной. Кое-где лед полопался на речке. У берегов образова... ...ь зажоры. В степи зачернелись обтаявшие черные головы курганов ...ребетки огорков.

Всю неделю деревня гуляла. Друг у дружки гостевали. Пили ...рами самогонку. Катались по нижней улице. В обнимку по двое, трое и кучками ходили по деревне и нескладными пьяными голо... ...и поли с горькими перехватами, пели свои горькие, мужицкие пес... ... в которых слышался и глухой стон темных, забитых деревень и ...избывная, неразмыканная, мертвая русская тоска. И далеко за пол... ...ь пугливую тишину деревни будили пьяные крики и брех глупых ...еревенских собак.

Подкатило прощеное воскресенье —последний день, когда все, в ком ... жива, пьют до зеленых соплей, „чтобы на весь пост не выдохлось"

На необсохшие заваленки выползли столетние деды. С подогами ...танные по зимнему. Охают. Шамкают. Нахохлились. Греются. Гля... ... не видя. Слухают не слыша.

На пригреве собаки валяются ровно дохлые. Куры роются в ...ьже, на обталинах.

Вышли встречать масленицу и ребятишки, засидевшиеся за дол... ... зиму в темных, вонючих избах. Рунястые, зевластые, с чумазыми, ...ими-землистыми рожицами они вливают в уличную суету много ...чиного гвалту и звонкого азартного смеху. Хором:

— Ребятенки, ребятенки, давайте тянуть голосенки, кто не до... ...ит того е-э-э э-э-э-э э-э э... А-а. Дух занялся, сердце захолонуло

Крики:

— Есть. Есть.

На белоголового парнишку шибонястого, лохмотястого, как-будто ...щами расклеванного, всей оравой набрасываются и кусают.

Зудкие, шершавые лошаденки в погремках и праздничной, на... ...ной сбруе шеметом стелются по улице.

— Ага-га. Э-э...

— Ого-го-го.
— Ай, задавили!
Хлесть по Буланому.
— Тсью. Н-но...
Шапка где-то слетела, только башка треплется кудрявая, как корзинка плетеная.
— Рви-вари!
— Х-хе-х.
— Вашу мать...
Девки, бабы, парни, мужики, ребятия. Скрип пьяных голосов. Визг. Ор. Песня. Хрип. Крик. Смех. Гогот. Гульбище.
— Аг-ка-а...
— Пр-р-р. Держи.
— Ха-хо-хо.
Шапка сшиблена, трут снегу в волосы молодого голят.
— Т-так...
— Погодь...
— Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-о-о-о...
— Жигулевский, темный лес...
— Ромк... Ромка!..
— Мать перемать...
— Э-е-е... Рванул жеребец.
— Ай, налетный...
Только Ромку и видали. За ним всем челеном в Кибатский конец ударились. Погамузились у церкви да кишкой назад.
Разгоревшиеся на ветру молодые лица. Румяные, задорные, смешливые, бесшабашные, хохочущие, гульные, пьяные. Залепленные комьями снега и навоза бороды, усы. Сдвинутые на затылки шапки, спутанные ветром чупрыны, кудластые головы.
— Г-гю-ю-у-у...
— Нахлобучивай...
— Н-ну. Косороться...
Шапки, картузы, платки, полушалки, косынки, пиджаки, жакетки, пальто, шубы, поддевки, поддергайчики, дипломаты, полушубки. Кой на каких девках каракулевые пальто, выменянные на картошку у городских франтих. Мужики на распашку в нарядных цветных рубашках.
Тройки, пары, запряжки, возки, розвальни.
Напоенные до-пьяна девки раскалываются:

— Хорошо, милый, играешь,
Только ты ломаешься;
Хорошо, милый, целуешь...
Да крепко обнимаешься...

А гармонь, захлебываясь, торопливо сыпит:
— Ты-на-на, ты-на-на, ты-на-на...
За день солнышко сосульки обсосало. К вечеру захрупало. Остеклянились окна луж. День уполз, волоча пылающий хвост заката. Вызвездило.

* *
*

Русская масленица дика, разгульна, шальна, бестолкова, размашиста.
В печке пожар. Хозяюшка блины допекает... Угар. Чад. Треск. Шип. Стук. Рожа у хозяюшки — солнышко красное в масло обмакнутое.

А в просторной горнице половодье. Народу, чисто на ярмарке. Гвалт несусветный.

— Пей, сватушка, пей.

— Ван Ваныч...

— Ы-ык...

Я с по мурлу жамк...

- Мать перемать...

— Э, пойми...

— Дарья, тюк квашня...

- Ы-ык... То-то...

— Ха-ха-ха-ха-ха.

— Так вашу разъэдак, гыт, а...

Ван Ваныч, мать твою...

— Ык...

Ах, куманек...

— Якорь глубины морской...

Чмок. Иван Иваныч горько сморщился, махнул рукавом новой, ремучей рубахи и, всхлипнув:

— Ах, куманек,—клюнул бородой в ковшик с квасом...

— А-а-хм...

— Терлежу нашего нет...

— Мать перемать...

- Кищав, во...

— Догнал е да сашкой по котелку хряск.

— Хо-хо.

— Кищав, не корячься...

О, Господи...

- Почтенье тебе, как истоптанному лаптю...

— В душу...

- Ешь, брюхо лопнет—рубашка останется.

- Он те с родни...

- Как жил... На одном солнышке онучки сушили.

На столе блинов—гора. Щербы блюдо с лоханку. Рыбы куча— за порток не перепрыгнешь. Пирожки по лаптю. Курники по решету. Ватрушки по колесу. Пшенники и лапшенники в масле плавают. Пар в потолок. Сметаной и медом залейся. Огурцов, капусты—Волгу запрудишь. Самогоночки маловато—почесть всю высосали.

- Сухо...

— Не леки мую кровь...

- Мать перемать...

- Ни вино винит,—пьянство...

— Га-а-хо-хо-хо-хо...

- Хвани, сухо...

Дом у него как вокзал, на все стороны окошки...

— Так и так гоорю...

- Растуды иху, суды иху...

- Сынок, не в жись...

- Брали мы Кеев город... Эх...

— Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха...

— Батарея-то как зачала садить...

Над столом склонились жующие, плюющие. Распаренные, лоснящиеся, пьяные, осовелые рожи. Буркалами ворочают туды-суды... Расепанные, спутанные волосы... Рыбьи кости, соленая капуста и лапша в бородах.

Разговоров. На воз не покладешь...

— Сват, кровя одне...
— В улоск как...
— Ха-ха...
— Мссь думат...
— Сроднички ешть-пейте...
— Сухо...
— Дай Бог, не грех...
— Мать перемать...
— Корова. От печки до стенки, три сажня.
— В захлест арканют...
— Так их разъэдак...
— Поллимона, бат... И стоит...
— Зверь, не лошадь...
— Чох-мох...
— Воз в раскат не пустит. Ни-ни. По гребежку, как щука прсмызнет.

В глотке: урк-урк-урк.

Грох в ворота. Собака кинулась, хрипло закашлявшись.

— Отец...
— Ы-ы...
— Он на дочь зятем Топорка принял.
— В-ва-у-а ва-ау-ав-ав...
— Хо-хо-хо-хо...

Хлоп дверью...

На дворе холодно, сине, звездно, светло—хоть в орел играй...

— Тестюшка...
— Пр-р-р...
— Мать перемать...
— Сами кобели, да еще собак завели..
— Х-х-х-х-х-х-х...
— В бирючьих когтях...

Чмок. Чмок. Чмок...

— Брось. Леска распрягет. Йда
— Канек-от...
— Йда, чорт не нашей волости...
— Масленица, што ты не семь недель?..

В избе пьяный гвалт. Бестолковая суета. Вихрится песня...

> — Э-эх доля, доля, доля, доля моя,
> Да ты водою заплыла...

Бабы подтягивают. Дребезг ихнего визга кроют, нахлобучивают баса.

— А-ха-ха...
— Плохо петь—песню гадить..
— Сухо...
— Чем дышим...
— Раздевайсь, тестюшка...

Рукавицы-то на тестюшке по собаке. Шапка вроде челяка. Тулуп—купцу не бесчестно бы одеть. Башка космата, ровно его собаки рвали.

— Ты-на-на... ты-на-на... ты-на-на.

Разит махрой, овчинами, духами, щами, самогонкой, потом. Поминутно хлопают дверью: приходят, уходят. Ребятишки на полатях свои, у порога чужие. Шебутятся они больше всех. Визг. Писк. Гомон. На печи за трубой выжившая из ума бабушка Анна шепчет ко

литвы. Крестится. Гудят пьяные голоса. Обмяклые выкрики. Рык. Хохот. Матерщина. Дрель пляса. А гармонь:

— Ты-на-на... ты-на-на... ты-на-на...

— А-а-хх, мать пресвятая богородица...

— Га-хо хо...

— Нашел молчи. Потерял молчи.

— Перетерпим. Передышим...

— Ешь. Закусывай...

— Три бутылки... Сергунька, слетай...

— Все наши нажитки...

Сергунька, видать, с перепою. Рожа красная, как веником нахлыстанная. Навалился грудью на стол, огурцы хряпает, только за ушами пищит.

— Сергунька...

- О-ок...

— Три бутылки...

— Давай.—От нетерпежки Сергунька сучит пальцами.

— Три бутылки...

— Шаг не дошагнешь плохо. Шаг перешагнешь—плохо.

Звяк бидоном. Шорк в дверь. Только Сергуньку и видали.

— Свое-то жалко. Убей няддам..

— Учут нас, дураков...

— Гав-ав-ав-ав...

Косы, космы, платки, волосники, полушалки, кофточки, юбки обеднешние. Рубашки вышитые, красные, голубые, желтые, сиреневые, с горошком, в полоску, в искорку, с разводами. А гармонь:

— Ты-на-на... ты-на-на... ты-на-на.

— Алена, аряряхни...

Алена гулящая девка. Красавица. С лица пригожа да румяна, все бы глядел. Гладкая—не ущипнешь. Коса до пяток, густая, как лошадиный хвост. Глаза, как на пружинах,—не глаза—огонь небесный. Грудаста, ровно лебедь. В ушах сверкают висюльки дорогих сережек. Топоча выходит с выплясом.

— Ох, лапти мое
Витые аборки,
Хачу дома я ночую,
Хачу у Ягорки-и...

Ходуном ходит. Всю ее сподымя бьет. Горячку порет.

Прошла раз и Феклуша—хозяйска дочь. Рябая, как терка. Рот до ушей—теленка проглотиет. Уши торчком. Спина корытом. Шея тоненька, хоть перерви. Верблюд, не девка. Прошла раз да и отстала. Суды...

В пару Алене выходит Афоня Недоеный. Что из силы, огрев себя по ляжкам и заржав, пустился выбивать чечотку.

— Ф-фью, шпарь, Аленка...

Того гляди пол провалится. Дребезжит на столе посуда. Из-под валянок—дым. Мальчишки визжат от удовольствия.

— Га-га-га-га...

— Хо-хо-хо-хо...

Бабы умирают со смеху.

— Ты-на на... ты-на-на... ты-на на...

С улицы по окошку.

— День-нь-ь... Динь-нь...

Собака кинулась.

— Бей мельче...
- Мать...
— Ха-ха-ха-ха...
Покатилась под стол лампа-молния.
— Кроши...
Бух. Бряк. Бултых. Хрок.
В темной избе бестолково метались, сшибая, сталкиваясь
— Бабоньки...
По другому окошку:
— Дзинь-нь...
И еще по раме: хр-р...
— Матушки...
- За нашу добродетель...
— Де топор?..
- - Сватушка?..
Хрясть. Хлобысть. Хмысть...
Кто-то догадался, чиркнул спичку. Дверь расхлебянили. Кому надо, вывалились в сени, на двор. Наскоро похватали чего попало под руку и на улицу.
На завалянок упал на колени кузнец Пронек-Танек и неверными хихлявыми ударами крестит молом рамы.
— Ах, так...
— Х-х...
— Дно вышибу...
— Бей...
Пинками Пролька-Танька катят от порядку до самой дороги
— Ты-на-на... ты-на-на... ты-на-на...

Сорок три.

Очерк Петра Мытаря.

I.

Арестанты шли тихо, понуря, опустив головы. Плохая одеженка не спасала их от беспутного хиуса[1]), крутившего туда и сюда по сторонам, а двойное кольцо охраны, с винтовками на перевес, не позволяло останавливаться или сворачивать в сторону. Низенькая старушка с добрым, озабоченным лицом то-и-дело наклонялась, терла руками голые колени, а ветер трепал подол ее пестрой юбчонки, поднимая его кверху и оголяя красное от мороза тело. По лицу старушки катились крупные капли слез, а посиневшие губы тихо шевелились, как бы силясь открыться и заговорить. Подросток-мальчик в рваной монгольской шапке дул на голые кулаки и плакал; старик-еврей отдирал от усов примерзшие сосульки льда и что-то недовольно ворчал, а молоденький студент, кутаясь в старое драповое пальто, натягивал на самые уши форменную свою фуражку и старался побороть тяжелые приступы насморка. Лица остальных арестантов стерлись в общей массе и образовали как бы одно, страшно посиневшее и сморщенное, лицо покойника.

Ничего особенного и тем более страшного эта толпа не представляла. Полураздетые, замерзшие люди производили скорее жалкое впечатление и вызывали сожаление, но, тем не менее, в лицах охраны, а главное, во всей фигуре и поступках молодого офицера, сопровождавшего толпу, было заметно сильное беспокойство и тревога. Эта тревога была даже в самом воздухе, ветре, и, казалось, шла из тех далеких, косматых гор, что так таинственно спрятались под темными шапками густого леса. Она нудной болью наполняла сознание и томила сердце. Появилась она давно, как только прошли отступавшие отряды Красной гвардии и вместо них появились чехи, поляки, японцы, американцы и дикие казачьи отряды семеновцев, и теперь она одинаково проглядывала и в толпе арестованных, и в команде охраны, то-и-дело оглядывающейся по сторонам. Позади маячила убогая деревушка, прилепившаяся к подошве увала, а навстречу подвигалась маленькая станция с бурыми руинами домов и вагонов. Дорога шла через озеро и упиралась в кучи наваленных дров и разбросанных вокруг землянок, а дальше выглядывало заросшее кладбище, и, наконец, начинался лес. Молоденький офицер, поднимая заряженный револьвер и

[1]) Хиус — холодный сибирский низовый ветер.

держа ручную гранату, шел впереди, то-и-дело приказывая: „смотри, смотри".

Солдаты вздергивали ружья и настораживались, но все было спокойно. Только один раз, обходя большую кучу дров, кто-то из арестантов дернулся вперед и вдруг упал под ноги конвойному солдату. Защелкали затворы, заметались штыки, но оказалось, что человек запнулся за валявшееся полено, которое он просто не заметил. Офицер сквернейшими словами выругал рассеянного арестанта и снова пошли дальше под тревожные, предостерегающие возгласы: „смотри, смотри".

Наконец, дорога прервалась на небольшой площадке перед зданием станционной конторы. Арестанты и конвой остановились в ожидании и устало осматривали станцию.

— Луцкин,—приказал офицер солдату,—скажи начальнику станции, чтоб немедленно дали один крытый вагон.

Солдат отделился от команды и скрылся в дверях конторы. Вскоре он появился с высоким господином в черной суконной шинели, с серебряными поперечными погонами, светлыми пуговицами и в красной фуражке.

— Здравствуйте, Казимир Викентьевич, —проговорил этот светлопогонный человек, обращаясь к офицеру.—Занимайте, пожалуйста, любой вагон, какой почище,—продолжал он, указывая на разбросанные по путям красные товарные вагоны.

Арестованных подвели к ближайшему из них и приказали забираться. Поминутно срываясь и падая, лезли они в вагон, а офицер раздраженно торопил и не переставал тревожно озираться по сторонам.

— Надо бы печку, погреться хоть... замерзнем ведь...—робко проговорил какой-то мужичок-арестант.

— К чертям, гони так...—закричал офицер и беспокойно засуетился около оставшейся части арестованных, еще не успевших влезть в вагон.

— Да, ведь, погибнем... люди мы...

И вдруг тревожный ропот начал разрастаться и в вагоне и около него.

— Молчать!—закричал офицер. -Стрелять буду!

Ропот стих. Злобная тишина на миг наступила среди арестантов. Но через минуту снова заговорили о печке, о людях, о скотах. Вдруг кто-то скверно выругался и заплакал. Наконец, последней подсадили в вагон низенькую старушку, закрыли дверь на скобу и расставили вокруг часовых. Отдав приказ о строгом надзоре, офицер отправился к начальнику станции.

Отирая пот со лба, он говорил:

— Ох, и измучился с ними...

— Да, народец... зверье,—отвечал начальник, как бы сочувствуя измученному человеку.

— А что - незаметно никого в эти дни? - понижая голос, спросил офицер.

— Вблизи никого, но в горах...

— А, чорт!..—и офицер сердито уставился в горы.

— Пойдемте ко мне—какого я коньячку достал у японцев!—сказал начальник, прищелкивая пальцами. Но офицер был неспокоен и продолжал спрашивать.

— Когда придет комиссия?

— Часа через три, не раньше, отвечал начальник.

— А телеграммы вы послали?

— В тот же день, как привез вам вестовой...

— Ну, отлично,—проговорил, несколько успокоившись, офицер. Оба направились в соседнее красное здание. В это время старший по команде, Луцкин, выполняя, очевидно, ранее данный приказ, снаряжал разведку в окрестности станции и на что-то указывал в сторону деревни.

II.

Вагон-салон международного общества был хорошо вытоплен и сверкал зеркалами. Пахло вином, табаком и уборной. Мягкая обстановка как-то уцелела от общего разгрома и напоминала старые времена хорошего состояния транспорта. Колеса равномерно отбивали „так-так-так“ и вагон, плавно покачиваясь на упругих рессорах, плыл по рельсам все вперед и вперед. Небольшая компания пассажиров, развалившись на диванах вокруг стола с возбужденными лицами, умело вытаскивала карты из большой колоды, передвигала кучи денег и все больше и больше входила в азарт. Среднего роста полковник, здоровый и коренастый, с угреватым лицом и близорукими глазами, в очках, держал банк и в то же время потешал публику скабрезными анекдотами. Нарядные дамы и господа офицеры громко смеялись, а старик-генерал, какой-то облезлый и выцветший, глухо кашлял, давясь подступавшими спазмами смеха. Плоские шутки и неуклюжие, грубые остроты были под-стать этим заплывшим физиономиям, возбужденным азартом и видом денег.

— Да,—говорил полковник,—в банке тысячи золотом, тридцать тысяч покойницы империи и четыреста его величества, царя омского, врага японского... Кому на какие и сколько?..

— Иду на золотой,—тыча в стол пальцем, говорил полупьяный капитан.

Флегматичный американец, тупо смотря на кучи денег, молча жевал табак и солидно пускал плевки в плевательницу. Два молодых японских офицера, аккуратно прилизанных и чистеньких, будто натертых лаком, скалили зубы, между которыми блестели золотые вставки. В то же время, нервно перебирая карты, они внимательно следили за ловкостью рук полковника.

— Мои,—сказал тот, кроя карту капитана.

— А, чорт!—выругался капитан.

— Дюдюшка, попроси вина капитану,—смеясь, сказал генерал. Он проигрался, бедняжка...

— Василий, дай вина твоему барину,—хохоча вскричала нарядная женщина.

— Экий чорт, не везет!—ломаясь, говорил капитан.

— Отыграешься, когда завоюешь свое имение,—жеманясь, сказала другая нарядная дама.

— До моих имений дальше, чем до Северной Звезды,—пробормотал капитан.

— Что так далеко? спросил поручик.

— Еще дед заложил их вместе с крестьянами, да так и не отыграл после.

— Ничего, вам пожалуют новые,—настаивала дама.

— Кто?

— Будущий император,—хохоча сказал полковник.

— Ну, это еще дальше,—серьезно ответил капитан.

В это время из-за перегородки появился рослый, дикого вида казак и подал стакан вина. По тому, как он держал поднос и подавал вино, высунув немного язык из полуоткрытого рта, было видно что роль лакея досталась ему недавно. К тому же, вооруженный револьвером, шашкой и парой болтающихся ручных бомб, он больше походил на разбойника, чем на слугу.

— Василий, будет у нас царь?—смеясь, спросил полковник.

Скуластая физиономия казака осклабилась, в глазах заблестели хитрые огоньки и, вытянувшись, он отвечал:

— Так точно, ваше высоко-благородие, будет...

— А когда?—не отставал полковник.

— В точности... неопределенно... потерпите, ваше высокоблагородие,—хитро ответил казак.

— А кто?—снова спросил полковник.

— Так, как не придумали покамест...

Дружный хохот раздался в салоне, а хитрый казак улыбался и скалил зубы.

— Ну, иди и придумывай,—проворчал капитан.

Казак ушел, а публика еще долго не переставала шутить на излюбленную тему о своем будущем императоре. На-ряду с этим шла игра, и в промежутках разговора и шуток слышались отдельные реплики: - давайте, кладите, тащите —Сладкие мечты, розовые надежды, кучи золотых и бумажных денег и веселая игра приподымали настроение. Полковник выиграл, и анекдоты, один другого циничнее и грубее, лились, как грязная, застоявшаяся вода из прорванной плотины. Василий и еще какой-то казак не переставали приносить вино и новые колоды карт.

Уютно, весело.

А вагон все катил вперед и вперед. На остановках приходили новые люди, офицеры, казаки, солдаты. Передавали донесения, телеграммы и, стоя на вытяжку перед генералом, рапортовали, что ничего „особого" не случилось. Но все это мало кого интересовало, как дело обычное, скучное и пустое. Весь интерес сосредоточивался на карточной игре и азарте. Полковник держал последний банк и куча золота и горы бумажных денег вот-вот должны были исчезнуть в карманах его френча.

— „Ва банкэ",—сказал американец на ломаном русском языке и высыпал на стол кучу американских долларов. Серебро глухо застучало по дереву и вызвало в глазах игроков искорки завистливой, злорадной радости. Руки судорожно сжали карты и какой-то трепет промигнул в толпе и скрылся.

— Бита,—стараясь быть спокойным, сказал полковник и придвинул к себе доллары. Новый взрыв хохота и ряд насмешек раздался по адресу американца.

— Не лезь, сэр, покуда цел,—сострил генерал и подавился от удовольствия смехом. Американец лениво отодвинулся от стола и, деланно улыбаясь, принялся снова плевать по старому направлению. Японский офицер, хлопая себя по карману и тоже отодвигаясь от стола, прошипел:

— Шибко, нет, куроть, кюрать...

— Все хорошо, Макадо, спасибо вам,—насмешливо отвечал полковник. Он сгреб со стола деньги, рассовал их по карманам и закричал: Василий, тащи ведро вина!

Ухмыляющийся Василий втащил корзину, смел со стола окурки и принялся расставлять бутылки.

В это время поезд убавил ход и остановился. В вагон вошел вооруженный офицер и подал полковнику телеграмму.

— Какого еще черта?—проворчал полковник, развертывая бумажку.

— Ага, сорок три... Ладно, разберем,—и, возвращая телеграмму, добавил:

— Прикажите там задержать.

— Слушаюсь...

Офицер вышел,а через минуту поезд дал свисток и покатил дальше.

— В М., господа, предстоит остановка и великое судьбище. Предлагаю не задерживаться и решить дело по протоколам и показанию наших людей,—сказал полковник в перерыве веселого разговора.

— Конечно, конечно,—прошамкал генерал.

— А пока предлагаю заснуть перед новым вечерним сражением,—вставил молоденький, изящный поручик.

Японцы улыбались и показывали белые зубы, дамы отчаянно кокетничали. Скоро в салоне остался один капитан, угрюмо посмотрел на залитый вином стол, покрутил головой и вдруг закричал:

— Васька, черт, возьми меня!..

Салон опустел совсем.

III.

Через пять часов после прибытия арестованных на станции раздался звонок, предупреждающий о подходе поезда: за поворотом, у стрелки, взревел паровоз и на путях вдруг выросло серое туловище броневика. На его стенках крупная, четкая надпись гласила: „Мститель", а из узких, продолговатых отверстий зловеще выглядывали закопченные жерла пушек. Броневик прошел мимо станции и остановился у выхода. Вслед за ним молодцовато подкатил коротенький поезд, состоящий из пяти теплушек и двух вагонов международного общества. На площадках паровоза и вагонов торчали с головы до ног вооруженные люди и выглядывали дула пулеметов. Вслед за поездом показался еще броневик с надписью: „Грозный". Кавалькада была внушительная и страшная. Вместе с ней на станцию вошла еще большая тревога и усилилось чувство подавленности и беззащитности. Поднялась страшная суета. Вооруженные солдаты выскакивали из вагонов, быстро строились, делали повороты. Суетились офицеры, железнодорожники с светлыми, поперечными погонами и какие-то люди в штатском. Очевидно, прибывший поезд имел большое значение для местного края, если так основательно охранялся пушками и поднимал такую суматоху.

И действительно, в поезде находилась сессия военно-полевого суда, имеющая право именем „закона атамана Семенова" карать и миловать. Сессия или комиссия, как называли ее, разъезжала по Забайкальской ж. д. от Верхнеуральска до Читы, наводила порядки и уничтожала большевизм". Многочисленные агенты и целые воинские части наводняли окрестности, проповедывали скорое пришествие монарха и расправлялись с непокорными чалдонами. Чалдоны уходили в горы, закапывались в землянки и оттуда делали отдельные партизанские налеты на железную дорогу и поезда. Взаимное раздражение разрасталось с каждым днем и меры борьбы принимали все более и более жестокий и бесчеловечный характер.

— Жги деревни, убивай, насилуй. Чем больше крови, тем больше страху и смирнее человек... дави, вешай. Мужик—вошь, в грязи заводится, в грязи живет и норовит укусить. Дави его!

Такова была философия семеновцев. К этому прибавлялось: большевики—жиды, бей жидов.

В ответ на это складывались свои лозунги и своя философия у мужиков:

— Врешь, Катя, не запугаешь. Подавай советы, чтоб всяк сам по себе. Свобода.

И темная еще, не осознанная надежда на возможность каких-то новых, своих порядков и новой жизни томилась в сердцах мужиков и была похожа на начало слабой неоформившейся мысли, которая вот, вот разовьется, созреет и поставит человека на свое место. И эта надежда и эта неоформившаяся мысль выражалась в одном слове: „свобода", с характерным добавлением—чтоб всяк сам по себе. И мысль росла и давала свои результаты. Все больше и больше народу уходило в горы и тем сильнее атамановские агенты стремились в корне уничтожить ростки этой мысли. Но вместе с мыслью рос и корявый мужицкий гнев. При встрече с противником не церемонились. Смерть за смерть и пытка за пытку. Отсюда разрасталась та томящая, нудная тревога, которая заполняла долины и окрестности деревенек и шла из темных, косматых гор.

— Словили сорок три,—раздавалось в отряде солдат, прибывших с комиссией.

— Сейчас судить будут,—поясняли знатоки.

Молодой офицер, приведший арестованных, молча топтался у площадки международного вагона. Вскоре оттуда показался знакомый нам Василий и сказал:

— Пожалуйте, ваше благородие.

Офицер очутился в салоне. За столом одетые по форме в чинном порядке восседали: генерал, полковник, капитан, американец и два японских офицера. Не было ни карт, ни вина и лица присутствующих были торжественны и важны. Офицер вытянулся, сделал шаг в сторону генерала и, держа под козырек, отрапортовал:

— Начальник 6-ой особой конвойной команды, карательного отряда имени атамана Семенова. Арестованных—сорок три, команды—тридцать, больных нет, за день никаких происшествий не случилось.

— Во время отдачи рапорта вся компания встала и, вытянувшись, держала под козырек.

— Здравствуйте,—сказал генерал.

— Здравия желаю, ваше превосходительство.

— Ну, а как в окрестностях?—спросил полковник.

— По правую сторону на пятнадцать верст лес очищен, левая сторона охраняется другим отрядом. Сведений у меня нет.

Комиссия разместилась на своих стульях и потребовала списки арестованных.

— Нам тут задерживаться некогда, все мы утомились,—проговорил полковник,—давайте, кто у вас „особо", а остальных направьте в Читу.

— Определенно семнадцать из них уличены, а остальных можно отправить,—отвечал офицер.

— Которые семнадцать?

Офицер отобрал несколько исписанных, помятых бумажек и отложил их в сторону.

Началось чтение.

— Иван Шалагин, 28 лет, слесарь депо Х, открыто высказывал сочувствие большевикам, призывая к мятежу... и т. д.

Матрена Туезова, 49 лет, крестьянка, укрывала у себя дезертиров, принимала бандитов,—созналась.

взялся было бить старика, но подошедший врач заявил, что человек о всем данным сошел с ума.

Битье прекратилось и сумасшедшего втолкнули обратно в вагон. [Н]а следующих станциях вытащили еще несколько человек замерзших никто, повидимому, не имел в виду спасать остальных; сумасшедший [с]тарик метался по вагону и прерывающимся голосом выкрикивал: [Д]а воскреснет Бог и расточатся врази его, врази его,—остальные, у [к]ого одеженка была покрепче, сидели тихо и неизвестно о чем думали...

В Читу поезд пришел поздно ночью, на следующий день. А в[ут]ро городская публика видела, как по улицам города, к тюрьме кон[во]й провел десять человек арестантов с зелеными лицами и дико блу[ж]дающими глазами...

Спустя много времени, родственники двадцати шести арестантов, [в]езенных в Читу, безуспешно наводили о них справки во всех учре[ж]дениях...

Октябрьский рассвет

(Из записной книжки)

А. Аросев

I. Пламенная площадь.

Теперь эта площадь называется Советской, а раньше называлась Скобелевской. Она очень маленькая. И в самой сердцевине Москвы. Окружена домами, окрашенными в какой-то пламенный цвет. Потому её скорее можно назвать площадью пламенной. Особенно ярко выделяет своим напряженно розовым цветом бывший дом градоначальника.

Туда вошла революция, потом вышла на балкон и с балкона известила весь свет, что в сердцевине Москвы зародился Совет рабочих и крестьянских депутатов.

Едва только особенно счастливое весеннее солнце 1917 г. дотянулось своими золотыми лучами до зимнего снега, как всю необъятную Россию задел своим пурпуровым крылом мятежный ангел, который летел от тех полей, где дымились кровью неостывшие трупы войны и догорали срубы разрушенных домов.

Солдаты, раскрасневшиеся под веселым хмелем почти бескровной революции, со всех площадей Москвы уже послали небу тысячекратное „ура“.

Лучезарное небо, горевшее калильным голубым пламенем эфира, приняло эти приношения и старалось разнести весть о них всему свету вихрями своих буйных весенних ветров.

А до этого времени, в продолжение долгих лет, сердце Москвы медленно билось в розовом доме градоначальника, было украшено сипло-звенящими шпорами градоначальнических сапог. Весной 1917 г. эти шпоры были выкинуты.

С этого дня маленькая площадь—сердце Москвы—все больше и больше пламенела. От этой площади во все концы Москвы через улицы и переулки разливались красные пучки лучей. У подножия Скобелевского коня не раз собирались толпы народа. К пламеневшему фасаду Совета не раз стекались солдатские полки, неся на блестящих штыках своих искры борьбы, которые, казалось, впивались в каменные стены Совета, пронизывали их насквозь и вливали бодрость в Совет для великого, неизбежного восстания.

Это великое восстание человеческой массы во имя человечества началось просто, без колебаний, совершенно так же, как в старых сказках рассказывается про сотворение мира.

... Октябрьский рассвет пробивался через большие окна в неуютную комнату Совета, в окна которой можно было смотреть прямо в глаза бронзовому Скобелеву, что возвышался на площади.

Розенгольц опирался локтем на какой то большой стол, покрытый зеленым сукном. Неизвестно почему именно здесь стоял этот стол. Неизвестно почему именно в этой комнате царствовал будто нарочно произведенный беспорядок. Можно было подумать, что это не комната, а сцена, изображающая комнату, в которой происходила серьезная и ожесточенная перестрелка окурками папирос. Перестрелка, длившаяся целую ночь.

При тусклом свете осеннего утра, на фоне зеленого сукна, зеленое лицо Розенгольца казалось синеватым, как у угоревшего человека. Черная оправа его волос на голове, совершенно правильная, состоявшая из ровных линий, касалась извечной чернотой безвоздушного пространства. Черные глаза его под нависшим лбом точно две птицы, спрятавшиеся в гнезде, казались далекими, далекими, глядящими из вечной тьмы.

Можно было как угодно близко подойти к Розенгольцу, можно ясно разглядеть, что борода у него плохо выбрита, что ворот синей рубашки просится в стирку и т. д. Но все-таки, все-таки глаза, эти глаза коршуна, будут парить далеко и высоко от вас, даже не в синем небе, а в черном пространстве, за небом.

Розенгольц своим поведением мне всегда напоминал существо, прилетевшее откуда-то из вселенских высот. Должно быть его внутренним, неосознанным правилом было: во-первых, „чем меньше скажешь—тем больше поймешь“ и, во-вторых, „смотри всегда вниз, а не вверх“, а для этого стой как можно выше, ибо „с горы виднее“ и, потому, спокойнее.

В Розенгольце есть одно удивительное противоречие: с одной стороны, он человек очень положительный (но совсем не покладистый) и покойный, а с другой—он почти никогда не принимает положительные и покойные позы. Так, если садится на стул, то стремится сесть как-то боком, будто от нечего делать; если идет заседание и все ломают головы над вопросом,—он сидит, развалившись в позе (как какой-нибудь фон-дер-Гольц-Паша), в самой непринужденной позе, а между тем ломает себе голову не менее других. Это свойство революционера, который думать может во всяком положении и творить революцию так же вдохновенно-спокойно, как поэт пишет стихи.

Вот и в это утро, облокотившись локтем на стол и скрививши, как почтмейстер в заключительной сцене „Ревизора“, изображает знак вопроса, Розенгольц тихо говорил мне и другим двум товарищам:

— Вам поручено организовать штаб. Вы примите меры и сделайте то, что надо для этого. Подыщите людей.

А глядя на него со стороны и слушая только голос, можно было подумать, что он говорит, примерно, такую фразу:

— Папиросы „Сэр“ я не особенно люблю, мне гораздо больше нравится „Дядя Костя“.

Потом Розенгольц куда-то тихо скрылся. Казалось, он сотни лет, как вечный дух, прожил в этих комнатах, ибо знал, где что находится и проникал из комнаты в комнату, будто сквозь стены.

Как синий утренний туман, Розенгольц проникал, исчезал и снова бесшумно появлялся...

Мы стали втроем организовывать штаб.

Серенький день расползался по углам комнат. Надменный бронзовый генерал Скобелев слегка заглядывал в окно из любопытства к тому, какой штаб могли организовать мы, мятежники.

К полудню штаб был уже организован. Комната Военно-Революционного Комитета была рядом со штабом.

Когда я вечером сообщил Розенгольцу о штабе, он слегка улыбнулся. Это означало полное одобрение. Розенгольц всегда так одобрял. Его одобрение выражалось прежде всего в „одобрении" своего лица. А это достигалось маленьким намеком на улыбку.

Вечером этого дня нашему штабу уже пришлось приняться за работу.

Тут мне вспоминаются „двинцы", сыгравшие крупную роль в нашей военной победе в Москве.

Двинцы, это—солдаты-узники Двинской крепости. Из Двинска они были переведены в Москву, где сидели в Бутырках. Фронт и тюрьма спаяли их в единую, сплоченную массу. Сплотившись, каждый из них индивидуально стал выше, чем был раньше. С полным сознанием и святым трепетом каждый из них относился к революции. С врагом они боролись смело.

Однажды днем, наши дали маху и подпустили броневик юнкеров почти к самому Совету, так что броневик „плюнул" снарядом в стену Совета.

Мигом встряхнулись наши отряды. В ожесточенный бой с броневиком и защищавшими его юнкерами вступили „двинцы".

Снаряд, ударившись в стену Совета, произвел немалую панику. Все вскочили, метнулись, столкнулись друг с другом лбами, потом снова разошлись в разные стороны и долго обсуждали событие.

Вскоре вбежал двинец Грачев, в дождевом плаще черного цвета с поднятым колпаком, бледный как воск, с глазами, сверкающими, как два алмаза...

— Мы... Мы...—задыхался он и выкатывал глаза, как бы стараясь скорее глазами, чем словами, дать понять о том, что рвалось с его уст,—мы прогнали юнкеров до Спасских ворот. Прикажите брать Кремль!

— А городская дума?..

— Да что там „дума", там уж давно я своими занял. Комитет ударил. Прикажите нам взять Кремль через Спасские ворота.

У нас в штабе планы насчет взятия Кремля были совсем другие. Я сказал:

— Нет нельзя. Отведите свой отряд назад к Тверской улице. Грачев невольно стукнул по столу:

— Да что вы делаете? Погубим!..

— Будьте покойны. Слушайтесь.

Никогда в жизни не видал я лица, так перекошенного досадой. Грачев, стиснув зубы, скрипнул ими так, что у меня под кожей черепа будто зашевелилось что-то. Глаза его, точно два острых ножа, вонзились мне в грудь. Через минуту он вынул их, опустил.

— Слушаюсь. Только из-за дисциплины слушаюсь. Сейчас отведу отряд. Эх,—простонал он и снова стукнул по столу кулаком, но уже на этот раз грустно, так, как стукает первая горсть земли на опускаемый в могилу гроб.

И ушел.

Розенгольц спросил:

— Это кто был?

— Двинец,—ответил я.

Степан Ходукин, крестьянин, снабжал бандитов провизией,-:ознался.

Мойша Хацкелевич, 41 года, торговец, распространял неверие :меялся над правительством,—сознался...

Таких сознавшихся было семнадцать. Протоколы допросов были ›одписаны офицером, старшим урядником и стражником.

Читая протоколы, полковник спрашивал:

-- А какова рожа?

— Разбойничья, ваше высокоблагородие,—отвечал офицер.

„Смпргр"—ставил полковник пометку красным карандашом и ›тодвигал бумажку в сторону. Молоденький поручик брал эту бумажку ı вписывал фамилию обвиняемого в длинный печатный лист. Процедура :уда тянулась не больше двадцати минут и во все это время где-то за ıерегородкой молодой женский голос выводил:

> В далекой, знойной Аргентине,
> Где море южное так сине,
> Где женщины, как на картине... и т. д.

— Ну, вот,--сказал полковник,—этих семнадцать „отпустить" :егодня ночью, а остальных в штаб.

— Василий, обратился он к казаку,—скажи, чтоб отправляли.

Компания поднялась из-за стола и начала расходиться; офицер ıолучил печатный лист и, откозыряв, вышел. Через минуту поезд от-|равился, окруженный броневиками и хорошо вооруженный охраной олдат и казаков.

Молодой офицер, успокоенный, с сияющим лицом - он считал, что го карьера после такого удачного дела обеспечена,—размещал рестованных в два отдельных вагона. В первом он оставил семнадцать человек, а во второй перевел остальных двадцать шесть.

— Вас сегодня отпустим,—сказал он первым.—А вам, господа, ридеться проехаться в Читу,—улыбаясь, сообщил вторым.

IV.

Маленький разъезд прижался к краю болотины. И, казалось, ремал в тихом полумраке сумерек. Старый, угрюмый лес мрачно на-ирал на постройки разъезда, как будто, собираясь сбросить х в болото. Полотно железной дороги кривыми змейками бежало экруг каменных лбов, ныряло в выемки и, наконец, исчезало где-то цали за темными косогорами. Было тихо. Только собака стрелочника зредка тявкала в пространство, да отдаленный лай волков, врываясь эскливой ноткой, вдруг обрывался и замирал где-то далеко в лесных ебрях. Маленькая фигурка человека несколько раз выскакивала из верей конторы, прислушивалась в сторону дороги и снова исчезала братно. Время тянулось незаметно и скоро наступила полночь. Красная /на высоко забралась на небо и бледной мутью залила окрестности. друг и дали раздался шум поезда, начал расти, шириться и разорвал юкойное молчание леса. Старый, растрепанный паровоз, надсадно укая паром, тащил за собой два товарных вагона и немилосердно 'учал по рельсам. В первом вагоне горел свет, жарко топилась чугун-ıя печь, по нарам было разбросано оружие, патроны, а в углу, около зерей, стоял пулемет Максима.

Полупьяная команда казаков, передавая из рук в руки бутылку жестяную чашку, пела песни и неистово гоготала. На верхней полке

лежал офицер и беспрестанно курил, а внизу, усевшись на край доски, рослый денщик растягивал гармошку и напевал:

Зачем Колчак нам, зачем свобода?
Была бы водка и власть народа...

Другой казак, с большим чубом кудреватых волос, задорно выбивающихся из-под шапки, уговаривал пьяного урядника:

— Давай щелкнем из Максимки. А? Давай?!

Урядник осовелыми глазами уставился на гармониста и ворчал:

— Отстань, я сам знаю как...

— Ваше благородие,—обратился казак к офицеру,—позвольте по отпускным из Максимки, чтоб враз...

Офицер не отвечал, казак махнул рукой и недовольно отошел в сторону. В следующем углу, под нарами, несколько казаков слушали рассказчика. Рассказчик вполголоса повествовал о веселых приключениях среди арестованных и о крупном заработке. Беззаботность, тепло и водка делали мрачную обстановку вагона незаметной и время летело быстро. Можно было подумать, что эта веселая компания подгулявших молодых людей ехала на забавную охотничью облаву и веселилась напропалую.

Рядом шел другой вагон. В нем было темно и совсем не было свечки. Если бы по временам здесь не раздавались тихие стоны, шопот и нервная дробь зубов, то вагон можно бы принять за пустой. Однако здесь ехали люди—те семнадцать человек, о которых сказал полковник: „отпустить сегодня ночью", и на протоколах которых стояли пометки: „С м п р г р". Они не могли говорить, так как вторые сутки оставались без пищи, а тринадцатиградусный мороз стянул их члены и свел челюсти. Только тихий жалобный стон, да невнятный шопот говорили о том, что люди еще живы и не утратили способности страдать и надеяться. Немногие из них понимали, чем кончатся эти надежды. Великое отчаяние могло бы разорвать их сердце и избавить от ужасных страданий, если бы человек не имел скверной привычки не мириться со смертью и надеяться до конца.

Их ждала смерть нелепая, тупая, случайная. Смерть от дикого произвола озверевших тунеядцев или от слепого невежества продажных рабов—обидная насмешка над временем и человеком. Легко оправдать смерть даже от голода, от случайного увечья, от дряхлости, но смерть от насилия других, себе подобных, оправдать нельзя и нельзя примириться с нею. Живые люди, полные сил, способные трудиться и создавать ценности, умеющие любить человека и бороться за его свободу, ехали теперь, умирать под ударом ножей беспросветно темных и пьяных людей.

Скованные холодом, молча лежали на полу, прижимаясь друг к другу, и каждый по своему переживал свою драму. Никто не замечал времени и не знал, куда и зачем их везут.

Вдруг раздался свисток, убавился ход и поезд остановился. Послышались голоса, стук оружия, щелкнула скоба и в отворившиеся двери вагона упал мутный свет луны.

— Вылазь!—раздалась команда.

Медленно, один за другим, выходили арестанты и становились в кучу.

— Ну, все, что ли? Живо!—торопил их офицер. Оглядев пустой вагон и пересчитав арестованных, офицер приказал им двигаться вперед в сторону от разъезда. Опять двойное кольцо охраны окружало их и зорко следило за каждым шагом. Позади на маленьких салазках

вали пулемет Максима. Шли очень долго. Где-то в стороне прокр… петух, протявкала собака и опять все смолкло.

— Стой,—приказал офицер и, вынув из кожаной сумки длинный исписанный лист, начал читать:

— По постановлению военно-полевого суда крестьянка Матрена Гузова, рабочий Иван Шалагин, еврей Мойша Хацкелевич и проч.,— всего семнадцать, за сопротивление властям и явное сочувствие мятежникам приговорены к смертной казни.

Наступила гробовая тишина. Никто не плакал, не бился в истерике.

— Раздевайся!—закричал офицер.

— Снимай все до последней рубахи...

Замерзшие пальцы не могли совладать с крючками, а офицер торопился и скверно бранил приговоренных к смерти. Наконец, голых людей загнали по колено в снег на средине лесной поляны и приказали читать молитву...

. . . .

Вскоре солдаты, по два в ряд, возвращались обратно к разъезду, таща за собой пулемет и кучу платья. А полчаса спустя, в жарко натопленном вагоне раздавался дружный храп крепко спавших людей. Поезд шел обратно.

Рано утром того же дня крестьяне соседней деревни были разбужены стражником и получили наряд на новый род обывательской повинности—уборку трупов.

Когда, перепуганные, они подъехали к разъезду и разыскали лесную полянку, то увидели семнадцать окоченевших трупов, голых, лежащих на снегу, а на верхушках сосен стаю черных, безобразных ворон. Солнечные лучи, скупо пробиваясь сквозь утреннюю изморозь, как бы нехотя, с отвращением скользили по трупам и по сосулькам замерзшей крови.

Вскоре по всему лесу разнесся запах жареного мяса, а высоко в небо поднималось густое облако черного дыма. Крестьяне жгли семнадцать „отпущенных" трупов.

V

Вагон с остальными арестованными только вечером прицепили к проходящему пассажирскому поезду. Целый день арестанты не получали пищи и, когда пробовали просить, то в ответ раздавались насмешки и приказ молчать. Наконец, незадолго до отхода поезда, какой-то обтрепанный и больной старик под надзором казака принес большой чайник кипятку и несколько караваев черного, смерзшегося камнем хлеба. Оказалось, что нет кружек. Приходилось обождать, пока кипяток немного остынет и будет возможность пить из носика по очереди. Кроме того, вагон закрыли, а окна нельзя было открывать, потому что дул сильный ветер. Сидя на полу, пожимаясь от холода, арестованные кое-как находили впотьмах чайник, крошили хлеб и утоляли голод.

Потом, когда казак взял обратно чайник, снова стало совсем темно и еще больше холодно. Вдруг вагон рванулся, начались толчки и колеса застучали по рельсам. Поезд шел медленно, подолгу останавливаясь на разъездах и станциях. В вагон никто не заглядывал. Двери и окна были закрыты и только сквозь щель пробивались узенькие полоски света. Наконец, пропали и они. Очевидно, наступила ночь.

В вагоне никто не говорил, и только постукивание зубов да глубокие вздохи давали знать о присутствии людей. Правда, в начале от-

хода, мальчик в монгольской шапке пробовал было плакать, но потом утих и тишина уже ничем не нарушалась. Ехали долго, очень долго. А время тянулось так мучительно, как будто заодно издевалось над несчастными арестантами. Только на утро другого дня застучали скобы, открылась дверь и в отверстие просунулась голова казака.

— Мертвые есть?—спросил он.

Никто не ответил. Выругавшись, казак снова задал тот же вопрос. На этот раз раздался слабый, надтреснутый голос и проговорил: „вон там в углу"...

— Что в углу?

— Замерзлые,—отвечал голос.

Сразу никто не двинулся. Но вдруг вскочил посиневший мужик и коснеющим языком и стуча зубами, начал выкрикивать:

— Зверье, зверье, мучители, анафемы...

Казак оторопел, но потом засмеялся и крикнул:

— Яшка, идем мертвых заберем...

Подошел еще казак и оба влезли в вагон. В углу, обнявши друг друга, лежали подросток мальчик и молодой студент. Голова мальчика лежала на груди студента, а тот засунул ему руки под курмушку. Казак поднял голову мальчика, но она сейчас же упала обратно. Студент не шевелился.

— Подохли,—сказал казак.—Волоки.

Мертвых вытащили из вагона и понесли куда-то в сторону.

Снова застучали колеса, задергался, запрыгал вагон. На следующей большой станции арестованным принесли кипятку и хлеба. Вытащили еще трех уснувших навеки, посмеялись, пообещали остальных провезти живыми...

В это время в остальных вагонах, в страшной тесноте и грязи, торговая публика, свалив в кучи узлы, мешки и чемоданы, усиленно разрешала вопросы доходов и прибылей. Товары шли вместе с пассажирами.—Двести пятьдесят, пятьсот, тысячу процентов, можно было слышать отдельные, короткие фразы. Китайский шелк, табак, сарпинка, сахар, духи, пряности развозились свободными торговцами, пользовавшимися милостями атамана и его фаворитов. Железнодорожники, солдаты, офицеры, чиновники, обыватели—все были увлечены прибылями, не дорожили здоровьем и не стеснялись грязной работой.

Можно было видеть, как хорошенькие пальчики изящных женских ручек подбрасывали уголь в железные печи, а хорошенькие губки раздували огонь. Сбившись в кучу, не тяготились ужасными „выражениями" грязной публики, и даже пробовали шутить. О, на какое геройство и на какие лишения может двинуть человека прибыль! Только бы хорошо заработать; не беда и не тягость проехать тысячи верст в ужасной обстановке товарного вагона во время суровой зимы. Заработок был. Балаганы, лавочки, комиссионные конторы, магазины ждали каждого пассажира на своем месте. Каждый торопился ехать скорее. Но поезд шел ужасно медленно.

На следующей станции случилась маленькая неприятность. Когда казак открыл вагон, то в тот же момент на него прыгнул старик арестант в желтом полушубке. Прыжок был так стремителен и неожидан, что казак растерявшись пустился бежать. Арестант топтался на одном месте, размахивая руками, а из рта его выбивалась пена.

Собралась толпа любопытных, начали заглядывать внутрь вагона, ахать, возмущаться. Арестант хрипел, пена усилилась, но слов разобрать было невозможно. Прибежавший конной разогнал любопытных

модный и гладкий джентльмен. Мошенника я всегда называю „лорд мошенник“. Для него нет правил и нет полиции. Мошенник не только всемогущ и вездесущ, но и всетворящ. Не полиция может изловить мошенника, а талант. Только талант. Вот, например, я. Если бы вы мне дали право, то—

. . . . тогда
Я б расставил мышеловки
И мошенники с Хитровки
Все попали бы туда.

Извините меня, я немного поэт. Впрочем, это пустяки, а главное то, что для поимки мошенников, так же, как и для поимки мышей, необходим маленький кусочек ветчинки. Обеспечьте меня этим—тут Гвоздев движением пальцев намекнул на „денежку“,— и все мошенники Москвы будут у вас в кармане, а в городе будет тишина и горожане будут за вас свечки ставить.

О, я знаю, вы вероятно думаете, что я старый бюрократ и на меня положиться нельзя. Ошибаетесь. Я, правда, бюрократ. Но ведь мы, бюрократы, умеем разбирать, куда лучше вашего брата, то-есть людей с рассужденьицем. Вы молоды и хрупки в работе. В нашей работе есть только одно святое правило: „гони деньгу“, и мы дело сделаем. Эти правила жизненны при всяком строе, и во веки веков, ибо разве был пойман хоть один крупный авантюрист, иначе чем по правилу „гони монетку“? – Нет, нет и нет. Экхе, экхе, экхе...

Генерал Гвоздев закашлялся, и брызги его слюны разлетелись по столу.

Я рад, что он остановился, ибо я никак не мог его прервать, а между тем поток этой мутной, грязной речи, казалось, отравлял воздух, стены, предметы в кабинете.

Прокашлявшись, генерал вынул какую-то баночку, наполненную беленькими шариками, и проглотил несколько из них.

— Это наркоз, - пояснил он мне. — Не могу без него: спаситель от всех болезней, делает меня духовным, отрывает от земли.

Чтобы отделаться от невыносимого генерала, я углубился в рассматривание бумаг на столе.

Генерал Гвоздев встал и подошел к окну. Слегка присев на подоконник, он смотрел все время одним глазом на меня, другим на улицу. Улучив минуту, генерал украдкой привычно быстрым движением руки вынул из кармана жилета что-то очень маленькое. Быстро работая ноздрями, понюхал это и снова потом так же жульнически опустил в карман.

Нечаянно со. стола у меня упала бумага. Генерал подскочил, извернулся под стол как кошка, достал бумагу и, сразу снова сев в кресло, сказал:

— Вы знаете, как я работал при Коковцеве?—Нет? Где же вам знать, молодые наши вельможи!

Однажды Коковцеву надо было провести один финансовый проект. Призвал Коковцев меня к себе и говорит: „Завтра в „Новом Времени“ будет моя статья по поводу моего проекта. Вот ее копия. Просмотри и чтобы после завтра была бы твоя статья в „Биржевке“, которая опровергала бы мою“. Я, конечно: „Слушаюсь“ – и готово – работа закипела. Коковцев одну статью, а я другую, против него. Он мне ответ, а я его опять „покрываю“.

Пригласит, бывало, Коковцев опять и говорит: „Смотри в оба: что бы я ни писал—ты знай меня опровергай и больше никаких. А как проведем проект, награжу“. Понятно, я старался во всю. Такую

завели полемику в газетах, ну просто любо почитать. Тут и другие писаки разделились на два лагеря: одни за Коковцева, другие—против. И ведь никому и в голову не пришло, что чиновник особых поручений опровергает своего патрона по его прямому приказанию. И что же? Проект Коковцева был принят. Само собой, разумеется, я поработал недаром и получил хорошую „монетку". Впрочем, и Коковцев был не в убытке: он получил графский титул. Здорово! Вот и вам могу так же работать. Хотите...

— Виноват. Позвольте, — прервал я снова генерала. — Ведь мы военные власти, а то, что вы говорите о ворах, относится скорее к уголовной милиции.

— Простите великодушно. Понимаю. Но разве не хотели бы вы на таком рысаке, как я, обогнать милицию и пустить ей пыль в нос? Раньше, бывало, мой приятель Джунковский любил этак обогнать...

— Виноват,—еще раз перебил я, встал и поклонился.

— Понимаю. Слушаюсь. Разрешите все-таки за ответом зайти к вам завтра.

— О, нет.

— Слушаюсь. Я тогда зайду к Муралову. Кстати: у меня к нему есть дело. Он просил меня зайти. О, если бы вы были столь любезны подписать...

Из пухлой руки, на пальцах которой были остро отточены длинные ногти, выпала прямо на стол бумажка с моим официальным бланком следующего содержания:

„Тов. Муралов, прошу вас принять бывшего генерала Гвоздева, который может быть вам очень полезен. Не мешало бы его вообще поближе поставить к нашей работе".

Не успел я опомниться от впечатления не виданной дотоле дикой наглости, чтобы соответственно реагировать на нее, как генерал Гвоздев, не желая рисковать ничем, исчез из моего кабинета моментально и бесшумно, словно испарился.

А ночью, когда я на автомобиле возвращался домой, и снежный вихрь, переплетаясь с шумом мотора, справлял свою свистопляску в колесах автомобиля, чудилось в этой свистопляске хриплое дыхание Гвоздева. На поворотах, когда в моторе скрежетал конус, мне чудился старческий крик генерала: „Мошенники, мошенники, святители мошенники", а вихрь, как косматый разбойник, сорвавшийся из-за угла, будто вопил неистово в ответ генералу: „Гони монету, гони монету, гони монету".

Но шоффер мой гнал автомобиль все быстрее и быстрее, как будто генерал Гвоздев догонял нас, чтобы своей рукой когтеногого хищника схватить нас за глотки.

Через несколько дней на докладе товарищ сказал мне:

— Сюда доставлен для допроса из Александровского училища епископ камчатский Варнава.

— Пригласите.

Допрос епископа длился около часа, после чего я объявил ему, что он свободен.

— Виноват, простите,—сказал епископ,—я хотел бы обратиться к вам по личному делу... Видите ли, когда я сидел в Александровском училище, у меня стража отобрала деньги и крест. Дело вышло так: когда я был посажен в камеру, то там уже находился некий человек, который встретил меня очень приветливо, но предупредил, что он все же страж, и помещен внутри камеры для более тщательного наблюдения за арестованными. Сей страж показался довольно развитым

и кроме того выделялся от других арестовывавших и охранявших меня людей, почти отроков, тем, что был изрядно преклонного возраста. Впрочем, в нашей каморке было темновато и я затруднился бы описать вам его наружность. Могу только сказать, что он был бритый. Осмотревшись немного и помолившись богу, я осмелился спросить своего стража о том, что же теперь со мной будет. „Ваше преосвященство,—сказал страж,—бдите и молитесь, ибо вскоре отсюда вас повезут в тюрьму. А в тюрьме не то, что здесь, у нас. Нравы в тюрьме крутые. Самое же главное в том, что все мошенники и сплошь латыши. А латыши — известно что за люди. Самое происхождение их на русской земле уже мошенничество. И кроме того это семя антихристово. Это не нация, не народ, а племя великого зверя, из коего рождается ныне Хам, т.-е. Антихрист. Сие богопротивное племя знает человеческую слабость — это деньги и золото. А посему, ваше преосвященство, с ними будьте строги и подозрительны, наипаче же спасайте от рук нечестивых деньги и, самое главное, ваш златый и многоценный крест. Не дайте изуверам и противникам Христа надругаться над святыней. Я хоть и служу у них, но только „страха ради иудейска“. Я принужден служить, не могу не служить. Но все-таки я, ваше преосвященство, русский человек и уже одной ногой в могиле. Шутить и лгать не позволяют мне года. Поэтому служу им, а спасать буду вас и других православных, да не посмеются над вами и над вашим крестом сии неверные“.

Мой страж расстроился и закашлялся. А я без того был сильно встревожен всем. Плохо разумел, что происходит вокруг меня, но видел, что страж говорил искренно. Речь его волновала и покоряла меня. Прошло несколько часов. В камеру вошел молодой высокий латыш и объявил мне, чтобы я собирал свои вещи для отправления куда-то. Едва только вышел латыш в коридор, как страж, помогая мне одеться, заметил своим свистящим голосом мне в ухо: „Ваше преосвященство, спасите хоть крест, если не хотите спасти ваши монеты. Пусть мирское благо пропадет, но — спасите Господнее“. Я был в волнении и не знал, что делать. Страж взял меня за обе руки и прошептал: „Давайте, преосвященный, и то и другое. И мирское и Господне. Я перешлю вам в тюрьму. Следом за вами на имя начальника тюрьмы. Тотчас же. Спасете. Ведь латыши мошенники“. У меня стучало в висках и в голове. Я плохо разумел, что происходит. Второпях снял свой крест, вынул кошелек с деньгами и отдал все стражу который успел только прожужжать мне в ухо: „Клянусь, клянусь, преосвященный, ныне же к вечеру это добро будет у начальника тюрьмы. Спросите у него. Он один там православный и русский. Благословите, ваше преосвященство“... Но тут снова вошел латыш и меня вывели.

К моей великой радости меня отправили не в тюрьму, а к вам. Пока я шел сюда, то свежий воздух, московский люд спешащий, спокойные солдаты, сопровождавшие меня и не похожие ничуть на того странного стража, посеяли во мне большие подозрения. Я подумал, обманут я или нет? Вот почему, вы меня простите — я столь долго задержал вас подробностями моего повествования. И теперь: ради бога, прошу вас узнать, где мой крест и деньги. У меня было денег свыше четырех тысяч...

Когда епископ Варнава кончил свой рассказ, я по телефону навел все нужные справки и установил, что ни один из начальников тюрем денег и креста не получал, потому что с епископом в камере сидел не страж, а арестованный генерал Гвоздев. Ни креста, ни денег у него уже не обнаружили.

Прошло два дня и я случайно узнал, что по целому ряду уголовных дел, пропитанный эфиром, кокаином и всякой житейской пылью генерал Гвоздев был расстрелян.

III. Кремль.

Вероятно, еще до сих пор набожные люди собираются около Спасских ворот Кремля и молятся на чудотворную икону, задетую снарядом во время октябрьских дней.

Сейчас вместо иконы едва заметно некоторое полустертое место, где когда-то были краски образа. Над образом башенка на башенке часы, а около самой верхушки башенки в октябрьские дни стоял пулемет юнкеров. Теперь железные ворота запирают вход в Кремль. Это те ворота, про которые в известном стихотворении говорится:

„Шапки, кто, гордец, не снимет у святых Кремля ворот".

Около этой Спасской башни происходило одно из наиболее кровопролитных и упорных сражений.

Но стены и башни Кремля на своем веку видали немало кровопролитий. Холодно-каменные, они равнодушно смотрели пустыми глазами своих бойниц на тот мир, который из-за обладания этими стенами ломал копья и жизни людей. Эти стены видели татар, видели французов, видели Ивана Грозного и Петра Первого и стрельцов, что клали свои головы на Лобном месте, бросая последний, тоскующий взор на янтарное небо, обрамленное зубцами кремлевских стен будто каменным кружевом. А внутри самих стен, под землею, тлеют обглоданные червями кости московских владык...

Рядом с могилами возвышаются дворцы этих владык, рядом с дворцами старинные палаты, колокольня Ивана Великого, Собор и, наконец, всякого рода „государственные службы", например, судебная палата, арсенал и т. п.

Кремль - это большой барский двор, в громадном поместьи, называемом Россией. В этом дворе есть все, что нужно хозяину-помещику, имеющему сотни тысяч десятин земли и 180 миллионов крепостных душ. Кремлевский дво владеет землей от моря Черного до моря Белого и от Балтики до Желтого; горы Уральские, горы Кавказские, горы Алтайские все это будто холмы огромного поместья. Голубая лента—Волга серебристая; Северная Двина; темная дикая Печора; сибирские водные ленты; Лена, Обь все это будто пруды великие для господских затей; леса заволжские, леса сибирские, тайга байкальская—это парки „в их картинном запустении"; а степи вольные и бесконечные - простор широкий для разгуляний. И всем когда-то правил Кремль: он вырос, он стал короной на голове „всея Руси".

И прямо каким то непрошенным гостем залетел сюда в своей длиннополой порфире Александр Второй. Сей петербургский владыка и после смерти своей был так прыток, что всегда чуть только в каком-нибудь городе или городишке завидит свободную площадь, особенно на пригорке, так сейчас же возьмет и станет там рядом с городовым во весь свой рост. Вот и в Кремле он совсем чужой. И он это знает, и потому укрылся в особо устроенной для него галлерейке, в которой он стоит с таким видом, будто выжидает момента когда бы ему улизнуть из Кремля. Улизнуть куда угодно.

Помню весной 1918 года шли мы с Мураловым жиденькими аллейками у подножия кремлевских стен, близ Троицких ворот. Небо меркло в лучах угасающего солнца, которое клонилось на покой к

— А-а.

И замолчал.

Через 20 минут донесли, что отряд Грачева отведен по приказанию.

Работая днем, мы по ночам дремали на окнах, стульях и столах. Только Розенгольц не смыкал глаз, а если и спал, то, казалось, с открытыми глазами.

Однажды во время такой ночи, под утро ко мне подошел тов. В. И. Янушевский и сказал:

— Пойдемте ко мне.

— То-есть как к вам?

— Так. Пойдемте посмотреть мою комнату.

Янушевский — человек очень молодой, тонкий, даже хрупкий, с правильными чертами лица и той особенной походкой, которой ходят только деловые люди и только в сумрачных городах: в Петербурге, Лондоне, может быть, Нью-Йорке. Походка тихая, но решительная, скромная, но гордая. Глаза всегда серьезны, а в подбородке смех. На лбу печать возмужалости, а в щеках—мальчик. В наклоне головы простота и покладливость, а в линиях губ—надменность и „не тронь меня"

Идя впереди меня, Янушевский вел меня из коридора в коридор, из комнаты в комнату и наконец подвел к белой двери, у которой стоял часовой. Часовой, видимо, знал Янушевского—посторонился.

Тонкими, нервными пальцами Янушевский отпер дверь, и мы очутились в маленькой комнатке уютной и чистой. Прежде всего бросался в глаза большой стол, сплошь уставленный предметами, которые продаются в магазинах оптических, электротехнических, оружейных, инструментальных, москательных и писчебумажных. Большой мягкий диван у стены манил к себе. Электрические лампочки словно солнце наполняли всю комнату. Незанавешенные окна напоминали черные заплаты в стенах. Осенняя ночь своими глазами упиралась в окна. И от этого во дворе ничего нельзя было рассмотреть. Только слышно было как временами где-то далеко, далеко трещал пулемет.

— Вот это,—начал показывать свое богатство Янушевский,—электрический фонарик. Он очень удобен. Его можно одеть на пояс.

— А это что у вас? Фуражка?

— Да, это, кажется, фуражка с японским козырьком.

— Вот как. А это что,—зажигалка?

— Да. Очень удобная. Видите—вот раз—зажглась, раз—потушена. Но это что, а вот у меня есть окарина, видите, маленькая такая.

— В самом деле. Вот изящный инструмент. Очень хорошая

— Послушайте звук.

Янушевский сел на ручку мягкого кресла и заиграл на окарине. И вид у него был такой, как изображают пастушков со свирелью.

Хороший звук. Очень приятный звук окарины. И в комнате так светло. Вся борьба осталась там за стеклом.

Опять пулемет. Опять окарина. В голове какие-то облака. Облако находит на облако. Заслоняет одно другое. Это не тучи, а облака, потому что тучи—серые, а облака белоснежные. Белоснежные облака, потому что много яркого света в этой белой комнате. Облака тихо плывают в мозгу, оттого что звуки окарины плавают, колеблют воздух, оттого что трескотня пулеметов сотрясает уличную осеннюю сырость. Облака наплывают на облака оттого, что звук окарины заглушает пулемет, пулемет заглушает окарину. Облака расстилаются в дым оттого, что зрачки глаз закрываются тяжелыми веками.

Нет ни окарины, ни пулемета. Ни того, ни другого—нет ничего. Я был убит сном. Мягкий диван был теплой могилой...

— Удирают. Слышите, удирают. Что же вы дрыхнете?

Я воскрес. Не было окарины. И пулемет заглох. На конце моего дивана сидели Муралов и Розенгольц. А в углу, как пастушек со свирелью в руках, сидел Янушевский и держал окарину.

— Удирают,—прохрипел еще раз Муралов.—Понимаете, юнкера удирают через Брянский вокзал. Их надо задержать на мосту.

— Конечно. Идемте, организуем,—сказал я.

Муралов, Розенгольц и я двинулись через коридоры в штаб.

А Янушевский, — одинокий пастушек со свирелью, — остался в комнате.

Подпоручик Владимирский с отрядом солдат отправился к Дорогомиловскому мосту задерживать юнкеров.

С рассветом загрохотали пушки. Пулеметы забили дробь своими свинцовыми зубами. В Военно-Революционном Комитете машинки стали выклевывать на бумаге наши приказы.

Пламенная площадь рделась за окном в осеннем тумане. А бронзовый Скобелев хмурил брови и гнал, гнал своего коня вон из Москвы.

Городская дума была уже нашей. Кремль тоже. Юнкера оказались в положении крыс на тонущем корабле. Серые волны солдат начинали заливать улицы и переулки Москвы. Юнкера и офицеры метались.

Огненные языки побеждающего восстания уже облизывали стены Александровского училища—этой цитадели, где сидели лучшие полководцы царской армии — заслуженные, убеленные сединами генералы, покрытые крестами отличия вояки-офицеры.

Ничто не помогло. Солдат победил офицера. Пламенная площадь отвоевала Москву у помещиков.

И теперь, когда Москва становится центром мира, а Кремль центром России, пламенная площадь остается центром Москвы.

II. Генерал Гвоздев.

— Пропустите, товарищ, пропустите.

— Господи, куда вы лезете? Соблюдайте очередь.

— Да я с запиской от Муралова из его кабинета.

— Что ж из этого? Я сам с запиской, да стою тут целый день.

— Виноват, разве не здесь выдают пропуска на выезд?

— Не знаю. Здесь штаб округа. У меня отобрали револьвер. Вы не знаете, могу ли я его здесь получить?

— Господа, позвольте пройти. Я только для справки по поводу ареста брата.

— Э, друг, нынче уж нет господ. Вы должно быть меньшевик, что так говорите.

— Меньшевик. Ха-ха-ха. Вот понятия-то.

— Прошу не выражаться.

— Вы в Ростов-на-Дону?

— Нет, хлопочу пропуск в Елисаветград. Здесь невозможно. Никак невозможно. Все мое состояние вчера было опечатано.

— А не знаете, что будет с золотом в сейфах?

— Не толкайтесь. Раз пришли, то и ждите.

Все эти разговоры происходили за дверьми новых военных властей.

Бывшие офицеры, испуганные обыватели, дрожащие за свое добро студенты и прочий сборный люд,—все стучались в двери новой власти. Тут были и беженцы к Каледину, и авантюристы, и кавалеристы и всесветные проходимцы, и просто несчастные и пленные, и инвалиды и затхлые старики, слегка сдвинувшиеся от перепуга.

Казалось, что гремевшие чуть ли не вчера орудия опрокинули Москву вверх дном и из нее посыпалась вековая людская пыль.

Молодая новая власть, состоящая из вчерашних повстанцев, первые дни буквально была задавлена просителями и искателями всех сортов. Молодым повстанцам, еще вчера державшим винтовку, трудно было перейти сразу к перу и подписывать разрешения, удостоверения, распоряжения и проч., и т. п.

Перед новыми властями, как грибы после дождя, выросли люди, которые все умели и знали.

В казенных зданиях откуда-то появились коменданты, словно родившиеся из пыли прямо в комендантском кресле и с ключами от цейхгаузов. Оказались какие-то заведующие хозяйством, бог весть кем и когда на это уполномоченные. Целой толпой хлынули какие-то „представители" и „уполномоченные" от каких-то учреждений, не существующих на земном шаре. Эти „представители" делали без записки обширные „доклады", кончавшиеся неизбежно „испрашиванием" круглевьких сумм. Словом, Москва-матушка тряхнула своими проходимцами высшей и низшей марки. Тряхнула всем тем, что на русском языке называется попросту „Хитровкой" в самом обширном смысле того слова.

Когда все оболочки жизни лопнули, „Хитровка" показала, что она не только некоторое географическое место в Москве, но целый слой российского населения. Тут и дворяне, и крестьяне, и мещане, богатые и бедные, знатные и никчемные. Духовные и еретические belки, живущие по правилу, „как птицы небесные, которые не сеют, не жнут, не собирают в житницы".

В старое царское время мне довелось знать одного из этаких „пострелов". Правда, человека „низкого звания", босяка. Имя его „Ванька-Нос", а замечателен он был тем, что промышлял себе пропитание точь-в-точь как птица; залетит, например, он в булочную, шлепая своими лаптями, быстрым шагом подойдет к приказчику, что потолще и подобрее, подставит свою просительную лапу и, глядя теплыми глазами, отчеканит: „Ясному щеголю, московскому козырю, мягкого ситного—много и быстро!"

Приказчики посмеются и сунут ему в руку французскую булку. Ванька-Нос, подпрыгивая на одной ноге от холода, бежит в другую лавку.

А сколько их таких стрикулистов-то на верхах, где они промышляли не прибаутками, а лобзанием руки какой-нибудь графини сиятельной и получали не французскую булку, а иногда французское посольство, или русский Синод, или еще что-нибудь в таком же роде.

Вот к дверям новых властей в первые дни и хлынул целый поток таких „ясных козырей", „московских щеголей". Словом—„наш народ—везде поспел".

Случайно мне довелось познакомиться с одним таким „козырем" высшего полета.

— Позвольте вам представиться: генерал Гвоздев, - сказал он входя в кабинет.

— Садитесь.

— Мерси. Слушаюсь.

На меня смотрели раздутые ноздри сизого носа, на котором колебалось пенснэ. Под носом блестели толстые губы, привыкшие к маслу и вытянутые немного вперед. Бритые серые щеки отвисали так, словно кто-то из озорства оттянул их вниз, желая лицо генерала сделать похожим на морду слона.

Уши этого существа были лопоухи, оттого что, повидимому, с величайшей осторожностью прикладывались не только к замочным скважинам дверей, но и к ящикам письменных столов. Мне казалось, что уши его и сейчас немного пошевеливаются, как бы прислушиваясь—нет ли какого шороха в моих карманах...

Но глаз генерала я не видал... Они скрылись около переносицы, закатившись за бугры щек. Будто Гвоздев смотрел не глазами, а стеклышками своего пенснэ.

Я был немного смущен тем, что генерал долго не начинал разговора, и лишь внимательно рассматривал, обнюхивал и выслушивал меня. Если бы не сдерживающие рамки приличия, то он, вероятно, я ощупывал бы меня. Особенно, я думаю, карманы.

— Видите ли, я, собственно...—начал генерал.

Потом достал из кармана какой-то маленький лекарственный флакончик и выпил из него что-то.

— Я собственно... Вы знаете, кто я? Нет, наверное. Я был чиновником особых поручений при графе Коковцеве. Но сам москвич. Всех московских жуликов я знаю по фамилиям. Адреса всех притонов у меня вот здесь, в кармане. Вы знаете кафе „Элит"? Если нет—могу много рассказать. А знаете, кто собирается в Большой столовой на Тверском бульваре? Знаете ли вы, что в кафе, у Охотного ряда бандиты каждый вечер устраивают оргии? А не угодно ли вам, чтобы я рассказал вам про очень опасную деятельность баронессы Дебот или про генерала Эверта, который теперь приехал в Москву? Или, быть может, вы хотите, чтобы я начал работать у вас с маленьких ролей? Извольте. Я могу, например, изловить и представить вам всех карманников в „Летучей Мыши"—там их всего больше—и в других театрах. А то, если хотите, изловлю железнодорожных проводников и начальников станций, которые торгуют целыми вагонами сахара и мяса. Угодно вам проверить мою осведомленность в этом деле? Пожалуйста, к вашим услугам, стоит только вам вместе со мной направиться сегодня в один подвальчик, где соберутся воры, фамилии которых я вам могу назвать вот здесь сию же минуту. Эти воры должны будут на-днях грабить один из ваших складов. Если это вас шокирует, могу предложить вам отправиться со мной в один дом—два шага отсюда, на Арбате. Там вы увидите настоящих банковских мошенников, которые могут открывать сейфы, брать деньги с текущего счета, заложить или продать предприятие и проч., и т. п. И все это будет сделаноназаконнейшим образом. Скажите теперь мне, неужели вы не хотите оградить общество от мошенников? Мошенник, о великий мошенник — гвоздь и язва нашего общества. Скорее можно найти какую-нибудь мазь от полысения или от угрей, чем какое-либо средство от мошенника. Мошенник лезет всюду. От него нет законов, ибо он очень часто выбирает позицию недалеко от того, где пишутся законы. Он издевается над законом и плюет ему в глаза. Если бы на мне не было православного креста, то я сказал бы прямо, что мошенник выше бога, ибо он талант. А талант—это бог над богом. Мошенник— восторженный факир и в то же время расчетливый шахматист; он гадатель и пес, вынюхивающий добычу по следам; он хулиган, скуловорот, зубодробитель и вместе с тем денди. Утонченный, избалованный денди.

горизонту. Горизонт румянился, как мальчик, наигравшийся вдоволь среди цветов. Воздух, затаив свои ветры, не дышал, боясь дотронуться до тонких деревьев. Деревья черные незаметно набухали от влаги и готовились пускать вешние побеги.

На фоне Кремлевской стены и мокрых деревьев при румяном золоте Муралов—высокий и немного несуразный—походил на богатыря. Смуглое лицо, черные усы, борода, глаза как чернослив и чуть-чуть калмыцкие скулы. Рост высокий, плечи, как круглое бревнышко и руки—только для богатырских рукавиц.

Он весь точно осколок того времени, когда происходил бой Руслана с Головою. Как жалко, как бесконечно жалко, что Муралов в руках держит портфель, а не палицу. Я всегда боялся видеть в его руках портфель: вот, думаю, рассердится сейчас на что-нибудь, сомнет в комок весь портфель с бумагами, да еще, пожалуй, сюда же втянет чью-нибудь голову.

— Это старинная стена,—говорил Муралов, показывая своим страшным пальцем на стену.

— А там какая то постройка за стеной,—отвечал я.

— Ну, это уж новое.

Помолчали немного.

Потом Муралов кашлянул. От этого кашля вороны с деревьев разлетелись. Потом Муралов сказал:

— Теперь все это наше. Помните, как здесь наши осаждали Троицкие ворота?

— Помню. А помните, как я с Ярославским выезжал и нас чуть было на „мушку" не взяли в Троицких воротах?

— Ха-ха-ха,—Муралов засмеялся не очень громко, но как-то шумно, так, как шумят вешние потоки,—да это здорово тогда вышло! А все-таки мы взяли Кремль!

„Взяли Кремль", „взяли Кремль". Я вдруг почувствовал, что это в устах Муралова прозвучало как-то особенно.

Я еще раньше замечал, что, например, во время своих речей Муралов действовал на слушателей не словами своей речи, а всем физическим существом: размахиванием руками, раскачиванием головы и т. д.

И совсем не требовалось обычным образом доказывать, ибо руками, туловищем и головою Муралов уже заставил верить себе всех.

Вот и теперь сказал он: „взяли Кремль", а мне уж почудилось, что мы не только его взяли, но как-то преобразили по-своему, вывернули его наизнанку, как старый карман или мешок, вытряхнули оттуда весь старый мусор и стали наполнять его новым, нашим, содержанием.

Кроме того, мне казалось, что однажды Муралов может с Красной площади подойти к кремлевской стене, схватить ее добродушно за какой-нибудь зубец, как иногда шутки ради берут за козлиную бороду старого, старого дедушку,—и тряхнуть ее слегка так, чтобы со стены из всех щелей посыпалась бы гниль и пыль.

— Эх ты, старина, матушка,—сказал бы, наверное, Муралов.

— Дружно взяли Кремль,—продолжал между тем Муралов,—помните, какие атаки были вот здесь, около Троицких ворот?

— Да, но и у Спасских кипел сильный бой.

— Да! Там они наших прямо засыпали пулеметным огнем со Спасской башни. И наши долго не могли сбить этот пулемет над „чудотворной иконой". Тут было больше потерь с нашей стороны..

Муралов опустил голову, и как раз в это время догорела на небе последняя розовая полоска. Стало темнее и свежее.

— И юнкера положили здесь много, когда вначале отнимали у вас Кремль. Помните, сестра милосердия приходила рассказывать.

— Баба? Баба? Да разве ей можно верить?—Врет.

— Но все таки...

— Врет, безусловно врет.

Муралов грустно махнул рукой. Он, видимо, думал о наших жертвах. Его мысль увлекалась в пучину грустных размышлений о погибших так же, как камень увлекается на дно моря. И как-будто даже все окружающее запечалилось, и деревья словно занавесились тоскливой непогодой...

Точь-в-точь такой же Муралов был тогда, когда хоронили под кремлевскими стенами героев, погибших в суровые октябрьские дни.

Тут не была обыкновенная жалость к людям, как существам себе подобным. Это скорее просто стихийное ощущение убыли своей собственной коллективной силы, которая произвела величайшую в мире революцию.

Когда тихо и мерно проносили гроб за гробом, держа их высоко торжественно над головами, чтобы видели все тысячи и тысячи глаз, Муралов стоял, так же опустив голову, как сейчас. Он стоял как раз у края глубоких больших могил, которые зияли своей чернотой у подножия кремлевских стен. В этих могилах долго, спокойно будут тлеть трудовые солдатские кости. И мозг их будет пепелиться и кровь смешиваться с сырой грязью кремлевского фундамента. В трещинах этого фундамента много, много мелких червей, которые впивались в мозг царей. Пройдут столетия, и черноточина будет все так же тихо и упрямо делать свое дело под Кремлем.

Когда опускали навечно гробы в землю, то гордые стены Кремля, казалось, поднимались, вырастали выше и выше. Стены как будто гордились тем, что бойцы сложили свой прах именно у них, у покоренных ими стен. С этих пор холодные каменные стены будут неизменно и тихо хранить этот прах.

Кремлевским стенам этот прах роднее царского, ибо ни один царь не сломал и не вложил в них ни одного кирпича. А прадеды погибших бойцов сами клали кирпич по кирпичу, камень по камню и выстроили, укрепили этот большой каменный боярский барский двор. И пошло так из века в век, из поколения в поколение—сначала прадеды, потом праотцы—защищали эти кремлевские стены от всех врагов.

Будто нарочно страдальцы и труженики берегли для себя эти кремлевские боярские хоромы. Будто для того, чтобы обагрить своей кровью те стены, которые уже были обагрены потом и слезами московских и окольных рабов. Пот, слезы и кровь—это крепчайший цемент кремлевских стен, который крепче камней, а прах бойцов—надежнейший фундамент отвоеванного у бояр Кремля.

Так барский двор превратился в рабочий всенародный двор, где временами, справляет праздник величайшая революция.

Там в Кремле, где все цари—Иваны—принимали заморских гостей в Грановитой палате, там теперь владеет миром красное солнышко—революция; принимает тружеников всех земель и народов под алым Омофором вселенской борьбы.

Отныне и вовеки Кремль перестал быть короной на голове „всея Руси“ и сделался каменным обручальным кольцом, которым венчаются и обручаются „все языци всей земли во имя мира, труда и правды“.

Муки слова.

Арнольд Колбановский.

1.

Волга.

Утро. Холод. Туман. Осень. Иней не скоро сойдет... Рано еще. Рассвет в полном расцвете. И потому-то Волга так неприятна в эту пору. Неприятна своим недвижным блеском, в котором больше жести, чем зеркала. Ветерка как будто нет, а в воздухе движется что-то, заставляющее человека содрогаться... Странное существо! — Оно содрогается от холода, от ужаса, от изумления, от радости. Содрогание — ветер в его душе.

Однако, два человека лежали в эту пору на берегу стывшей Волги, затерянные в портовом хламе, среди пристаней, бараков, досчатых гор, бочек, засохшей, полузамерзшей грязи два человека лежали, как мертвые. Они спали вместе с дыханием. Их пульсы тоже спали. Два тела спали...

Прошел час. Рассвет умирал. По холодному воздуху, как нить ветра, пронесся пароходный гудок. Со стороны города, выплывавшего из берегового тумана, завторили один за другим фабричные гудки. Кое-где задвигались существа, содрогающиеся от холода, ужаса, изумления и радости.

Будет день. День содрогающегося человека и день умирающей реки.

2.

Лаконников и Болтонников.

Один вздрогнул и поднял голову. Здоровенная ручища легла на змшпую, почти поповскую шевелюру и загладила ее назад, открыв широкий, прыщавый лоб.

Зевнул большой, как туча, рот с белыми здоровыми зубами. Вышел задушенный, зевательный звук, закрылся; глазки узенькие, монгольские, забегали по нагроможденным ящикам, скользнули по кусочку белой реки и упали вместе с повернувшейся головой на мертвоподобного, лежавшего рядом, человека:

— Болтонников! - глухим басом окликнул мертвого вставший.— Болтонников!.. Вставай!.. Холодно!.. Работа!. Поесть надо!.. Вставай!.. Бол-то-ни-ков! — затормошила здоровенная ручища маленькую фигурку.

Фигурка вздрогнула, потянулась, что-то произнесла невнятно, как бульканье воды под пристанью, и поднялась на ноги, оглядыв сверху вниз сидевшую, здоровенную фигуру.

— А-ха-ха-ха-ха-а-а!—зевнула фигурка.—Который час?

Фигура пожала плечами:

— Не знаю!

— Эх, Лаконников, Лаконников!- ответила фигурка.—Не знаешь? Ни-че-го не знаешь! Что ж это ты? Все ничего не знаешь, ничего не.

— Твой день начался! Поехал болтать, дурило!.. Брось!

— Чего там бросать!.. Что, разве говорить вредно? Чем больше человек скажет...

— Да перестань ты, чорт! Протри глаза сначала! По-е-хал болтать! Чорт!..

— Ну, пусть будет „чорт"!.. Черти так не умеют говорить, как я!.. И что это тебя коробит, когда я о чем-нибудь говорю... Человек должен говорить как можно больше! Ты знаешь, что такое человеческий мозг?—фигурка подняла кверху указательный палец.—Человеческий мозг— невероятное чудо! Машина, которой не могла бы выдумать никакая сказка!.. Что значит: точка мозга? Это... это... что-то в миллион раз разумнее, нежели вся человеческая цивилизация... И что пользуется бо́льшим почетом?—точка мозга или цивилизация?- конечно: точка мозга! На цивилизацию нападает природа, тысячи законов жизни и борьбы, а на точку мозга—интуиция... Лаконников! Чего ж ты уходишь? В трактир без денег!.. У меня деньги!.. Послушай!.. Остановись!.. Лаконников! Хочешь? Я расскажу тебе сон? Так! Постой! Подожди! Чего бежать! Никогда не вредно говорить— даже о чем угодно. Вздор молоть—и то хорошо! До чего-нибудь доскажешься! Тысячу слов—в ухо и на ветер, а одно в мозг. Слово западет в мозг и родится огромнейшая идея... Ведь ты сам во вчерашнем разговоре...

— Не пищи! Сон—где твой?

— А-а! Ты сны любишь слушать!.. Ну-ну! Ладно! Сон... Расскажу. и когда еще о чем-нибудь буду говорить—не мешай! Я... разговариваю... сам... с собой! Я знаю, что в речи человеческой всегда прячется гениальная идея, открытие... и нужно только заметить ее, найти... войти и завоевать!.. Сократ в Афинах...

— Сон, шепелявое дурило! Сон!.. Легче станет, дурило!

— Сон, сон... расскажу! Никогда не даешь досказать мысли до конца! Для тебя—говорить ничего не значит, а для меня речь—это творчество! Если бы нашелся такой человек, который согласился бы слушать меня целые сутки, я бы посадил его перед собой и говорил бы, говорил бы, говорил бы... честное мое слово—забыл бы о еде, о питье, о сне... Хоть раз поговорил бы, а затем... Я уверяю тебя, что гениальная идея, и, если не гениальная, то во всяком случае нужная. закралась бы в мою суточную речь и доставила бы мне столько радости!.. Столько...

— Слушай! Я тебе в шею дам! Закрой плевало, чорт. Ступай мыться!.. Я иду к реке!.. Чертина! Не надоест!.. Да у меня в тысячу раз, чорт ты эдакий, больше мыслей! И миллион мыслей! И ни чорта гениального не найду...'а ты и подавно! Я—дурак, а ты... идиотина! Говорит, говорит (ругательство) и не надоест ему! Болванье! К чорту ступай со своим языком! Никогда с ним (ругательство) дня спокойного не бывает! Я тебе ...... душа твоя, в шею никогда не давал, а вот сейчас вот так бы убил! С утра до вечера и так голодно и холодно, и полиция на носу, а он еще всю душу гадит своими ер.

сями!.. Чудак ты!.. (Детина заплакал странными жуткими слезами). Забываешь... когда... и... где... живешь!..

— Что ты? Что ты? Вот тебе и раз! Да я... Да что ты на самом деле! Лаконинов!.. Да ты...

— Да я, болван (ругательство)! Если не замолчишь — утоплю вон там! У меня уже день из-за тебя испорчен! Души моей не знаешь, болтунье сволочное! чер-ти-на! (Детина истерически зарыдал.)

Лаконииков и Болтоников сидели на ящиках. Один, плача у себя на коленях, другой, глядя в пасмурное, мутное небо и что-то шепча про себя.

У Лаконикова отпадали слезы, у Болтоникова пожимались плечи и шептались губы...

Целый день эти люди проводили на берегу.

Утро — препирались. День работали, как машины.

Грузили, крутили канаты, чистили, полоскались в холодной воде... Вечером — забивались, несогреваемые лохмотьями, в грязные углы, где нагроможденный хлам не пропускал ветра, и готовились ко сну. Ко сну смертеподобному.

Вечером Лаконииков и Болтоников вели свои беседы, часто прерываемые ругательствами Лаконикова и писклвыми оправданьями Болтоникова.

Два человека. Они отражали какие-то два явления... Человек — это целый клад явлений. Целый словарь аналогий...

Два человека — два мозга. Мозг — самое совершенное творение, именно потому, что он создан творить.

3.

Осенний вечер.

Осенний вечер идет к ночи. Он потонет в ней. Ночь проглотит его.

Между ящиками лежат два тела, завернутые в рогожи: Лаконииков и Болтоников.

Лаконииков поет песню, которой никто никогда не пел и не слыхивал. Он импровизирует ее вместе с мотивом. Она вырывается из его могучей груди, как рыдание:

Жизнь моя! жизнь моя! радость моя!
Неужели я в молчании, неужели я в слезах,
Неужели в своей силе, в своем духе огнебурном
Не ожнву тебя я..., жизнь моя! ра-а-а'дость моя!
Холод осени пугает, голод нищенства хохочет!
Лязг и грохот непосильного, нелепого труда
Меня—всесильного,
Меня—живущего,
Меня—владетеля души громовулканной,
Рыдания и песни извергающей
Пожрать, убить, смести с лица земли—пытается.

Болтоников кашлянул рядом и молвил про себя: — „Поэт а никуда!". Лаконииков продолжал:

О-ох! Под ящиком заброшенный, безгрошевый
Лежу под ящиком как брошенная падаль
И рвусь душой, мечусь душой,
Весь мир готов я поглотить,
Изобразить, украсить, слить
С вселенной и с собой,
С вселенной и с собой.

Болтоников: Ну да я! Я и вселенная — одно и то же! Вселенная во мне. Она увеличивается в действительности, когда растет в представлении!.. Артур Шопенгауэр...

Лаконяков: Болвань е!

— Ну да! Мне нельзя говорить! Тебе и петь и что угодно можно, а мне и говорить нельзя! Мы... созданы... говорить... а... не... петь!.. Мы люди, а... не... соловьи!

— Дохлая ворона!

— Ну да!.. ругайся! Искусство!.. в нас... живет... Мы получаем вселенную и отдаем ее, как зеркало отдает свет. Искусство! — это отражение... нашей...

И с набитым дураком
С шепелявым слюнтя м
Я должен
Влачить свою жизнь
Из месяца в месяц,
Из года в год!..
Правильно! Дух мой всесильный
Рядом с духом пустым
Пусть граничит!

— Ну да! Всесильный! По кулакам...

— Языкоболт!

— Слезобрыз!

— Морду набью!

— Вот! Вот! Ты только это и умеешь! Лучше спать! Чем с тобой...

— Спи! Надоел!

— Ну и ладно... всякое... бллл... моэ... супр... гмл... шадт... хрр.. хррр...

4.

Ночь.

Холодно. Туманно-сыро. Пустынно. Жестяная Волга черна, как небо, но ярче блестит. Ночь. Осенний соловей человек оглашает дали песней, полной рыданий, движения, вопросов и мыслей. Одинокой песней, которая останется без ответа.

Смена

Рассказ Павла Низового.

I.

Скрипнула калитка. Лунный луч мягко скользнул по голому черепу и спокойно разлился по косякам, по порогу, по шаткому полу.

Силуэтилось расплывчато здание мельницы, поблескивала, густо зыбясь, вода, и возле рощи, по поляне расстилались безгранные лунные узоры. На краю неба, где неровно черкнула темная полоса леса,— лучисто сверкнула зарница—предвестница утра. Сверкнула ярко, куском раскаленного металла, и медленно поплыла по тусклому небу.

Лука перекрестился в эту сторону и привычно зашагал по ступенькам.

Неторопливо, немного раскачиваясь и отставляя широкий зад, идет он к мельнице. Под плотиной шумит напряженно вода, снизу тянет бодрящим, упругим холодком.

Прочно ставя толстую суковатую клюшку, он медленно передвигает грузное, расслабленное тело.

Лука давно уже не работает: слабы руки и ноги; слабо сердце. Это не от того, что позади восемьдесят семь. Нет. Причина другая. Пять лет назад, под Пасху, чинил он плотину и оступился в воду.

Думает:

— Если бы не это, то поработал бы еще!..

Но встает по прежнему раньше всех и неизменно обходит свои владения, зорким домовитым взглядом осматривая хозяйство. Пощупает у мельницы замок, подберет разбросанное лошадьми сено, иногда попутно потрогает садовый тын—крепок ли. А за тыном черемуха и яблони, а среди них, в двадцати липовых колодах, крытых берестом, гудят пчелы. Как не зайти туда?

Сын Родион прогремел ключами. Заворчал по-старчески нудно и дрябло каменный жернов, затрещала обечка.

— Ну, ну! Летите, летите! Скоро и у вас страда начнется!— Лука поднял голову и с умилением провожает взглядом пчел. Они летят за реку, в луга, еще не осохшие после весеннего разлива,— с прозрачными оконцами в небо в другое небо, подземное.

За лугами озимые поля. Обласкивает их взглядом. Тут, как раз, и его полосы,— с давних-давних лет. Солнце, уже начавшее свой дозор, лениво ныряет в облачках, и по зелени полей ползут широкие тени. И так же, как эти тени, перед Лукой медленно плывет старое.

Когда это?.. Еще жива была жена его. Еще неженатым ходил Родион. Да, в ту пору он и переехал на мельницу.

Все было так же, как и сейчас, и поля, и деревня рядом—Евсеиха, а вон та дуплистая береза с грачиным гнездом... Все так же... В этом есть приятное и радостное.

Только тогда у мельницы стояли ряды возов, и день и ночь громыхали оба постава... Теперь нет... Теперь приезжают редко и то с пудиком, с двумя...

Заскрипела на шесте, над скворешней, вертушка, сделанная внуком, еще мальчиком.

— Скоро вернется... Большой теперь... Мужик уж!..

На мельнице Лука пробует муку, растирая ее старческими, лучистыми, отошедшими без работы пальцами.

— Смотри—не больно ли крупно!.. Чья это?—Федосьина?..

Он выше Родиона и матёрее; смахивает на огромный, еще крепкий с виду пень, но внутри которого труха и плесень.

С крыльца вприпрыжку сбежала, поплескивая косичкой, голоногая девочка.

— Тятинька! Дедушка! Чай пить идите! Завтрик поспел!..

Сели оба, точно приросли к скамейке и широкой лавке. Похожи друг на друга, даже бородами: у обоих раскидистые и белые. Хотя у сына только от мучной пыли. У него и синяя домотканная рубаха и оголенные по-локоть руки—припудрены мукой.

На столе шипит картофельница; на блюде—нарезанный большими кусками хлеб.

— Когда ждете Семена-то?—спрашивает Федосья. Она молодая еще, но придавленная, выжатая, с опепеленным лицом.

— Писал, что к Николе будет,—ответила хозяйка.

Едят и пьют неторопливо, с деловитой серьезностью. Большой, начищенный самовар стал кланяться.

— У Прокофья лошадь-то еще цела?—Лука, стряхнув с бороды крошки, поднял брови на бабу.

— Цела еще. На веревках висит. И у Петрухи висят, и у Васютиных.

Федосья нагнула голову, высморкалась в подол и тоскливо заныла:

— Тяжело, дедушка! Ох, как тяжело! Корова другую неделю не может растелиться! Пластом лежит, мычит, словно человек жалобится! Вся душа изныла, на нее глядючи!

— С гнилых-то листьев силы не наешь. У нас тоже едва ходят,—сказала хозяйка.

— Подождите, все передохнем при новых-то порядках!.. Голые, голодные ходим! Скотину морим! Зорим хозяйство! А кто виноват?.. До-нельзя вплоть довели Россию то!.

— Напрасно, тятинька. Оно само придет к своей точке,—успокаивает устало Родион и сует руку в голенище за кисетом.—Само придет к своему концу.

Положив кисет на место, он неторопливо встает. Руки почти до колен, узловаты и сильны; правое плечо выше и при ходьбе дергается.

— Федосья, идем. Высыпать надо. Что толку от слез-то: ни продать, ни променять? Сухота одна!

Поднялся и Лука, протягивает руку за можжевеловою клюшкой.

Через лесок в село идет чуть не целый час, пылит ногами. По сторонам пни да кочки, все знакомые, старые, как и он.

— Эх, долго ли осталось походить по этой дороге?.. Вон уж и лес начали рубить... Помешал... Завод строить... А тут и своим-то земли не хватает... Плохо...

У Совета—несколько мужиков и подростков; с пяток порожних подвод ждут седоков. Это крестьянские, по наряду. Ездят на них в оба конца: милиционеры, комиссары, инструктора и разные особо уполномоченные.

Подъехал молодой в кожаной куртке и кожаных штанах; сердится:

— То лошадей нет, то извозчиков. Это безобразие!.. Везите кто-нибудь другой!

— Нет. У нас очередь. Сичас придет. Чай пьет.

Подошел Лука, снял картуз, вытирает рукавом полированную лысину.

— А скажи, товарищ, долго мы будем свободу-то развозить?

Человек в кожаном повернулся и смотрит непонимающе.

Лука хлопает себя по шее:

— Вот она где у нас сидит! Рабочая пора, а тут лошади, люди!.. Да, вот где!..

Постояв немного, не дослушав приехавшего, он повертывается и медленно идет от Совета. Крепко упирает в землю палку и подтягивает отстающий широкий зад.

II.

Лука сидит у тына, на скамейке и смотрит через реку на извивающуюся вдоль поля дорогу. Гаснет день. В теле усталость.

Там, где-то вон за тем леском, покинуло его пережитое. Он шел, а оно постепенно, день за днем, год за годом отставало. И дорога-то путь не пядью можно смерять—вся в одном уезде, а на ней затерялись бесследно: детство, юность, зрелая пора.

Отставали по-одиночке ближайшие родственники, споткнулась жена—неожиданно: накануне была бодрая, крепкая, и вдруг—нет.

Легли, будто отдохнуть, но так и не встали, один за другим семь сыновей и четыре дочери.

Но их не так жалко, как жалко другое, почти вчерашнее, которое распылилось вот тут, где-то по близости, Жалко то безымянное, что тесно окружало всю его долгую жизнь. Тут было и горе, и страдание, и неосуществленные мечтания, — но все это близко, привычно, сраслось с ним. А теперь? Как назвать, что творится теперь?..

Лука щетинит седые брови и сжимает на клюке дряблые пожелтевшие пальцы.

— Что теперь? Неужели всему, веками установленному, крепко укоренившемуся, конец? Или только так, временное—волна?..

Выплывают отрывки из того, с чем никак нельзя примириться.

В старой церкви Николы Завражье устроили клуб и читальню; в Ивашине и Горках трое женились без венца; записались в Совете и готово, будто по закону; комиссар из города сказывал, что скоро всех переведут на общий котел; отбирают хлеб, масло, яйца, самих куриц...

— Кончится ли когда это?..

С горы спускается Родион; рядом помотывает головой лошадь, усталая с мокрыми пахами и шеей.

Остановился, повернул лицо к тыну.

— Крепка больно, не продерешь! Дожжичка бы теперь.

— Много осталось-то?—Лука смотрит не на сына, а поверх его головы, через реку, где на порыжевшем прошлогоднем жнитве чернеют продолговатые заплаты поднятого чернозема.

— Да половину спахали. Крепка, говорю, а то больше бы надо!

Он выпряг лошадь, привязал к столбу и пучком травы стирает с блестящего лемеха землю. Мельница молчит. В верхнем омуте, посредине, бледнеет полоса заката...

Вечером сидели с Семеном за чаем.

— Ишь ты, каким молодцом стал! Унтером смотришь! Это хорошо.

Лука любовно оглядывал внука. „Хорошо! В род, значит!.. Что ж, нам с Родионом на смену. Подневали мы, будет. К отдыху время подошло..."

Аксинья потчевала сына:

— Да ты пей, Семушка! Поспеешь еще наговориться — дней впереди много. Намажь на хлеб медку-то, там, поди, не пробовал его?..

— А ты почем знаешь? Может, и пробовал? Теперь красноармейцам житье сладкое. Ублажают их, не то, что нас, крестьян, — сказал серьезно Родион и посмотрел сначала на сына, потом на отца.

Вошел старик из Власьихи. Кузьма. Снял картуз, помолился.

— Добро живете! Никак Семашка приехал? — сел на порог, стал набивать трубку. Давненько, давненько не видал его! Большой какой вырос!

— Почитай, два года не был, — пожаловалась мать.

— Да, скоро два... два... — Кузьма процедил сквозь усы дым. — Что ж воевал все? Трудная штука, эта война. И надоела она всем. Вот как надоела!

Лука повернул к внуку морщинистое, волосатое лицо и неожиданно спросил:

— Может, ты большевик?.. Богу не молишься? У мужиков последнее отымаешь?

Семен помолчал, подумал и неторопливо, спокойно ответил:

— Большевики идут за народ; чтобы не было ни богатых, ни бедных; чтобы всем жилось хорошо.

Лука поднялся, снова сел, двинул от себя чашку.

— Значит, ты с ими?.. Н-ну! Говори — так я понимаю?

В избе стало тихо. Присмирела Грунька, игравшая с котенком, остановилась гремевшая с посудой Аксинья.

— Крестьянству житья не стало: разуты, раздеты! С голоду мрем! Земля, слышь, вам принадлежит, — а у Парани Авдеевой семенную отобрали. Свобода, слышь, веры, — а в храме капище устроили... Чья в тебе кровь-то? Аль не мужицкая?.. Семка, слышишь!..

— Тятинька, не горячись... Ничего... Все к одной точке придет.

Ночью Луке сделалось плохо: ослаб, стали чужими руки и ноги, в голове помутнело. Лежал он без сна в тоскливом одиночестве на широкой деревянной кровати. Хотелось услышать хоть чей-нибудь голос, но раздавался только храп, да отдаленный шум воды. Из угла, освещенный лампадкой, укоризненно-строго глядел пожелтевший лик седого Николы.

III.

В лугах шуршат косы, кузнечиками стрекочут бруски по притупившимся лезвиям; слышен переклик голосов.

Родион с сыном идут в ряд. Оба в одних рубашках, беспоясые, без фуражек, широко, мерно размахивают руками. Когда Семен впереди немного задерживается, отец, наступая, полусерьезно угрожает:

— Ну-ну! Пятки обрежу!

Лица красные, в поту. Трава с мягким хрустом, словно вздохом, кланяется в ноги, и лежит, неподвижная, ровными рядами, отдает

свое последнее ароматное дыханье. В стороне — Аксинья с дочерью ворошат и сгребают сено, — маячат на зеленом белыми платочками и красными юбками.

А Лука дома, один. Он все так же ходит медленно: возле избы, у плотины, по саду. Или сидит, часами, на скамейке у тына и смотрит через реку на волнующуюся спелую рожь. С виду он по-прежнему крепок, но памяти уже нет: отшибло в ту ночь. Равнодушен теперь к пчелам, к старому Полкану с отбитою лапой, то и-дело поднимающему на него старчески слезящиеся, преданные глаза. Даже домашних не всегда узнает Забывает есть. Часто, возвратившись с покоса, они находят оставленный для него обед нетронутым.

— Тятинька, что ж ты не ел-то? — спросит невестка. — Это для тебя оставлено. Я ведь тебе сказала: на столе, мол, тряпкой накрыто.

Лука неосмысленно улыбается и начинает есть, торопливо двигая скулами...

За рекой, в поле, запестрели, задвигались согнутые спины. Все уменьшается озолоченный простор. Вырастают новые и новые скирды, и нет им числа.

Оживились малопроезжие дороги: скрипом, топотом, человеческими голосами. По ночам дымят овины, и на заре слышится дробный стук мотовил. Снова зарабо ала мельница.

Но Лука уже лежал в избе на своей широкой кровати, — у него отнялись правая рука и левая нога.

— Тятинька! Плохо тебе! Ломит, поди, в суставах-то? — спрашивала Аксинья, присаживаясь на постель.

Лука упирал взгляд на бумажную заплату на оконном стекле, прислушивался.

— Работает мельница-то? Плотину-то надо бы просмотреть, а то проест... Да, ногу? Нет, не больно. Это чужая нога. Мою — Семашка взял в город — починить... Что-то долго не едет...

Краснела под окнами рябина, сверху часто слышался жалобный журавлиный крик, и по сини неба плыли острым живым клином серые четки.

В большой половине избы круглые сутки был народ: спали, пили чай, просто сидели, вели беседы, в ожидании своей очереди.

Луку пришлось положить в другое место: он стал ходить под себя и от него пахло.

Возвращаясь из села с собраний, Семен шел мимо печки на цыпочках и, бросая взгляд в угол, часто думал: „Умирает старик. Не встанет уже"...

И не было жалко. Еще недавно их что-то невидимо связывало; переливалось единое, кровное. А теперь в углу, за печкой, умирал кто-то чужой, ненужный. Даже и не „кто-то", а умирало „что-то", питавшее и облекавшее его, Семена; теперь оно сползало, как чешуя, лежало у его ног, как только что сброшенная одежда, в грязи, скверно пахнущая. Хотелось скорее перешагнуть через нее и не оборачиваться.

Днем Семен иногда останавливался.

— Дедушка!

За печкой пропахшее тряпье ворочалось, из сивого мха начинали глядеть выцветшие лишенные мысли глаза.

— Дедушка! Как ты себя чувствуешь? Болит что-нибудь?

— Нет. — Он молчал некоторое время, моргал веками и тяжело ворочался. — Тело, вот, шибко зуди ... А ты кто будешь то?

Только однажды он узнал внука.

— Эгго!.. эгго!.. — он впился в его лицо немигающим взглядом. Казалось, притягивал к себе. Широкие ноздри раздулись, на лбу появились синие жилы и вместо дыхания вылетал сдавленный хрип. Потом он весь изогнулся, сделал движение губами, точно для какого-то страшного слова. Но из открытого рта выбросился только шипящий звук. Лицо сразу померкло, тело безвольно опустилось и взгляд снова стал равнодушным и вялым...

Мельница работала в оба постава. Целые дни слышался шум голосов, смех; мимо окон двигались возы, сновали люди.

А в темном углу за печкой, окруженный зловонием, Лука умирал. Умирал медленно, точно угасал костер, в который забыли подложить дров.

„Казенник“.

А. Перегудов.

Тебе посвящаю я эти страницы, которые ты так часто читал, но читал не в книгах, не в рукописях, а в таинственном, полном очарования, „Казеннике“. Листами, на которых напечатано все это, были для тебя луга, поля, болота, перелески,—а буквами и знаками—следы зверей, узоры опавших листьев, веселые зайчики солнца, пестрая сеть цветов. И в этой неизмеримо огромной и лучезарной книге, называемой „Природа“, ты читал ранними утрами при робких отблесках зари, влажными вечерами при свете дымного костра, золотыми полднями под лучами жаркого солнца и теплыми и холодными ночами под мерцаниями влажных зеленых звезд. Эти белые листы и ровные, однообразные строки напомнят тебе о тех громадных, ярких и солнечных страницах, которые щедро разбросаны в „Казеннике“. И я буду удовлетворен, если, читая, ты уйдешь в это заповедное царство, посетишь затоны и камыши, ласково обоймешь родное и любимое.

I.

Пасмурное утро чуть забрезжило. Мрак вверху рассеивался и очертания кустов и небольших березовых перелесков постепенно обозначались резче и отчетливее. Матово блестела между кочек болотная вода. Трава, кусты и молодые березки были влажны от тумана. Где-то далеко в непролазных местах „Казенника“ жалобно протрубили журавли, приветствуя наступающее серое утро. Ближе к Кишневской дороге затоковал тетерев. Он сидел на суку голой ольхи, распустив хвост и крылья, вытянув шею, и бормотал что-то быстро и непонятно. Иногда останавливался, осматривался вокруг, чутко прислушивался и опять начинал горячо и страстно бормотать. Пара быстрых чирков с криком метнулась между кустами и шлепнулась в заводи болота, где в зарослях тростника крякала утка и сипел селезень. Лениво пересвистывались водяные курочки и страстно призывала самца самка бекаса. „Казенник“ пробуждался, и не успел еще рассеяться предутренний мрак, как обитатели болот, чащи и перелесков начали жить, охотиться за пищей, нападать на слабых и прятаться от сильных.

В жухлой высокой траве, пожелтевшей и выцветшей от дождей и ветра, осторожно подкрадываясь к перелеску, пробиралась лиса. Тетерев, перестав бормотать, оглянулся и первый заметил внизу крадущегося зверя. И хотя лиса подкрадывалась не к нему и для него

никакой опасности не надвигалось, он испуганно присел на суку, взмахнул крыльями и с шумом полетел через болото к синевшему вдали березняку. Шумное хлопанье крыльев заставило остальных жителей „Казенника", находящихся недалеко от этого места, на минуту насторожиться, оглядеться и прислушаться. Но все было обычно тихо. Лиса, притаившись, как мертвая, лежала в траве и ничто не выдавало ее присутствия. Снова все заговорило, задвигалось, зашелестело. Лиса лежала долго. Давно уже вокруг засуетилась обычная суматоха, а она все ждала. Наконец, тихо поднялась, и осторожно поднимая лапки и зорко всматриваясь вперед, медленно двинулась к перелеску.

На опушке у молодых березок два черныша бродили по земле, яростно бормотали, чувствуя один в другом соперника и поэтому ненавидя друг друга. На суку березки, невысоко над землей, сидела тетерка, чистила клювом перышки и беззаботно оглядывалась. Казалось, она не обращала никакого внимания на ссорившихся внизу петухов. А косачи все сильнее и сильнее раздражались, все ближе и ближе подбегали друг к другу, забыв об осторожности, забыв обо всем, даже о тетерке — причине их вражды. Наконец, оба вместе подпрыгнули вверх, сшиблись грудями и, отскочив, стали один против другого, вытянув шеи, почти касаясь земли клювами и в ярости разгребая лапками прошлогоднюю листву.

А лиса все подкрадывалась и подкрадывалась. Ранее она кралась к перелеску, не имея определенной цели, просто ей когда-то удалось поймать в нем рябчика, несколько мышей и зайца, и в это утро она также надеялась поживиться. Но подойдя ближе, услыхала бормотание и шум крыльев, ее движения сделались вдвое осторожнее, все ее чувства обострились, все свелось к одной определенной цели—завладеть добычей. Около перелеска росли кустики, это помогло лисе близко подкрасться к дерущимся. На одно мгновение она прижалась к земле и затем краснобурым пламенем метнулась вперед. Ее прыжок был рассчитан безошибочно. Один из косачей с перегрызанной шеей бился на земле, брызгая кровью и трепеща крыльями. Другой и тетерка в ужасе сорвались с места и, как только могли быстро, полетели прочь, куда—безразлично, лишь бы подальше от этого места, где смерть...

Лиса, стиснув челюсти и полузакрыв глаза, чувствуя во рту раздражающий запах теплой крови,—замерла, наслаждаясь предсмертной дрожью умирающей птицы.

2.

Под корнями небольшой, но кряжистой сосны на одном из сухих мест „Казенника" у лисы была нора. Вход в это жилище скрывали увядшие травы и небольшие приземистые кусты. Кроме этого главного входа были еще два побочных по другую сторону ствола. В эти запасные выходы лиса всегда могла в минуты опасности выскочить и скрыться.

Лисята играли, повизгивая, у норы, зарывались в сухие листья и прыгали. Их было шесть и они ничем не отличались от щенков, только чувства их были более развиты. Когда их мать вышла на охоту, они спали, потом один из них проснулся, почесал задней лапкой за ухом и с визгом зевнул. Проснулись остальные и выползли из норы. Серое утро было сыро и свежо, но вокруг было так много нового и интересного, что лисята не полезли обратно, а начали играть, наскакивая друг на друга и вороша сухие прошлогодние листья.

Легкий шорох в кустах заставил их прислушаться и затем быстро забраться в нору. Там, испуганные, собравшись в кучу, они ждали. Но через минуту лисята уже знали, что это приближается их мать, хотя лиса была еще далеко от норы. Они почувствовали, что опасности нет, и заскулили от радости и нетерпеливого ожидания.

Через минуту, ворча и сердясь, они наслаждались терпким запахом крови, рвали мясо косача и пожирали его вместе с пухом и перьями.

А утро на земле незаметно переходило в день. Перестали токовать тетерева, замолчали кулики и курочки, запрятались в частые тростники, в глубокие затоны чирки и утки и замерла утренняя возбужденность и суматоха „Казенника". Вокруг казалось мертво и пусто. Качались тростники, рябила от ветерка вода, и тусклое солнце брызгало сквозь рассеивающуюся пелену тумана жидкими тепловатыми лучами

3.

Постепенно закудрявились березовые перелески, засинели сосны, а ели пустили коричневые душистые ростки, сбежала оставшаяся от половодья вода, и весна шумно и молодо воцарилась в „Казеннике". Кочки покрылись ярким мхом, низинки изумрудной травой, а луга пестрою сетью цветов. Запахло горьковатым запахом клейких березовых листьев, смолой, травами и цветами. Апрель, солнечный и трогательно ласковый, прошел пестрой вереницей суматохи, радости, полный любовного дурмана и ликующей страсти. В первых числах мая ударили морозы. По утрам звенели в лужах тонкие листочки льда, и серебряный иней покрывал полянки. С середины мая вся природа, пьяная от бурлящих в ней соков, пышно распустилась, возмужала, наполнилась очарованиями теплых ночей и жарких душных полдней.

Птицы запрятались в непролазных чащах „Казенника", в камышах, осоках, кустах, сели на яйца и терпеливо высиживали птенцов. Все затаилось, замерло, но в этом кажущемся безмолвии кипели силы, нарождались новые жизни, которые через несколько недель увидят солнце, опьянеют от летней радости, забурлят и засуетятся, познают страх и острое наслаждение победой. Камыши и затоны запищат тонкими утячьими голосами, наполнятся свистом курочек и куличков, а чащуга квохтаньем тетерок, голосами вальдшнепов и рябчиков.

Вечерние зори в полночь встречались с зорями утренними и в этих встречах чувствовалось что-то трогательное, что говорило о светлозарной победе солнца, о его силе и ласке. Драгоценным камнем горела на востоке в часы пред утра изумрудная Венера на бледно-палевом небе. И когда погаснут все звезды, она все еще светится далекая и манящая. Вечера были багряны и теплы, ночи светлы и душисты. Накопившийся за день теплый запах трав и цветов, запрятавшись в кустах и чащах, опьянял и кружил голову.

И было радостно, ярко и весело, но в то же время немного тревожно от этой безмерной, непостижимой силы—Солнца, которая все наполняет, все чарует, которой полны и лес и поле, вода и травы, земля и небо.

4.

„Казенник",—это—пространство земли, покрытое сетью болот, островков, полуостровков, березовых перелесков, небольших полян и густой непролазной чащи осинника—„чащуги". В нем встречаются

черничники, сырые луга, небольшие, но бездонные озерки и, покрытые густиной камыша, трясины и топи. Все это перемешалось, переплелось одно с другим в таком хаосе, что с весны и до глубокой осени нога человека не бывает в этих урочищах; только зимой на лыжах можно проскользнуть в эту заповедную путаницу, пересечь болота, проложить путь в тростниках, но в частые заросли осинника не пробраться и зимой. А вокруг лиственные и хвойные леса, сенокосные сырые луга, а ближе к деревням поля, покрытые хлебами. Ближе всего к „Казеннику" — Коротненское поле, за которым виднеются серые избы деревни Короткого.

В Короткове живет Иван Белый — молодой белобрысый мужик, отчаянный сорви-голова и лихой охотник. Лучше его никто не знает „Казенника" и чаще его никто не лазает по болотам, перелескам и чащуге. Хотя в самую чащу и Иван не забирается, однако он знает где плодятся лисы, где жируют зайцы, токуют тетерева и тянут вечерами вальдшнепы. Лис, зайцев и вообще дичи здесь—уйма. От „Казенника" человек наиболее далек и в самом „Казеннике" наименее опасен. Да и то в весеннее и летнее время—нет пути в тайники, где прячутся звери и птицы, и все, избегающие встречи с самым страшным и опасным хищником—человеком, жмутся к „Казеннику" и, прячась в нем, чувствуют себя здесь в безопасности. У краевых болотцев, заводей, перелесков идет стрельба, гибнут лесные и болотные существа, а в урочищах и чащуге спокойно.

5.

Лето было жаркое, грозовое, и глубокие места „Казенника" обмелели и сделались более доступными человеку. Иван Белый уже лазил в тростниках и кустарниках, замечал утиные выводки, хотя до Петрова дня было еще далеко. Не может утерпеть охотник—болото колдовской силой притягивает к себе. Нет отраднее походить по нему, заглядывая внимательным, ничего не упускающим взглядом, в затоны и заводи, в тростники и осоки, жадно вдыхая запахи гниющей тины и сочных болотных трав.

И задолго до Петрова дня начинает готовиться охотник—чистит и смазывает ружье, набивает патроны, чинит патронташи и сумки. Ружье уже давно вычищено и отлично смазано, патроны набиты, но не может охотник, чтобы не подержать ружья в руках, не вскинуть к плечу и не прицелиться в прыгающего на заборе воробья; не может в свободные часы не пойти и не полазить по болоту—неведомая, могучая сила тянет его и нет сил противиться ей.

Новые звери и птицы—„весенчуги"—„Казенника" подросли, возмужали, научились избегать опасности, подкрадываться к дичи и нападать из-за засады. Лиса и лисята всегда были сыты, и юные зверьки чувствовали, как с каждым днем у них крепче делались мускулы, изощрялась отвага и хитрость. Их кругозор расширился и опыт увеличился. Они отходили от своей норы на довольно большие расстояния, инстинктом находя дорогу обратно, и охотились за мышами. В этой охоте они доходили до самозабвения, не думали об опасности; писк мышей действовал на них возбуждающе и, заслышав его, лисята забывали обо всем. Не менее страстно охотилась за мышами или, как говорят, „мышковала" старая лиса, и от нее молодые много переняли и многому научились.

Лисят из шести осталось четверо. Один еще в начале мая неизвестно от чего зачах и умер, а другой однажды не вернулся с охоты

за мышами и его семья не знала, что с ним и куда он исчез. Как более слабый, он оказался недостаточно подготовленным для жизни, недостаточно осторожным, и смерть подстерегла его в одном из глухих мест „Казенника".

6.

Лето достигло наибольшей своей силы, пышно распустилось, отдало лесам, полям и болотам все, что только могло отдать—всю мощь солнца и все живительные соки земли. И, совершив это, начало утихать, увядать незаметно, все еще полное жизни, но почувствовавшее уже полноту и тяжесть созревающих плодов, возмужавших и окрепших зверей и птиц и незаметное пока, но неизменное уменьшение дня и увеличение ночи.

Прошел Петров день, наделавший столько переполоху в „Казеннике" и унесший не мало жизней. Отзвучали частые выстрелы, рассеялся пороховой дым и понемногу улеглось беспокойство и исчез холодный ужас у обитателей болот. И после того дня, когда в кустах и камышах лазили собаки, ведя за собой человека, страшным громом убивающего встречающихся на своем пути, они стали вдвое осторожнее, вдвое пугливее и при малейшем подозрительном шорохе прятались в чащуге и в непролазных тростниках. Многие из птиц, подраненные и недобитые, мучались в заводях и затонах, с трудом выздоравливали искалеченные или умирали в тиши болот, под ласковым солнцем, в веселой игре зеленых светотеней.

Заглянувший в „Казенник" человек внес сумятицу и ужас в это спокойное до сих пор царство и, оставив по себе страшную память, ушел. Ушел, но изредка появлялся, бросая громы, и все живое жалось к центру „Казенника", в его непроходимые тайные урочища и там спасалось.

Лиса и лисята были в безопасности. Они жили в таком месте, куда человек не проникал. Только однажды Иван Белый встретил на просеке лису, но не успел выстрелить в нее, а только внимательно поглядел ей вслед разгоревшимися глазами.

Начались покосы. Над „Казенником" носился медовый запах скошенных трав, подсыхающего свежего сена, и вокруг звучали задорные веселые голоса и песни. Крестьяне деревень Короткова, „Острова", „Коровина" косили в лугах и с раннего утра до позднего вечера в воздухе слышалось пение кос, скрип телег, ржание лошадей и голос человека. Сначала это пугало живущих в „Казеннике", но потом, когда эти звуки не делали вреда и продолжались много дней подряд, звери привыкли к ним. Так же беззаботно с вечерней и до утренней зари скрипел коростель, бесшумно летали глазастые совы а в бору на холме ухал филин...

А увядание лета шло сильнее и сильнее. Укорачивались дни, и ночи делались свежее. Холодное дыхание далекой еще осени начинало витать над землей.

7.

Пожелтели и покраснели перелески—запестрели палевыми пятнами различных тонов и оттенков. Как будто кто-то Неведомо-Великий обмокнул исполинскую кисть в желтую краску и окропил перелески, потом в багряную, багровую, золотую и снова окропил. И запестрели, разукрасились березы, клены и осины, наступили звонкие

прозрачные дни. Осень справляла поминки по умершему лету и траурными ризами похорон был цвет нежно палевый и золотой.

По утрам и по ночам захрустели под легкими шагами зверей тонкие корочки льда, а к полдню пропадали, таяли. Солнце жидким тепловатым золотом растопляло их, и под его изменившимися лучами грелись в полдень на куче опавших листьев возмужавшие лисята. Птицы собирались стайками, оживленно перекрикивались, как будто советуясь перед отлетом в теплые края. Одними из первых тронулись журавли. Их угольники поплыли высоко-высоко под белыми кудрявыми облаками, наполняя голубое небо печальными кликами. Скроются из глаз улетающие птицы, но голоса их долго еще звучат в ушах и сердце в волнуют, и напоминают что-то далекое и ласковое. Увядала природа, предчувствуя скорую суровую зиму, но это увядание было так же роскошно и красочно, как и весеннее пробуждение; только тихая, непонятная грусть сквозила во всем, все насыщала и чаровала: и небо, и землю и тело, и душу. Как весной душа бурлит в ожидании солнечной ласки и вместе со всем окружающим пьянеет, ликует, безумствует,—так и осенью с замиранием природы она замирает, грустит и молится бледному небу, золотым перелескам и печальным стонам улетающих журавлей.

С каждым днем крепчают утренние морозцы и вот, наконец, наступает время, когда и в полдень не тают в лужах корочки льда. Пустеет и глохнет „Казенник", улетают птицы, осыпаются листья, яркими шуршащими коврами устилающие землю. В начале сентября в окрестных полях зазвенели собачьи голоса, неутомимые гончие погнали зайцев и забухали в морозном воздухе ружейные выстрелы. Шумом и гамом наполнились засыпающие перелески. Этот шум и выстрелы волновали и пугали лис. Они забирались в чащи, в тростники, путали следы в надежде обмануть собак и, охотясь за тетеревами, рябчиками и мышами, не забывали об осторожности.

Осень была сухая и морозная. Дождей почти не было. Сухой и жесткий воздух, твердая земля, покрытые льдом затоны и заводи просили снегу, мягкой порошки, на которой непонятными письменами отпечатаются следы зверей и птиц, протянутся ровные ленты от лыж, проникнут в кустарники, камыши, захлестнут и окружат перелески. Хочется скорее того времени, когда зима сказочно-красивыми уборами, причудливыми кружевами разукрасит леса, осыпет их миллионами искр и хрустально-белые и прозрачно-хрупкие дни воцарятся в „Казеннике".

8.

И вот, наконец, выпала за ночь порошка. Пуховой пеленой окутала луга, поля и перелески. Воздух сделался мягким и ласковым, земля—белой и безмолвной.

Рано утром, еще до рассвета вышел из избы Иван Белый, вышел и ахнул от изумления и радости. Как и в прошедшие года незаметно подкралась порошка. Лихорадочно засуетился Иван. В избе быстро поставил самовар, и не успел еще скипеть он, как все охотничьи принадлежности были приготовлены: и ружье, и патронташ, и сумка с краюхой хлеба и куском свинины, и обласканный Заграй нетерпеливо повизгивал в хлевушке. Хотя еще и рано было, но охотник торопился, обжигаясь пил чай, не пережевывая глотал куски хлеба. Что-то острое, манящее тянуло в „Казенник", поскорее хотелось услышать медный бас Заграя, увидать ошеломленного зайца

или краснобурую красавицу лису. Наконец, все готово. Ушастая шапка плотно нахлобучена на голову, короткий полушубок туго затянут ремнем, в валенках тепло и мягко ногам. На востоке теплится бледно-малиновая зорька, а вверху рассеивается серая муть. День обещает быть ярким и солнечным. Снежок мягко оседает и ласково мурлычет под ногами. Заграй рвется, дергает цепь, северо-западный ветер дует прямо в лицо. Все это наполняет душу такими милыми и дорогими охотнику ощущениями, от которых становится бодро, радостно и весело.

Коротненское поле пройдено, начинаются окраины „Казенника". В бледной синеве начинающегося зимнего дня спускает Белый с цепи Заграя. Глазами, полными нетерпеливого ожидания, следит за красивой и сильной фигурой любимца.

Убежал за перелесок гонец, протянув на снежной пуховой пелене узор своих следов.

Свернув крючок махорки, Иван закуривает, щурясь от дыма, и ждет. Вокруг—белое безмолвие.

9.

Лиса еще ночью, свернувшись в норе, почувствовала, что на земле что-то изменилось. Ее чутье заметило влажность в воздухе и рано утром, еще до рассвета, вылезши из под корней, она увидала за ночь изменившийся мир с белым полем и пустыми кустами. Ощущая во всем теле легкость и жажду движений, лиса медленно пошла из зарослей „Казенника" к Коротненскому полю. Несколько ворон пролетели к деревне, прокаркав что-то на лету, и скрылись в той стороне, откуда едва ощутимо тянуло запахом дыма. Писк мышей в кустах между кочками заставил лису остановиться и внимательно прислушаться. На белой пелене снега отпечатались тонкие цепочки их следов, переплелись непонятными волнующими узорами. А несколько минут спустя, лиса с азартом охотилась за мышами, „мышковала", позабыв все окружающее. Она бегала между кочек, разрывала в снегу сухие листья и землю, фыркала и, выкопав маленького трусливого зверька, с наслаждением пожирала его. Она не заметила, как постепенно поголубело небо, как розовые отблески зари заиграли в облаках и как где-то, не то в селе Дулеве, не то на погосте Десятая Пятница, заблаговестили к обедне. Она упивалась писком зверков, их мягкими бархатными шкурками, теплой алой кровью...

И вдруг резкий, неожиданный звук, напоминающий о надвигающейся опасности, нарушил тишину „Казенника". За ним другой, третий и вскоре отрывистый медный лай Заграя колоколом загудел над белыми полями. Лиса шмыгнула в кусты, но несколько мгновений спустя по ее следам бежал гонец с горящими глазами, с раскрытой пастью, могучий и страшный.

И началась погоня.

Чувствуя сзади надвигающуюся опасность, лиса старалась убежать от нее, но опасность не уменьшалась, а увеличивалась с каждым мгновением. Ожили безмолвные поля и заросли „Казенника", наполнились гамом, суматохой, непонятным трепетом, неясно ожидаемым ужасом. В чаще вспорхнули несколько тетерек и, тревожно квокча, перелетели на новое место. Серый, еще не успевший побелеть, заяц стрелой пересек ложбинку и затаился в перелеске. Только маленькие задорные птички с красноватым пушком на груди прыгали на березках беззаботно и весело, отряхая с ветвей пушистые хлопья снега.

Уже более часа продолжалась погоня, и лиса, еще бодрая и свежая, два раза пересекала „Казенник" поперек, перебежала его вдоль, тщетно стараясь уйти от опасности, стараясь обмануть и запутать того страшного и свирепого врага, который скачет по ее следам, наполняя гамом перелески. Она не знала, что, перебегая от одного перелеска к другому и прячась в кустах, поджидает ее Иван Белый. Ей казалось, что враг ее только тот, от кого она так старательно, но тщетно убегает.

А охотник, дрожа от нетерпения, от бодрящего задора и силы, наполняющей тело, жадно слушает то затихающий, то вновь разгорающийся гон. Сжимает в руках централку, внимательно оглядывает поля, перелески, кустарники и ждет.

Багряное солнце выползло из-за камышей и окропило розовыми лучами хрустально-белый лес. Заискрились, засверкали кусты и ветви, загорелись под холодною ласкою румяного утра. Но ни это морозное утро, ни искрящийся снег, ни белые перелески не замечает лиса,—все ее обострившиеся чувства, все упругие движения направлены к тому, чтобы убежать и скрыться. И кажется ей, что эта погоня тянется нестерпимо долго, уже утомилось тело, жаркое дыхание вылетает из полуоткрытой пасти, а враг близко, в нескольких шагах от нее.

Иван видит, спрятавшись за белой порослью березняка, как Заграй с каждым мгновением настигает утомившегося зверя, вот-вот схватит его, рванет в ярости, опрокинет и сомнет на пушистой ровной пелене. Но лиса неожиданно круто сворачивает в сторону, и разбежавшаяся собака на несколько сажений проскакивает вперед. Этим маневром лиса несколько раз выигрывала значительное расстояние.

И опять шла погоня и опять смерть жарко дышала и выла сзади.

И вдруг совершенно неожиданно из одного пушистого перелеска мелькнуло пламя, загрохотал гром, что-то ударило лису в грудь, и сразу непослушным и как бы чужим стало тело. В предсмертных судорогах бился зверь, орошая кровью снег, в бессильной ярости оскалив зубы. Помутневший взор скользнул по полю, по краю березняка, но не заметил, как из перелеска бежал Иван Белый с ружьем в руках, возбужденный и радостный кричал что-то подбегающему Заграю и смеялся.

Затихло в „Казеннике". Угасли шум и гам, улеглась суматоха и снова в хрустальных лесах, в пушистых зарослях камыша, в непролазной чащуге воцарилось белое безмолвие. Но в этом безмолвии так же как весной, так же как летом и осенью прятались от сильных и нападали на слабых невидимые, незаметные для глаза жизни; может быть, не так бурно, не так шумно и захватывающе, но все же радовались и страдали, побеждали и умирали морозными звонкими днями под холодным голубым и пасмурно-серым небом.

Четыре пуговицы.

Евгений Федоров.

Три дня Злой Дух справлял свою свадьбу. Выл, стонал, бесился засыпая острым, колючим, сухим снегом все, что встречалось на пути А кругом ночь. О, какая страшная в эти дни полярная ночь! Пурга? Нет, нет, не пурга. Чукча Ваттан знает свой край. Ой, как знает! Как пять своих пальцев на руке. От Великих Гор до Большого Моря изъездил Ваттан за свои долгие годы, а пурги такой не видал. Нет, это не пурга. Это свадьба Злого Духа. За три дня навалило на сани столько снега, а собаки совсем потонули под ним...

Теперь кончилась свадьба. Заснула тундра. Тихо-тихо. Каюр *) Ваттан знает, что теперь они доедут благополучно до Майн. Оттого Ваттан поет. Глядит на собак и поет:

— Ой, собак, ой, хороший собак!..

Глядит на небо—поет:

— Ой, небо, темное небо...

Обо всем поет радостное сердце Ваттана. Слышит он, как позади за его спиной мчится второй потяг **), а дочка Илинеут поет:

— Смирна, как олень, тундра... Смирна... А сердце у Илинеут не смирное. Бьется, как прибой Большого Моря. Трепещет, как птица Отчего такое сердце? Отчего?.. Отец не знает...

Старый Ваттан тряхнул головой и подумал:

„Все знает отец, все видит... Позади бегут еще пара потягов, а в них двое мужчин. Не чукчи они. Не похожи. Кожа у них тоньше и нежней, чем у самой красивой женщины Севера. О, Ваттан знает, что они пришли издалека. Ваттан знает, чего стоит одна большая, золотая пуговица с птицей на одежде этих людей. Таких пуговиц много у чукчи Тыкеллы. Целый мешочек имеет. Он! За них Тыкелла может купить все в тундре..."

— Ой, пуговицы, пуговицы, — вслух начинает петь Ваттан:—золотые пуговицы... Ох, набрать много, много пуговиц и Ваттан тогда будет богач... Ох, пуговицы, пуговицы...

Глаза у Илинеут горят, как солнце летом. Радость горит в них Увидит человека с третьего потяга, заулыбается, зaискрится. Инеей сиянием засверкает на выбившейся пряди черных волос...

---

*) Каюр—погонщик собак.
**) Потяг—упряжка в 12 собак.

— О!.. О!.. О!..—звенит резкий радостный голос:—О!.. О!.. О!.

Собаки рвутся вперед и бешено мчатся. А тундра бежит назад и назад. Все ближе и ближе к Майи... Скоро приедут...

На остановках высокий человек вылезает из саней и подходит к Илинеут и смотрит, как она бросает куски мороженого оленьего мяса собакам. Как жадно они схватывают на-лету эти куски мяса, как яростно грызутся. В глазах у них горит страшный огонь. Это сейчас звери... Высокий человек переводит взгляд на Илинеут. Берет ее за руку и долго-долго смотрит в глаза ее. А глаза ее смеются солнцем в ответ. Потом обнимает ее и говорит что-то. Девушка смеется долго и звонко.

Старый Ваттан отвернулся, как бы не видит. Переглядывает упряжь...

Опять едут, опять. Илинеут радостно смеется и поет.

А на одной остановке у стойбища, что у ручья Ныку, собаки шибко перегрызлись и Илинеут с бичом бросилась разнимать и отогнала их далеко, и высокий человек пошел за Илинеут. Долго их не было и неожиданно вышли из крайнего чума стойбища. Как это только старый Ваттан проглядел. Высокий человек был розовый, а Илинеут игрива, как молодой олень. Глазами подзывает отца. Старый Ваттан подходит. Илинеут радостно смеется:

— Отец, большой человек стал моим мужем...

Ваттан головой покачал:

— Илинеут, дочь моя, каждая девушка должна иметь мужа, но бледные люди издалека не могут быть у нас мужьями: они слабы для наших дочерей...

У Илинеут глаза засверкали:

— О, отец, какой хороший он был муж! Какой хороший муж! Ни одна из дочерей тундры не знала еще такого мужа! И притом щедрый муж. Он дал мне на память...

Илинеут раскрыла ладонь и на ней лежали медные пуговицы с орлами.

— Четыре пуговицы,—ахнул Ваттан.—О, твой муж разорительный. Он испортит этим твою жизнь...

Илинеут тряхнула головкой. Когда собаки снова были запряжены, старый Ваттан подошел к большому человеку и сказал:

— Послушай, ты нехорошо сделал... Ты...

Большой человек смутился и стал шарить в карманах, но Ваттан схватил его руки.

— Послушай, ты испортил Илинеут. Ты дал ей слишком много. Подумай—четыре пуговицы, когда ты мог дать только две... А теперь она больше не найдет себе мужа. Будет гордиться твоей любовью. Ты испортил ее. О, ты дал слишком много. Отбери назад две пуговицы...

Высокий человек покачал отрицательно головой и сел в сани.

— О!.. Го!.. Го!..—закричала Илинеут, и собаки побежали, как взбешенные.

У Илинеут горели глаза.

Бледный человек лежал и думал:

„Как податливы чукотские женщины"

А Ваттан пел:

— Как ветер свободный—свободны чукотские женщины. Кого хочет обвеет ветер, кого хочет изберет себе мужем чукотская женщина Сколько раз обвеет ветер в тундре—столько мужей может иметь чукотская женщина. Но никогда, никогда в полярную ночь не засветит солнце... Никогда, никогда без любви не отдастся чукотская женщина!..

Слушали эту песню торжественная полярная ночь и молчаливо величавая тундра и понимали ее.

Матрос в Москве.

(Дмитрию Петровскому)

Я увидал его, лишь только
С прудов зиме
Мигнул каток шестом флагштока
И сник во тьме.

Был чист каток; и шест был шаток.
И у перил,
У растаращенных рогаток,
Он закурил.

Был юн матрос, а ветер—юрок:
—Напал и сгреб,
И вырвал и задул окурок,
И ткнул в сугроб.

Как ночь, сукно на нем сидело,
Как вольный дух
Кружившихся, как он, без дела
Ноябрьских мух.

Как право дуть из всех отверстий.
Сквозь все—колоть,
Как ночь, сидел костюм из шерсти
Мешком, не вплоть.

И эта шерсть, и шаг неверный,
И брюк покрой
Галерной пахли и таверной,
Песком, икрой.

Москва казалась сортом щебня,
Который шел
В размол, на слом, в пучину гребней,
На новый мол.

Был ветер пьян,—и обдал дрожью:
С вина,—буян.
Взглянул матрос (матрос был тоже
Как ветер—пьян).

Угольный дом напомнил чем-то
Пловучий дом:
За шапкой, вея, дыбил ленты
Морской фантом.

За ним шаталось, якорь с цепью
Ища в дыре,
Соленое великолепье
Бортов и рей.

Огромный бриг, громадой торса
Задрав бока,
Вползая и сползая, терся
Об облака.

Москва в огнях играла, мерла,
Роился шум,
А бриг вздыхал, и штевень ерзая
И ахал трюм.

Матрос взлетал и ник, колышим,
Смешав в одно
Морскую низость с самым высшим:
С звездами—дно.

Как зверски рявкать надо клетке
Такой грудной!
Но недоразуменья редки
У них с волной.

Со стеньг, с гирлянды поднебесий
Почти с планет
Горланит пене, перевесясь:
„Сегодня нет!“

В разгоне свищущих трансмиссий
Едва упав
За мыс, кипит опять на мысе
Седой рукав.

В порту, на воющем заводе
Сирен, валов,
Огней и поршней полноводья
Не тратят слов.

И в адском лязге передачи
Тоски морской,
Стоят, в карманы руки пряча,
Как в мастерской.

Чтоб фразе рук не оторвало,
И первый слог
Ремнями хлещущего шквала
Не унесло.

Борис Пастернак.

---

* * *

Правда жизни—только в буре.
Только в вихре нет тоски.
Беспредельностью лазури
Мысль сжимается в тиски.

Это буря, вихрь движенья
Сеть созвездий там сплела.
В бурном хаосе кипенья
Солнца светлые зажгла.

Эта буря породила
Человека на Земле,
И ее живая сила
Нас ведет вперед во мгле.

Бой—стихия наша. В битве—
Разрешение всего.
Бог не слышит нас в молитве:
Мы в борьбе творим его.

Анатолий Н.

Русский вечер.

Вечер темен, молчалив.
Между грустных ив и елок
Запрокинулся в залив
Золотой луны осколок.

Где-то волоком толпой
Бурлаки беляну тянут.
Над темнеющей рекой
Полог вечера протянут.

Режут душу голоса
Пропитых, осиплых глоток.
Режут небо паруса
Приближающихся лодок.

Где-то там, в одной из них,
Надрываются визгливо.
Но закат, как вечность, тих
Над излучиной залива.

Анатолий З.

Песня земле и небу.

Земля!
Ты можешь спокойно
сегодня ночью уснуть.
Нам ведом в небе твой путь.
К тяжелым победам привыкшие воины,
твёрдо, застыв, как сталь,
мы стоим
у руля.

Земля!
Над нами скопища звезд
текут, сливаясь вдали.
Огромный мост переброшен в тьму.
Облачный Млечный Путь.
О, если б к нему
шагнуть!
Звездною пылью покрыв подошвы,
лечь и нагнуть
огромную голову вниз,
за звездный карниз,
и видеть Прошлое
там.

Потом повернуться ликом
к другим высотам
(а быть может—глубинам),
растянуться на этом великом,
круглом хребте небесного свода,
и созерцать в высоте:
какие пути нам
готовит во тьме природа?

Увы, мы еще бессильны
над пропастью бездн шагать.
Стопы усталые пыльны... пылью Земли...

... Пусть бездны неба вокруг,
окутав наш теплый шар,
пугают, безглазые.
Не по ним —
По **нас** все равняйтесь!..
Мы на сводах тяжелых дуг
Земли
в своем полушарии,

звездно-чумазые,
выкинув стяг: „Пролетарии!!!
соединяйтесь!!!“—
ей помогли воскреснуть.

Жидкой лавы волна—
радости буйной—
голову жжет и кружит...

Ждите же, ждите нас!..
Звезд лучистое кружево!..
Небо!.. небо!..
Скоро к тебе мы,
к ткани твоей светоструйной—
и выше... выше...
руки свои протянем,
настоящие руки: не в напевах поэмы.

Небо!!..

Ты слышишь?..

Анатолий К

Старый город.

Всю ночь—экспресса шум, как шум шагов,
В окне—заиндевелый бор да поле,
К утру—вокзал лохматый, сеть проводов,
В сетях—жар-птицы древних колоколен.

Под топотом копыта пыль тоски
Не вьюга ль снежным помелом смахнула?
Не с нею ли с бубенчиком в три дуги
И мчусь широкоуличным разгулом?..

Тупик... сугробы... кольями забор...
С распятьем ржавым и с номером Домкома—
Нахмурил терем над забором взор,
Как витязь под завьюженным шеломом...

Окошко, алконостом распустив
Цветные, вырезные крылья ставни,
Грустит, под зингеровский звон грусти
О слезах, пролитых на пяльцах давних

Тишь тупика и—рынка пестрый крик,
И, жарко полыхая стягом алым,
Екатерининский и полинялый
С колоннами фронтон и вновь—тупик...

За поворотом—глухомань, пустырь
И монастырь седым сугробом. Мнится,
Он колокольной зевотой застыл,
На мир прищурив ветхие бойницы...

Заросший город в тупиках-веках!..
Но в говоре—слова иных значений:
Стремительное, как полая река,
„ВЦИК“, весенне-грозовое „Ленин“...

Тревожит крик московских площадей
Твой бред березовый и сон сосновый
Над крепью дедовскою, юный День
Векам кладет гранитные основы.

Гнусливым псом уполз тоскливый страх;
Там, где была твоей Голгофой площадь,—
Встал властно на окровавленных камнях,
Чугунным монументом встал Рабочий...

Цари, дыбы и—Пугачевский бунт,
Кнут—и в оковах ссыльный двух столетий.
Так быстр до Революций и Трибун
Твой путь от Сказки, Терема и Плети!..

С. Обрадович

Мать.

Как вялый колос—мускулы и грудь..
По выжженному желтому простору
Весь день брели сквозь солнечную муть,
И вот—в асфальтовом тумане город.

Какая боль!.. А в памяти укором-
Взор впалый брошенной избы...
Как каркал над пустой дорогой ворон,
Как-будто голым горлом той трубы...

Обугленный, стыл запад... Крались тени..
Пустели сумеречные пути...
Затрепетав бессильно на коленях,
Грудь с криком прокусив, сын стих.

И долго, тупо, почернелым взглядом
Смотрел забор, как грузно в душной мгле
Мать грудью высохшей припала рядом
К морщинистой и высохшей земле.

И билась до утра над сыном полумертвым,
И грудь рвала свою и грудь земли.
Пылающую в рассвете желтом
Бесплодную, сухую грудь земли.

И, проклинающая, не слыхала,
Что вместе с ней, в глухом тревожном сне
Земля стонала, земля изнемогала
В томительной и знойной тишине...

С. Обрадович.

Пляс.

В этот вечер нерадостный стала
Я веселой и жуткой на час,
Я пущусь под напев разудалый,
Под безумное гиканье в пляс.

Взбунтовалась тревожно гармоника.
Подойдите поближе к окну!
К вам на улицу я с подоконника
В исступленной пляске спрыгну.

Жутко весел напев разудалый,
Он угрозой свистит в темноту.
Что ж, гармоника? Я не устала —
Побунтуй еще час, побунтуй!

Надоели мне тихие песни,
Мне не надо торжественных чувств!
Утонуть, без остатка исчезнуть
Я в мучительном плясе хочу.

Беззащитною гибкой лозиной
В пляске, ветре жестоком кручусь.
Я смешала с великой кручиной
Безнадежную дерзость и грусть!

Ты, взглянув на меня в отдаленьи,
Отступил бы поспешно на шаг...
Ну, так что ж? Ведь не быть перемене,
Так присвистни и гикни, душа!

Анна Баркова.

Из белорусской поэзии

Слуцкие ткачихи.

(Из М. Богдановича.)

От нив родных, от милой хаты
В господский двор (виной краса)
Они, безрадостные, взяты
Ткать золотые пояса.

И тихо долгие годины,
Забыв девические сны,
Свои широкие холстины
На лад персидский ткут они.
А за стеной смеется поле,
И смотрит небо из окна —
И думы мчатся против воли
Туда, где расцвела весна,
Где хлеба колосятся всходы.
Синеют мило васильки,
Где серебром катятся воды
Бегущей между гор реки.
Темнеет край зубчатый бора...

И забываясь, ткет рука,
Взамен персидского узора,
Родимый образ василька.

Д. Выгодский.

Наука в советской России

(Впечатления о работах петербургских физиологических лабораторий.)

Статья Б. М. Завадовского.

Кризис науки, постигший нас на-ряду с другими потрясениями страны, нашел одно из своих определенных выражений в исчезновении научных журналов. Таким образом, мы потеряли тот простой путь, через который общество и специалисты могли бы держаться в курсе научных работ и проблем современности. Мы не только оторваны от науки Запада, мы часто не знаем даже того, что делается в научных лабораториях своего же города и тем более—родной страны в ее целом.

В не менее тяжелых условиях оказались и сами ученые, работы которых не находят себе ни поддержки в оценке своих сотоварищей, ни возможности установить внутреннюю связь с предшествующими и параллельными работами других ученых.

Вот те мотивы, которые руководили мною, когда я весною этого года предпринял свою поездку в Петербург для ознакомления с работами его физиологических лабораторий: я видел в этом единственный доступный мне способ войти в круг интересов, занимающих петербургские круги физиологов.

Я не ошибся в своих ожиданиях. Больше того, я думаю, что впечатления, вынесенные мною из этой поездки, представляют не только личный интерес, но заслуживают того, чтобы поделиться ими с более широкой аудиторией.

Я надеюсь, что этим путем я достигну того, что станут, наконец, известны некоторые замечательные завоевания современной русской науки, которые оставались до сих пор позорно неизвестными широким кругам общества.

С другой стороны, быть может, таким путем я хотя отчасти удовлетворю естественной потребности товарищей по специальности войти в круг тех работ, которые ведутся в настоящее время в петербургских лабораториях — этом центральном очаге, сосредоточившем в себе издавна силы лучших физиологов России.

I.

Центральное положение среди физиологических лабораторий Петербурга занимают, конечно, лаборатории И. П. Павлова. Меня же помимо гениальности применяемых в них методов влекли к Павлову также и мои специальные научные интересы и, наконец, то об-

стоятельство, что чрез посредство своего учителя, Б. П. Бабкина, я могу считать себя косвенно учеником Павлова.

Этим объясняется то обстоятельство, что на ознакомление с этими лабораториями мною было затрачено наибольшее количество времени. С описания павловских лабораторий я и начну свои впечатления.

С именем Ивана Петровича Павлова связаны были до сих пор две замечательные главы физиологии, которые созданы почти исключительно трудами его и его учеников. Это—1) метод искусственных фистул пищеварительного канала и обслуживающих его желез и 2) метод условных рефлексов.

Если не считать первых работ Павлова и, в частности, замечательной диссертации по иннервации сердца, мировая известность Павлова началась именно с тех пор, как он ввел новые и усовершенствовал старые методы наложения искусственных фистул. Фистулы—это свищи, которые искусственно накладываются на слюнные протоки, на протоки поджелудочной железы, на желудок и все остальные отделы пищеварительного канала собак или других животных и позволяют таким образом поддерживать непрерывное длящееся годами исследование процессов пищеварения на живом организме через эти „окна", сделанные внутрь его тела. Этот метод впервые придуман не Павловым, но лишь в его руках и руках его учеников он нашел себе столь широкое применение, что отныне он стал неотъемлемой принадлежностью всякой большой научной лаборатории. Вот простейшие из этих фистульных операций, как они применяются сейчас в физиологической практике.

При накладывании желудочной фистулы желудок подтягивается в стенке живота и через обе стенки—брюшную и желудочную—проделывается небольшое отверстие, через которое вставляется металлическая трубка, имеющая форму катушки из-под ниток. Диски на концах трубки не позволяют трубке ни выпасть наружу, ни быть втянутой внутрь желудка. Через такую трубку можно извлекать из желудка для исследования в любую минуту содержимое его или же добывать чистый желудочный сок, отделяемый его стенками. По прекращении опыта фистула затыкается обыкновенной пробкой, и собака предоставляется самой себе. Наконец, для того, чтобы содержимое желудка не загрязнилось слюною и другими веществами из полости рта, у собаки перерезается поперек пищевод, оба конца которого выводятся наружу. Таким образом, слюна, непрерывно глотаемая собакой, не идет в желудок, а выпадает обратно через разрез пищевода. То же самое происходит с поедаемою собакой пищей. Когда опыт окончен, то пережеванная пища искусственно вводится через фистулу или через задний разрез пищевода (если пища жидка) в желудок и фистула затыкается описанным выше образом. Оперированные таким образом собаки живут в лабораториях по многу лет, но требуют тщательного ухода, так как их приходится искусственно накармливать через фистулу. Такого же рода фистулы могут быть наложены и на другие отделы пищеварительного канала—тонкие кишки и т. д.

Другого типа фистулы железистых протоков. Что касается слюнной фистулы, то здесь слюнный проток своим концом вырезается с окружающим его участком щеки и вшивается через отверстие щеки наружу. Таким образом слюна, обычно попадающая в полость рта, теперь вытекает на поверхность щеки и может быть собрана в совершенно чистом виде в подставленные стаканчики.

Я не могу, к сожалению, подробнее вдаваться в описание этой уже давно разработанной Павловым методики искусственных фистул.

Интересующихся я должен отослать к его классическим „Лекциям о работе пищеварительных желез“, суммировавшим еще в 1897 году главные итоги этой серии работ Павлова и его учеников (эти лекции вновь переизданы в 1917 году издательством „Природа“).

Скажу лишь только, что результаты работ павловской школы, доведенные до 1915 года, охватывают свыше сотни диссертаций и собраны в замечательной монографии одного из крупнейших учеников Павлова, ныне одесского профессора Бориса Петровича Бабкина: „Внешняя секреция пищеварительных желез“ (изд. Риккера).

Продолжая через своих учеников исследования над работой пищеварительного канала методом искусственных фистул, сам Павлов с начала нынешнего столетия стал все более отдаваться новой главе физиологии, им же создаваемой—учению об условных рефлексах.

Учение об условных рефлексах логически в своем возникновении связано с предшествующими работами Павлова.

Рефлексами уже издавна были названы простейшие нервно физиологические акты, являющиеся непроизвольной ответной реакцией на раздражение окружающей среды. Так, мигание век при пролете камня мимо глаз, заслонение лица руками в ожидании удара или же ряд сложных движений споткнувшегося о камень человека—все эти рефлекторные движения бо̀льшей или меньшей сложности совершаются помимо активного участия нашего сознания. Таким же простым рефлексом является отделение слюны или желудочного сока при поступлении пищи в рот или желудок.

Отдавшись изучению внешней секреции пищеварительных желез, Павлов скоро должен был натолкнуться на интересные проблемы механизма, который имеет место при отделении пищеварительных соков. При этом прежде всего с ясностью обнаружилось, что факторы, вызывающие сокоотделение, могут быть разделены на две основных группы:

1) Факторы, непосредственно раздражающие слизистые оболочки пищеварительного канала и затем прямым рефлекторным путем возбуждающие ответное сокоотделение.—Способность организма давать именно такую ответную реакцию есть результат всей его физиологической конституции, а самый акт есть то, что мы называем простым рефлексом.

2) Можно наблюдать также и такую картину, когда то или другое вещество уже на расстоянии одним своим запахом или видом „гонит слюну“ (в общежитии говорят „слюнки текут“)—такое действие возможно только в том случае, если собака (или человек) уже однажды испробовала вкус этого вещества. Так, павловской школе удалось доказать, что собаки, выкормленные без мяса, при первой даче мяса остаются к нему совершенно равнодушны, и из их желудочной фистулы совершенно не отделяется желудочный сок. Но если собака хотя бы однажды поела мяса, то, при одном взгляде на мясо, она начинает рваться к нему (на время опыта собака ставится в особую стойку, не позволяющую ей сойти с места), а из фистулы начинает струйками литься желудочный сок. Получается впечатление, которое мы определяем, что собака „знает мясо“, „понимает“, „помнит“ и т. д. Т.-е. мы начинаем толковать во все стороны психическое состояние животного для того, чтобы объяснить механизм этого „действия на расстоянии“. Первоначально по этому пути пошел и сам Павлов. В своих „Лекциях“ он еще говорит (в 1897 г.) о „химических“ (для первой группы случаев) и „психических“ (для второй группы случаев) факторах сокоотделения.

Но постепенно этот способ психологического толкования наблюдаемых явлений перестает удовлетворять его, как физиолога.

Вот как сам он излагает те мысли, которые возникли в нем по этому поводу, в своем знаменитом докладе на Международном конгрессе в Мадриде в 1903 году, когда он впервые ясно и отчетливо сформулировал свое учение об условных рефлексах:

„Должны ли мы для понимания новых явлений входить во внутреннее состояние животного, по-своему представлять его ощущения, чувства и желания?

„Для естествоиспытателя остается на этот последний вопрос, как мне кажется, лишь один ответ — решительное „нет". Где хоть сколько-нибудь бесспорный критерий того, что мы догадываемся верно и можем с пользою для понимания дела сопоставлять внутреннее состояние, хотя бы и такого развитого животного, как собака, с самими собою? Дальше. Не постоянное ли горе жизни состоит в том, что люди большею частью не понимают друг друга, не могут войти один в состояние другого. Затем, где же знание, где власть знания в том, что мы могли бы, хотя и верно, воспроизвести состояние другого? В наших психологических опытах над слюнными железами (пока будем употреблять это слово) мы добросовестно сначала пробовали объяснить полученные результаты, фантазируя о внутреннем субъективном состоянии животного - ничего кроме бесплодных споров и личных, отдельных, несогласимых между собою мнений, не было достигнуто.

„Итак, ничего не оставалось, как повести исследование на чисто объективной почве, ставя для себя, как первую и особенно важную задачу — совершенно отвыкнуть от столь естественного переноса своего субъективного состояния на механизм реакции со стороны экспериментируемого животного, а взамен этого сосредоточивать все свое внимание на изучении связи внешних явлений с нашей реакцией организма, т.-е. с работою слюнных желез".

С этих пор Павлов решительно отказывается от психологических толкований и дает чисто нервно-физиологическое объективное описание наблюдаемых реакций. Он вводит новые термины для обозначения новых явлений. Обе группы реакции — и химическая, и психическая „фазы" сокоотделения — являются несомненными рефлексами. Но в то время, как первый безусловно существует в организме от самого рождения, вторая группа раздражителей, действующих на расстоянии, проявляются лишь при том условии, что они предварительно сочетались в нервной системе собаки с безусловным (химическим) раздражителем. Первый род рефлексов Павлов называет безусловными, а второй — условными рефлексами. Удобство этого рода обозначения в том, что оно лишено всякого субъективизма и той окраски, которая так связана с психологизмами вроде: „помнит", „знает" и т. д. Но, вместе с тем, понятно, что в условных рефлексах Павлова мы имеем нервно-физиологический эквивалент тех понятий, которые в психологии носят эти названия — „памяти", „ассоциаций" и пр.

Таким образом, учение об условных рефлексах дает нервно-физиологический метод изучения душевных явлений, а многочисленные исследования, выпущенные из лаборатории Павлова в течение последних пятнадцати лет составляют первую реальную попытку такой объективной биопсихологии на высших животных, близких человеку.

Работая на собаках со слюнными фистулами, Павлову удалось образовать у них искусственные условные рефлексы на световые явления, на звуки, на запахи и даже болевые ощущения, ничего общего не имеющие со вкусом пищи. Тем не менее путем остроумных приемов удалось достичь того, что, например, при болезненном ударе

электрического тока, у собаки обильно всякий раз текла слюна. Гениальность физиолога-экспериментатора проявилась в том, что из высшего органа животного — его головного мозга — Павлову удалось создать послушный лабораторный аппарат...

Но я не имею здесь возможности дальше распространяться по существу учения об условных рефлексах. Для этого потребовалась бы особая специальная статья. Мне эти предварительные сведения необходимы лишь для того, чтобы сделать читателю понятными те работы, которыми занята мысль Павлова и его учеников в настоящее время [1])

II.

Перейдем же теперь к нынешним работам павловских лабораторий.

Всего в заведывании И. П. Павлова находятся три лаборатории. Из них только две работают и живут полной научной жизнью, находясь под непосредственным его наблюдением, это — 1) Физиологическая лаборатория Института Экспериментальной медицины и 2) Лаборатория при кафедре физиологии в Военно-Медицинской академии. Третья, почти не действующая, лаборатория находится при Академии наук.

Институт Экспериментальной медицины — это центральный очаг, откуда вышли главные работы павловской школы.

Здесь и в настоящее время сосредоточены главные интересы и работы Павлова. Сам Павлов уже больше не ведет работ в области собственно сокоотделения. Но эти работы продолжает один из его старых учеников и сам уже крупный европейски известный ученый Владимир Васильевич Савич, который интересуется в настоящее время главным образом секрецией тонких кишек. Сам же Павлов уж давно охладел к этой созданной им области знания и использует фистульный метод главным образом для своих работ по условным рефлексам.

Зато в этой последней области им производится в настоящее время совместно со своим старшим ассистентом Дм. Ст. Фурсиковым работа, которой сам Иван Петрович придает весьма серьезное значение. Я имел счастье в течение нескольких часов присутствовать при производстве опытов, которые дают уже законченные и совпадающие результаты и проливают новый свет на некоторые неясные до сих пор стороны в стройном учении об условных рефлексах. К сожалению, я не имею права здесь передать существо этой ненапечатанной еще работы и потому охарактеризую лишь область, в которой она вращается.

Как сказано, павловской школе уже давно удалось рядом остроумных приемов получать у собак искусственные условные рефлексы

---

1) Интересующихся более подробно познакомиться с вопросом отсылаю к следующим статьям самого Павлова

1) „Экспериментальная психология и психопатология на животных“ (Мадридская речь, напечатана в VII т. „Известий Военно-Мед. Акад.“ в 1903 г.

2) „Естествознание и мозг“ — сборник памяти Дарвина. Москва 1910 г.

3) Настоящая „Физиология головного мозга“ помещена во „Временнике“ Леденцовского об-ва 1910 г., вып. 4.

К сожалению, все эти классические программные речи не дают полного итога плодотворных работ павловской школы в этом направлении. Монография — сводка вопроса — уже написана Павловым, но печатание ее задерживается.

на совершенно необычные раздражители — на звуки, сочетания цветов, холь, уколы и т. д.

Получалось это таким образом, что в течение многих сеансов подряд в присутствии собаки повторяли этот раздражитель, давая ей одновременно еду. В результате оказывалось, что достаточно было показать собаке, например, светящийся круг, как у нее из фистулы начинала течь слюна.

Тогда возникло предположение, не удастся ли образовать у собаки условный рефлекс второго порядка, сочетав в течение некоторого количества сеансов какой-либо новый раздражитель, допустим — звук сирены, с этим светящимся кругом. Такого рода опыт удался, но лишь после долгих неудач. Обыкновенно же наблюдалась иная картина: появление нового раздражителя тормозило уже образовавшийся рефлекс. Таким образом допустим, что собаке в течение ряда сеансов во время еды показывают светящийся круг и добиваются того, что одного лишь светящегося круга без еды оказывается достаточно, чтобы вызвать у собаки обильное отделение слюны.

После того, как у собаки образовался устойчивый рефлекс на светящийся круг (рефлекс 1-го порядка), его начинают сочетать со звуком сирены. В некоторых случаях такого рода сочетания действительно вели к тому, что теперь уже звук сирены оказывался способен гнать слюну, т.-е. образовывался условный рефлекс 2-го порядка. Но чаще этот новый раздражитель вел к тому, что даже уже начавшееся слюноотделение немедленно прекращалось, т.-е. получалось то, что Павлов назвал условным торможением, ибо теперь этот раздражитель становился как бы условным сигналом к прекращению всякого слюноотделения.

До последнего времени оставалось неясным, почему в одних случаях этот род сочетаний вел к образованию рефлексов 2-го порядка, а в других — условного тормоза. Упомянутая мною работа Павлова и Форсикова, которая находится уже на пути к завершению, касается именно этого вопроса и точно определяет те условия, которые ведут к тому или иному результату.

Всякому, интересующемуся учением об условных рефлексах, понятно, какое большое значение должен иметь этот новый успех павловской школы, и мы должны с нетерпением ожидать, когда эта работа в совершенно законченном виде выйдет, наконец, в свет.

Эта работа в значительной мере как бы венчает то величественное здание, которое создано в науке трудами одной лишь павловской школы. Рядом с этой работы, которые ведутся многими другими учениками Павлова по разработке некоторых частных проблем, связанных с методом условных рефлексов, как они ни интересны сами по себе, отступают на второй план. Эти работы ведутся как в лаборатории Института Экспериментальной медицины, так и Военно-Медицинской академии.

Но этот успех, повидимому, и вообще, как говорят, „поспел вовремя", ибо есть основания думать, что он окажется последним значительным словом Павлова в этом направлении.

Да не подумают читатели, что этими словами я хороню научный гений Павлова.

Нет, все дело в том, что Иван Петрович закладывает в настоящее время фундамент еще новому отделу физиологии — третьему в серии его великих дел,—который все более начинает увлекать его в свою область.

Эта новая увлекающая его и создаваемая им область — учение о трофических нервах — вытекает опять-таки прямым и логическим образом из всех предшествующих работ Павлова.

Дело в следующем. До сих пор теоретическая „чистая" физиология нервной системы знала, как неоспоримо доказанную истину, существование двух родов нервных волокон: 1) чувствительных нервов и 2) двигательных нервов, ясно физиологически обособленных друг от друга и выполняющих каждый свои специфические функции. Врачи практики, на основании своих клинических наблюдений, считали возможным говорить о существовании еще третьей обособленной группы трофических нервов, которые специально управляют и регулируют питание клеток и тканей в организме; но чистая физиология не признавала их, не имея сколько-нибудь определенных доказательств их существования.

Имея под своим наблюдением в течение длинного ряда лет оперированных им фистульных собак, Павлов мог наблюдать на них в конце концов ряд расстройств и заболеваний, не поддающихся прямому истолкованию. Так, собаки с фистулами желудка и других глубоких отделов пищеварительного канала часто заболевали различного рода изъязвлениями на коже и другого рода трофическими, как говорят врачи, расстройствами (расстройствами питания).

Были и случаи, когда фистульные собаки настоящим образом „сходили с ума", при чем вскрытие обнаруживало у них глубоко зашедшее перерождение головного мозга.

Такой случай был, например, с собакой „Кикиморой", описанной в одной из лучших диссертаций, вышедших из павловской лаборатории и принадлежащей д-ру, ныне профессору, Г. П. Зеленому.

Постепенное накопление клинического материала, собранного в его собачнике, уже давно наталкивало И. П. на мысль, что здесь могла быть речь о тех самых трофических нервах, существование которых так упорно подвергается до сих пор сомнению.

Ведь дело в том, что операции с изготовлением фистул не обходятся без того, чтобы при этом не производились известные натяжения и необычное расположение во внутренних органах брюшной полости. Если принять существование специальных трофических нервов, то легко понять механизм получающихся на собаках трофических расстройств. Неправильное натяжение органов отражается на нервах, а отсюда чисто рефлекторным путем влияет через посредство трофических нервов на питание кожи, мозга или кишечного канала, вызывая таким образом описанное уже явление.

Таким образом, со свойственной ему гениальной смелостью и по аналогии с ранее данными схемами стимулирования и торможения в учении об условных рефлексах или, еще ранее, в механизме иннервации сердечной мышцы Павлов и здесь допускает существование как стимулирующих, так и тормозящих питание трофических нервов.

Года два назад И. П. Павлов выступил в одном из петербургских обществ с докладом на эту тему, который произвел очень сильное впечатление на петербургских ученых. Крайне интересны те приемы и операции, к которым И. П. прибег для проверки своей гипотезы.

Исходя из своего предположения, что ненормальное натяжение брюшных органов ведет к наблюдаемым трофическим расстройствам, Павлов стал намеренно производить на собаках операции, где он подшивал желудок и другие органы брюшной полости на несоответствующие им места, вызывая тем особенно сильные натяжения. Как показатель, он взял промеры температуры и некоторые другие симптомы.

Уже года два назад им были получены весьма интересные результаты: в первые дни после операции у собак температура падала на 1—2°, но потом опять возвращалась к норме. Нужно думать, что организм успевает приспособиться к первым нарушениям и восстанавливает свое равновесие обмена веществ.

Таким образом, этот первый метод не дал пока Павлову окончательных результатов. Оперированные собаки остаются пока под присмотром, ибо можно ожидать, что со временем на них еще скажутся ожидаемые результаты трофических расстройств. Пока же Павлов пустил в действие другой метод — хронических раздражений кишечного тракта с одновременными промерами температуры. Эта работа ведется им совместно с д-ром Розенталем и также представляет огромный интерес и значение. И при производстве этого опыта я имел счастие присутствовать, а поскольку самый метод был уже оглашен в некоторых заседаниях Москвы и Петербурга, я считаю себя в праве его сообщить.

Для опыта берутся собаки с так называемою фистулою или „петлею" Тири.—Это одна из петель тонких кишек, оба конца которой, выделенные поперечными разрезами из общей связи кишечного канала, выведены наружу. Таким образом, внутренняя поверхность кишки может быть подвергнута по желанию экспериментатора любому раздражению и в любое время, и, следовательно, устранена возможность, что организм собаки успеет приспособиться к однажды произведенному натяжению в случае операции по первому методу. В петлю Тири вводятся мелкие или крупные камешки с острыми углами. Медленной перистальтикою этот зернистый песок проталкивается через всю петлю и выходит из дистального конца петли наружу. Производится хроническое раздражение слизистой оболочки участка кишечника. Присутствуя при опыте в течение около двух часов, я мог лично убедиться, что во время его температура у собаки падает на 1—2°. На очереди стоят еще целый ряд других раздражителей, которые сменят камешки: температура холодная или горячая, кислоты или какие-либо другие химические реагенты и т. д. Конечно, эти пока разрозненные факты отнюдь не являются прямым доказательством существования трофических нервов — это лишь один из тех методов, который приближает нас к разрешению вопроса.

Имя Павлова является порукою, что раз вопрос поставлен им на очередь, то окончательный ответ за или против этого предположения не заставит себя ждать.

Таковы те главные работы, которые занимают в настоящее время величайшего из русских физиологов. Каждая из них обещает сделать крупный вклад в физиологическую науку и своеобразно характеризует самого Павлова с его неугомонной натурой и тем даром, который он сам так хорошо определил в одной из своих замечательных статей, как „рефлекс цели". Рефлекс цели—это дар устремления к одной какой либо цели, овладевающей душою людей с творческою волей. В данном случае—это устремление к научному познанию природы, несмотря и вопреки всем тяжелым условиям существования и научной работы, которые так знакомы всем нам...

В этих работах Павлова любопытно отметить также и то, что в то время, как одна из них венчает ряды работ предшествующих лет, другая является как бы началом новых, будем надеяться, не менее плодотворных как по качеству, так и по количеству.

Кроме этих центральных работ, ведущихся в павловских лабораториях, упомяну еще о некоторых других, имеющих побочное зна-

чение. Уже упомянутый мною Вл. Вас. Савич в последнее время интересуется вопросами внутренней секреции. Между прочим, интересно отметить, что случай дал ему в руки старого пса, на котором он, между делом, пробует проверить операцию Штейнаха, пользуясь, как показателем, методом условных рефлексов. Надо сказать, что Вл. Вас. довольно скептически относился в то время к известиям о работах Штейнаха по омоложению и не придавал серьезного значения этой своей пробе.

Нам же хотелось думать, что время успело изменить это недоверчивое отношение и что В. В. Савич еще вернется к этим операциям с более серьезным вниманием.

Но нельзя не отметить ценности самой идеи связать метод Штейнаха с методом условных рефлексов.

Вполне самостоятельно и весьма настойчиво ведет свои работы в лабораториях Павлова д-р Степанов. Он работает над вопросами, связанными с самостоятельным сокращением периферических кровеносных сосудов и своими раз осторонними интересами связывает работы павловских лабораторий с работами Кравкова, о которых предстоит сказать еще ниже[1]).

Нельзя закончить этот очерк о павловских лабораториях, не упомянув о состоянии его знаменитого собачника. Метод желудочной фистулы, соединенной с перерезкой пищевода, по Павлову, впервые позволил получать из собаки совершенно чистый желудочный сок. Этот сок применяется в медицине в целях излечения некоторых заболеваний пищеварения, соединенных с недостаточной собственной секрецией желудочного сока. В мирное время при павловской лаборатории Ин-та Эксп. мед. существовал свой особый собачий завод, который получал из специально на то предназначенных собак крупных пород, вроде сен-бернаров, большие порции желудочного сока.

Павловская лаборатория снабжала своим „натуральным желудочным соком" не только все русские, но также европейские и даже американские аптеки. В то время общее количество собак в собачнике превышало сотню.

В настоящее время, конечно, все это значительно сократилось. Голодный паек значительно сократил количество собак и сделал совершенно невозможным содержание собак с особенно сложными операциями, требующих тщательного ухода и более тонкой пищи. Но все же и сейчас при лаборатории Инст. Эксп. мед. имеется свыше 40, а в Военно-Мед. академии свыше десятка подопытных собак, из коих некоторые продолжают поставлять желудочный сок в аптеки и лаборатории Петербурга.

III.

Чем больше камень, брошенный в воду, тем больше он сделает круги.

Деятельность Павлова оставила надолго неизгладимый след в истории русской физиологии. Ведь ныне нет в России почти ни одного университетского города, где бы кафедру физиологии занимал не ученик Павлова. Но и в самом Петербурге павловская школа заняла прочные и солидные позиции. Один из крупнейших учеников Павлова

---

1) Работы Степанова, а равно и других называемых здесь авторов печатаются в двух весьма неисправно выходящих журналах: 1) „Сеченовский физиологический журнал" и 2) „Известия Института имени Лесгафта"

в области учения об условных рефлексах Леон Абгарович Орбели руководит работой двух лабораторий: 1) при бывшем женском Медицинском институте и 2) в Институте имени Лесгафта. И там и здесь он продолжает и развивает методы условных рефлексов и искусственных фистул, созданные Павловым. В этом отношении его лаборатории составляют как бы одно целое с лабораториями самого Павлова. Работающие в них составляют как бы одну дружную семью, не считающуюся с границами лаборатории: в моем стремлении по больше увидеть я обходил по несколько лабораторий в день. И трижды на день в разных лабораториях я сталкивался с тем же В. В. Савичем, который старается использовать каждый столь ценный теперь труп собаки для своей работы, которая таким образом осуществляется им одновременно в нескольких лабораториях, или же встречал д-ра Степанова, который таким же образом восполняет недочеты в живом материале кроликов или ищет совета старших товарищей по научной специальности.

Картина дружной совместной работы нескольких крупнейших физиологических лабораторий, которой могут с болью в сердце позавидовать многие москвичи...

Кроме этих работ в области классических павловских направлений, в Институте имени Лесгафта для меня представляла особый интерес работа ассистента Орбели—Крестовникова. У него я мог видеть амблистому, живущую в этом состоянии уж около двух лет.

Амблистома—это легочнодышащая взрослая форма общеизвестного и часто содержащегося в аквариумах земноводного—аксолотля. Обычно аксолотль в Европе на всю жизнь остается в состоянии личинки, дышащей жабрами, но способной к метанию икры и, следовательно, к размножению. Недавно удалось найти специфическое средство, посредством которого можно с уверенностью заставить аксолотля совершить метаморфоз в амблистому: для этого нужно лишь дать ей несколько приемов препарата щитовидной железы. Этот опыт был произведен в 1919 году одновременно в Москве проф Н. К. Кольцовым и в Петербурге Крестовниковым. После того он был повторен также в Петербурге Павловским, а в Москве мною совместно с Е. В. Умановой-Завадовской. Но такие превращенные амблистомы в большинстве случаев сравнительно быстро погибали. И в этом отношении двухлетняя жизнеспособность большой амблистомы Крестовникова представляет особый интерес и подтверждение верности метода. Отметив лишь этот факт, я не стану подробно вдаваться в пояснение теоретического и практического значения этого открытия: ведь ко многогранным функциям щитовидной железы прибавляется этим тот значительный факт, что ее гормон управляет процессом метаморфоза у животных. Ведь многочисленные опыты на лягушках (Гудернаг в Америке, Абдергальден в Германии, М. М. Завадовский в Москве), на личинках бабочек Абдергальден в 1920 г.) и т. д. показали, что у них щитовидная железа ускоряет наступление метаморфоза.

IV.

При том же Институте Экспериментальной медицины существует специальное отделение общей патологии, находящееся в заведывании проф. Е. С. Лондона. Лондон—также бывший ученик Павлова и автор капитальной монографии, вышедшей на немецком языке под

заглавием: „Physiologische und Patologische Chymologie“ [1]). Он составил себе европейскую известность дальнейшим усовершенствованием фистульного метода в том направлении, что он делает на одной собаке до 6 и больше фистул на протяжении пищеварительного канала. Этот „**полифистульный метод**“ позволил ему произвести подробные наблюдения над последовательными изменениями пищевой кашицы—химуса—при его продвижении по пищеварительному каналу. Я пришел к Ефиму Семеновичу с просьбой показать мне этих полифистульных собак, но был горько разочарован в своих надеждах: как и у Павлова, эти собаки, требующие тщательного ухода, не выдержали грубой пищи, едва пригодной для питания нормальных собак и погибли. Но я был с лихвою вознагражден, когда Лондон познакомил меня с новым разработанным им методом **фистул на кровеносных сосудах**.

Как это ни странно, но это так. Дело идет не более и не менее, как о создании фистул, помощью которых экспериментатор получает возможность получать для исследования кровь из наиболее глубоко лежащих сосудов и, обратно, вводить в их русло испытуемые вещества в любой момент и в **любом количестве**.

Метод этот, простой до гениальности, заключается в следующем. Металлическая трубка, более тонкая и длинная, чем применяемые для кишечного канала, на одном из концов имеет две полукруглые сходящиеся ковнами пружинки с петельками (отверстиями) на концах, так что они почти сходятся между собою, образуя полный круг. Этими пружинками охватывается сосуд и затем завязывается ниткой, продетой в дырочки на их концах. Другой конец трубки остается выходящим наружу. Таким образом, мы имеем постоянный ход к интересующему нас сосуду. При первой необходимости мы берем обыкновенный шприц для инъекций и, вводя его через фистулу-трубку до сосуда, прокалываем иглою его стенку. В зависимости от надобности, мы можем или взять в шприц нужное количество крови или, наоборот, впрыснуть тот или другой состав, не трогая в остальном собаку и не причиняя ей никакого беспокойства.

Трудно переоценить все значение этого многообещающего принципа. Ведь его дальнейшее развитие откроет нам доступ к самым нежным органам тела—кровеносным сосудам любой части тела и позволит вскрыть многие тайны, оставшиеся до сих пор недоступными исследованию.

Павлову принадлежит мысль, что прогресс науки определяется созданием новых методов исследования. Открытие новых методов исследования дает всякий раз новый толчок развитию науки. Вся его личная деятельность есть яркое подтверждение этой истины. И также много мы можем ожидать от метода фистул кровеносных сосудов, созданного Лондоном.

Правда, сам Лондон указывает на те трудности, которые придется еще преодолеть на этом пути. Но эти трудности главным образом технического порядка. Так, нужно еще выверить, насколько долго будет держаться такая фистула с ее кольцом, замкнутым ниткой. Далее, кровеносные сосуды легко дают анастомозы и таким образом изменяют кровеносное русло. Здесь же возникает опасность, что частые уколы в одно и то же место поведут к разрастанию соединительной ткани в этой части стенки сосуда, которое закончится зарас

[1] Ему же принадлежит прекрасный курс лекций для студентов: „Физиология и патология пищеварения“, изд. „Практич. Медицины“, 1916 г.

нием сосуда и, следовательно, фистула потеряет свой смысл. Но несомненно, что эти возможные затруднения не умаляют принципиальное огромное значение вновь созданного метода [1]).

В настоящее время Лондон занят проверкой верности и применимости этого метода. Он показывал мне собаку, живущую уж более 5 месяцев с двумя такими фистулами. Зима, заморозившая его лабораторию, не позволяет ему перейти к работе по существу. Его фистулы, из коих одна проведена к воротной, а другая к печеночной вене, позволяет ему исследовать огромной важности вопрос о физиологическом значении печени.

V.

3-ье отделение Института Эксп. медицины отведено под лабораторию физиологической химии и находится в заведывании Б. И. Словцова.

В противоположность сосредоточенности интересов И. П. Павлова, который в течение десятков лет способен отдаваться одной занимающей его идее, Б. И. Словцов замечателен разносторонностью своих интересов и энциклопедичностью своих работ. Вместе с большим штатом своих учеников и сотрудников он разрабатывает одновременно несколько глав физиологической химии:

1) Уже издавна его привлекают проблемы, связанные с физиологической ролью ферментов.

2) Одновременно с этим его привлекают явления иммунитета в широкой биологической постановке этой проблемы.

3) В то же время им поставлена в настоящее время большая задача систематического и планомерного изучения химического состава всех основных тканей животного организма—эта задача осуществляется им в настоящее время силами нескольких сотрудников [2])

4) Наконец, современные годы поставили перед нами большие задачи по выяснению многих вопросов, связанных с народным питанием.

В этих своих работах по физиологии питания Словцов тесно связан с заданиями и потребностями государственной власти. Под его руководством выполнен большой ряд ценных работ в этом направлении, обогатившие наши познания и способы оценки продуктов питания в текущие „голодные" годы.

Все эти направления своих работ Словцов осуществляет кроме лаборатории Института Эксперим. медиц. еще в двух лабораториях: 1) при одном из сельско-хозяйственных учебных заведений в Лесном и 2) в биохимической лаборатории Высшего Женского Медицинского ин-тута Впрочем, последняя выполняет в настоящее время по преимуществу задания чисто педагогического характера.

В план моей статьи не входит излагать содержание многочисленных работ, выходящих из лабораторий Словцова. Поэтому я могу лишь отослать интересующихся к выходящим ныне, правда с годовыми промежутками, томам „Сеченовского физиологического журнала", где нашли себе место большинство работ словцовских лабораторий, выполненных в последние годы.

---

[1]) Этот метод опубликован уже Е. С. Лондоном в предварительном сообщении в одном из немецких журналов в 1920 г.

[2]) В частности, им уже начата печатанием большая серия работ, посвященных химизму и ферментам мозга—см. „Сеченовский физиологический журнал", т. II, вып. 1, 2 и 3, статью Оссовского.

VI.

Кроме павловских лабораторий была еще одна притягательная цель, которая побудила меня к этой поездке в Петербург. Это желание лично познакомиться с поразительными результатами работ **Кравкова**, разговоры о которых не прекращаются в научных кругах Петербурга и Москвы вот уже в течение двух лет.

Николай Павлович Кравков занимает кафедру фармакологии в Военно-Медицинской академии. Это единственная лаборатория, где сосредоточивается научная деятельность этого оригинального русского ученого, привлекшего к себе в последние годы исключительное внимание. Уже около десяти лет как вышел первым изданием его классический двухтомный курс: „Основы фармакологии" (изд. Риккера), где чуть ли не каждая глава обильно снабжена материалами, основанными на личных опытах и наблюдениях самого автора. В течение ряда лет его лаборатория выпустила много весьма ценных трудов фармако-физиологического содержания. Около 1914 года Кравковым был сообщен изобретенный им метод изолированного уха кролика, еще более упрочивший его славу.

Уже давно физиологи и фармакологи заинтересовались действием различного рода ядов и других реагентов на кровеносные сосуды животного организма. Для этой цели оказалось удобным пользоваться в иных случаях сердцем или другими органами, вырезанными из тела животного: как выясняется, эти органы могут в течение многих часов поддерживать свою жизнедеятельность, если снабжать их притоком соответствующих питательных жидкостей или так называемого „физиологического раствора". Если к этому раствору прибавлять тот или другой исследуемый яд, то можно таким образом исследовать влияние его на сердечный ритм, на тонус кровеносных сосудов и другие явления, имеющие большое физиологическое значение. Все эти причины сделали этот „**метод изолированных органов**" неизменным приемом для многих задач физиологического и особенно фармакологического исследования. Но этот метод часто встречал те трудности на своем пути, что он сопряжен с некоторыми сложными техническими приемами: сердце теплокровных требует, например, непременно, чтобы проходящий через него раствор имел температуру тела, но и при этих условиях оказывается часто капризным и все же сравнительно быстро изменяет свою нормальную жизнедеятельность.

Заслуга Кравкова заключается в том, что им найден был в ухе кролика идеальный объект для работ по методу изолированных органов: ухо состоит почти исключительно из одного хряща и почти не поддается гниению. Оно в течение многих дней (до семи дней и больше) поддерживает нормальную жизнедеятельность своих сосудистых стенок и таким образом позволяет ставить на одном и том же ухе длительные опыты. Наконец, хотя оно и принадлежит телу теплокровного, но жидкость при работах с ним не требует подогревания, ибо ухо кролика составляет нечто переходное к „хладнокровности". Наконец, этот метод до крайности прост и дешев: один кролик дает два уха и при этом остается жить до любого третьего опыта. Все эти обстоятельства привели к тому, что в течение нескольких лет метод Кравкова завоевал себе почетное место во всех физиологических работах с сосудистой системой.

Но, как выяснилось, изобретение этого метода является лишь началом поистине сенсационных дальнейших работ того же ученого

В истории этих работ, можно сказать, как бы подтвердилась поговорка „нет худа без добра": поразительные следующие друг за другом открытия Кравкова вызывались в значительной мере теми невероятно тяжелыми условиями, в которых оказались теперь все русские ученые за отсутствием животного материала. Все возрастающая трудность добывания подопытных животных должна была поставить вопрос о возможно более долгом использовании одного и того же кроличьего уха.

И вот Кравков находит, что кроличье ухо, отрезанное от живого тела, можно сохранять в течение многих (предельный срок, достигнутый им до сих пор,—до 8 месяцев). Если через этот промежуток вновь осторожно размочить совершенно высохшее ухо, оно вновь восстановляет свою прежнюю жизнедеятельность и может быть пущено под опыт, как свеже-срезанное. Это пример переживания тканей, не имеющий себе равного во всех предыдущих замечательных опытах многих ученых в этом направлении.

Еще замечательнее другой ряд опытов Кравкова. Чувствуя нехватку в кроликах, он отдается поискам других более доступных органов для своих работ и находит таковые в человеческих пальцах, отрезанных от свежих трупов. В настоящее время эти человеческие пальцы занимают в работах кравковской лаборатории не менее почетное место, чем уши кроликов.

Но этого мало. Кравков испробует свои методы консервирования пальцев и находит, что, подобно ушам кролика, пальцы сохраняют свою жизнедеятельность долгое время после того, как они отделены от живого тела. Им изобретены несколько способов консервирования пальцев, при чем пальцы, месяцами сохранившиеся таким образом могут быть пущены вновь под опыт по методу изолированных органов. Таким путем обнаружена поразительная живучесть некоторых тканей В частности стенки кровеносных сосудов пальцев, высушенных до состояния мумии, будучи осторожно отмочены, обнаруживают все свойственные им признаки жизни: они вполне закономерно сокращаются или расширяются, регулируя таким образом кровяной поток, как в живом теле.

Таковы те предварительные сведения, известные уже с прошлого года, с которыми я явился в лабораторию Кравкова. То, что мне пришлось увидеть, превзошло мои ожидания. Последние работы Кравкова еще дальше способны увеличить восхищение всякого, кого волнуют последние достижения в области изучения сокровенных процессов жизни

Сам Кравков занят в настоящее время работами в двух направлениях. Во-первых, он разрабатывает и углубляет методы консервирования пальцев и других органов. При этом теперь дело идет уже не о засушивании и последующем оживлении пальцев, а об поддержании в отрезанном пальце жизни в течение длительного периода времени. В кабинете Кравкова мне пришлось увидать своеобразный „цветник" из человеческих пальцев, „произрастающий" в разнообразных сосудах, расставленных на полочках. Кравков не сообщает пока о тех методах, которыми он пользуется для получения этих эффектов, но здесь можно видеть пальцы, воткнутые в парафинообразные массы, и пальцы, высушенные в мумии. Некоторые пальцы обнаруживают все свойственные им признаки жизни: на них продолжают расти ногти и волосы и потовые железы отделяют пот, а кровеносные сосуды дают описанные выше сокращения стенок. Эти пальцы и по внешности сохраняют месяцами свой естественный вид.

Надо сознаться, что вид этой полочки с „растущими" в тарелочках и под стеклянными колпаками человеческими пальцами оставляет

чрезвычайно сильное впечатление. Сам Кравков настолько увлечен новой открывающейся перед ним областью исследования, что весь горит огнем устремления к своим пока не раскрываемым еще до конца заданиям и производит впечатление какого-то загробного садовника, самоуглубленного в свои тайные мысли.

Другой ряд не менее богатых перспективами фактов, занимающих Кравкова, состоит в следующем.

Как показали его опыты с изолированными органами, стенки кровеносных сосудов обнаруживают исключительную чувствительность к различного рода ядам, превосходящую все до сих пор известное.

Так, некоторые яды вызывают сужение сосудов уже при разведении в 10 * раз (десять в двадцать-шестой степени), т.-е. в разведениях, при которых, как говорит сам Кравков, приходится думать не о молекулярных, а, быть может, о внутриатомных влияниях со стороны изучаемых ядов.

Эти то явления, связанные с физиологическим действием минимальных доз ядов, и составляют вторую часть работ, занимающих в настоящее время Кравкова.

Весьма интересные темы распределены также между учениками Кравкова. Из них стоит упомянуть о работе старшего ассистента Кравкова Сергея Викторовича Аничкова. Его задача—исследовать влияние различного рода патологических процессов в пальцах на жизнедеятельность их кровеносных сосудов.

Для этой цели он использует пальцы, пораженные гангреной и другими какими-либо патологическими процессами. Курьезны некоторые подробности, связанные с этой работой, которые мне пришлось слышать из уст самого Сергея Викторовича.

Для своей работы он вошел в соглашение со всеми большими госпиталями Петербурга, которые сообщают ему о всех интересных для его целей трупах по телефону. Едва получив сообщение, ему приходится спешить в это место, чтобы захватить еще свежий труп. Но тут ему приходится сталкиваться с затруднениями постороннего характера: родственники, приходящие за телом покойника, не соглашаются получить труп без пальца и все дело грозит скандалом. Поэтому приходится прибегать к такого рода хитрости: труп во время отпевания выносят под каким либо предлогом в соседние комнаты на 2 3 часа За это время Аничков должен отрезать палец, произвести исследование (все снаряжение и производство опытов весьма просто и не требует большого времени) и пришить палец на место.

Но, конечно, не всегда приходится прибегать к такой хитрости. И как раз мне пришлось присутствовать при исследовании, которое производил С. В. Аничков над двумя гангренозными пальцами, полученными им в его полное и „вечное" владение [1])

* * *

Сказанного достаточно, чтобы дать представление об этих единственных в своем роде работах, связанных навсегда с именем Николая Павловича Кравкова. Ими же можно было бы закончить описание тех необычайно ярких впечатлений, которые дало мне это двухнедельное посещение петербургских физиологических лабораторий. Но все же необходимо сказать еще несколько слов о трех лабораториях,

[1]) Следует здесь же упомянуть, что методы Кравкова уже перенесены Б. И. Словцовым на другие органы: мне пришлось видеть у него отрезок кишечника кролика, который обнаружил жизнедеятельность после того, как пробыл два месяца в высушенном состоянии.

орые я успел, к сожалению, лишь крайне бегло и коротко посеь уже перед самым отъездом.

Физиологической лабораторией при университете заведует один из рейших вождей русской физиологии, разделяющий эту славу наіне с Павловым—Н. Е. Введенский. Область, в которой работ Введенский,—это нервно-мышечная физиология, где Введенскому надлежит честь открытия одного из интереснейших явлений, полуших от него название „парабиоза". Его классическое исследоие, посвященное целому вопросу, под заглавием: „Возбуждение, можение и наркоз", а также и другие работы его создали ему ювое имя. К сожалению, я не имею возможности изложить здесь ке принцип этих работ: нервно-мышечная физиология составляет у из труднейших глав физиологии, а учение о парабиозе—один из жнейших вопросов в этой главе, и для их изложения потребоваь бы гораздо более места, чем я здесь могу располагать.

Как я уже сказал, к сожалению, я успел лишь перед самым ьездом и на весьма короткий срок побывать в лаборатории Введенго. Застал я Введенского за чтением лекции перед небольшей групі студентов, готовящихся приступить к практическим занятиям. Хотя был уже конец апреля, но в лаборатории еще царствовал мороз, и присутствующие сидели в пальто. По окончании лекции я узнал от денского и его ассистентов, что в течение зимы лаборатория была ершенно не отапливаема и таким образом никакие работы с нервноиечными препаратами были, конечно, не мыслимы. Таким образом, ечение всей зимы эта лаборатория одного из крупнейших и оригиьнейших русских физиологов оказалась выбитой из строя и все ежды его и его сотрудников направлены были на летние месяцы.

Еще более бегло познакомился я с двумя молодыми исследоваьскими институтами. Один из них—Биологическое отделение Рентологического института—находится в заведывании д-ра Неменова. ним из подотделений его заведует проф. Лондон. Здесь я мог диться в изумительном благотворном значении рентгеновых лучей паршу и другие лишаи у ребят, а также присутствовать при аматорном приеме больных в его с редким богатством оборудованг рентгеновском кабинете. Что касается чисто научных работ Интута, то они еще главным образом в будущем. В частности, д-р иенов, как рентгенолог, уже ранее работавший в смежных облак, предполагает поставить ряд исследований в связи с работами ейнаха по омоложению.

Наконец, в бывшем дворце бывшего великого князя Николая колаевича нашел себе место грандиозно задуманный „Институт по чению мозга и психической деятельности" (коротко он называется ститут „Мозг") под главным руководством профессора Бехтерева.

Я не смог оставаться долго в этом дворце и из всех его многочисленных отделений успел осмотреть лишь прекрасно оборудованное еление, изучающее методом условных рефлексов нервно-психичею деятельность на человеке. Как и Институт д-ра Неменова, это еждение еще не имеет за собою славы прошлых лет, и его деятельть и плоды ее еще всецело в будущем. Что же касается прошлых луг лично проф. Бехтерева, то изложение их опять-таки завело меня за пределы задач этой статьи [1]).

[1]) Институтом выпущено 2 номера журнала под заглавием: „Вопросы изучения и итания личности". Как и все остальные наши научные издания, этот журнал выт с годовыми опозданиями, а то, что выходит, не доходит до своего читателя и втся неизвестно публике.

VII.

Этим заканчиваются мои впечатления. Понятно, что за этот короткий срок, который я имел в своем распоряжении, я не имел возможности посетить еще другие лаборатории, посвященные разработке физиологических и близко к ним стоящих проблем. Но мне кажется, что и того, что я описал выше, вполне достаточно, чтобы сказать:

— Русская наука и в частности русская физиология не умерл..

Даже в тех невероятно тяжелых условиях личного существования и при отсутствии лабораторных средств, которые переживали и по сию пору переживают русские ученые, они находили в себе достаточн сил и желания, чтобы совершить ряд открытий и работ, котор имеют, конечно, капитальное значение. Мы можем смело сказать, ч значение работ Павлова, Лондона и Кравкова может быть поставлен не ниже значения работ Штейнаха по омоложению, если, конечн отбросить сенсационную сторону этих последних.

Вместе с тем, это сравнение наводит нас на некоторые весьма п чальные и нелестные для нас размышления. В самом деле, это характерн для России, что мы способны захлебываться восторгом от всего, что иде к нам с Запада, и глубоко равнодушны к тому, что делается рядом с нами Мы только и говорим, что об открытии Штейнаха, но кто из русско публики толком расскажет, какие научные заслуги Павлова послу жили основанием известному декрету Совнаркома, и кто слышал замечательных, открывающих совершенно новые горизонты, работ Кравкова? Русский ученый, покуда он работает в России же, как эт уже исторически засвидетельствовано, с крайним трудом находит себ достойную оценку и поддержку. А вот когда Мечников или, как те перь, Воронов попадают в Париж, то мы начинаем всславлять и на всех перекрестках.

Отнюдь не ложный патриотизм говорит во мне, когда я подчер киваю необходимость достойной оценки науки в своей стране: дл меня важно здесь то, что умение поддержать своих ученых есть кри терий культурности страны. И, наоборот, только дикарям свойствен открывать рот перед всем, что идет с Запада, и не верить тому, чтоб мы сами у себя были способны сделать что-либо подобное. Отсюд эта погоня за заграничными сенсациями и равнодушие к тому, чем заняты научные лаборатории в родном городе.

Есть, пожалуй, и еще одна причина, облегчающая наше укоре нившееся равнодушие к самим себе: обращаясь к работам своих уч ных, мы как бы невольно налагаем на себя обязательство тем ил иным путем помочь им и оказать им активное содействие, постави их в соответствующие условия. Но ведь куда легче получить из-з границы готовый товар.

А, между тем, нужно еще и еще говорить о тех условиях, в ко торых находится научная работа в России в настоящее время. В этом отношении моя поездка снабдила меня также достаточным количе ством ярких фактов. Приведу некоторые из них.

Лаборатория Павлова при Институте Экспер. Мед. имеет новый корпус, отстроенный по заданиям Павлова и специально приспособленный для тонких работ с условными рефлексами, где прежде всего требуется абсолютная изоляция от всех звуков, идущих извне. Это здание было закончено незадолго до революции и все его приборы и установки были рассчитаны на электрическую энергию. В настоящее время этот корпус остается совершенно неиспользованным, ибо и по-

ие декрета Совнаркома я застал лабораторию в состоянии, когда электрический ток не подавался в нее из центральной станции. Но этого мало: по словам Павлова в течение всей минувшей зимы они должны были вести свои опыты и записывать протоколы в темном старом лабораторном здании при свете лучинки, ибо лаборатория не имела никаких других средств освещения.

В не менее печальном положении находятся подопытные собаки, которые получают все время весьма слабо перевариваемый корм, состоящий из отбросов, которые раньше выбрасывались, как несъедобные. Понятно, что при таких условиях как у Павлова, так и у Лондона погибли все собаки с более сложными операциями.

Далее, лаборатории Лондона и Введенского в течение зимы почти совершенно не отапливались и таким образом должны были прекратить до лета все свои научные работы. То же самое приходится сказать о лабораториях Орбели в Лесгафтовском институте, о павловской лаборатории при Академии Наук и т. д., и т. д.

Далее, я уже упоминал о крайне интересной работе С. В. Аничкова, который должен совершать поездки из одного конца города в другой в погоне за человеческими пальцами. Характер его работы известен в Петербурге, а общее направление и результаты работ Кравковской школы были сообщены петербургскому обществу в докладе Кравкова уже около двух лет назад. Тем не менее, когда Аничков возбудил ходатайство о предоставлении ему машины для своих поездок по госпиталям, ему было в этом отказано.

Что же приходится еще сказать о личном материальном обеспечении научных работников, которые вынуждены работать в госпиталях и в ряде других мест для того, чтобы обеспечить себя и свою семью вместо того, чтобы отдаться всецело разработке научных тем?

Нельзя не приветствовать поэтому декрет Совнаркома, которым обеспечиваются до известной степени все сотрудники павловских лабораторий и предписывается обратить особое внимание на снабжение его лабораторий всем необходимым.

Но этого еще далеко недостаточно. И, наконец, этот декрет совершенно не касается лабораторий Кравкова, Лондона, Введенского и других ученых, с пользою работающих на научном поприще.

Я не принадлежу к числу тех лиц, которые рады накапливать все эти факты, как грозное обвинение против Советской власти. Мне хорошо известно, что переживаемый нами кризис науки имеет гораздо более глубокие и общие корни в мировом экономическом кризисе и выходит далеко за пределы нашей страны.

Вот как, например, знаменитый Штейнах рисует условия, в которых протекает ныне его работа, в своей книге об „Омоложении“:

„Один человек не в состоянии разрешить все вопросы, всплывающие один за другим в процессе работы даже тогда, когда он обставлен помощью и богатыми средствами, не говоря уже об исследователе, который, подобно мне, уже много лет работает без научных вспомогательных сил и со скудными средствами и лаборатория которого в последнее время была просто парализована без субсидий, а следовательно, без служителей и без животных для опытов. Интересная область требует собственных опытных учреждений, институтов для „экспериментальной, практической биологии“ или „для экспериментального изучения старости“. Пусть начнут более счастливые годы и страны“.

В унисон со Штейнахом, его близкий друг и сосед Каммерер в своем популярном изложении проблемы омоложения жалуется, что

в Австрии... исследовательские институты и образовательные учреждения терпят жесточайшие лишения". В то же мое пребывание в Петербурге мне посчастливилось попасть в „Доме ученых" на доклад вернувшегося из Риги проф. Боголепова—человека, отнюдь не расположенного к Советской власти, который с научной беспристрастностью дал разящие факты, рисующие удручающие материальные условия, которыми окружены научные работники на Западе. Из примеров особенно запомнился мне случай одного химика в Америке, который после 20 лет преподавательской деятельности в Высшей Школе вынужден был, чтобы прокормить семью, выйти на улицу торговать ваксой.

Если вспомнить еще доклады проф. Кржышковского, недавно вернувшегося из Италии и нарисовавшего картину нужды ученых в Италии, то этого достаточно, чтобы признать кризис науки за мировое бедствие, а не исключительно русское зло.

Но все же и при этих условиях нельзя не признать, что в России научные работы обставлены особенно тяжелыми условиями. Если мы отбросим щепетильные соображения о материальной необеспеченности работников чистой науки, то вспомним хотя бы о том, что мы лишены здесь одного средства общения, которое является необходимым условием научной продуктивной работы: мы совершенно не имеем периодически и планомерно выходящих научных журналов, которые позволяли бы держаться нам в курсе научных работ друг друга. Вот примеры: работы Кравкова, Лондона или Павлова, открывающие новые горизонты, до сих пор не нашли себе отклика в печати. Единственный физиологический журнал, издающийся в Петербурге под редакциею Б. И. Словцова: „Русский Физиологический Журнал имени Сеченова" не выходит в свет уже более полутора годов. А между тем, еще год назад, когда я приехал в Москву из Одессы, Б. И. Словцов сообщил мне, что очередной выпуск журнала сдан в набор и должен выйти в течение месяца. Но все же и этот журнал уже в то время был настолько стеснен местом, что все авторы должны были сжимать размеры статей до характера конспекта. Совершенно справедливо говорил мне Кравков, что при этих условиях он не считает возможным печатать в нем свои исследования, заслуживающие лучшей судьбы и более пространного изложения. Но больше того, даже и то, что издается, по общим условиям „распределения", совершенно не доходит до тех читателей, для которых оно предназначается. Так например, только в Петербурге я узнал о существовании „Вестника Института „Мозг" и мог из рук самих авторов получить выпуски Сеченовского журнала или „Известий Института Лесгафта", которых я безрезультатно добивался в Москве официальным путем. Таким образом и то, что выходит в свет, лежит где-то и зачем-то скрытым на складах, вместо того, чтобы служить тому духовному обмену, который является задачею всякого печатания. Стоит ли называть после этого целый ряд новых изданий, которых я и по сию пору не мог достать, хотя они заведомо существуют на складах...

В свете этих фактов у нас отнимается в значительной мере право ссылаться на картины нужды западной науки и находить себе в том оправдание. Да и что это, наконец, за обыкновение радоваться тому, что „и у других худо". Мы как бы боимся думать, что у нас может, и должно быть лучше, чем в других странах, и любим ссылаться и мерять все „на худший аршин" наиболее отсталых стран.

Западная наука сохранила все свои старые журналы и имеет где делиться результатами своих исследований—в этом ее неоцененное преимущество перед нашей.

Не менее печально положение с содержанием лабораторных животных. С невероятной близорукостью продовольственные государственные органы часто совершенно отказываются снабжать их кормом. Не повторяя своих впечатлений из Петербурга, укажу на более близкие примеры: не далее, как этим летом моя попытка поставить опыты в Биохимическом Институте под руководством проф. А. Н. Баха над четырьмя щенками окончилась тем, что за отсутствием кормов два щенка погибли от голодного истощения, а двое других заболели паршою и едва были спасены. Институту пришлось ликвидировать не только собак, но и коз, с которыми производились другими сотрудниками Института опыты, имеющие весьма серьезное значение.

С неуклонной решимостью Москоммуна отказывает снабжать зерном лабораторных кроликов, мотивируя тем, что и „людей не хватает чем кормить". Этот внешне убедительный мотив свидетельствует лишь о крайней близорукости и неумении понять значение науки для самого государства.

Ведь при всех условиях затраты на приличное содержание животных при 10—20 лабораториях Москвы и Петербурга составляет такую ничтожную часть общегосударственного кормового бюджета, что они потонули бы в общем числе расхода пищевых веществ.

И, наоборот, насколько неизмеримо большой приход дали бы эти ничтожные затраты, если мы вспомним ту банальную истину, что уровень культуры и состояние процветания государства определяется тем уважением, которое мы питаем к науке. Не здесь на страницах этого журнала доказывать пользу и ценность чистой теоретической науки [1]). Но достаточно вспомнить по этому поводу один свежий пример.

Проф. Нейберг в Германии, занятый чисто теоретическими вопросами разъяснения процесса спиртового брожения, не далее как в годы мировой войны открыл попутно способ получения глицерина из крахмала. Таким образом им было положено основание двум новейшим завоеваниям германской техники: 1) искусственному получению жиров из углеводов и 2) получению нитроглицерина и других взрывчатых веществ из той же картошки.

И разве не так же точно Штейнах, первоначально занятый теоретическим вопросом о влиянии половых желез на признаки пола, пришел ныне к открытию способа нашего личного омоложения и продления жизни?

Побольше внимания к личному обеспечению работников науки, возрождение научных журналов, которые восстановили бы общение между учеными разных городов России, обеспечение научных лабораторий соответствующим оборудованием и средствами на содержание животных—вот те неотложные меры, которые необходимо принять, если мы заинтересованы в том, чтобы наша научная мысль не умерла. Мне кажется, что те достижения, которые сделала петербургская наука даже в тяжелых условиях протекших годов, достаточно убеждает, что наши ученые заслужили полной и немедленной поддержки.

* * *

[1]) Тем более, что это уже сделано с такою силою незабвенным К. А. Тимирязевым в ряде его хорошо известных статей (см. особенно: „Луи Пастер").

О пределах приспособляемости нашей экономической политики.

(Доклад тов. Ларина 20 октября 1921 г. в клубе Моск. Ком. Р. К. П.)

I.

Вопрос о пределах приспособляемости нашей экономической политики к создавшемуся положению имеет стать на предстоящее полугодие одним из центральных в жизни нашей партии. На прошлом партийном съезде была намечена новая экономическая политика, постепенно развертывавшаяся затем в жизни, а к предстоящему партийному съезду мы должны наметить границы и тот предел, до которого правильно можно итти при складывающихся условиях в этой области. Вопрос идет здесь не только о приспособлении к внутреннему экономическому состоянию России, к социальному составу ее населения, к преобладанию мелко-буржуазной массы в населении — мы и раньше знали, что Россия страна на $^{3}/_{4}$ или $^{4}/_{5}$ крестьянская, а не пролетарская. Вопрос идет не об ошибках по глупости, по нашей неумелости и т. п., вопрос этот в общей форме встал, главным образом, потому, что надежды на торжество социалистической революции в Европе в данный момент несколько отодвинулись в будущее, и она не кажется настолько вопросом сегодняшнего дня, как казалась, например, в конце 1918 г.

Когда-то, в конце 1904 г., я написал брошюрку о взятии Порт-Артура. Как сдался Порт-Артур? Японский генерал Ноги окружил его своими войсками и постепенно задушил, потому что с главного театра войны не могли явиться на выручку основные силы царского главнокомандующего Куропаткина. Ибо на главном театре войны японский маршал Ойяма бил в это время Куропаткина раз за разом и оттеснял его все далее.

Мы в России объявили войну нашему внутреннему врагу — буржуазии, — осадили наш капиталистический Порт-Артур и поставили себе ближайшей целью поднять на нем красное знамя: заменить своекорыстное частное хозяйство эксплоататоров единым социалистическим хозяйством государства. Но наша борьба, наша осада внутреннего Порт-Артура есть лишь часть общей войны, которую мировой пролетариат ведет против капитализма. Если в 1903 г. японско-русская война началась с осады японцами Порт-Артура, то главным театром войны явился все же не Артур, а поля Маньчжурии. Так и в классовой войне XX века. Первым решительным актом ее послу-

жила атака капиталистического Порт-Артура в России, но главным театром остается Европа. И колебание в ту или иную сторону шансов пролетарской революции в Европе не может не отражаться чувствительно и на делах нашего домашнего Артура.

В самом деле, Россия со своим на 80% мелко-буржуазным населением допускает к себе совершенно различное отношение, если она является частью единой социалистической Европы с победившей повсеместно пролетарской революцией, или если она длительно остается единственной страной с рабочей властью среди сонма капиталистических государств. В первом случае она является лишь одной из сравнительно отсталых (аграрных) провинций единой высокоразвитой (индустриальной) Европы — и потому общий уклад жизни и хозяйства легко, сравнительно, равняется по общеевропейскому типу,— подобно тому как наличность в индустриальной Германии некоторых крестьянских районов не уничтожала основного типа и характера немецкого хозяйства (социалистическая Россия, как часть единой социалистической Европы, не знала бы, например, в такой мере того крайне недостаточного снабжения деревни фабрично-заводскими изделиями, которое явилось одной из главных трудностей русской революции, главнейшим препятствием к мирному организованному подтягиванию крестьянства к государственному социалистическому хозяйству).

Наоборот, и само собой разумеется, Россия, изолированная Россия, с господством рабочих, принужденная считаться с длительностью господства капиталистов в других странах,— совсем иначе принуждена определять и свои отношения к непролетарским слоям российского населения, к несоциалистическому типу хозяйства, итти на гораздо большие уступки.

От национализации крупной промышленности, которую можно удержать в мелко-крестьянской стране и при втором из указанных вариантов — мы стали переходить к попыткам построить социалистически все хозяйство на практике лишь во втором полугодии 1918 г. Напомню, что декрет о национализации торговли подписан 21 ноября 1918 г., что разверстка, как метод, закреплена В. Ц. И. К. окончательно лишь в январе 1919 г. и т. п. Что это было за время? Это был период наибольшего подъема рабочего движения в Европе, когда перед нами возникали все новые советские республики, то Финляндская, то Баварская, то Венгерская,—когда только что разворачивалась ноябрьская революция в Германии.

Мировой буржуазии удалось еще раз отбить начавшийся натиск, и судьба и ход мартовского движения 1921 г. в Германии, а перед этим в Италии и т. д. документировали новое положение. Мы не знаем точно, сколько оно продлится,— на мой личный взгляд, насколько можно учесть совокупность условий, относительная устойчивость буржуазного мира в Европе обеспечена не на длинный ряд лет и даже старшие из нас могут рассчитывать увидеть еще крушение старого мира своими глазами. Но пока-то внешние по отношению к России условия изменились—и это должно было повысить удельный вес мелко-буржуазных слоев и внутри России и должно было поставить на очередь и вопрос об элементах буржуазного хозяйства в России вообще. Мы вынуждены были отступить от первоначального плана, сложившегося к концу 1918 г., и речь идет лишь о том, до каких же пор мы будем отступать и до каких пор выгодно итти обратно. Ибо мы идем обратно, понятно, не из внезапно проснувшейся нежности к торговле, деньгам, арендаторам и прочим прелестям, а для того, чтобы рабочему классу легче было продержаться то время, какое отделяет

нас от нового подъема рабочего движения в Европе,— подъема, исторически уже назревающего: каждый год психологической переработки в сознании европейских масс социального сдвига, происшедшего там во время войны, с неизбежностью подготовляет нашу победу (конкретные иллюстрации можно найти, например, в моей брошюре „Состав германского пролетариата").

Могут ли быть границы отступления, когда итти дальше назад более вредно, чем полезно, или останавливаться на мысли о них значит напрасно терять время и все надо предоставить „урокам опыта", т. е. более или менее пассивно воспринимаемой стихии? Конечно, пределы такие есть, и цель моего доклада практическая — я хочу во-время поставить барьер „коммунистической реакции" против начинающего кое-где переливать через край прилива „коммерческого прогресса". Если представить себе, например, теоретически такие условия, что вся наша промышленность отошла бы от государственной пролетарской власти в частно-владельческие руки, что восстановлен был бы полностью весь буржуазно-хозяйственный строй и у нас осталась бы роль только общеадминистративная и контрольная,— то это значило бы постепенно притти к поражению и политическому, да еще предварительно деморализовав рабочий класс. Пределы приспособляемости в нашей экономической политике должны быть, чтобы не очутиться в таком положении. Как же нащупать эти пределы на ближайший период? Наблюдения показывают, что если эпохе военного коммунизма соответствовали „бюрократические" извращения военного коммунизма, то наступающей эпохе соответствуют „буржуазные" извращения мирного коммунизма. Новую экономическую политику нельзя будет успешно защищать перед лицом пролетариата, если мы одновременно не будем вести борьбы против этих буржуазных извращений Здесь нужно отделить здоровую линию, намеченную нашей партией весной 1921 г., от того извращения, какому эта линия подвергается в действительности. Ибо в действительности происходит часто не то, что написано в директивах, а в жизни рождаются совсем другие вещи, чем те, которые предвидены были на бумаге. Прежде всего надо установить, каков должен быть самый подход к вопросу о новой экономической политике. Следует открыто рассматривать ее как наше поражение, как нашу уступку, но отнюдь не как какое-то новое радостное завоевание, как необходимый и неизбежный шаг, но не как повод к пляске и танцам. Сбивание на последнюю точку зрения, выставление новой политики как какого-то особенного радостного торжества создает неправильный подход к делу и заставляет иногда и на практике искать выход не там, где его искать нужно было бы. А в теории такой подход стирает разницу перед лицом пролетариата между нами и нашими политическими противниками, например, меньшевиками. Последние месяцы, когда читаешь некоторые статьи, иной раз никак не разберешь, кто это пишет: большевик или меньшевик. Свободная торговля нами признана, но отсюда отнюдь не следует, что одинаково положительно обе стороны, большевики и меньшевики, факт этого признания расценивают. Если мы скажем, возьмем пример стачки, где рабочие требовали от капиталиста, владельца предприятия, сокращения рабочего дня до 8-ми часов, но стачку проиграли и обе стороны сошлись на 12-ти часах,— то значит ли это, что их идейная позиция от этого сблизилась? Совершенно нет и нисколько. Наоборот, взаимные отношения еще больше обострились: что для капиталиста — радость, то для рабочего — беда. Так и наша новая экономическая

политика является для нас не движением вперед, а неизбежной бедой, отступательным маневром, выгодным, поскольку он спасает и прикрывает основные позиции армии. Поскольку эта точка зрения нами принимается, постольку на нас лежит обязанность относиться сугубо осторожно к размерам проведения этой политики в жизнь и особенно к оценке ее значения, если мы не хотим в рабочем классе совершенно стереть представление о разнице нашей позиции от позиции наших противников. Не страшно признать необходимость частичного временного отступления, но страшно было бы „сжечь старых богов и поклониться новым".

Если подойти к основам нашей экономической политики и посмотреть, во что она превратилась в жизни, то мы увидим, что она складывается из следующих пяти элементов: 1) в отношении к крестьянству — продналог и другие натурналоги со свободной продажей излишков вместо сплошной разверстки с запретительной монополией; 2) в отношении к промышленности — проведение плана концентрации государственных предприятий в соответствии с нашими средствами; 3) в отношении к рабочему классу — усиление его снабжения пропорционально его труду и уменьшение оплачиваемого государством непроизводительного труда; 4) в отношении к системе управления — раскрепощение государственных предприятий от бюрократических излишеств вплоть до предоставления им части продуктов их производства для самостоятельной реализации на рынке; 5) в отношении к буржуазии — частичное допущение капиталистического хозяйства не только в области обмена, но и в области промышленной. И, наконец, в связи со всем этим — перемена в финансовой политике, возврат к деньгам и денежному учету, от прежней тенденции к натурализации.

Таковы были партийные директивы, единодушно всеми нами принятые и одобренные. Их смысл: новая политика есть прежде всего новое средство для укрепления государственного хозяйства пролетариата и в этом отношении продолжает прежнюю нашу основную линию. „Хоть ты и в новой коже, а сердце у тебя все то же",—вот правильная характеристика основных целей и задач нынешних экономических директив коммунистической партии. Но эти правильно задуманные и сложные директивы хозяйственного маневрирования при своем проведении в жизнь нередко так упрощаются, вульгаризируются и подвергаются влиянию чуждых элементов, что на деле вместо укрепления государственного хозяйства может получиться, порой, разгром хозяйственной мощи пролетарского государства. Если во время войны наблюдался уклон к „бюрократическим извращениям военного коммунизма", то теперь следует остерегаться „буржуазных извращений" коммунизма мирного. И тогда и теперь в сторону этих уклонений толкали определенные условия среды и обстановки, в которых развивается русская революция. Но если поход против тогдашних „бюрократических извращений" был поднят задним числом, после весьма неприятных уроков опыта, то теперь пора быть умными уже „передним умом", надо учиться на старых ошибках и с самого начала замечать и не допускать вредные уклоны.

Начнем с последнего момента—допущения легальной организации буржуазных предприятий, промышленных и торговых. Прежде всего надо дать себе отчет: многого ли можно ожидать для возрождения промышленности от активной и самостоятельной организаторской работы в ней буржуазии, от вкладывания в нее буржуазных капиталов, напр., в форме взятия предприятий в аренду. Я считаю, что ожидать серьезной затраты капиталов и серьезного улучшения было

бы утопично—здесь речь, как правило, может итти лишь о желании урвать или сорвать изрядный куш по случаю арендного умонастроения. Не вкладывать свой капитал, а хищничать—вот естественная „экономическая политика" буржуа при существовании диктатуры пролетариата. Поэтому, между прочим, искатели аренд и сосредоточивают свои усилия преимущественно на пищевой промышленности (мало затрат, быстрая выгода), либо из предприятиях с запасами сырья и топлива, легкомысленно или преступно сдаваемых им хозяйственными органами.

В самом деле, чтобы буржуазия пошла на крупные длительные затраты и вообще всерьез отнеслась к делу, а не только в порядке хищнического налета, надо, чтоб она чувствовала доверие к существующему режиму. Но никакого доверия к себе со стороны буржуазии мы не приобретем и приобрести не можем, сколько бы мы ни говорили, сколько бы мы ни писали, ни издавали декретов, что ни реквизировать, ни конфисковать и вообще обижать не будем.

Это все равно, как если, например, в нашей прежней нелегальной жизни появился бы вдруг раскаявшийся провокатор, который долгое время предавал нас жандармам и сказал: „Здравствуйте, я теперь раздумал, я больше не буду и хочу работать с вами". Естественно, особенного доверия ему ожидать от нас не пришлось бы. Так и в данном случае, доверия со стороны буржуазии к нам нет и не будет. Потому при сдаче в аренду не следует торопиться и задыхаться от восторга, при каждом случае устно и печатно уподобляясь Крыловской вороне—„от радости в зобу дыханье сперло", как у т. Крумина, когда он в „Экон. Жизни" бунтовал против моих „окриков", призывавших к сугубой осторожности,—а следует каждый раз исходить из предвзятого мнения, что мы имеем дело с хищником, и с соответственной строгостью оценивать предложение. Тогда, может быть, будет меньше поспешных аренд; но больше пользы от тех, которые уже осуществятся. Другая сторона этого вопроса—пролетарские массы, долженствующие обратно, после трехлетнего перерыва, попасть в буржуазные предприятия. Эта масса численно может оказаться довольно велика при избытке легкого отношения к аренде. Я взял результаты последней сводки Комиссии Использования (по переписи и пр. данным), и оказывается—рабочих в крупной промышленности, т.-е. в предприятиях, где имеется свыше 30 человек в каждом, занято у нас всего 2 милл. 500 тыс. чел., а занятых в предприятиях с числом рабочих менее 30 в каждом всего около 750 тыс. чел. Но у нас происходит известный сдвиг из крупной промышленности в мелкую, хотя и не такой большой, как обычно думают: обследование нескольких десятков заводов, переведенных на коллективное снабжение, показало сравнительную устойчивость численности при значительном, на половину, увеличении производительности каждого работника в среднем. Во всяком случае известного оживления в мелкой промышленности можно ожидать если не от перехода в нее с крупных заводов, то от прилива извне. Это значит, что до миллиона рабочих перейдут в частные руки к отдельным предпринимателям, если аренда действительно охватит всю мелкую промышленность сплошь, как это рисуется многим. А так как естественно частные предприниматели будут эксплоатировать рабочую силу, то в смысле известного влияния буржуазии и необходимости борьбы с ней старого дореволюционного типа за условия найма это будет иметь значение довольно большое: объектом ее эксплоатации будет уже от четверти до трети всего промышленного пролетариата России. Ясно, что без крайней

надобности увеличивать количество пролетарских масс, находящихся в непосредственной зависимости от буржуазии, не требуется и потому к арендам нельзя относиться сплеча, а надо семь раз отмерить, нельзя ли извернуться без нее—и лишь после того отрезать, если надо. Наша правильная партийная линия допустила без колебаний аренду в случаях государственной необходимости. Но буржуазное извращение этой линии—впадать в какой-то арендный азарт, чуть не арендный спорт, и торжествовать там, где правильнее внутренне скрежетать зубами. Надо совершенно вычеркнуть из своего лексикона (словаря) повторяющиеся в газетах словечки, будто увеличивать производство мы готовы „какими бы то ни было средствами". Только если настроиться на арендно-азартный лад, можно договориться до таких вещей, как проповедует в „Экон. Жизни" один из работников тарифного отдела В. Ц. С. П. С. т. Донич, считающий возможным вводить в арендные договоры пункт о запрещении стачек. Логически из этого следует сажанье в тюрьму таких рабочих, которые посмели бы забастовать у наживающегося на их счет частного предпринимателя. Очень гневно высказывается в „Эк. Жизни" против возможности стачек у арендаторов и деятель псковских хозяйственных органов т. Бениамсович. Вот совершенно буржуазное извращение новой экономической политики, основанное на извращении перспективы в оценке роли аренды в системе новой политики. Эти авторы так извращают спасительность ее роли, что все время у них в голове: как бы не отпугнуть арендатора.

Коммунистическая реакция против таких умонастроений необходима тем более, что мало-мальски заметное их распространение повело бы к грозной политической опасности. Понятно, какое отраженное влияние на миллион или полмиллиона рабочих, могущих стать объектами аренды, должна производить всякая двусмысленность при определении позиции государства в вопросах борьбы между трудом и капиталом. Где в положение непосредственно эксплоатируемых капиталистами попадают сотни тысяч рабочих, там было бы пустейшей маниловщиной ждать непрерывной социальной идиллии и одних только взаимных приятных улыбок. Рабочие арендной и прочей частной промышленности неизбежно будут иметь столкновение с хозяевами, и если „буржуазное извращение" т. Донича и др. имело бы успех,—то рабочие частной промышленности, несомненно, стали бы организовываться для защиты своих интересов без нас и помимо нас, стало быть и против нас. Они попали бы, выражаясь вульгарно, в руки политических партий, пытающихся вести против нас борьбу в среде самого пролетариата. Наживающийся хищник так же мало гибнет от стачек теперь, как и до революции, он наперед учитывает их неизбежность, стачки всегда двигали промышленность вперед, а не разрушали ее. Надо стремиться не к тому, чтобы не отпугнуть как-нибудь арендатора, а к тому, чтобы не отпугнуть как нибудь рабочего. Потому нечего блудить словами о „всех средствах"—мы можем и будем применять лишь те средства, какие совместимы с нашей классовой сущностью и отнюдь не станем охраняющими от стачек жандармами при частном предпринимателе. Мысли надо додумывать до конца, до практических выводов из них.

Если, таким образом, было бы неправильным ждать от буржуазии действий, требующих длительных оборотов промышленности, то, наоборот, излюбленным ее поприщем теперь же может стать и уже стала торговля—посредничество между городом и деревней, подразумевающая возможность закупки для перепродажи фабричных изделий

государственной промышленности. Здесь нарастают обстоятельства, которые потребуют величайшего нашего внимания и будут иметь первостепенную важность не только в экономической области. Одной из основ экономической и политической мощи советского государства было то, что в наших руках, в нашем распоряжении был весь фонд фабричных изделий, все промышленные рессурсы страны. Мы могли путем обращения продуктов на ту или иную цель достигать необходимых нам результатов. Только благодаря этому мы могли все эти годы содержать и снабжать громадную армию и отстоять советскую Россию. Если бы в наших руках не было распоряжения материальными рессурсами страны, это давно сделало бы невозможным диктатуру пролетариата. Вот именно в этом-то отношении и наблюдается тенденция к основному извращению новой экономической политики. Если взять директивы партии по этому вопросу, принятые С. Н. К. 9 августа („Наказ"), то там вы найдете вполне правильную линию. Производство фабрик и заводов остается в руках государства, но известное количество их продукции выделяется им для свободного распоряжения ею, чтобы не было перебоев в снабжении, чтобы можно было легко использовать в случае надобности рынок без бюрократической волокиты и предел этого отчисления и распоряжения продукцией имеет быть дополнительно установлен государством. Так написано в директивах, так оно и осталось на бумаге, а на практике никакого предела не было установлено[*]), и мы незаметно и постепенно стали подходить на деле к превращению крупных государственных предприятий по сути вещей в частные, хотя формально никакой аренды не заключается, вывеска государственности остается — слишком выгодна в нынешних русских условиях эта вывеска.

Достигается это волшебное превращение путем модной проповеди независимости предприятий от государства в деле снабжения и реализации (использования) их изделий. Целью провозглашается освобождение государства от бремени забот о возможно большем количестве предприятий, а средство — предоставление предприятию или группе предприятий, так наз. „тресту", права самому распоряжаться своими изделиями—продавать, кому он найдет нужным, в пределах, какие он сочтет для себя по ходу дел подходящими. Представим себе, что эта система осуществилась бы в чистом виде и в полном объеме в нашей крупной и средней промышленности. Каждая фабрика считалась бы государственной, но ее изделиями распоряжался бы не пролетариат в целом, в лице своего государства, а ее директор или „трест". Это значит, что ботинки с обувных фабрик не передавались бы Компроду для армии и для рабочих через В. Ц. С. П. С., а продавались бы спекулянтам, гвозди шли бы не для желдорог, а только крестьянам и т. д., — словом, произошло бы в этом отношении восстановление частно-буржуазного хозяйства под государственной вывеской. **Единое государственное хозяйство рассыпается на ряд независимых единиц, каждая из которых действует не в интересах целого, а в своих собственных, вернее, в интересах своих заправил, ибо „независимцы" обычно предусматривают высокую наживу „тантьему" в пользу правления.**

[*]) Доклад сделан 20 октября, первый ограничительный закон утвержден 26 октября, а 1 ноября Совнарком образовал Экономическую Комиссию в составе: Курского, Богданова, Ларина, Осинского, Шмидта и Крицмана для пересмотра и развития всего законодательства по новой экономической политике.

Упрощенное и неправильное толкование новой политики как провозглашение независимости хозяйственных предприятий от государства усиленно поддерживается, разумеется, всеми сохранившимися деятелями прежней буржуазной промышленности, которые видят в этом возврат к единственно понятному и привычному для них естественному порядку отношений в области индустрии. Интересы купли-продажи с точки зрения отдельного предприятия или треста начинают главенствовать. В промышленной комиссии В. С. Н. Х., обсуждающей все новые тресты, автор этих строк убедился в успехах, какие делает это буржуазное извращение новой политики в головах не малого числа рукозодителей в различных отраслях промышленности. Приходит „государственный трест" фармацевтических заводов и заявляет, что производимое им лекарство он намерен в первую очередь предлагать НКЗдраву, а если тот немедленно не расплатится наличными, то будет продавать их на вольном рынке. Приходит государственный „трест" лако-красочных заводов и сообщает, что он вводит в свою программу производство 32 тыс. пуд., совсем не предусмотренных Госпланом, но ходких на вольном рынке красок, и зато уменьшает установленную Госпланом минимальную программу производства типографских красок с 62 тыс. пуд. до 30 тыс. пуд., т. е. как раз на эти 32 тыс. пуд. Приходит в Комиссию Использования Главстекло и предлагает, что будет передавать государству 10% производства во всяком случае и еще на 30% дает право преимущественной покупки с тем, что если в 6 недель деньги не будут уплачены, а стекло не будет вывезено с заводов (которое иногда находится за несколько десятков верст от ж. д.), то государство теряет право и на эту часть. Главкожа сообщает Компроду, что не будет сдавать ему ботинки с крупнейшей фабрики „Скороход", а сама будет распродавать их. Т. Дзержинский (НКПуть) жалуется в Комиссию Использования, что Н. К. П. С. остается без назначенных ему гвоздей, ибо „на основе хозяйственного расчета" они сбываются на сторону и т. д., и т. п. Конечно, все это наталкивается на сопротивление,—противодействуют Промышленная Комиссия и Комиссия Использования, протестует Н.К.П.С. и проч., но основной уклон этого вида „извращения" совершенно ясен. Это уничтожение души государственного хозяйства,—права распоряжения результатами производства,—это подрыв экономического влияния и хозяйственной мощи пролетарского государства, торжество частно-хозяйственного усмотрения и частно-хозяйственной анархии в юридической оболочке государственных форм.

В споре о профессиональных союзах оппозиционные меньшевики проповедывали их независимость. Теперь состоящие на государственной службе деятели хозяйственных органов проповедуют часто независимость хозяйственных предприятий,—своего рода государственный меньшевизм, по отношению к которому оборотной стороной и естественным дополнением явилась бы „независимость" и профессиональных союзов. Впрочем, политическое значение „хозяйственной независимости" идет еще гораздо дальше, только защищающие ее „само собою из основ хозяйственного расчета" не всегда догадываются, что они „говорят прозой" (но не могут не понимать этого, разумеется, опытные деятели прежней буржуазной промышленности). Буржуазия в значительной и быстро усиливающейся степени забирает в свои руки посредничество между городом и деревней. Фабрики, заводы и советские учреждения в порядке „хозяйственного расчета" продают продукты промышленного труда частным скупщи-

жам, а скупщики организуют перепродажу крестьянам и обратную доставку в города хлеба на предприятия сельского сырья и т. п. Стоит сравнить жалкие несколько миллионов пудов хлеба, которые удалось наторговать у крестьян Центросоюзу по всей России, с громадными количествами зерна и муки, обращающимися на вольном рынке в одних только крупных городах, чтобы оценить правильно положение.

Буржуазия всегда во всех странах овладевает крестьянским хозяйством через торговлю. А за этим овладением шло и политическое руководство. Здесь перед нами опасность, на которую не приходится закрывать глаза. Нам поэтому предстоит дать буржуазии бой за торговое влияние на крестьянство.

II.

Средства для этого—способствовать развитию центральных крестьянских кооперативных объединений, — промысловых, кустарных, земледельческих и т. д.,—и с ними вступать в прямые торговые отношения. От мелочных сделок со стаей отдельных скупщиков или с отдельными деревнями государство должно перейти к оптовой торговле с крупными крестьянскими объединениями (что подразумевает, конечно, жесткое ограничение независимого „разбазаривания"). Крестьянству экономически выгодно иметь дело через свои организации непосредственно с государством, чем с посредниками. Избавить его от необходимости быть предоставленным на попечение этих посредников—лучшее средство лишить в будущем крестьянской поддержки буржуазные притязания насчет „демократических гарантий", необходимых для процветания снабжающей его буржуазной торговли. От практики торгового хаоса вместо государства оптовика прямая идеологическая дорога ведет к требованию Учредительного Собрания. К этой торговой буржуазии и обращается прежде всего с приветом из Парижа Рябушинский, обещая принять ее на равных правах в семью русского капитала.

И опять-таки надо заметить, что директива, принятая Совнаркомом 9 августа (наказ о проведении новой политики), отнюдь не дает повода к подобному торжеству частно-хозяйственных принципов в распоряжении продуктами производства. Она предвидит только вполне разумное предоставление предприятиям части их производства для покрытия некоторых недочетов—не иначе как в строгих пределах устанавливаемого для этого государственного процента. Мы видели, в какое „буржуазное извращение" грозит превратиться на практике безудержное расширение этого права: „количество переходит в качество".

Границы новой экономической политики заключаются здесь явно в том, что пролетарское государство не может без опасности для себя и не должно на сколько-нибудь длительный срок выпустить из своих рук централизованное распоряжение подавляющей массой фабрично-заводских и горно-промышленных изделий. Начинающее нарождаться в жизни „буржуазное извращение" должно быть исправлено своевременной „коммунистической реакцией".

Остается сделать еще шаг—и мы пришли бы и к внутреннему перерождению самой государственной промышленности, а не только к изложенным уже последствиям. На этот шаг, разумеется, все время толкаются наши хозяйственные органы деятелями прежней буржуазной

промышленности, работающими в их аппарате. Но если эти тенденции встречают иногда отзывчивую или колеблющуюся почву и среди некоторых партийных работников хозяйственных органов, то причиной служит прежде всего неясность представлений о сущности новой политики и о границах, какие ставит ей наше положение. Достаточно такому товарищу услышать магическое слово „хозяйственный расчет", чтобы он подмахнул и пустил в обращение любой проект в святом сознании правоты, не уступающем уверенности старушки, подбросившей когда-то посильную связку полен на костер Гуса.

Самого широкого внимания партии заслуживает в этом отношении проект государственного треста одной из главнейших отраслей промышленности, металлической, одобренный коллегией Отдела Металла В. С. Н. Х. и внесенный ею на-днях на обсуждение пленума Ц. К. металлистов. Проект этот является типичным для того, что я называю буржуазным извращением новой экономической политики, и вместе с тем типичным для тех противогосударственных тенденций, которые вообще дают себя чувствовать в разных хозяйственных группировках. Самый опасный враг, как известно, домашний. Когда враждебные государству тенденции начинают захватывать такие важные органы, как, напр., коллегия Отдела Металла, тогда уж явно наступает время обратить пристальное внимание, во что пытаются превратить на деле нашу новую политику неумелые руки одних и слишком умелые руки других—и положить этому конец.

Проект коллегии Отдела Металла утверждает „государственное" объединение металлопромышленности (§ 1), действующее, понятно, „на началах хозяйственного расчета" (§ 2), во главе с правлением из пяти членов (§ 26), утверждаемых, само собой, В. С. Н. Х. и Ц. К. металлистов—в настоящее время, как известно, даже сам Рябушинский, если бы появился на горизонте, потребовал бы введения своего в правление не иначе как в качестве кандидата профсоюзов—таков теперь „хороший тон" у любого крупного деятеля буржуазной промышленности.

Правление Главметалла получает в свое ведение все металлургические и металлообрабатывающие заводы первой категории (§ 6) с подсобными угольными копями, рудниками, лесами и т. д. (§ 11)—своего рода „сверхтрест", далеко превышающий по объему известный трест Мещерского, предполагавшийся им в конце 1917—начале 1918 г.г. Все это поступает в „условную собственность Главметалла" (§ 14—здесь, хоть и в стыдливой форме, но вещи начинают называться их настоящими именами), при чем ему предоставляется право „привлекать частные русские и иностранные капиталы путем сдачи металлопредпринимательских концессий и аренд, а также путем предоставления частному капиталу участия в государственных металлопредприятиях (п. в § 3—при чем допускаются и „гарантированные дивиденды"). Сверх того „правление, как представитель и доверенный В. С. Н. Х., заступает по своей компетенции, установленной настоящим уставом, везде его место" (§ 32), при чем на рассмотрение В. С. Н. Х. переходят вопросы лишь тогда, если ни одно мнение не соберет в правлении большинства или хотя бы половины членов, считая председателя (§ 30).

Установив таким образом, что в отношении металло-предприятий первой группы „Главметалл является единым полновластным распорядителем" (§ 8), устав, понятно, передает правлению „продукты производства подчиненных ему предприятий" (§ 43), при чем цена их (даже на рельсы, паровозы, военное снаряжение и пр.) устанавливается по соглашению—хочет государство, пусть покупает, не хочет, пусть сидит без винтовок, а мы будем делать для крестьян косы и принимать „заказы

на началах свободного договора от правительственных учреждений" (п. ж § 44).

Само собой, что пятерка членов правления сверх жалованья получает тантьему не только за счет прибылей, но и в виде определенного процента к „продуктовому обороту" вообще, т.-е. к валовому производству. Значит, будет прибыль или убыток, но правление свое во всяком случае получит. Если допустить, что это будет всего 1%, и что цены повысятся и производство не увеличится, то и то на долю каждого члена придется, примерно, по пять миллиардов в год.

Финансовая предусмотрительность правления вообще весьма велика и делает честь составителю устава, которым является, как нам сообщают, бывший руководитель синдиката металлозаводчиков „Гвоздь" гражданин Фармаковский. Именно при начале сверх-заводов, запасов на них, изделий и т. д. правление получает еще для усиления своих оборотных средств „дополнительные безвозвратные вклады государства" (§ 15), а равно „особые суммы" для первоначального образования пенсионного капитала (§ 21), для строительных работ (§ 24) и пр.,—а в конце устав заявляет кратко: „оказавшийся в конечном счете убыток по генеральному (ежегодному) отчету Главметалла покрывается из общегосударственных средств" (§ 63). Таким образом, наличность „хозяйственного расчета" несомненна—спрашивается только, какого? Что в результате эксплоатации металлопромышленности сейчас может быть только убыток, это, конечно, верно—открытым признанием этого проект выгодно отличается от уставов некоторых других „государственных трестов", составляемых на основе подобного же „хозяйственного расчета".

Этого мало. Мы будем давать безвозвратные ссуды, покупать паровозы у правления по „вольным ценам", платить ему пятимиллиардные тантьемы и покрывать убытки,—но правление будет еще производить „финансовые операции всякого рода в России и за границей" (п. ж § 3) В частности, получая от нас безвозвратные вклады, оно будет „выдавать ссуды на установленных им условиях и за определенный им %" (§ 45), „принимать и выдавать частные вклады" (§ 44), „учитывать долговые обязательства", ставя на них „поручительные и передаточные подписи" (§ 45)—словом, будет банком для металлической промышленности.

Трест Мещерского был невинной институткой сравнительно с нашим Главметаллом. Он давал свои заводы и капиталы, давал нам 51% голосов в правлении, признавал установление цен на паровозы правительством и не требовал таких гарантий.

Но и этого мало. Правление будет выпускать „акции и облигации" (п. к § 3), при чем, если на уплату „гарантированных дивидендов" и по займам у „частного капитала" (см. выше) не хватит оборотного капитала, то эти „операции по коммерчески-хозяйственному взаимодействию с частным капиталом в России и за границей" (§ 18 - какие нежные слова—почти как в „письме любви") будут покрываться „дополнительно вносимыми государством частями оборотных капиталов в суммах действительных потребностей" (§ 19). Словом—на основах хозяйственного расчета правление может выпускать даже свои деньги—„боны"—с любезной оговоркой об особом разрешении высшей государственной власти.

Все это будет называться „государственным объединением" и все это коллегия Отдела Металла торжественно подмахнула и внесла в Ц. К. металлистов. При чтении проекта все время вертелась мысль, как они примирят развязную откровенность „буржуазных извращений"

тем обстоятельством, что у власти Ленин, а не Керенский. И вот пришел § 69—его необходимо выписать целиком: „Все декреты и постановления правительства, изданные до утверждения настоящего устава и находящиеся с последним в противоречии и несогласованные (а других, пожалуй, и нет. *Ю. Л.*), по утверждении сего устава автоматически по отношению к Главметаллу и его предприятиям отменяются".

Так как мы не склонны отменять „все декреты и постановления" во имя „условной собственности" правлений и трестов („государственных"), то остается только „отменить" коллегию Отдела Металла, „отменить" ее проект, „отменить" вообще все и всякие поползновения к буржуазному извращению начал новой экономической политики и твердо сказать: хозяйственное „независимство" не по пути государственному хозяйству советской России.

На какой почве возможно было такое извращение зрения, что даже некоторые коммунисты подписывали проект, подобный проекту Главметалла? Прежде всего, на недостаточном уяснении и подчеркивании того, что какие бы права производить отдельные коммерческие операции мы ни предоставляли государственному предприятию—руководящим должно быть начало не частное, а государственное. Это значит: 1) предприятие живет не по собственному усмотрению в собственных интересах, а по государственному плану, как часть одного целого государственного хозяйства; 2) предприятие не торгует с государством на равных правах, „эквивалируя", как теперь говорится, частью своей продукции (производства) за доставляемые ему государством материальные и денежные средства,—но получает для продажи в свою пользу с целью пополнения пробелов снабжения лишь ту часть из производимых им продуктов, какую ему назначит для этого государство по утвержденной смете покрытия издержек его производства. О практическом значении разницы между двумя последними вариантами,—частнокоммерческим и сметногосударственным,—можно судить по таким примерам. При частнокоммерческом способе „эквивалирования" (якобы равного возмещения), как он теперь практикуется, государство решительно ничего не получает от предприятия: 1) на покрытие общих расходов, без которых вообще невозможна была бы нынешняя производственная деятельность (содержание армии, школ, судов и прочих учреждений),—что одно по расчетам известного статистика Ст. Г. Струмилина поглощает теперь до 20% всей продукции России, промышленной и земледельческой; 2) на покрытие амортизации, которая требует от 5 до 10% всей продукции, иногда больше, особенно теперь; 3) на покрытие таких услуг государства рабочим и служащим, которые не учитываются предприятием в заработной плате, как, напр., бесплатное предоставление государственным рабочим и служащим жилища, что до войны составляло около 25 заработной платы (нынешних ее размеров, даже больше), или же, напр., предоставление всех видов социальной помощи, — при безработице, болезни, инвалидности, старости, материнства и т. д., — что одно оценивается Комитетом цен Наркомфина при установлении себестоимости изделий в 23% заработной платы. Одни эти две статьи дают вместе около [illegible]% всей продукции, если принять, что заработная плата в цене изделия составляет даже только тот процент, что и до войны (около 14% в среднем по всей фабр.-заводской промышленности России).

По одним трем перечисленным пунктам государству причитается получить из валовой продукции каждого государственного предприятия до 35% продукции без столь излюбленного авторами трестопроек-

тов „эквивалирования отпуском денег или материалов". Но если рассмотреть элементы, из которых складывалась цена фабричного изделия при продаже с фабрики при буржуазном строе, то найдем еще ряд „накладных расходов", бремя которых несет на себе теперь целиком государство — напр., пожарный риск (прежнее страхование от огня). Таким образом, даже с последовательно-буржуазной точки зрения, та система якобы „эквивалентной" расплаты государственного предприятия с государством, какую пытаются провести в жизнь под видом „хозяйственного расчета"—является полным его извращением. На языке частноправовых отношений это называется не коммерческим расчетом, а коммерческим обманом.

Такой обман должен возводиться в систему при уродливом г нимании „хозяйственного расчета", как обязательной наличности предприятии **чистой прибыли**. Все, что не дает чистой прибыли, сдавай в аренду: вот вульгарное толкование хозяйственного расче: против которого решительно должна вооружиться жизненно-необход мая для нас и здоровая **коммунистическая реакция проти извращений правильной линии новой экономическс политики**. Хозяйственный расчет означает лишь точный учет вс издержек и результатов производства и баланса предприятия—и более того. Даже в Европе многие предприятия не дают теперь ч стого дохода, как и обычно при промышленной депрессии, обусловл вающей работу с неполной нагрузкой. У нас в России промышле ность и транспорт неизбежно должны работать теперь с весьма н полной нагрузкой, даже при сравнительном успехе наших концентрацио ных попыток, — и потому подменять необходимость хозяйственнос принципом прибыльности значит создавать идеологическую почву д. успехов „специальных" попыток под предлогом новой политики л квидировать на деле всю государственную промышленность путем сда ее либо в откровенную аренду отдельным капиталистам, либо в скр тую искателям тантьем, готовым облечь свою, основанную на хозя ственном расчете, работу, хотя бы в формы „главметалловског треста.

Но скрывающаяся здесь опасность,—лишение пролетарского г сударства той мощи, какая вытекает из организованного планоме ного распоряжения фабрично-заводскими изделиями,—есть лишь од сторона последствий переборщиванья в подчеркивании частнопра вых моментов в деятельности государственных предприятий в уще моментам государственным. Другая сторона заключается в том п громе и кризисе, какой может вызвать в самом ходе промышленнос чрезмерное увлечение спасительностью применения к управлению г сударственным предприятием частноправовых принципов (хотя бы б аренды) во всех случаях, когда государство не может справиться его производственным снабжением.

До сих пор целью ставилась жесткая программа промышленн сти—и соблюдение ее не только не отрицается, но даже подразум вается правильным применением новой экономической политики. Н вая политика—политика сугубой осторожности и расчетливости, тр бующей весьма вдумчиво относиться к пуску в ход новых предпри тий. Между тем практика принесла то извращение этой линии, чт для пуска чуть ли не любого завода достаточно объявить его „сня тым с государственного снабжения" и переведенным на „начала ко мерческого расчета" (как мы видели—лжекоммерческого).

Однако, металла, хлопка, угля, нефти и т. п. основных проду тов у нас определенные количества, которые не могут быть молнис

юсно увеличены. При таких условиях широкий пуск все новых предприятий, основанный не на жестком списке работающих заводов, а на вере в чудодейственность самой жизни государственных фабрик по частноправовым принципам, — должен привести к истощению материалов и к краху. Повторилось бы то, что было зимой 1920—1921 г., когда промышленность была пущена более широко, чем позволяли топливные перспективы и когда через полгода за этим последовала общая заминка, от которой мы только теперь, повидимому, начинаем оправляться. Поскольку новая экономическая политика в извращенном практическом применении зачастую приводит к недооценке значения плана, системы, и слишком переносит центр тяжести на узкий базис отдельной инициативы, — дело коммунистической реакции. Подводя итоги, вновь подчеркнуть возврат к плановому хозяйству, как необходимый элемент социалистического хозяйства в той области, которая у нас остается, должна и может остаться социалистической — и которая без этого ею не будет. Если буржуазные общественные элементы стараются проводить такую линию, как будто при новой экономической политике такие органы, как Госплан, Комиссия Использования и т. п. теряют свое значение, — то наше дело не отдаваться в плен этим уклонам мысли, но отстаивать организованное регулирование государством хозяйственной жизни всей практикой нашего администрированья и законодательствования.

Ю. Ларин.

(Окончание следует)

Пути русской революции.

(По поводу новой экономической политики).

Карл Радек.

I.

Русский марксизм подготовил почву русскому рабочему классу, он определил на исходе XIX столетия тенденцию развития России и роль отдельных социальных классов в предстоящих боях, он начал свою работу разрушением иллюзий мелко буржуазных социалистов о движущих силах и существе русской революции. Еще в первом своем произведении Плеханов доказывал, что и Россия должна пройти через капитализм и что она его проходит. Он рассеял, как вредную иллюзию, мечты о прыжке из царской неволи в царство социализма. Рабочий класс должен всеми усилиями завоевать демократию в России; только организовавшись, обучившись и прояснив свое сознание на почве капитализма и демократии, он сможет повести борьбу за социализм. Плеханов писал в своей появившейся в 1881 г. брошюре „Социализм и политическая борьба": „Связать в одно два таких существенно-различных дела, как низвержение абсолютизма и социалистическую революцию, вести революционную борьбу с расчетом на то, что эти моменты общественного развития совпадут в истории нашего отечества, значит отсрочить наступление и того и другого события". Установив таким образом буржуазное содержание будущей русской революции, он одновременно объявил, что сама революция в первую голову будет делом рабочего класса. Политическая свобода будет завоевана рабочим классом или ее совсем не будет, — объявил Плеханов в 1888 году в „Социал-Демократе". Ход мыслей отцов русского марксизма о русской революции был таков, что, с одной стороны, указывались обыкновенные буржуазные рамки этой революции, с другой — предоставлялась пролетариям роль главных носителей и исполнителей революции. В годы, предшествовавшие началу больших революционных движений в России велась в связи с великими историческими вопросами борьба о методах социал-демократической революционной работы, о тактике молодой, находившейся в стадии развития рабочей партии (борьба „Искры" против „экономистов"). Вопрос о социальном содержании русской революции стал снова во всей широте перед партией, когда новорожденный мелкобуржуазный крестьянский социализм социал революционеров, с одной стороны, и подъем либерального движения, с другой, потребовали ясной позиции. Именно этот вопрос дал возможность выкристаллизоваться меньшевистскому и большевистскому направлениям в русской

социал-демократии. В чем заключалась разница в анализе характера русской революции и ее движущих сил у того и другого направления? В брошюре Ленина „Две тактики социал-демократии в демократической революции" (лето 1905 года) мы читаем: „Заметим наконец, что, ставя задачей временного революционного правительства осуществление программы-минимум, революция тем самым устраняет нелепые полу анархические мысли о немедленном осуществлении программы максимум, о завоевании власти для социалистического переворота. Степень экономического развития России (условие объективное) и степень сознательности и организованности широких масс пролетариата (условие субъективное, неразрывно связанное с объективным) делают невозможным немедленное полное освобождение рабочего класса. Только самые невежественные люди могут игнорировать буржуазный характер происходящего демократического переворота; только самые наивные оптимисты могут забывать о том, как еще мало знает масса рабочих о целях социализма и способах его осуществления. А мы все убеждены, что освобождение рабочих может быть делом только самих рабочих. Без сознательности и организованности масс, без подготовки и воспитания их в открытой классовой борьбе со всей буржуазией о социалистической революции не может быть и речи. И в ответ на анархические возражения, будто мы откладываем социалистический переворот, мы скажем: мы не откладываем его, а делаем первый шаг к нему единственно возможным способом по единственно верной дороге,—через демократическую республику. Кто хочет итти к социализму по другой дороге помимо демократизма политического, тот неминуемо приходит к нелепым и реакционным как в экономическом, так и политическом смысле выводам. Если те или другие рабочие спросят нас в соответствующий момент: почему не осуществить нам программу-максимум, мы ответим указанием на то, как чужды еще социализму демократически настроенные массы народа, как не развиты еще классовые противоречия, как не организованы еще пролетарии. Организуйте-ка сотни тысяч рабочих по всей России, распространите сочувствие своей программе среди миллионов! Попробуйте сделать это, не ограничиваясь звонкими, но пустыми анархическими фразами,—и вы увидите тотчас же, что осуществление этой организации, что распространение этого социалистического просвещения зависит от возможно более полного осуществления демократических завоеваний". Это—не брошенные на ветер мысли, а теоретическое основание всей позиции Ленина и большевиков во время первой революции. В чем же разногласие между меньшевиками и большевиками? Оно начинается с момента определения роли непролетарских классов в революции и отношения к ним. Русская революция сначала подготовит почву для свободного развития капитализма,—это было общее воззрение меньшевиков и большевиков, но меньшевики делали заключение, что буржуазии должно быть предоставлено руководство в революции. Они энергично оспаривали мысль, что рабочий класс должен вместе с крестьянством взять власть в свои руки и дать революции осуществить хотя бы ее буржуазно-демократические цели. Революционный рабочий класс и его партия должны были, по представлению меньшевиков, играть лишь роль левой оппозиции. Меньшевики сравнивали стремление к завоеванию власти рабочими и крестьянами с мильеранством, с участием социал-демократии в буржуазном правительстве в конце XIX столетия и предсказывали, что всякая попытка участия в правлении будет несчастьем для социал-демократии.

большевики в свою очередь доказывали, что взгляд меньшевиков, во-первых, совершенно поверхностен, а во-вторых, он знаменует отказ от радикальной победы буржуазной революции. Из того, что русская революция должна быть по-своему содержанию буржуазной не следует, что индустриальная буржуазия станет ее носительницей. Промышленная буржуазия слишком связана с царизмом, ее боязнь рабочего класса слишком велика, чтобы она могла стать во главе народных масс в борьбе с царизмом. Но помимо промышленной буржуазии есть буржуазный класс, интересы которого требуют победы революции. Это—крестьянство. Большевики указывали на то, что крестьянство вынуждено бороться с царизмом до окончательной победы, если оно желает получить землю. Крестьянство представляет собой буржуазный класс, но должен ли этот класс для осуществления своих буржуазных целей разрушить здание царизма? Этот класс находится в аморфном состоянии и делает первые свои шаги. Задача социал-демократии—повести в бой не только рабочий класс, но и крестьянство. Когда работа социал-демократии увенчается успехом и народные массы восстанут для низвержения царского правительства, то задачей образовавшегося революционного правительства будет довести буржуазную революцию до конца в борьбе с силами старого порядка, которых одним ударом нельзя будет уничтожить. Большевики считали участие в этом общем революционно-пролетарском правительстве гарантией успеха революции и упрекали меньшевиков в том, что они в желании своем ограничить себя ролью оппозиции отдают руководство элементам, стремящимся не к окончательной победе революции, а к компромиссам с царизмом. Спор меньшевиков и большевиков накануне и во время первой революции состоял таким образом в различном отношении к крестьянству, с одной и к либеральной буржуазии, с другой стороны. Эти разногласия приводили к вопросу о роли рабочего класса в революции: должен ли он взять на себя руководство революцией или предоставить его буржуазии. Кроме этих двух направлений в русской социал-демократии на особой точке зрения стояли уже тогда Троцкий и Парвус. Роза Люксембург и Карл Каутский. Если начать с последнего, который теперь каждого выразившего сомнение в правильности меньшевистского воззрения считает совершенным фантазером и утопистом, то он ответил на одну анкету Плеханова следующее („Neue Zeit" издание от 8 декабря 1906 года):

„Опросный лист содержит три вопроса: 1) Каков будет общий характер русской революции? Стоим ли мы перед буржуазной или социалистической революцией? 2) Ввиду отчаянных усилий русского правительства подавить революционное движение, какое положение должна занять социал-демократическая партия по отношению к буржуазной демократии, ведущей также борьбу за политическую свободу? 3) Какой тактики должна придерживаться социал-демократическая партия при выборах в Думу, чтобы без нарушения амстердамской резолюции использовать силы буржуазных оппозиционных партий в борьбе со старым режимом?

„На первый из этих вопросов, мне кажется, не так-то просто ответить в том или другом смысле. Эпоха буржуазных революций, действующей силой в которых является буржуазия, закончилась также и для России. И там пролетариат больше не придаток и орудие буржуазии, как это имело место в буржуазных революциях, а самостоятельный класс с самостоятельными революционными целями. Где пролетариат выступает таким образом, буржуазия перестает быть революционным классом.

Русская буржуазия, поскольку она ведет самостоятельную классовую политику и является либеральной, несомненно ненавидит царизм, но еще больше революцию, и ненавидит она царизм прежде всего за то, что он есть основная причина революции; политическая свобода, по ее мнению, есть единственное средство против революции, и потому она ее желает. Таким образом, буржуазия не принадлежит к действующим силам теперешнего революционного движения в России и постольку это движение не может быть названо буржуазным. Но не следует также говорить, что оно социалистическое; оно ни в коем случае не приведет пролетариат к самостоятельному господству, к диктатуре. Для этого пролетариат России слишком слаб и неразвит. Во всяком случае, весьма возможно, что в ходе революции победа будет на стороне социал-демократической партии, и социал-демократическая партия поступает правильно, воодушевляя своих сторонников уверенностью в победе, так как успешно борется лишь тот, который раньше не отказался от победы. Но социал-демократия не в состоянии будет при содействии одного пролетариата без помощи другого класса завоевать победу; она, как партия-победительница, не сможет поэтому пойти в проведении своей программы дальше, чем это разрешают интересы поддерживающего пролетариат класса.

„На какой же класс может опереться русский пролетариат в своей революционной борьбе? Если взять за основу политические события, то можно притти к мнению, что все те классы и партии, которые стремятся к политической свободе, должны соединиться в своей работе и дать проявиться разногласиям лишь тогда, когда политическая свобода будет уже завоевана.

„Но всякая политическая борьба есть в основе своей классовая борьба, следовательно и экономическая. Политические интересы являются результатом экономических, народные массы поднимаются для защиты последних, а не для проведения абстрактных политических идей. Кто хочет воодушевить народные массы для политической борьбы, тот должен им показать, что таковая тесно связана с их экономическими интересами. Последние не могут быть ни на минуту отодвинуты на задний план без заминки в борьбе за политическую свободу. Союз пролетариата с другими классами в революционной борьбе может быть длительным и победоносным, если он прежде всего основан на общности экономических интересов. На общности интересов должна быть также построена и тактика русской социал-демократии.

„Но общность интересов может быть прочной на все время революционной борьбы только у пролетариата и крестьянства и она должна послужить основанием для всей революционной тактики русской социал-демократии. О сотрудничестве с буржуазией может быть речь лишь в том случае, если оно не вредит совместной работе с крестьянством.

„На общности интересов промышленного пролетариата и крестьянства основана революционная сила русской социал-демократии и возможность победы, но за-одно и граница возможного использования последней.

„Без крестьян мы скоро в России победить не можем. Нельзя ожидать того, чтобы крестьяне стали социалистами. Социализм может быть построен только на основе крупного производства, он слишком противоречит условиям мелкого хозяйства, чтобы он мог возникнуть и укрепиться среди преобладающего крестьянского населения. Воз-

можно, что, восторжествовав в крупной индустрии и крупном сельском хозяйстве, он силой своего примера убедит и побудит к подражанию мелких крестьян, но этого будет недостаточно; в России отсутствуют больше чем где бы то ни было интеллектуальные и материальные условия для этого. Коммунизм русской деревни совершенно ничтожен, он не есть обобществление производства. Совершенно исключена возможность введения усовершенствованных способов крупного производства в нашей деревне в рамках деревенской общины; для этого необходима, по меньшей мере, работа в государственном масштабе, а к производству на таковой основе русские сельско-хозяйственные производители ни в коем случае не способны.

„Теперешняя революция может создать сильное крестьянство в деревне на основе частной собственности, и тогда между пролетариатом и состоятельной частью сельского населения раскроется та же пропасть, что в Западной Европе в настоящее время. Таким образом кажется невероятным, чтобы теперешняя русская революция привела к установлению социалистического производства, если даже социал-демократия временно и придет к власти.

„Конечно, могут быть сюрпризы. Мы не знаем, как долго еще протянется русская революция, но, судя по форме ее, она так скоро не окончится. Мы также не знаем, как она повлияет на Западную Европу и как она там оживит пролетарское движение. Наконец, мы совершенно не знаем, как успехи западно-европейского пролетариата отразятся на русском рабочем движении. Мы должны свыкнуться с мыслью, что стоим перед совершенно новыми ситуациями и проблемами, для которых старая мерка не годится.

„Мы можем понять революцию и ее задачи, если не рассматривать ее, как чисто буржуазную или социалистическую, но как своеобразный процесс на рубеже буржуазного и социалистического общества, который способствует разложению первого и подготовляет образование второго и во всяком случае значительно подвинет вперед человечество капиталистических стран по пути его развития".

Сравним это изложение Каутского с тем, что он смело пишет в новейшем своем произведении „Демократия и государственное рабство":

„Мы упрекаем Ленина и его товарищей не в том, что они считают капитализм неизбежным для страны, находящейся на той ступени развития, как Россия, но в том, что они только теперь пришли к этому сознанию, после того как почти четыре года беспощадно управляли страной в духе противоположных воззрений, клеймили предателем и ренегатом каждого человека, создавшего себе еще раньше правильное представление о русской революции, а последнее было не трудно для всякого образованного социалиста, ибо надвигавшаяся русская революция еще десятки лет до того была предсказана и названа марксистами буржуазной. Большевики могли бы избавить Россию от четырех лет крови, слез и разрушения если бы они сумели, подобно меньшевикам, ограничить себя достижимым, что возвеличило бы их как политиков".

Милый человек хочет произвести впечатление, что он, так сказать, с самого рождения был меньшевиком. Первая же цитата говорит, что он не только был солидарен с большевиками в основном вопросе о роли буржуазии в русской революции, но что он пошел даже дальше их, считая возможным переход русской революции к прямой борьбе за социализм. Уважаемый Карл Каутский мог бы привести в свое оправдание, что если теперь его взгляды навеяны Мартовым, то в 1905—1906 годах он был под влиянием Розы Люксембург.

Изложение Каутского отражает тенденцию Троцкого—Парвуса и Розы Люксембург во время первой революции которая, как уже было отмечено, была вне обеих фракций русской социал демократии. Представители этой тенденции указывали на то, что если крестьянство и будет представлять крупную революционную силу в революции, которую рабочий класс всеми способами должен стараться развить, чтобы опереться на нее, то оно, крестьянство, вследствие своей социальной распыленности и низкой степени развития, не в состоянии будет вести самостоятельную политику. В то время, как Ленин и большевики говорили о диктатуре пролетариата и крестьянства, вышеназванные марксистские политики выставили формулу о диктатуре пролетариата, опирающегося на крестьянство. Еще в 1905 году Троцкий поставил вопрос в статье своей о перспективах русской революции (напечатано в брошюре „Итоги и перспективы. О движущих силах революции". Издательство „Советский мир", Москва 1919 г.):

„Вопрос весь в том, кто определит содержание правительственной политики? У кого будет однородное большинство в правительстве? Одно дело, когда в **рабочем правительстве** сидят представители демократических слоев и совсем уж другое, когда представители пролетариата входят в буржуазно демократическое правительство в качестве более или менее почетных заложников. Достаточно попытаться представить себе революционное демократическое правительство без представителей пролетариата, чтобы полная нелепость такого представления ударила в глаза. Отказ социал демократии от участия в революционном правительстве означал бы полную невозможность самого революционного правительства и был бы, таким образом, изменой делу революции. Но участие пролетариата в правительстве и объективно наиболее вероятно, и принципиально допустимо лишь как доминирующее и руководящее участие. Можно, конечно, назвать это правительство диктатурой пролетариата и крестьянства, диктатурой пролетариата, крестьянства и интеллигенции или, наконец, коалиционным правительством рабочего класса и мелкой буржуазии. Но все же остается вопрос: кому принадлежит гегемония в самом правительстве и через него в стране? И когда мы говорим о рабочем правительстве, то этим мы отвечаем, что гегемония будет принадлежать рабочему классу" (стр. 40).

Троцкий высказался за гегемонию пролетариата в правительстве и старался доказать, что, как ни отстали социальные отношения в России, как ни низка степень ее капиталистического развития, революционное правительство вынуждено будет предпринять меры перехода к социализму: „Политическое господство пролетариата несовместимо с его экономическим рабством. Под каким бы политическим знаменем пролетариат ни оказался у власти, он вынужден будет стать на путь социалистической политики. Величайшей утопией нужно признать мысль, будто пролетариат, поднятый на высоту государственного господства внутренней механикой буржуазной революции, сможет, если даже захочет, ограничить свою миссию созданием республиканско-демократической обстановки для социального господства буржуазии. Политическое господство пролетариата, хотя и временное, крайне ослабит сопротивление капитала, всегда нуждающегося в поддержке государственной власти, и придаст грандиозные размеры экономической борьбе пролетариата. Рабочие не смогут не требовать от революционной власти поддержки стачечников, и правительство, опирающееся на пролетариат, не сможет в такой поддержке отказать. Но это значит парализовать влияние резервной армии труда, сделать рабочих

господами не только в политической, но и в экономической области, превратить частную собственность на средства производства в фикцию. Эти неизбежные социал-экономические последствия диктатуры пролетариата проявятся немедленно гораздо раньше, чем будет закончена демократизация политического строя. Грань между минимальной программой стирается, как только у власти становится пролетариат" (стр. 68).

Троцкий стоит, таким образом, перед вопросом о взаимоотношениях изображенной им силы политических обстоятельств и состоянием русского хозяйства. Он отвечает на него частью указанием на весьма высокую степень промышленной концентрации в России, на крепость молодого импортированного из-за границы русского капитализма и частью на влияние русской революции на европейский пролетариат. „Без прямой государственной поддержки европейского пролетариата рабочий класс России не может удержаться у власти и превратит свое временное господство в длительную социалистическую диктатуру. В этом нельзя сомневаться ни одной минуты. Но с другой стороны нельзя сомневаться в том, что социалистическая революция на Западе позволит нам непосредственно и прямо превратить временное господство рабочего класса в социалистическую диктатуру" (стр. 71).

Русская революция является для него исходным пунктом европейско-пролетарской революции, он смотрит на русскую революцию, как на часть перманентной европейской революции.

Мы отказываемся от подробного цитирования мнения Розы Люксембург, которое мало чем отличается от точки зрения Троцкого. Прибавим еще один небольшой штрих. Уже после поражения революции 1905—1906 годов Роза Люксембург занялась в одной своей статье, посвященной разбору книги известного меньшевистского публициста Черевапина, вопросом о перспективах русской революции. В этой статье, появившейся в 1909 году в польском марксистском обозрении („Przegląd Socjaldemokratyczny"), она защищает положение, что даже буржуазная революция, как французская, должна была пойти дальше ограниченных своих буржуазных целей, чтобы последние были достигнуты, — что чем дальше уходит революция в своем развитии, тем труднее контр-революции ее уничтожить.

Таковы были основные вопросы, стоявшие до и во время первой русской революции перед сознанием авангарда русского пролетариата. Как мы видим, эти вопросы определяют судьбу и переживаемой нами революции. Революция 1905—1906 г.г. была прелюдией революции 1917 года. В ней участвовали те же классы, которые впоследствии через 12 лет, в новых условиях померялись своими силами и еще тогда были поставлены все вопросы, практические ответы на которые дают теперь дела и судьбы русской революции. Первая русская революция не сумела дать ответа на все свои вопросы, так как еще до полного своего воздействия в интернациональном масштабе молодой русский пролетариат и русское крестьянство были раздавлены царизмом с помощью европейского капитала. Первая русская революция чрезвычайно оживила интернациональное рабочее движение, она поставила в порядок дня вопросы о всеобщей забастовке, и не случайным совпадением является то, что первый интернациональный документ нового коммунистического движения (брошюра Розы Люксембург о всеобщей забастовке), послуживший исходным пунктом для немецкого лево-радикального движения, был написан на основании опыта русской революции. Но в некотором отношении первая русская революция дала ясный и недвусмысленный ответ на проклятые вопросы наших дней.

Он гласит, что, как ни определять границы русской революции, буржуазия уже в первой революции служила фактором контр-революции. Уже в первой революции она удовлетворилась словесными обещаниями царизма и искала компромисса с ним. Только с помощью иностранного капитала царизму удалось подавить революцию, а поведение иностранного капитала было, между прочим, продиктовано и тем, что он знал про нежелание русской буржуазии, при всей показной ее оппозиции, чтобы царизм пал. Если, несмотря на это, и после поражения первой революции меньшевики связали свои революционные перспективы с новым подъемом буржуазной оппозиции (см. статью Цана в „Neue Zeit" 1908 г.), то они только обнаружили этим, что с самого рождения страдали политической слепотой. Русская буржуазия вела в Думе показную борьбу против царизма, но одновременно искала соглашения с ним на почве русского империализма. Петр Струве, первый идеолог русского либерализма, стал глашатаем великой России, и Павел Милюков, политический вождь русских либералов, стал строить русско-балканскую политику, приведшую вместе с немецко-турецкой политикой к войне 1914 года. Война похоронила под своими обломками показную борьбу либерализма. Либералы образовали главное ядро русского военного патриотизма в великом мировом кризисе 1914 года. Революция 1917 года, которая явилась восстанием народных масс против потрясающих последствий участия царизма в мировой войне, должна была прежде всего стать революцией и против буржуазии.

Эта контр-революционная роль промышленной буржуазии заставила рабочий класс вступить в ожесточенную борьбу с ней для победы над царизмом. Он должен был на каждом шагу оспаривать у нее влияние на полупролетарские и мелко-буржуазные массы. Эта боевая позиция пролетариата по отношению к буржуазии объяснялась не только защитой принципов демократии, но и сама борьба за демократию была обусловлена социальной ролью пролетариата и борьбой против буржуазной эксплоатации. Эта борьба вовсе не должна была выходить за границу програмы-минимум. Уже в момент начала борьбы в 1905 году пролетариат жестоко столкнулся с буржуазией. Без восьмичасового рабочего дня буржуазная демократия бессмысленна, ибо привязанный с раннего утра к машине рабочий не в состоянии, понятно, участвовать в политической жизни. Борьба за это требование привела после октябрьского манифеста к ожесточенному столкновению пролетариата с буржуазией, которая открыто без обиняков перешла на сторону царизма, у которого она искала помощи против пролетариата. Противоречие между пролетариатом и буржуазией стало наиболее важным фактором русской революции. Революция не была проделана до конца в деревне, но и там не меньше, чем в городе, она подрыла основы царизма. Она привела в большей части России к вооруженной борьбе крестьянства с помещиками. Красный петух запел на помещичьих усадьбах, и помещики мобилизовали все силы правительства против крестьян. Если самосознание крестьян в армии было еще незначительно, чтоб отказаться от роли палачей против своих собственных братьев, то во всяком случае следствием военных экспедиций в деревне был подрыв старого духа, как в армии, так и в селе. Царизм лучше меньшевиков понял опасность, грозившую ему со стороны крестьянства. После того, как царское правительство еще во время выборов в первую думу в 1906 г. не смогло создать из серой крестьянской массы противовес настроению городов, оно после первой революции пыталось расколоть крестьянство, чтобы

опереться на богатых крестьян против бедных и новым противоречием ослабить и парализовать наступательную силу крестьянской массы против царского государства.

Новая форма организации рабочего класса, как фактора революции, не была предвидена марксистским анализом. Рядом с политическими партиями и профессиональными союзами возникли по собственному почину советы рабо их депутатов. В ноябрьские дни 1905 г. во время сильнейшего потрясения царизма всеобщей забастовкой в некоторых городах рабочие советы были органами власти, перед которыми должна была капитулировать буржуазия. В зародыше они проявили себя в борьбе за власть. Появление советов марксисты объясняли отсутствием старых, укоренившихся профессиональных союзов в рабочем классе, что вызвало потребность в широких пролетарских организациях. Не только европейские, но и многие русские марксисты не поняли, что дело идет не только об организациях борьбы против буржуазного правительства, но о зародышах будущей организации пролетарской власти. Весьма характерно, что европейское социалистическое движение, столь многому научившееся у первой русской революции, не восприняло идею рабочих советов в круг своих воззрений.

II.

Мартовская революция 1917 года продолжала дело первой революции. Быстрая победа в марте 1917 года стала возможна, благодаря глубокой вспашке русской почвы плугом революции 1905 года. Оппортунисты II Интернационала объявили после поражения 1907 года русскую революцию бесполезной. Так г. Карл Лейтнер, большой умник из венской рабочей газеты, заявил в 1908 году, что прекрасно организованное младо-турецкое движение ему больше импонирует, чем революционный хаос России. Но все эти господа предстали в свете событий 1917 года близорукими дождевыми червяками. Благодаря своему опыту 1904—1905 годов, русская народная масса выступила в марте 19 7 года с запасом политических понятий, обогащенным и углубленным испытаниями трехлетней войны, и сразу же одним махом двинула революцию дальше, чем этого желала буржуазия. Арест царя, устранение регентства, прокламирование республики — все это были в значительной мере результаты работы первой революции. Одновременно рабочие и солдатские массы приступили к образованию рабочих и солдатских советов, их примеру последовали крестьяне в деревне. Эти внезапно создавшиеся массовые организации еще до того, как они осознали себя органами пролетарской диктатуры, протянули руки свои к власти. Центральная государственная власть попала в руки буржуазии, которая лишь потом привлекла мелко-буржуазно-пролетарские и крестьянские партии меньшевиков и социал-революционеров к участию в правительстве. С первого дня своего существования буржуазное временное правительство жаловалось на двоевластие, так как рабочие и солдатские советы присвоили себе не только контроль временного буржуазного правительства, но и часть исполнительной власти. Я разрешу себе напомнить один мало известный факт, который проливает яркий свет на творческую силу народных масс в революции. Когда в первые дни мартовской революции группа большевиков, находившаяся в Норвегии, обратилась к т. Ленину с вопросом об отношении к лозунгу Учредительного Собрания, последний ответил, что Учредительное Со

брание наверное не скоро будет созвано Временным Правительством, и что вообще парламент, как центр революции, имеет более чем сомнительное значение. Он советовал повсюду, где это возможно, взять рабочему классу управление в свои руки *в вид коммунальных советов*, чтобы сделать их опорным пунктом революции. Ленин уже тогда зорким взором предвидел, что революционная власть сконструируется не как буржуазно-демократическая республика, а как республика по типу Парижской Коммуны, в которой революционный народ имел в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть. Но конкретная форма этой республики по типу Парижской Коммуны не была им изобретена. Она была найдена рабочими и солдатскими массами в их неясном порыве в борьбе.

Каково было содержание мартовской революции? Это была революция крестьянства в солдатской шинели и рабочего класса, которые под тяжестью войны не восстали еще против самой войны и продолжения ее, но восстали против правительства, которое вело ее так плохо и возлагало все тяготы на их плечи. Только незначительное меньшинство пролетариев и солдат было вообще против войны. Во время революции массы быстро развиваются, и скоро революция стала революцией против войны. Она направлялась таким образом против империалистической буржуазии и помещиков, выступавших все более открыто и агрессивно против революции, лишавшей их возможности победы. Носителями революции были рабочие и крестьяне, их положительные цели вытекали из их социального положения. Крестьяне хотели земли. Ни карательные экспедиции Столыпина, ни его аграрная реформа не могли искоренить революционные тенденции крестьян, или создать достаточно сильное богатое крестьянство, как оплот против революции в деревне. Рабочие стремились к немедленному улучшению их положения и так как эта цель при общей хозяйственной разрухе, вызванной войной, была недостижима обыкновенным путем, то они установили через фабричные комитеты контроль над производством, чтобы уменьшить анархию в нем и улучшить этим свое положение.

Каковы были позиции революционных партий? Социалисты-революционеры и меньшевики сочли своей задачей удержать рабочих от борьбы с капиталистами, крестьян — от захвата помещичьих владений, так как смута могла повредить ведению войны. Даже Чернов и Церетели, бывшие циммервальдцы, пошли в Каноссу и соединились политически с вульгарными социал-патриотами типа Плеханова. Оттягивая осуществление социальных целей революции, даже буржуазно-демократических, до созыва Учредительного Собрания, они проводили свою еще в первой революции разработанную программу. Они передали власть в руки буржуазии, как классу, интересы которого должны были, по их мнению, создать объективные рамки революции и которому должно было принадлежать руководство ею. Их старые разговоры о роли социал-демократии, как внешней оппозиции, были забыты. Они были не крайней оппозицией буржуазии, а единственной поддержкой буржуазного правительства в рабочих, крестьянских и солдатских массах. Большевистская партия заявила, что, ввиду низкой степени социального развития России, о немедленной победе коммунизма думать не приходится. „Наша прямая задача не есть введение социализма, а немедленный переход к контролю советов рабочих и солдатских депутатов над общественным производством и распределением продуктов". — Так формулировал Ленин 3-го апреля после своего приезда в Петербург социальные задачи революции.

В своей полемике против Каменева, защищавшего старую точку зрения большевиков о буржуазном содержании революции, Ленин сослался на то, что он еще в 1905 году в своей выше цитированной брошюре о двух тактических линиях писал: „У революционно-демократической политики пролетариата и крестьянства есть, как и у всего на свете, прошлое и будущее. Ее прошлое — самодержавие, крепостничество, монархия, привилегии. Ее будущее — борьба против частной собственности, борьба наемного рабочего с хозяином, борьба за социализм", и он продолжал: „Ошибка Каменева в том, что он и в 1917 году смотрит только на прошлое революционно-демократической диктатуры, а для нее на деле уже началось будущее, ибо интересы наемного рабочего и хозяйчика на деле уже разошлись, притом по такому важнейшему вопросу, как оборончество, как отношение к империалистской войне" (см. сочинения Ленина XIV т., I ч., 34 стр.).

Последнее указание на войну составляет основной пункт в понимании разницы в тактике большевиков в первую и вторую революции. Уже тот простой факт, что вторая революция застала Россию на наиболее высокой ступени экономического развития, увеличил удельный вес пролетарских элементов. Военная обстановка, в которой произошла революция, поставила их перед новыми задачами и создала новые интернациональные условия для революционной политики в России. Первый вопрос революции, который был вопросом жизни и смерти, коснулся отношения к войне. Революция, вызванная банкротством царизма в войне и страданиями масс, занесла топор над корнями войны. Если она не сумела бы убить войну, то война снесла бы ее этим же топором. Так как она угрожала способности России к войне, она должна была вызвать ожесточенное сопротивление заинтересованных в продолжении войны классов: финансового капитала, помещиков и офицерской касты. Чтобы подкопаться под власть этих классов, недостаточно было создать парламентскую республику, сохранив старые органы угнетения царского режима. На место полиции и жандармерии должна была стать народная милиция.

Рабочие советы должны были попытаться захватить местную власть, но ограничить революционный переворот этой политической областью было недостаточно и невозможно. Невозможно это было потому, что миллионы солдат-крестьян, понесших неслыханные жертвы в войне, в момент сокрушения власти помещиков желали получить их землю, за которую они проливали кровь на войне. Рабочие, которых революция вооружила и наполнила большой верой в собственные силы, не могли, понятно, охранять имущество буржуазии. Повсюду на фабриках они начали вмешиваться в управление, если же владельцы закрывали свои предприятия, чтобы локаутом урезонить рабочих, то последние захватывали фабрики и продавали товары. Это была не только логика революции, но и революционная необходимость, чтобы мощь классов, заинтересованных в продолжении войны, была сломлена. Чтобы сломить власть помещиков, нужно было подстрекнуть крестьян — не ждать с получением земли до Учредительного Собрания. Чтобы сломить власть капиталистов, следовало указать, как синдикаты и банки переводили кровь русских крестьян и рабочих в золото. Пролетариат должен был разбить несгораемые шкапы и сейфы, в которых хранились деловые тайны буржуазии. Если марксистская теория утверждала, что новый общественный строй на социалистическом базисе в России не возможен, то она заодно говорила, что без контроля производства крупной индустрии и финансов в первую очередь

становится невозможным не только улучшение все ухудшавшегося положения рабочего класса, но и самое окончание войны. Этим самым война поставила революцию перед новыми социальными задачами.

Партия пролетариата никоим образом не может задаваться целью „введения“ социализма в стране мелкого крестьянства, пока подавляющее большинство населения не пришло к сознанию необходимости социалистической революции. Но только буржуазные софисты, прячущиеся за „почти марксистские“ словечки, могут выводить из этой истины оправдание такой политики, которая бы оттягивала немедленные революционные меры, вполне назревшие практически, осуществленные зачастую во время войны рядом буржуазных государств, настоятельно необходимые для борьбы с надвигающимся полным экономическим расстройством и голодом.

Такие меры, как национализация земли, всех банков и синдикатов капиталистов или, по крайней мере, установление немедленного контроля за ними советов рабочих депутатов и т. п., отнюдь не будучи „введением“ социализма, должны быть безусловно отстаиваемы и, по мере возможности, революционным путем осуществляемы. Вне таких мер, которые являются лишь шагами к социализму и которые вполне осуществимы экономически, невозможно лечение ран, нанесенных войной, и предупреждение грозящего краха, а останавливаться перед посягательством на неслыханно-высокие прибыли капиталистов и банкиров, наживающихся особенно скандально именно „на войне“, партия революционного пролетариата никогда не будет.

Так формулировал Ленин социальные задачи большевистской партии и революции в проекте политической платформы партии, написанном в апреле 1918 года (Собрание сочинений, том XIV, часть 1, стр. 50—51).

Эта программа, которая объективно выходит за рамки программы-минимум социал-демократии, знаменует уже переход к борьбе за социализм. Она еще не представляет правил проведения социализма. Но в то время как программа-минимум социал-демократии содержит требования улучшения положения рабочего класса в капиталистическом обществе, в обществе, в котором власть принадлежит буржуазии, здесь построена программа, ставящая буржуазию и капиталистическое производство под контроль рабочего класса. Такое положение вещей должно было привести к борьбе между временным буржуазным правительством и советами рабочих депутатов, как только последние стали на точку зрения этой программы. Она привела к революционной диктатуре пролетариат и крестьян. Могла ли такая диктатура устоять и провести программу, формулировавшую жизненные потребности революции? Было ясно, что это будет невозможным, если Россия образует оазис в нормальном капиталистическом мире. Но Россия не была окружена нормальным капиталистическим миром, а огненным морем мировой войны. Уже мартовская революция потрясла войну и поддерживавшие ее классы во всех капиталистических странах. Раньше еще, чем весть о революции получила огласку в Германии, Бетман-Гольвег поспешил в прусский ландтаг, в бастилию немецкой реакции, и возвестил эру реформ. В Англии усилилась волна забастовок.

Французское правительство сидело, как на пороховой бочке. Русская революция нарушила установившееся в войне равновесие, она угрожала не только Антанте поражением, но и революцией во всей Европе. Не подлежало никакому сомнению, что если пролетариат и крестьянство возьмут власть в свои руки в России, если они энергично возьмутся за установление мира, то будет пробита револю-

ционная брешь на военном фронте, в которую проникнут отряды пролетариата.

Утверждение революционных марксистов с самого начала войны о переходе империалистической войны в гражданскую, приближалось к осуществлению. Русская революция была прелюдией европейской, и были все шансы, что она не будет в изоляции предоставлена уничтожающему нападению мирового капитала. При революционной ситуации в отсталой мелко буржуазной стране резвернулась программа мировой революции.

Программа большевиков предусматривала потребности русской революции и потому она стала программой последней. Крестьянские массы боролись за мир, свободу и землю. Рабочие массы боролись за мир и переходные мероприятия к социализму. Благодаря войне миллионы крестьян оказались в рядах армии, распыление их было уничтожено, и крестьянская масса получила в первый раз в истории возможность перейти в организованное наступление. Благодаря существованию молодого революционного рабочего класса, господствовавшего над центрами индустрии и транспорта, крестьянская масса получала политическое руководство, которого ему всегда в истории не доставало. Большевистская партия — результат 25-ти-летней истории революционной борьбы—трезво оценила ситуацию и сосредоточила стихийное движение массы на наиболее важных политических объектах борьбы. Так создалась победа ноябрьской революции, и только одержимые слепотой доктринеры и ослепленные классовой враждой эмигранты могут отрицать это. Даже К. Каутский, не только политически ослепнувший, но и поглупевший, должен был объявить в своем последнем сочинении против русской революции: „Мы здесь не ставили вопроса о том, подлежит ли одобрению завоевание власти пролетариатом в России или нет: русская революция 1917 года была элементарным событием, как каждая большая революция, которой также нельзя воспрепятствовать, как и устроить по желанию таковую".

Дальше Каутский говорит:

„Но этим еще не дан ответ на вопрос, каково должно быть поведение социалистов в подобном случае. Для марксиста ответ ясен. Они должны принять во внимание данную степень зрелости экономических отношений и пролетариата и определить задачи, которые встануть перед последним после его победы.

„Марксистское понимание истории ставит историческое развитие в зависимость от экономического, последнее идет закономерно и не знает прыжков через отдельные фазы. До этого взгляда на историю революционеры не знали во время переворота границ своей воли. Они старались одним прыжком достигнуть наибольших результатов. При этом они всегда терпели неудачи, и всегда революции, несмотря на действительный прогресс, вызванный ими, кончались крахом для революционеров. Маркс учит методу, как в революционное время во избежание поражения ставить себе только такие практические задачи, которые при данных средствах и силах разрешимы.

„Меньшевики рекомендовали этот метод в России, провели его в Грузии с наилучшим успехом. Большевики же, напротив, поставили русскому пролетариату задачи, которые он при незрелости отношений разрешить не мог, и это не чудо, что коммунизм потерпел крах" (стр. 16).

О крахе коммунизма в России будет речь потом. Пока упомянем, что Каутский, считая захват политической власти пролетариатом в России, элементарным событием, которое так же трудно было предупредить, как по желанию вызвать, отзывается о рекомендованных

меньшевиками методах самоограничения, как о попытке предупредить исторически необходимое

Вопрос о том, что должны были сделать большевики, придя к власти в стране с преобладающим мелко-буржуазным населением, составляет ядро в вопросе о сущности пролетарской государственной политики в России с момента захвата власти до перемены курса в марте этого года.

III.

Противники представляют время с 7-го ноября 1917 года до марта 1921 года временем проведения коммунизма в России, чтобы иметь возможность говорить о банкротстве коммунизма в начале 1921 года.

Для опровержения этой легенды лучше привести длинную главу из описания общего положения России, которая была написана мною в декабре 1919 года в берлинской тюрьме и опубликована в Берлинском издании Комм. Интернационала под псевдонимом Struthahn.

Я писал в декабре 1919 года:

„Когда русский рабочий класс взял в ноябре 1917 года власть в свои руки, ни буржуазный, ни социалистический мир не верил в то, что он удержит государственную власть и 2-х месяцев, не то что два года. Немецкий империализм вступил в переговоры с советской Россией, будучи к тому вынужден всей созданной войной ситуацией. Он желал заключения мира на востоке даже с весьма кратковременным правительством, будучи твердо убежден, что если даже большевики исчезнут, никакая партия, никакое правительство не сумеет мобилизовать крестьян в ближайшее время. Советская Россия нуждалась в мире не только потому, что она неимела никакой армии, но и потому, что она могла стать действительностью, лишь получив передышку.

„Во время брест-литовских переговоров советская Россия была только программой и существовала лишь в декретах Совета Народных Комиссаров. Даже царский абсолютизм в его местных органах не был окончательно разрушен, и феодальное землевладение не было искоренено. У большевистского правительства был выбор: или повести с Урала с помощью союзников, как правительство революционных партизанов, партизанскую войну против немецкого империализма и допустить, чтобы русский капитал произвел реставрацию под защитой немецких штыков,—или вступить на путь брестской Голгофы и ценой национального унижения провести низвержение буржуазии и создать организацию пролетариата.

„Если немецкие „независимые“ глупцы теперь, после того, как потерпели по собственному ноябрьскому опыту крах с обвинением большевиков в дезорганизации армии, говорят о полной иллюзии внешней политики советского правительства, то понятно, что этим обанкротившимся вильсоновцам ничем помочь нельзя. Правильность политики советского правительства, основанной на убеждении, что брест-литовский мир не только не задержит, а ускорит процесс разложения мирового империализма, доказана не только победами советской России и тем, что палачи Брест-Литовска покоятся в гробу с раздробленными костями, но и тем обстоятельством, что советская Россия в положении „между дьяволом и морскою бездной“, как говорят англичане, смогла сорганизоваться так, что через год после краха немецкого империализма представители победоносного антантовского империализма должны были сознаться, что мечом большевизм не победишь. Брест-

литовский мир, поскольку он, несмотря на свой хищнический характер, имел положительное значение для советской России, положив конец великой войне,—был вынужден не силой советской России и не настоянием немецких рабочих, а давлением союзных армий на западе. Если теперь победоносный империализм Антанты заключит еще более хищнический мир, но который все-таки даст советской России возможность существования, то он представит принципиальный прорыв, брешь в капиталистической системе, так как он явится результатом сопротивления советской России и помощи, оказанной ей мировым пролетариатом. Но почему вообще должна Россия, которую не сумели уничтожить мечем, заключить компромисный мир с Антантой? Почему бы не подождать с оружием в руках, хоть бы до такой степени развития разложения Антантовского капитализма, что последний вынужден будет пойти на более почетный мир с советской Россией? Ответ на этот вопрос прост. Во время мировой войны, которая затягивалась бесконечно преступной политикой всех империалистических государств, можно было надеяться на скорую катастрофу мирового капитализма, на восстание народных масс во многих странах. Во время заключения Брест-литовского мира советское правительство смотрело на передышку, как на кратковременный эпизод; мы думали тогда: или мировая революция скоро спасет советскую Россию, или она скоро падет в неравной борьбе. Этот взгляд соответствовал тогдашнему положению вещей.

Крах немецкого империализма, неспособность союзников уничтожить советскую Россию войной, и то обстоятельство, что мировая война окончилась, что демобилизационный кризис преодолен, что мировая революция не в форме взрыва, а продолжительного длинного процесса разложения, победит капиталистический мир—все эти моменты совершенно меняют положение и условия внешней политики советской России.

С одной стороны, она не может рассчитывать на скорое механическое освобождение, на то, что стихийное массовое движение в одно мгновение прогонит Клемансо, Ллойд-Джорджа, Вильсона и всю братию за их спиной, с другой стороны она может с большой точностью быть уверенной, что процесс капиталистического разложения будет развиваться и облегчать ее положение. Но так как процесс обещает быть долгим, советская Россия вынуждена искать и добиваться modus'a vivendi с государствами еще капиталистическими. Если завтра пролетарская революция победит в Германии или во Франции, то положение советской России облегчится, так как два пролетарских государства окажут большое давление на капиталистический мир; но и они все-таки будут еще заинтересованы в мире с капиталистическими государствами, чтобы перейти в конце концов к хозяйственному строительству. Советская Россия не даст себя уничтожить. Мы уверены, что если союзники не предложат ей теперь приемлемый мир, то она будет голодать, но бороться дальше, и они будут вынуждены позже дать ей лучший мир. Победа над страной с рессурсами России при помощи блокады требует такого периода времени, в течение которого империалистический курс в союзных странах не протянется. Но очевидно, что если советская Россия еще должна будет воевать, то хозяйственного строительства нельзя будет начать.

Война вынуждает обессиленное производство заняться приготовлением амуниции, лучшие силы передать в армию, разрушенные железные дороги использовать для переброски войск; военная необходимость заставляет ударные силы государства сосредоточить в

руках исполнительной власти, угрожает советской системе и, что важнее всего, грозит на долгое время поглощением лучших элементов рабочего класса. Советское правительство сделало сверх-человеческое, чтобы всему этому противодействовать; его просветительная работа, несмотря на всю нужду, приводит сейчас уже в изумление честных буржуазных противников,—стоит только прочесть сообщения Руда в „Манчестер Гвардиан":

„Дебаты на мартовском съезде большевиков, ценный протокол которых теперь появился из печати, с полной ясностью говорят о серьезности отношения вождей к опасностям создания чиновничьей бюрократии и взяточничества в новой форме. Но война остается войной, жестокой разрушительницей; если она ценою жертв может быть окончена, то следует поспешить это сделать. Достойно сожаления, что русский народ должен предоставлять английским, американским и французским капиталистам концессии на руду, так как он мог лучше использовать ее, чем для уплаты дани. Но пока идет война, он не только не может добывать руду, но вынужден бросать своих горных рабочих в пасть войны. Если бы положение было таково: социалистическое хозяйственное строительство и война против мирового капитала, препятствующего социалистическому строительству, то единственно правильным разрешением была бы война. Но дело обстоит не так. Подлежащий разрешению вопрос гласит: социалистическое строительство в рамках временного компромисса или война без всякого хозяйственного строительства.

„Уже весною 1918 г. советское правительство стояло перед вопросом о хозяйственных компромиссах. Когда американский полковник Раймонд Робин в мае 1918 года уезжал из Москвы в Вашингтон, то он взял с собой конкретное предложение советского правительства с условиями хозяйственных концессий (оно опубликовано в протоколах первого съезда Советов Народного Хозяйства в речи Радека о хозяйственных последствиях Брестского мира). Одновременно помощник народного комиссара торговли и промышленности Бронский сделал на первом заседании представителям немецкого правительства практическое предложение о совместной работе советской России с немецким капиталом. Бруку, Локкарту секретно была сообщена база переговоров. Можно согласиться с тем, что тогда во время мировой войны могла быть надежда, что взрывы в ближайшем будущем могут устранить необходимость таких уступок, но принципиальная сторона политики уступок была уже тогда решена и обоснована. До тех пор, пока в важнейших государствах не победит пролетариат, он не в состоянии будет использовать все производственные силы мира для строительства; пока пролетарские государства будут существовать рядом с капиталистическими, они вынуждены будут заключать компромиссы, и не будет ни чистого социализма, ни чистого капитализма, а, будучи территориально разграничены, они должны будут в пределах собственного государства делать уступки друг другу. Сила и количество существующих пролетарских государств определят меру необходимых уступок капитализму".

Но признавая необходимость компромисса пролетарских государств с капиталистическими, не признается ли возможность и необходимость компромисса с капитализмом в каждом государстве, не есть ли это отказ от революции, от диктатуры, как пути к социализму? Не правы ли, наконец, Реннер, Бауер, Кунов, Каутский, не правилен ли метод коалиции с капитализмом на почве демократии, не обанкротился ли коммунизм со своей программой диктатуры Со-

нстов? Эти вопросы должны быть искренно и глубоко проверены сначала исторически в рамках опыта русской революции, а затем должно быть определено их интернациональное значение.

Враги коммунизма, из лагеря колеблющихся элементов покойного II Интернационала, имеют про запас две взаимно исключающие друг друга легенды. Одна гласит: вся советская теория была вызвана необходимостью: когда выяснилось, что выборы в Учредительное Собрание не дали большевистского большинства, то большевики выступили гордыми рыцарями пролетарской диктатуры. Вторая легенда говорит, что большевики пришли к власти, как дикие представители диктатуры, но потом, высмеянные собственным опытом, вынуждены были подливать все больше воды в свое вино. Каковы же факты?

Еще до революции 1905 года большевики видели в диктатуре пролетариата и крестьянства исторический путь, по которому пойдет Россия. Роза Люксембург и Троцкий пытались исправить эту формулу, говоря о диктатуре пролетариата, опирающейся на крестьянство. Этой поправкой должна быть подчеркнута точка зрения, которая не отрицалась и большевиками, что городской пролетариат будет иметь руководство в революции. Весь лагерь, из которого теперь составился русский коммунизм, был того мнения, что в такой аграрной стране, как Россия, пролетариат должен принять во внимание крестьянские интересы и не может отстранять крестьян от власти. Если большевики в 1917 году вели ожесточенную борьбу против крестьянской партии,—социалистов-революционеров с их вождем Черновым,—то не против интересов крестьянства, а в защиту их. Вожди социалистов революционеров совершали измену своей коалицией с капиталистической кадетской партией, они откладывали разрешение аграрного вопроса, они жертвовали крестьянскими массами в войне русского империализма. Когда благодаря этой политике солдатские и крестьянские массы перешли на сторону рабочего класса и помогли 7 ноября большевикам взять власть, последние предложили побежденным противникам принять участие в правительстве: в течение двух недель после победы над Керенским велись переговоры не только с меньшевиками, но и с социал-революционерами об образовании коалиционного правительства, которое представляло бы диктатуру крестьян и рабочих. Переговоры потерпели неудачу, потому что меньшевики и правые социал-революционеры верили еще в победу буржуазии. Большевики привлекли к участию в правительстве, отколовшихся от общей партии левых социал-революционеров готовых разрешить вопрос о земле и мире путем революционной диктатуры. Разрыв с этой партией определился тогда, когда националистические элементы в ней взяли верх и интеллигентские ее части под влиянием революционного национализма не смогли решиться перейти на сторону интересов мировой революции Опять в защиту крестьянских интересов произошел разрыв с этой крестьянской партией, все больше терявшей контакт с реальной жизнью. Разрыв большевиков с этими партиями, которые желали представлять крестьян, но которые в действительности были только интеллигентами, ни на минуту не омрачил ясности их, большевиков, представления о реальном соотношении сил.

С одной стороны, они старались способствовать победе пролетарских интересов в деревне, объединяя рабочих, ушедших в деревню вследствие голода и разложения индустрии в городах, а также сельский пролетариат и мелких крестьян в организации деревенской бедноты; с

ругой стороны, они стремились уступками (например, по отноше-нию сельско-хозяйственных кооперативов) перетянуть средних крестьян а сторону пролетарской диктатуры. Кто в этом видит оппортунизм, эт не понимает азбуки социализма. Так как капиталистическая форма онцентрации производства повсюду оставила миллионы мелких и редних сельских хозяйств, то социализация сельского хозяйства будет едленным и продолжительным процессом, во время которого социа-изм осуществится не экспроприацией, а огосударствлением кредита. орговли сельско-хозяйственными машинами, транспорта и всей куль-урной помощью со стороны социалистического государства крестья-ам. Пролетариат после своей победы над буржуазией повсюду будет ынужден к компромиссу с крестьянами. Но он в состоянии будет о заключить, лишь победив буржуазию и выпудив крестьян пойти а уступки.

Но возможна ли была эта победа рабочего класса над буржуа-ией без гражданской войны и диктатуры? Нельзя ли было добиться на пути демократии? Вся история русской революции дает отри-ательный ответ на этот вопрос. Политика меньшевиков потерпела еудачу из-за невозможности не только экспроприации буржуазии ирным путем, но также из-за необходимости спасения народных асс из когтей мировой войны, в которой были заинтересованы только ерхушки буржуазии—финансовый капитал и его питомцы. Буржуа-я должна была быть низвергнута и диктатура заинтересованных в ире народных масс установлена еще прежде, чем можно было поду-ать о защите элементарнейших жизненных интересов рабочих масс.

Дальнейшие прямые и косвенные попытки буржуазии и ее при-ешников определили с железной необходимостью форму и содержа-ие диктатуры. На попытки буржуазной интеллигенции, которая под-ерживалась банками, саботировать хозяйственную жизнь и государ-венную машину, пришлось ответить преследованием буржуазной чати, саботажников и т. д.

Против попыток фабрикантов, купцов и банкиров после брест-ого мира спрятаться за спиной немцев, сохранить путем всяких ошенничеств свое имущество и утаить его от народа открытой из-ной стране, пришлось выступить, с одной стороны, с мерами устра-ения, с другой—быстрой национализацией. Для спасения большого исла предприятий от продажи немецкому капиталу явилась необхо-имость их скорой передачи в государственную собственность, не одготовив надлежащим образом эту радикальную меру. Когда затем уржуазия снова стала на сторону Антанты и начала поддерживать е заговоры союзников от единичного террора до организации восста-ий, должен был быть установлен красный террор, принявший дей-ствительно крупные размеры лишь после того, как армия Колчака Деникина, вооруженные Антантой и поддерживаемые всеми капи-алистическими элементами России, начали открытую войну против советской власти.

Во всей двухлетней истории пролетарской диктатуры в России т по своему содержанию ни одной большой меры, возникшей по ктриперскому рецепту. Катастрофа правительства Керенского по-едовала вследствие полной неспособности его даже в попытках спа-ния России из кровавого застенка; это значит, что вследствие не-зможности защиты первейших интересов народа против сопроти-ения буржуазии иначе, чем путем диктатуры, последняя стала не-ходимостью. Эту необходимость поняли большевики с самого на-ла и требовали с апреля 1917 года всей власти рабочим советам

Благодаря оттягиванию созыва Учредительного Собрания правительством Керенского, оно собралось лишь в момент, когда пролетарская диктатура была уже установлена. Оно явилось на свет мертворожденным, но можно было допустить, чтобы оно само себя похоронило. Если советское правительство и взяло на себя его погребение, то из-за грозившей опасности, что правительство Керенского, превратившееся в труп, смогло бы еще пить народную кровь. Советская Россия вела мирные переговоры с беспощадным врагом и каждая игра Учредительного Собрания могла помочь немецкой военной партии прервать мирные переговоры и уничтожить молодую, еще в стадии образования находившуюся, советскую Россию. Безразличие народных масс при погребении Учредительного Собрания показало, что оно никакой живой народной силы за собой не имело. Оно было тенью прошлого.

Кто следит за историей русской революции, как историк, а не морализирующий доктринер, должен признать политику большевиков последовательной и приноровленной к потребностям момента. Кто ее, как революционер, изучает, не может не признать ее единственной революционной политикой. Об этом теперь спорить не приходится. Это признали даже меньшевики в своем воззвании пред первой годовщиной ноябрьской революции. Но больше этого признания говорит факт, что на смену диктатуры пролетариата может притти только диктатура феодально-капиталистических клик, которые сумеют держаться только с помощью мировой диктатуры финансового капитала.

Русская революция может быть побеждена, тогда ее сменит диктатура белых генералов. Но русская революция может победить только как диктатура пролетариата, которая ведет народные массы в бой с капиталом, а погибая русская пролетарская революция кликнет, как свое завещание, мировому пролетариату слова: „диктатура пролетариата".

Мы стоим перед последним вопросом: продержится ли пролетарская диктатура при компромиссе с мировым капиталом. Мы подходим при этом к пределам компромисса, который рабочее государство может делать в своей внешней политике.

Какова граница экономических уступок со стороны советской России? Подобно тому, как советская Россия не дала себя унизить до степени вассала немецкого империализма во время брестского периода, так и теперь она не может опуститься до роли вассала англо-саксонского империализма. Во время всех переговоров с представителями немецких и английских империалистов советская Россия заявляла, что вследствие войны мир настолько обеднел, что ни одна из воюющих сторон не в состоянии удовлетворить огромные хозяйственные потребности советской России. Последней приходится брать машины и организаторские силы там, где она их находит и где они дешевле. Изменил ли исход войны что-нибудь в этом отношении? Германия сломлена, но, несмотря на это, ее технический аппарат и техническая мощь высоко развиты. Англо-саксонские страны победили, но их хозяйственное разложение так далеко пошло, что, хотя они оказались победителями, они не в состоянии оказать достаточной помощи Франции и Италии. В капиталистических кругах Франции развивается тенденция возможно в бо̀льшей степени использовать хозяйственные силы Германии, что еще усиливается фактом беспрестанного падения франка по сравнению с шиллингом и долларом (прекрасная иллюстрация итогов победы и „солидарности победителей"). Польша и Богемия — вассалы Антанты — вынуждены заключить хозяйственные договоры с

рманией, во-первых, из-за недостаточности помощи со стороны танты, во-вторых, потому, что никакая победа не может уничтожить яйственную связь, обусловленную географическим положением

Есть еще одно весьма важное хозяйственное обстоятельство. Прогрес эующее разложение капиталистического мирового хозяйства устра ет возможность получения товаров для России в необходимом коли стве, если бы даже последняя повела близорукую политику закупки заров в первую голову, вместо того, чтобы подумать о мобилизации их хозяйственных сил. Советская Россия должна с минимумом едств производства, которые она может получить из-за границы от питалистов, перейти к организации своего хозяйства. Ей скоро при тся прибегнуть и к производству нужных ей машин внутри страны а больше всего будет нуждаться в обученных технических силах за границы, в которых всегда была нужда в России. В Германии содятся тысячи инженеров, химиков и обученных рабочих без хлеба работы вследствие краха внешней торговли и упадка хозяйства, и могли бы оказать неоценимые услуги советской России при вос новлении ее хозяйства. Прочитав эти слова, антантовские журналисты днимут, понятно, крик: Вот как! большевики хотят помочь немцам восстановить силу немецкого капитализма на русской почве! Этот ик о новом большевистско-немецком заговоре—такая же ложь, как и ежняя клевета. Мы не пр[illegible]гаем немцам даже концессий, предло зных антантовскому капитализму. Не только потому, что у немец о капитала нет силы вынудить их у нас, но и потому, что у него возможности использовать их. Для экспансии капитала необходим вывоз, а Германия вышла нищенски-бедной страной из войны а безрезультатно клянчит о кредитах в Америке, и теперь ей не до пансии. Немецко-русские хозяйственные сношения, которые мы мотря на вынужденные уступки Англии со стороны советской сии, считаем необходимыми, не могут быть вообще построены на рой капиталистической основе. Не товарообмен и вывоз капитала, омощь трудом—такова новая база немецко-русских хозяйственных шений. Последние не допустят немцев до владычества в России, принося помощь России в ее хозяйственном строительстве, они ут хлеб и работу не только тысячам немецких рабочих интел туального и физического труда, но и создадут базу для будущего ско-немецкого товарообмена. Россия вынуждена была бы вести ую политику, если бы даже была буржуазным государством. Она диктована русскими интересами. Но эта политика совпадает и иниями, по которым должно итти пролетарское государство. Совет я Россия не может стать виновницей блокады и голода други одов. Если немецкое правительство в своей глупой боязни боль визма и Антанты будет дальше оставаться совершенно пассивным, еясь, что, в конце концов, советская Россия уберется к чорту и кно будет пасть в объятия деникинских молодцов и стариков, то должно будет приписать вину в блокаде самому себе.

Границы экономических уступок советской России антантов ому капиталу—прежде всего социального характера. На тер ории советской России не могут быть допущены империалисти кие колонии, в которых русский пролетариат играл бы роль белых ров. Если советская Россия вынуждена будет выдать иностранному итазу известную часть народного достояния, то это возможно лишь н овании условий, конкретно установленных между договаривающимися ударствами. Дело идет в первую очередь об условиях труда, которы жны быть не хуже, чем для прочего российского пролетариата

если бы русские рабочие вообще стали на работу; затем—об отношении производства концессионных предприятий к общему хозяйственному плану советской республики. Договоры должны отдать часть производства в пользу русского организованного хозяйства. Россия должна для своего хозяйственного возрождения извлечь тотчас же пользу из развития концессионных предприятий, получая от них определенную часть производимого, которую она использует на средства производства. Только в таком случае дань иностранному капиталу не будет вести к обескровливанию России.

Если в прошлом году могло быть опасение, согласятся ли привыкшие к индивидуалистическим методам хозяйства капиталистические круги на ограничение их частной инициативы общественным контролем, то за это время положение заметно изменилось. Они ведь стоят перед этими же проблемами в собственных странах, и, каково бы ни было их сопротивление попыткам общественного контроля, не подлежит никакому сомнению, что под давлением рабочего движения и необходимости какого-нибудь обуздания хозяйственной анархии, они вынуждены будут отказаться от их старого безграничного индивидуализма. Все, что они вынуждены будут уступить английским и американским рабочим еще до захвата политической власти последними они должны, будут предоставить и русским рабочим, за которых заступится русское пролетарское государство.

Мы не хотим здесь прикрашивать и представлять вещи в розовом свете. Как бы велики ни были вызванные жаждой наживы в России уступки иностранного капитала русскому пролетариату, русские рабочие будут работать для чужой наживы, русские природные богатства будут использованы для чужого капиталистического хозяйства, и в советской России будет существовать инородное тело. Но пока советская Россия сама представляет инородное тело в капиталистической системе государств, ей подобных опасностей не избежать.

Опасность в данном случае ясна. Не говоря уже о затруднительности положения пролетарского правительства при конфликтах между пролетариями и концессионерами,—иностранными капиталистами,—есть угроза концентрации остатков разбитой русской буржуазии вокруг частных иностранных капиталистических предприятий. Эта опасность будет возрастать по мере того, как советская республика вынуждена будет делать все бо́льшие уступки иностранному капиталу при длительности теперешней переходной стадии. На это рассчитывают Ллойд-Джордж и другие антантовские вожди, склонные к заключению мира с советской Россией. От предполагаемой продолжительности этой совместной работы зависит исполнение их надежд и влияние их на развитие русского пролетарского государства. Если эта совместная работа будет длиться годы, то в лучшем случае советская Россия станет государством по типу Ново-Зеландии и Австралии, т.-е. капиталистическим государством, которое управляется рабочими и фермерами и в котором финансовый капитал идет на широкие уступки пролетариату в отношении условий жизни.

Этот строй во многом лучше европейского или американского, но это—не пролетарская диктатура для осуществления коммунизма. Если мировая революция, как следует предположить, будет развиваться, хотя медленно, но неуклонно, то внимание к интересам иностранного капитала со стороны сов. России не будет настолько значительным и продолжительным, чтобы оно могло угрожать господству пролетариата. Оно даже укрепит фактическую власть пролетариата, поскольку даст мир советской России и возможность перехода к восстановлению

зяйства. Ясно, что советская Россия будет сильнее, если транспортые условия улучшатся, фабрики получат сырье и топливо и крестьям будут даны товары за хлеб.

Чем сильнее советское правительство, тем легче оно может отазаться от террора, который есть только средство обороны,—тем ягче оно может осуществлять диктатуру. Диктатура не может быть ничтожена, пока угрожает опасность господству пролетариата. Но от тепени опасности зависит характер и напряжение диктатуры. Второй араграф политической части программы русской коммунистической артии (март 1919 г.) гласит:

„В противоположность буржуазной демократии, скрывавшей классовый характер ее государства, Советская власть открыто признает еизбежность классового характера всякого государства, пока совершенно не исчезло деление общества на классы и вместе с ним всяя государственная власть. Советское государство, по самой своей идности, направлено к подавлению сопротивления эксплоататоров, советская конституция, исходя из того, что всякая свобода являтся обманом, если она противоречит освобождению труда от гнета апитала, не останавливается перед отнятием у эксплоататоров политических прав. Задача партии пролетариата состоит в том, чтобы, роводя неуклонно подавление сопротивления эксплоататоров и дейно борясь с глубоко вкоренившимися предрассудками на счет езусловного характера буржуазных прав и свобод, разъяснять вместе тем, что лишение политических прав и какие бы то ни было огра-ичения свободы необходимы исключительно в качестве временных ер борьбы с попытками эксплоататоров отстоять или восстановить вои привилегии. По мере того, как будет исчезать объективная озможность эксплоатации человека человеком, будет исчезать и необходимость в этих временных мерах, и партия будет стремиться к к сужению и к полной их отмене".

По мере того, как победы Красной армии над войсками контрреволюции уменьшают надежды русских помещиков и эксплоататоров а восстановление их господства, увеличиваются также возможности лягчения пролетарской диктатуры в России. Эта диктатура первый аз в мировой истории дала широким массам народа действительную озможность участия в духовной жизни и в управлении государством, оздала действительную демократию, каковой нет еще ни в одном осударстве. Но одновременно пролетарская диктатура лишила буржуазию и поддерживающую ее интеллигенцию политических прав, так ак они пользовались ими для борьбы с делом освобождения народных асс. Вооруженная борьба русского пролетариата с контр-революцией авно окончилась бы, если бы капиталистические государства (сначала ермания и затем Антанта) не поддерживали всеми средствами усскую контр-революцию и не заставляли советскую Россию острять свое оружие обороны. В этой борьбе контр-революция поерпела крупные поражения. Если антантовский империализм прекраит, наконец, поддержку русской гражданской войны и уничтожит ибельный кордон, победоносный рабочий класс в состоянии будет остепенно отказываться от военных методов по мере прекращения ражданской войны.

Это не будет отказом от управления государством соответвенно интересам рабочего класса; напротив, только тогда будет беспечено реальное развитие пролетарского государства в сторону емократизма через победу пролетариата и подавление буржуазии. то развитие будет происходить постепенно. Всякая попытка ускоре-

ния этого развития давлением антантовского капитала только замедлит его. Каждое вмешательство в пользу прежней буржуазии возбудит глубочайшее недоверие пролетариата, усилит гражданскую войну независимо от того, желает ли этого советское правительство или нет.

Мы наметили уступки, возможные со стороны советского правительства. Многие революционеры будут считать их глубоким унижением. Как это гордая советская Россия, аннулировавшая военные долги, станет их платить? Неужели станет советская Россия, победившая русскую буржуазию, делать уступки иностранному капиталу? Да, потому что советская Россия не может победить мировой капитал: это может сделать только мировой пролетариат, а она вынуждена платить дань мировой буржуазии. Тут не поможет никакое негодование. Это состояние будет продолжаться, пока усиливающееся капиталистическое разложение не перейдет в мировую революцию.

Капиталистическая и социал-предательская пресса будет говорить о Каноссе советской республики, о капитуляции коммунизма. Пусть она об этом болтает, как она уже это делала после Брест-Литовска мы живем, а победители Брест-Литовска попали под колесо истории. Мы не отказываемся ни на йоту от нашего учения о диктатуре пролетариата, оно сохраняется в полном объеме, и, как бы ни изменялись формы осуществления диктатуры, советское правительство России все-таки будет представителем власти пролетариата или последней совсем не будет. Одно пусть знает и друг и недруг: показной советской республики не будет. Если бы у советской республики не было силы защитить свое господство, она не стала бы отстаивать видимость своего существования, а открыто капитулировала бы или погибла бы в борьбе. Исход осеннего наступления на столицы показывает, что советскому правительству не приходится этого делать. Если бы оно не имело никаких сил, то зачем же бы оно боролось? Если оно перенесло борьбу, выдержало тяжелое военное испытание, то оно справится и с хозяйственными трудностями этой зимы. У Колчака и Деникина хозяйственное положение еще хуже; к тому же приходится принять во внимание, что в советской России рабочий класс видит все старания пролетарского правительства прийти ему на помощь, а в деникинщине и колчаковщине он, голодая, вынужден наблюдать, как богачи роскошествуют. Пол-Европы будет терпеть адские муки голода и холода в эту зиму, и Антанта нигде не поможет, она не в состоянии этого сделать. Помощь требует миллиардов, а Франция и Англия сами на краю банкротства. Советское правительство не имеет никаких оснований для открытой или замаскированной капитуляции. Для облегчения страшнейшей нужды и заключения мира оно готово на уступки. Ближайшие месяцы покажут, способна ли Антанта в целом на какое-нибудь благоразумное разрешение русского вопроса. Если нет, то советской России придется с большими жертвами продолжать борьбу, но крушение антантовского империализма от этого ускорится, так как он вынужден будет снова прибегать к неслыханному напряжению для победы над советской Россией. Но есть разница между нашими противниками и нами: время работает за нас. Мы и решились на уступки, потому что знаем, что конечная победа—за нами, а они принуждены играть va banque. Случится ли это,—зависит от поведения антантских рабочих в эту зиму и развития рабочего движения во всех частях мира. Во всем этом водовороте тенденций ясно одно: дальнейшее разложение капитализма и рост пролетарской революции. Мы, как передовые посты последней, можем еще пережить трудные моменты, но победа революции не подлежит никакому сомнению».

Как уже было упомянуто, все это было мною написано в декабре 1919 г., в момент решительных побед Советской России над белыми, в момент ликвидации Колчака и Юденича, когда Деникин был отброшен к Кавказу. О чем свидетельствует эта выдержка? О том, что мы тогда в момент величайших побед ни на минуту не теряли из виду следующие пункты. Во-первых: Россия — страна с преобладающим крестьянским населением и потому коммунистическая политика не может найти почвы в деревне; социализация сельского хозяйства представляет собой проблему, для разрешения которой нужна работа поколений. Конкретно советское правительство должно стремиться к компромиссу с крестьянами; это значит, что была констатирована мелко-буржуазная основа товарного производства для преобладающей части русского народного хозяйства на ближайшее время. Во-вторых, было установлено, что мировая революция, после преодоления демобилизационного кризиса, будет развиваться медленно и потому советское правительство должно искать modus'a vivendi с капиталистическими государствами и быть готово на уступки капиталу. „До тех пор, пока в важнейших государствах не победит пролетариат и не будет в состоянии использовать все производственные силы мира для строительства, пока пролетарские государства будут существовать рядом с капиталистическими, они вынуждены будут заключать компромиссы и не будет ни чистого социализма, ни чистого капитализма, а, будучи территориально разграничены, они должны будут в пределах собственного государства делать уступки друг другу". Эта точка зрения была не только моей, но и руководящих инстанций русской коммунистической партии и советского правительства. Она не была результатом опыта 1919 года. Ленин не только придерживался ее в течение всего 1917 года, но и защищал ее в апреле 1918 г. в большой своей речи о ближайших задачах советского правительства, и эта речь стала 29-го апреля 1918 г. мнением Исполнительного Комитета Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. Ленин сказал в своей речи следующие мысли:

„В области внешней политики необходимо, с одной стороны, создать Красную армию, с другой—делать уступки интернациональному капиталу до тех пор, пока мировая революция не победит". В области хозяйственного строительства он не только выступал за необходимость привлечения буржуазных специалистов и высокую оплату их труда, не только за компромисс с мелко-буржуазными кооперативами, но также и за соглашение с крупными капиталистическими группами, которые должны были организовать тяжелую индустрию под контролем государства и при участии его в прибыли. Мы должны у королей трестов научиться, как организовать социализм, — заявил Ленин в апреле 1918 года и требовал временного прекращения дальнейших нападений на капитал, так как он был того мнения, что советское правительство уже экспроприировало больше того, чем оно в состоянии управлять. Эта намеченная в апреле 1918 года Лениным политика подтверждалась теоретически неоднократно также в 1919 году вождями советского правительства (смотри речь Ленина об отношении к среднему крестьянству в апреле 1919 г., и беспрерывные предложения мира и концессий со стороны советского правительства иностранному капиталу в 1919 году).

Почему же, несмотря на это, советское правительство вело противоположную политику с осени 1918 года до марта 1921 года, политику конфискаций в деревне, национализаций всех средств производства в городе и даже полного запрещения внутренней торговли.

которая преследовалась, как спекуляция? В своей речи на съезде политпросветов Ленин назвал политику этих трех лет ошибкой и предложил возвращение к политике 1918 года. Это его заявление было подхвачено противниками коммунизма, как признание банкротства русского коммунизма, как доказательство правильности всего написанного о политике русского коммунизма не только меньшевиками, но и журналистами всей прессы капиталистического мира. Ленин несомненно обладает большим мужеством в признании совершенных ошибок. Но ясно, что он, как руководитель правительства большой страны, не для того произносит свои речи, чтобы излить душу свою перед капиталистами всего мира и меньшевиками, его речи имеют политические цели. В своей более поздней речи, произнесенной им 29-го октября (она напечатана в московской „Правде“ от 3-го ноября), он объяснил, почему он говорил о недостатках и ошибках. Он заявил, что следует не только дать новую ориентацию хозяйственной политике советской России, что имеет место с марта 1921 года, но и взяться за проведение новой политики. В самом деле, партия, которая вела политику строгой национализации с осени 1918 года, не может в одно мгновение переучиться и взять новый курс, а потому необходимо в яркой форме представить ей изменение условий дальнейшего развития советской республики. Это и делает Ленин, говоря о прежних ошибках. В речи, произнесенной на съезде политпросветов, Ленин пытается разъяснить сущность ошибки, сравнивая две различных тактики японского генерала Ноги под Порт-Артуром. Последний нападал сначала на крепость, прибегал к бешеным фронтальным штурмам, во время которых пало огромное количество жертв. Когда Порт-Артур не мог быть взят таким образом, Ноги перешел к медленной систематической осаде и взял город путем упорной борьбы, в которой работа саперов и артиллерии играла не меньшую роль, чем атаки пехоты.

Ленин спрашивает: были ли первые штурмы ошибкой? Ответ гласит: и да и нет. Они были ошибкой, так как потом обнаружилось, что они недостаточны были для взятия крепости. Они не были ошибкой, так как без штурма нельзя было определить силу сопротивления противника. Полководец обязан сделать попытку победить врага в кратчайшее время, и, в конце концов, отраженное нападение ослабляет противника и подготовляет победу путем осады. Точно также,—говорит Ленин,—можно было попытаться низвергнуть капитализм в России путем штурма. Когда же фронтальные атаки не дали желанных результатов, то является необходимость отступить и организовать при помощи новых средств осаду врага для победы над ним. Как всякое сравнение, и это сравнение Ленина хромает на обе ноги, но анализ этого сравнения помогает выяснить характер советской республики в изображенный период времени и определить сущность новой экономической политики.

Сравнение неправильно уже потому, что роль вождя революции и имеющаяся у него свобода выбора совершенно другие, чем у главнокомандующего на войне.

Предварительно следует отметить, что легенда о планах войны есть старая легенда, против которой выступали все истинные военные историки и историки стратегии. Генеральные штабы всех армий стараются представить себе картину будущей войны и делают набросок того, что профан называет планом войны; но в истории не было ни одной войны, проведенной по плану какого-нибудь генерального штаба, если не считать войной какой-нибудь отдельный эпизод,

какую-нибудь атаку. После поражения 1918 года в немецкой военной литературе поднялся большой спор, велась ли война по плану Шлиффена или нет. Историческое исследование показало, что вообще не было плана войны. Шлиффен представлял себе положение, в котором Германии придется вести войну на два фронта, и он наметил в основании расположение немецких военных корпусов на тот случай, если война будет вестись в принятых им во внимание условиях. Шлиффен считался с медленностью русской мобилизации и полагал, что, пока Россия сможет двинуть свои главные силы, можно будет продержаться на восточном фронте одной обороной и попытаться сначала разбить Францию с превосходными силами. Плана войны он не дал, ибо прекрасно понимал, что конкретный план может быть разработан лишь после первых столкновений с враждебными силами, которые и определят линии дальнейшего поведения. Основные предпосылки Шлиффена не осуществились, и потому его основная мысль даже не могла быть правильно применена. Если военное командование не обладает наперед разработанным общим планом войны, то оно все-таки может провести план отдельного сражения. Полководец имеет в своем распоряжении информацию о состоянии сил врага в конкретной боевой ситуации. Его силы являются также определенной данной величиной. И он старается определить возможности победы над враждебными силами и останавливается на мысли, которая кажется ему наиболее благоприятной. У него имеется свобода выбора.

Такое же положение было у Ноги. Ноги мог наперед знать, что взятие Порт-Артура штурмом невозможно. Он мог при правильной оценке враждебных сил избежать совершенной ошибки. Ноги переоценил шансы штурма, не дооценил силы противника и потому штурм его был ошибкой. Теперь наш Ноги, Ленин, высоко ценит силы мирового капитала. В своей речи в апреле 1918 года он разработал план войны, исходя из правильной оценки сил противника и нашей слабости. Поэтому он настаивал на уступках крестьянству и капиталу и на политике компромиссов с мировым капиталом, заключая в Брест-Литовске мир с Германией и делая всякие усилия, чтобы избежать войны с Антантой. То, что Ленин теперь называет новой экономической политикой, есть не что иное, как дальнейшее развитие его военного плана 1918 года. Что же заставило его осенью 1918 г. оставить свой умный план? Или он просто проспал два года? Нет, у Ленина не было свободы действия и выбора решений. С восстания чехо-словаков летом 1918 г. и занятия Архангельска англичанами враг захватил инициативу в свои руки. Он диктовал советской республике условия действия. Враг был сильнее нас и держал инициативу в своих руках, а с переходом его в наступление возможность компромисса с ним и вовсе была исключена.

Пришлось воевать, и эта война развивалась опять не по намеченному плану, а согласно создавшейся военной обстановке.

Мы прекрасно понимали, что нуждаемся в компромиссе с крестьянами, которые являются производителями товаров и мелкими собственниками, что в течение целых поколений придется их склонять в сторону коммунистической политики, убеждая их на опыте в выгоде новейших технических приемов в земледелии. И, несмотря на это, мы должны были прибегнуть к политике разверстки, которая создавала нам противников в деревне и которая должна была одновременно ослаблять сельско-хозяйственные силы страны. Сибирь была в руках чехо-словаков, затем Колчака, Украйна—в руках немцев, Скоропад-

ского и затем Петлюры, наконец в руках Деникина. Мы должны были кормить города и все возраставшую армию из запасов центральной России и Поволжья. Крестьянин только что получил землю. Он только что вернулся с войны в деревню, у него было оружие и отношение к государству, весьма близкое к мнению, что такая дьявольская вещь, как государство, вообще не нужно крестьянину. Если бы мы попытались обложить его натуральным налогом, мы не сумели бы собрать его, так как для этого у нас не было аппарата, а крестьянин добровольно ничего не дал бы. Нужно было сначала разъяснить ему весьма грубыми средствами, что государство не только имеет право на часть продуктов граждан для своих потребностей, но оно обладает и силой для осуществления этого права. Мало того, вследствие скудости хлебных запасов с осени натуральный налог должен был бы отнять у крестьянина все, что оставалось ему по удовлетворении своих потребностей. Натуральный налог, отнимающий все продукты питания и проводимый с помощью военной силы, есть не что иное как реквизиция.

Если мы стремились забрать у крестьян все продукты питания, то мы должны были всеми силами воспрепятствовать, чтобы часть безусловно необходимого нам хлеба не была продана. Мы должны были запретить крестьянам продажу хлеба и вообще торговлю в городе, которая побуждала их к этой продаже.

Могли ли мы оставить в руках буржуазии индустрию и средства производства? Мы знали, что не сумеем самостоятельно управлять мелкой и средней индустрией, наши силы не были достаточны для того. Мы знали, что государственное синдицирование промышленности при практическом руководстве контролируемых государством капиталистов есть наиболее благоприятная для нас форма промышленной организации. Но господа руководители индустрии перебежали к врагу, чтобы сначала с помощью немцев, а затем союзников нас уничтожить. Они не хотели быть арендаторами и стоять под контролем рабочего государства. Словом, они не хотели с нами договариваться, так как у них была надежда разбить нас. Политика компромисса с вождями крупного капитала была невозможна, потому что они не только не признавали нашей силы,—а только взаимное признание силы образует базу для компромисса,—но были убеждены, что им удастся нас победить.

Что касается мелкой и средней индустрии, то и здесь была необходимость с момента начала великой гражданской войны ее закрыть. Фронты гражданской войны отличаются от фронтов войны между государствами тем, что как белые, так и красные имели всегда враждебные силы в тылу. На одной стороне фронта красные имели превосходство, но на их территории контр-революционные силы от этого еще не исчезли. На другой стороне власть была в руках белых, но силы красных, силы революции существовали и являлись большой угрозой для белой диктатуры. Как белая, так и красная диктатура должна была для победы на фронте радикально подавлять враждебные силы и в тылу. Сила рабочего класса—в организованности, потому белая диктатура подавляет всякую форму организации рабочих. Сила буржуазии заключается в средствах производства и в товарах, находящихся в ее распоряжении. Мы можем подавлять как угодно партийно-политическую организацию буржуазии, но если мы оставим буржуазную торговлю и буржуазную индустрию, даже мелкую и среднюю, то буржуазия сохранит свои связи как класс, на почве взаимных деловых сношений и использует, как

враг рабочего класса, свои материальные средства для борьбы против нас. Потому мы должны были национализировать даже мелкую и среднюю индустрию. Началась борьба, и враг должен был быть разбит. Мы или они—так стоял вопрос, и не было места компромиссу.

Но национализация была нам необходима и из экономических соображений. Нам приходилось вести войну против врага, в распоряжении которого находились новейшие военные и технические средства. Мы должны были снабдить и вооружить армию средствами дезорганизованной мировой войной промышленности, которая еще раньше у нас находилась на более низкой ступени, ниже чем западноевропейская. Мы могли победить лишь в том случае, если бы мы собрали все индустриальные силы страны и без всякой пощады использовали их для победы. Мы разрушали в стороне лежащие железнодорожные линии, когда приходилось усиливать железнодорожную сеть на театре военных действий. Я повторяю еще раз изречение Троцкого на партийном съезде в 1920 году: „Мы ограбили страну, чтобы победить белых". Это была наверное не политика хозяйственного строительства. Это была политика войны и победы, и так как мы иначе победить не могли и победили таким путем, то история сказала об этих методах, что они не были ошибкой.

Но мы обязаны были следовать этим методам не только из-за политики буржуазии и хозяйственной необходимости, но и потому, что должны были быть внимательными к главной силе революции, к рабочему классу, на который мы опирались. Каждый класс имеет свою программу-максимум, от которой он отступает или которую он ограничивает только под давлением других классов и необходимости. Буржуазные социальные реформисты с 40-х годов XIX столетия всегда убеждали буржуазию, что не в ее интересах обращать рабочий класс в рабов. Они доказывали буржуазии, что хорошо оплачиваемый и культурно развитой рабочий лучше работает,—но буржуазия не обращала никакого внимания на эти мудрые советы, пока рабочий класс не противопоставил ее воле к беспощадной эксплоатации свою собственную волю. Русская буржуазия чувствовала уже пламенное дыхание революции, но, несмотря на это, она не думала государственным синдицированием, борьбой со спекуляцией и уступками рабочим парализовать революцию. Русские крестьяне не хотели дать хлеба городам и рабочим, помогшим им получить землю, пока не были принуждены к этому.

Русские рабочие, порабощенные и угнетенные буржуазией, завоевали власть одним приступом. Буржуазия казалась беспомощной, и кто мог ожидать от рабочих, что они в этих условиях будут иметь реальное представление о фактическом соотношении сил, что они действительно поймут трудности нового режима и упрочения их власти. Ленин и вожди партии верно представляли себе как в 1917, так и в 1918 году соотношение сил, но этого понимания не было у массы. Как Ленин в своей речи о ближайших задачах советского правительства, так и Троцкий в своей речи „работа и дисциплина" должны были произносить целые проповеди против названной ими мелко-буржуазной индивидуалистической психологии, которая заключалась в настроении,—что „нам принадлежит промышленность, каждый рабочий хозяин в предприятии и может взять себе, что ему угодно". Если теперь, после 4 лет революции, после величайших лишений Ленин считает необходимым для энергичного и лучшего проведения политики компромисса встряхнуть партию за шиворот и вбить ей в голову убеждение, что хозяйственная политика до сих пор была ошибкой, то весьма невероятно,

чтобы теперешняя политика могла быть проводима в 1917 году. Достаточно напомнить, что влиятельная группа партийных писателей и организаторов с Бухариным, Осинским, Смирновым, Яковлевой, Ломовым и со мною бурно выступали против этой политики в 1918 году в особой газете „Коммунист",—что в партии не только имелось левокоммунистическое направление, но что это направление имело свою центральную организацию. При таком настроении рабочий класс вступил в тяжелую борьбу с белыми и с интервенцией. Он перенес страшнейшие лишения, он должен был принести величайшие жертвы, и кто удивится тому, что Россия, представлявшая военный лагерь и крепость, должна была жить жизнью крепости.

Могли ли борцы революции, терпя голод и нужду, оставить какие бы то ни было средства власти и привилегии классу, который боролся с ними огнем пушек, с помощью Антанты? Необходимости войны и борьбы превратились в головах масс в религию коммунизма. Каждая наша мера, как бы она ни была временна и ограничена по своим целям, была внесена и вплетена в общую систему коммунизма. Маленький филистер, как меньшевик Абрамович, спрашивает, когда и где коммунистическая партия рассматривала свои меры, как временные. Добрый человек не только не участвовал никогда в штурме, но не читал даже с сочувствием ни одной истории большой освободительной войны. Иначе он понимал бы, что революция рядом с холодностью суждения создает иллюзии, которые не „ошибки", а крылья штурма, которые последнему сообщают силу и приводят его к поставленной историей цели. Как было бы смешно отрицать, что мы совершили много ошибок в борьбе, точно так же смешно отрицать, что идеология превращала весьма часто временно-преходящее в систему, что в свою очередь влияло на мероприятия и развивало их дальше необходимого. В общем политика, которую мы должны теперь изменить, взятая в исторической перспективе не только не была ошибкой, но именно благодаря ей, проведенной с железной последовательностью, мы смогли отразить врага внутри и вне и создать предпосылки для теперешней политики. Генерал Ноги не достиг своей цели штурмом Порт-Артура, неправильно оценив соотношения сил. Советская Россия не пошла добровольно на штурм. Война с Антантой со всеми ее последствиями была навязана России и наш штурм не был отбит. Мы побили врага, расстроили его планы нашего уничтожения и создали условия для заключения с ним компромисса.

IV.

Новая экономическая политика была прокламирована в марте 1921 года. Она совпадает с двумя событиями: с подписанием русско-английского торгового договора и с подавлением кронштадтского восстания. Эти два события стоят не только в хронологической, но и во внутренней связи с новой экономической политикой. Заключение русско-английского торгового договора показывает, почему мы не перешли к новой экономической политике в 1920 году после победы над Колчаком и Деникиным. Причина ясна. После победы над Колчаком и Деникиным сильнейшая европейская держава—Англия—начала с нами переговоры, длившиеся целый год. В это время вторая по силе держава в Европе—Франция—мобилизовала Польшу и Врангеля против нас. Поздним летом в 1920 году Врангель был официально признан Францией представителем русского правительства. Англия, ведя

реговоры с нами, не шевельнула пальцем, чтобы воспрепятствовать французской политике. Английский капитал затягивал подписание временного торгового соглашения, выжидая, не будем ли мы побеждены Польшей и Врангелем, чтобы затем умыть руки. Если новая экономическая политика в одной из своих частей покоится на компромиссе с мировым капиталом, то ясно, что, пока русско-английский договор не был подписан, она совершенно висела в воздухе. Даже теперь, спустя несколько месяцев после подписания этого договора, еще не заключен ни один договор о концессиях. Все эти договоры—в стадии предварительного обсуждения. Голод этого года пробудил новые надежды в мировой буржуазии, и даже те части ее, которые больше не верят в наше поражение, занимают выжидательное положение до наиболее острого момента, когда компромисс между ними и нами сможет быть заключен на наивыгоднейших для них условиях.

Какое отношение к новой экономической политике имеют кронштадтские события? Кронштадтские события были только эхом глубокого процесса брожения в крестьянских массах, отголоском крестьянских восстаний на Украйне и в Тамбовской губернии. Что означали эти крестьянские восстания? Они показали, что империалистическая и гражданская война сильно ослабила крестьянское хозяйство, что хозяйственный кризис России заключается не только в развале ее индустрии, но и сельского хозяйства,—что необходима скорая и коренная перемена политики, которая должна произойти тем энергичнее и радикальнее, чем более неопределенны виды на соглашение с иностранным капиталом и чем более затягиваются переговоры с ним. Кризис сельского хозяйства и затяжной ход переговоров с иностранным капиталом заставили советское правительство изменить план хозяйственного строительства весны 1920 года, намеченный после уничтожения Юденича, Колчака и Деникина.

В чем состоял этот план?

Он основывался на надежде, что скоро удастся восстановить оживленные хозяйственные отношения с капиталистической заграницей, которая должна была нам дать массу средств производства. Для использования последних, для скорого выполнения предварительных работ должна была быть привлечена грубая физическая сила широких крестьянских масс путем организации трудовых армий. Строительство должно было начаться фронтальной атакой. Это не было коммунизмом, ибо мы были готовы бо́льшую часть промышленности сдать в аренду иностранному капиталу. Шум капиталистической и меньшевистской прессы, что это есть новое рабство, свидетельствует только, поскольку буржуазия боится быстрого темпа хозяйственного строительства в советской России. Так как это хозяйственное строительство было не меньше в интересах крестьян, чем рабочих, то трудовые армии не имели в себе ничего коммунистического. Они были необходимой мерой и будут таковой, где только пролетарско-крестьянское правительство в состоянии будет проводить хозяйственное восстановление быстрым темпом.

План потерпел крушение, во-первых, потому, что трудовые армии через несколько месяцев их существования были использованы для борьбы с поляками и Врангелем, во-вторых, вследствие слабого подвоза средств производства из-за границы. Фронтальная хозяйственная атака стала в этот момент невозможной. В начале 1921 года стало ясно, что хозяйственное восстановление будет итти весьма медленно. Мировой капитал, который был неспособен нас задавить, показал себя неспособным и заключить с нами скорый компромисс. Все эти

моменты определили необходимость отступления от плана 1920 года. Тактика этого отступления составляет сущность новой экономической политики.

V.

Новая экономическая политика советского правительства началась заменой разверстки в деревне натуральным налогом. Разница, во-первых, заключалась в том, что с этих пор крестьяне должны были отдавать одну определенную часть своего урожая, в то время, как прежде у них производились реквизиции по мере потребностей армии и городов.

Назначенный натуральный налог значительно ниже того, что крестьяне отдавали до сих пор. Он побуждает их увеличивать посевную площадь и улучшать обработку земли, так как излишки сверх удовлетворения жизненных потребностей и уплаты налога государству могут быть обменены ими путем торговли на продукты промышленности. Таким образом, уступки крестьянам привели к уступкам городской буржуазии и нелегально сохранившемуся в форме спекуляции торговому капиталу. Вообще говоря, из уступок крестьянам вовсе не вытекали сами по себе уступки торговому капиталу: если бы советская Россия располагала большим товарным фондом, то крестьяне могли бы обменивать излишки своего хлеба в государственных кооперативах. Уступки торговому капиталу являются результатом промышленной слабости государства, что определяет и дальнейшие последствия. Торговая буржуазия также не располагает достаточными запасами товаров и старается собрать их путем контрабанды, ибо внешняя торговля есть монополия государства,— и путем закупок на внутреннем рынке. Здесь торговая буржуазия может достать товары только у кустаря. Но кустарь при всем своем домашнем прилежании производит незначительную по количеству и качеству сумму товаров. Если советская Россия не желает искусственно усилить товарный голод крестьян, для чего нет у нее ни одного разумного основания, то она должна, понятно, допустить развитие средней и мелкой промышленности. Государство должно сознательно отказаться от управления этой промышленностью, так как она требует распыления его далеко не богатых организационных сил. По этой причине советское правительство разрешает аренду мелких и средних предприятий рабочим кооперативам и частным лицам. Но этим еще не достигнута граница уступок и отступлений советского правительства. Советскому правительству нужны иностранные технические силы, а государственного золотого запаса недостаточно для закупки нужных машин за границей. Чтобы получить их, советскому правительству приходится другими средствами привлекать иностранный капитал. Для этого служат концессии. Таким образом, иностранный капитал получает возможность укрепиться в крупной индустрии, являющейся государственным имуществом советской России и ее социальным базисом.

Эта политика советского правительства содержит в себе: 1) уступки на продолжительное время, в ближайшую историческую эпоху, и 2) уступки более преходящего свойства. Уступки крестьянам несомненно принадлежат к первому роду. В стране с преобладающим мелко-буржуазным населением, в которой мелкие и средние крестьяне составляют значительное большинство населения, переход к коллективным хозяйственным формам в деревне возможен лишь тогда, когда пролетарское государство в состоянии будет при помощи техники указать

:стьянам дорогу вперед. Пока советская Россия не покроется сетью ктрических станций и новейшие сельско-хозяйственные машины не ;дут широкого распространения в деревне, крестьянин останется ким хозяином. Другое дело уступки торговой буржуазии и мелко-...италистическим арендаторам. Как только крупная индустрия на-:инет работать и в состоянии будет кое-как покрывать потребности в товарах, она уничтожит своей конкуренцией мелкую промышленность. Развитие кооперативов все больше будет вытеснять мелкую торговлю и тем скорее, чем энергичнее будет государство оказывать поддержку кооперации. Уступки иностранному капиталу связаны с международным положением, они вызваны двойной необходимостью: получить средства производства от иностранного капитала и заглушить интервенционистские тенденции. Продолжительность этих уступок связана , длительностью теперешнего относительного мирового равновесия.

Какие новые классовые группировки возникают на почве новой политики советского правительства?

Из крестьянства выделяется мелкая буржуазия. К ней присоединяется мелкая и средняя буржуазия, развивающаяся в городе. Иностранный концессионный капитал образует крупно-капиталистический класс. Против этих классов стоит пролетариат в крупной го-ударственной индустрии, в мелких и средних арендованных предприятиях и в крупных концессиях. Не приходится подчеркивать, что подобное соотношение сил не в пользу рабочего класса. Положение заключает в себе большие опасности. Мелкая и средняя городская буржуазия, концентрированная в культурных центрах страны, попытается на почве своих хозяйственных сношений с крестьянством организовать его против пролетариата и связаться в первую голову с более кулаческими элементами в крестьянстве. Иностранный капитал попытается также, опираясь на силу мирового капитала, изменить в свою пользу условия, на которых он был допущен советским правительством в советскую Россию Затем он будет, без сомнения, пытаться устранить наиболее важное препятствие для своего свободного функционирования, чему будет препятствовать государственная монополия внешней торговли. Род помощи, предложенной Ллойд-Джорджем голодающей России в его речи от 16-го сентября, указывает с большой ясностью на это. Его план состоял в том, чтобы английское правительство открыло кредит товарами английским фирмам, которые эти продукты промышленности обменяют путем свободной торговли России на хлеб. Таким путем иностранный капитал действительно вступил бы в самостоятельные хозяйственные сношения с русскими крестьянами.

Советское правительство ни на минуту не закрывает глаз на эту открывающуюся опасность, противовесом которой является государственная власть в руках пролетариата. Пролетариат, будучи господствующей силой, есть собственник средств производства. Хотя крестьянин будет свободно хозяйничать на земле, но последняя остается все-таки национализированной, то есть в руках государства. Это юридическое право имеет социальное значение. Оно препятствует возникновению крупного землевладения и образованию кулачества, как организованной контр-революционной силы. Оно дает пролетарской государственной власти возможность воздействовать на русскую и иностранную буржуазию, промышленная деятельность которой связана с земельными вопросами. Земельная рента остается средством давления и воздействия со стороны государства. Отдавая промышленные предприятия, поскольку государство их не сохраняет в своих руках,

частным лицам только в аренду и, следовательно, не денационализируя их, пролетарская власть сохраняет контроль над ними. Государство не только определяет отношение арендатора к рабочему классу, что ему, как представителю пролетарских интересов, обеспечивает связь с рабочими массами и сохраняет эти массы, как государственную социальную базу,— но у него есть возможность влиять на хозяйственную деятельность арендаторов и согласовать ее с интересами государственной индустрии. Обладание же средствами транспорта имеет решающее значение для воздействия на хозяйственную деятельность буржуазных элементов.

Целью и результатом новой экономической политики является такое социальное положение.

Пролетарское государство базируется на обладании важнейшими отраслями промышленности, будучи вынужденным передать часть предприятий в руки иностранного капитала, но оно стремится не только усилить, но и расширить свою социальную базу, увеличивая всеми силами количество средств производства. Оно контролирует мелкую и среднюю, сданную в аренду, промышленность, как и часть индустрии, которую оно вынуждено отдавать в аренду иностранному капиталу.

Оно является не только защитником пролетарской рабочей силы, но и регулятором хозяйственной жизни страны, опираясь на свою фактическую власть. В то время, как уступки крестьянству имеют своей целью возобновление и укрепление установленного октябрьской победой союза рабочего класса с крестьянством и, с другой стороны, получение новых вспомогательных средств для крупной индустрии путем развития крестьянского хозяйства,— уступки торговому и промышленному арендному капиталу являются средством получить необходимые товары для удовлетворения потребностей сельского хозяйства. Уступки иностранному крупному капиталу должны дать с своей стороны средства для развития государственной промышленности. Этот порядок вещей далеко не является коммунистической организацией общества, но он способствует развитию русского народного хозяйства на базе укрепления власти рабочего класса, у которого имеется возможность организовать хозяйственную жизнь и ограничить анархию мелко-буржуазного хозяйства.

VI.

Когда русский рабочий класс взял власть 7-го ноября 1917 года в свои руки, то революционный комитет, захвативший власть именем петербургского Совета рабочих и солдатских депутатов, объявил русскому и мировому пролетариату о совершенном им перевороте следующее: дело мира в сильных руках пролетариата. Крестьянин, наконец, получит землю, и рабочий класс распространит свой контроль на индустрию. Ближайшей целью революции ставилось не немедленное осуществление социализма, а разрешение вопроса о мире. аграрный вопрос и контроль над производством, как переходное мероприятие. Но революция не остается в указанных ее вождями границах и не придерживается определений вождей. Русская ноябрьская революция была прелюдией мирового пролетарского переворота. Она была прелюдией коммунистического переворота в капиталистическом мире и как бы ни были ограничены исторические цели, поставленные вождями революции, ее дыхание было дыханием проле-

ско-коммунистической мировой революции. Теперь русская ревоция пришла к своему социальному пределу для ближайшей истоической эпохи. Никакая революция не может осуществить коммунизм им приемом. Если революция повсюду приводит к борьбе за хозяйственное преобразование, то путь этого преобразования может быть в одной стране короче, в другой длиннее, в зависимости от степени хозяйственного развития страны.

Пролетарская мировая революция представляет собой длинный период борьбы. Организация социалистического строя, поскольку дело идет о промышленности, будет в капиталистических странах легче, чем в России. Преобладание концентрированной промышленности и высокий уровень технических познаний пролетариата будут здесь иметь решающее значение. Но, несмотря на это, можно допустить, что западно-европейской революции придется считаться с большими хозяйственными трудностями, из которых самая крупная узость сельско-хозяйственного базиса. Развитие Западной Европы в сторону индустриализма поставило все промышленные страны в зависимость от свободного подвоза продуктов питания. Вопрос о развитии пролетарской революции на Западе тесно связан таким образом с развитием пролетарской революции на Востоке: это приходится принимать во внимание при обсуждении проблемы пролетарской революции в России, ее путей, нужд и характера.

Русская революция прошла весь цикл развития от борьбы за демократическую республику до борьбы за Советскую власть. Советская республика казалась идентичной с победой коммунизма. Но не напрасно ее вожди не внесли слова коммунизм в название республики и неоднократно истолковывали в своих выступлениях слова: Социалистическая федеративная республика, в том смысле, что это—республика борющаяся за социализм. После четырех лет своего существования Советская Республика пришла к границе, определяющей ее историческое значение. Исторический смысл таков, что Россия крестьянская страна, в которой рабочий класс захватил власть, чтобы использовать ее, как средство к развитию России в сторону социализма. Он должен в этом развитии считаться как с мелко-буржуазным характером страны, так и с политическим соотношением сил во всем мире. Рабочая власть реализует свои цели или погибнет в зависимости от развития мировой революции.

Позиция господствующего в России рабочего класса по отношению к буржуазным тенденциям и силам во многом напоминает положение феодальных элементов в России по отношению к буржуазным. В середине XIX столетия все более усиливались капиталистические тенденции в России. Феодальный класс делал им одну хозяйственную уступку за другой, чтобы только удержаться у власти. Больше полустолетия он старался отсрочить политические уступки. Он был наконец разбит, будучи вынужден под давлением рабочего класса пойти на компромисс с буржуазией.

Положение рабочего класса по отношению к буржуазии, понятно, не во всем аналогично положению феодальных элементов. Оно отличается в вопросе о направлении развития всего мира. Царизм должен был капитулировать, так как развитие всего мира шло в сторону капитализма, то-есть, побед буржуазии. Капиталистический мир находится сейчас в возрастающем распаде. Русская буржуазия не есть новый жизнеспособный и жизнерадостный класс, она представляет собой разбитый класс, который снова поднимается на костылях временного усиления мировой буржуазии после демобилизующего

кризиса 1918—1919 г. Новые буржуазные элементы в России, освобожденное от помещичьего ига крестьянство образуют несомненно почву для новой сильной буржуазии в случае интернациональной победы капитала. При победе европейского пролетариата русское крестьянство будет слишком слабо, чтобы выделить контр-революционную силу против основной тенденции мирового развития. Эта основная разница имеет решающее значение при оценке позиции тех мнимо-марксистских элементов, которые, как Пауль Леви, говорят: так как по теории марксизма экономические отношения являются решающими, то советская Россия, сделавши хозяйственные уступки буржуазии, вынуждена будет вступить на путь развития к буржуазной демократии. Такая точка зрения говорит ясно об одном, что автор хоть и занимается изучением азбуки коммунизма, но до образования слогов из букв еще не дошел.

Никакой марксизм не говорит о том, каким темпом экономические условия переходят в политические. Если бы в ближайшее время распад капитализма сменился определенными тенденциями к восстановлению капиталистического господства, то буржуазное давление на пролетарскую власть в России росло бы без сомнения с каждым днем все сильнее и советскому правительству пришлось бы выбирать: либо погибнуть в борьбе, либо превратиться в орудие буржуазии. Кто не находит в истории последних трех лет никаких оснований для предположения, что капиталистическому общественному строю удастся овладеть силами разложения, тому не приходится ни в коем случае придерживаться мнения наших защитников азбучных истин, что за сделанными хозяйственными уступками должны последовать и политические.

История всех революций капиталистического века указывает на борьбу социалистических и капиталистических тенденций. Социалистическо-пролетарские тенденции в английской и во французской революциях были побеждены буржуазными, так как капитализм находился в возрастающей линии своего развития. Русская революция образует часть развивающейся пролетарской мировой революции. При политической только своей победе она меньше всего может осуществить задачи мировой революции, преобразование капитализма в социализм, так как предпосылки для того более всего отсутствуют в России. Судя по тому, что происходит в данную историческую эпоху, в которую мы вступили после переворота 7 ноября 1917 г., результаты русской революции являются весьма ограниченными. Она основательно рассчиталась только с феодальными классами и с остатками феодализма. Буржуазия и буржуазные тенденции не могли быть искоренены, так как до тех пор, пока в Европе господствует капитализм, эти тенденции будут постоянно возникать из крестьянского хозяйства и будут усиливаться вследствие капиталистического окружения советской России. Власть в руках рабочего класса России есть средство для планомерного уничтожения капитализма. Будучи изолированной в России, эта власть не может преодолеть капитал. Победа мировой революции в промышленных странах откроет возможность быстрого развития в этой области, и капитализм будет преодолен не столько путем красного террора, сколько хозяйственными средствами.

До этой победы пролетарской революции в промышленных странах русская советская республика имеет своей задачей удержать власть рабочего класса, чтобы Россия не стала резервуаром человеческих и материальных сил для контр-революции. Если советская республика выполнит только эту негативную задачу, то она окажет

мерную услугу мировой революции. Она не позволит мирово...
талу подавить усиливающееся революционное движение европей...
о пролетариата штыками русских крестьян. Если советскому
ительству удастся, благодаря его реальной политике признани...
ов, каковыми они есть, и учета последних, усилить советску...
ию до такой степени, что она сумеет играть активную роль в
орьбе ближайших лет путем военной помощи или вывозом хлеба в
ромышленные страны, в которых победит пролетарская революция
и вопрос о характере русской революции будет этим окончатель...
азрешен.

До сих пор русская революция была первой и потому наибо...
е слабой частью начинающегося социалистического мирового пере...
орота. С момента ее соединения с великим потоком мировой про...
тарской революции ее дальнейшее развитие в сторону социализм...
ак видной военной державы и державы с широчайшим сельско...
озяйственным базисом, станет главной задачей интернационального
ролетариата.

Противники русской пролетарской революции, украшающи...
бя перьями марксизма, используют задержку в развитии миро...
й революции и новую экономическую политику советского пра...
тельства, которая отчасти есть результат медленного развития ми...
вой революции, чтобы подорвать веру в мировом и в русском про...
тариате в собственные силы, отрицая пролетарский характер рус...
ой революции только потому, что она не сумела одержать победу
д капиталом в один прием. Они ссылаются на свои предсказания.
о русская революция приведет к господству только буржуазию и
о она уничтожит только феодализм. Но эти сторонники буржуа...
го характера революции оставляли ее в руках тех сил, которые
хотели ликвидировать феодализм. Меньшевики, которые поддер...
вали правительство князя Львова и мешали крестьянам ликвиди...
зать крупное землевладение, меньше всего имеют основание хва...
ться признанием буржуазных границ революции. Они не осмели...
сь даже довести революцию и до этих границ.

Под руководством большевиков она переступила эти границы,
а вырвала власть из рук буржуазии и начала при помощи этой
асти изменять социальные отношения в России. Каждый шаг ее
еред приводит противников пролетарской революции в ужас. Ка...
ую остановку в ее движении вперед они приветствуют. Это не
ожно беспокоить борцов революции. Они знают из опыта военных
ствий, что остановка в движении вперед, даже отступление являет...
часто необходимым предварительным условием для новых по...
оносных нападений.

На экономические темы.

„Размышления“ г. Петра Струве.

В. П. Милютин.

Экономическая жизнь и современное хозяйственное строительство советской России имеют всемирно-историческое значение. Это знают наши друзья, но это понимают и наши враги.

Четыре года, равных по своему значению четырем столетиям за плечами советской России. То, что нашим противникам казалось сначала каким-то историческим курьезом, легко проходящим, затем несколько затянувшимся социальным опытом, теперь постепенно, преодолевая колоссальные трудности на пути своего развития, превращается в устойчивую форму общественной жизни, значение которой простирается за национальные рамки, пока еще ограничивающие новую форму.

Если до 1917 года кризис капитализма приводил лишь к „внутренним“ потрясениям в рамках капиталистического строя, что давало право апологетам капитализма гордо говорить о вечности и незыблемости основ капиталистического строя, то с 1917 года положение изменилось, количество превратилось в качество, и на историческую арену выступило новое явление, заставившее затрепетать сердца верных сынков капитализма.

Переходный период от капитализма к социализму начался, и муки родов истории приводят многих в ужас.

Но тот, кого история собирается хоронить, без борьбы жестокой и беспощадной отнюдь не хочет сходить в могилу. Сентиментальные мечты о добрых капиталистах, которых можно посадить на пенсию а затем вводить социализм, практикой жизни разбиты в пух и прах.

Новый строй входит, борясь на каждом шагу со старым.

Практики и теоретики капитализма стараются осмыслить происходящее и ориентироваться в нем. В этом отношении их выводы представляют для нас несомненный интерес. Всегда следует знать, что думает о тебе твой враг.

В особенности хозяйственная жизнь советской России подвергалась и подвергается ожесточенному разбору со стороны ее противников.

Причины этого сами по себе понятны. При этом особенно интересны выступления чистых представителей капитализма, и менее интересны размышления их подголосков.

Перед нами лежит брошюра г. Петра Струве „Итоги и существо мунистического хозяйства".

Брошюра эта представляет в сущности оттиск его речи, произ...нной на съезде сбежавших из России фабрикантов и заводчиков, исходившем 17-го мая 1921 г. в Париже.

Политическая физиономия г. Петра Струве достаточно известна, чтобы на ней стоило останавливаться. В настоящее время он дока...лся до монархизма. В одной своей брошюре [1]) он прямо говорит:

„Поскольку крушение монархии для русских означало крушение самой России, многие образованные русские, не бывшие монархистами, стали монархистами из русского патриотизма. И, конечно, с точки зрения русского патриотизма это было единственное правильное рассуждение".

В области экономической он является ярым принципиальным защитником капитализма, вполне откровенным и последовательным.

Характеризуя октябрьскую революцию, он в отличие от мелочности Каутского сознается:

„... русская социалистическая революция имеет очень крупное значение для Запада. Это — первая в мировой истории социалистическая революция, первый опыт осуществления социализма в широком масштабе, т.-е. как целостной системы, проводимой велением власти" [2]).

В другом месте он говорит:

„Коммунизм Ленина и его товарищей бесспорно основан теоретически на марксизме, на социалистическом и историческом учении Маркса". („Итоги и существо коммунистического хозяйства", стр. 13.)

В этом отношении г. Петр Струве не хочет прибегать к дешевым аргументам и изворотам своих подголосков. Но он не был бы апологетом капитализма и его слугой, если бы не постарался попытаться доказать и неудачу первой социалистической революции и заодно всего социализма.

Способ, с помощью которого действует в этом случае г. Петр Струве, весьма прост: он вырывает события из их исторической связи и обстановки и затем расправляется с ними по-свойски.

В своих „Итогах коммунистического хозяйства" г. П. Струве ставит три вопроса:

1) „Что означает в действительности коммунистическая революция, как экономический процесс, к какому состоянию экономическая политика Советской власти реально привела все народное хозяйство России?"

2) „Каково отношение этой экономической политики к тем социально-политическим идеям и формулам, которые известны под наименованием социализма, коммунизма и т. п.?"

3) „Каково действительное соотношение между стороной хозяйственной и стороной политической, или, выражаясь иначе, между хозяйствованием и властвованием?"

Ответ на первый вопрос заключает в себе оценку современного экономического положения советской России. Вряд ли кто из наших

[1]) „Размышления о русской революции". София. 1921 г.
[2]) „Размышления о русской революции", стр. 15.

врагов давал такую решительную характеристику в смысле оценки нашего тяжелого положения, чем мы. Зачастую палка несомненно перегибалась в сторону пессимизма нашими товарищами, и размеры разрухи и развала нами скорей преувеличивались, чем преуменьшались. Достаточно просмотреть последние речи т. Ленина, чтобы убедиться в этом, когда т. Ленин, в интересах „педагогики" на съезде губполитпросветов, например, особенно резко осветил положение дел.

Но мы в нашей оценке никогда не сходили с исторической точки зрения. Мы понимали, что многолетняя война, сначала империалистская, затем гражданская, не могут дать нам расцвет производства. Мы считались с „издержками революции".

Мы знаем, что лишь медленно (но тем не менее неуклонно) новый строй будет восстанавливать производство и разрушенные производительные силы страны, особенно страны, которая первая вступила на путь социального переворота и которой пришлось в одиночку столкнуться с натиском мирового капитализма. Об этом писали многие товарищи: и Ленин, и Зиновьев, и Бухарин. Не раз мне приходилось указывать на эти условия, в каких приходится жить и развиваться нашей экономической жизни. Но перед нами стоит определенная перспектива восстановления и дальнейшего развития всего народного хозяйства в целом.

Совершенно иначе, конечно, подошел г. Петр Струве к этому вопросу: он взял нашу экономику вне времени и пространства и пришел к такому общему выводу:

„Содержанием коммунистической революции была неслыханная в мировой истории грандиозная экономическая реакция".

Доказательства этому, самые главные, следующие:

„Прежде всего основной признак: состояние и движение населения... Вымирание населения, определяемое прежде всего ужасающим ростом смертности,—таков тот основной факт советской экономики и демографии, в смысле и значении которого не может быть, увы, никакого сомнения".

Господа Струве, виновники империалистской и гражданской войн, погубившие миллионы человеческих жизней, разорившие целые страны, теперь, ничтоже сумняшеся, ссылаются с наивно ученым видом старцев не от мира сего в этом деле на советскую экономику.

Еще характернее второе доказательство:

„Регресс промышленной и вообще хозяйственной жизни при коммунистическом режиме сказывается решительно во всем. Одним из ярких признаков его является, например, вытеснение минерального топлива древесным".

Петр Струве убежден, что нам очень нравится отапливать наши паровозы, фабрики, заводы—дровами, да еще какими дровами—сырыми. Экий действительно странный вкус к дровам у коммунистического режима,—всякий другой режим знает, что куда удобней топить нефтью и каменным углем. Какие отпетые самоеды сидят у нас в Главтопе! Но не припомнит ли г. Петр Струве, как он сначала с Деникиным, а потом с Врангелем, с помощью французов и в 1919 и в 1920 годах отрезывал от всей промышленности России — Донецкий бассейн, откуда мы получали 90% нашего угля? Или неужели ему не известно, что англичане, повидимому „с прогрессивными целями", в свое время захватили у нас Баку?

Конечно, если бы мы не совершили „регрессивного" шага и не за ли бы недостающее, отнятое у нас минеральное топливо дро, благодаря чему не приостановилось наше железнодорожное дви е и, хотя плохо, работали наши фабрики и заводы,—если бы мы не сделали, нам не удалось бы во-время передвигать наши вой и разбить на-голову г. Струве с его союзниками. Увы, г. Струве, акое положение имеет свою логику!

В настоящее время, когда *Донецкий бассейн в наших руках*, Баку наших руках, г.г. Врангель, Струве, Деникин и иже с ними там, е им быть полагается, у нас большой аппетит и к углю и к нефти, мы прилагаем все усилия, чтобы нужное соотношение между мине альным топливом и древесным было восстановлено.

Данные говорят за то, что это с течением времени будет до игнуто.

„Внешняя картина,—по мнению П. Струве,—на первый взгляд производит пестрое впечатление: рядом с „окустарением" промышленности, как бы прячущейся от социалистического режима с поверхности экономики в ее норы и поры, наблюдается и обратное явление—„укрупнение" предприятий. Внешним образом это укрупнение напоминает концентрацию или централизацию производства в свободном некартеллированном или картеллированном капиталистическом хозяйстве. Но стоит только осмыслить эти два процесса, чтобы видеть их глубочайшее различие. Укрупнение предприятий в капиталистическом хозяйстве происходило под давлением роста производительных сил и производства в условиях неограниченной свободы конкуренции, это было результатом того процесса, который Маркс охарактеризовал, как анархию производства, непременный спутник и необходимое явление буйного роста производительных сил капитализма. Коммунистическое укрупнение производства, наоборот, есть вынужденное приспособление к всестороннему оскудению народного хозяйства, к недостатку сырья, топлива, рабочей силы, продовольствия и т. д. и т. д."

В своем критическом увлечении г. Петр Струве даже забыл тот акт, что в капиталистическом обществе „укрупнение" промышлен юсти происходит не только благодаря „буйному" расцвету произво ительных сил, но и благодаря не менее буйному проявлению эконо ических кризисов, во время которых гибнут мелкие, средние и слабые едприятия. С другой стороны, он также не увидел того, что у нас онцентрация производства, являясь программным требованием, проводилась не только в силу недостатка топлива, сырья и т. д., но кже и в силу экономической целесообразности.

Такова характеристика экономического положения советской Рос и, даваемая этим ярым приверженцем капитализма.

Охарактеризовав таким образом экономическое положение, г. Стру дает на основании этого и ответ на второй вопрос об отношении шей экономической политики к социализму.

Признав, как это мы видели, что большевики проводили соци истическую политику, что они в области теории являются маркси ами, г. Струве приходит к выводу, что именно применение в пра ике идей социализма привело к тем отрицательным результатам, кие имеются в хозяйстве советской России.

Для доказательства этого он сводит всю социалистическую те нию к идее у р а в н и т е л ь н о с т и. При чем, по мнению г. Струве,

мы, как власть пролетариата, должны были бы осуществить эту уравнительность сразу и полностью. Он, как и вся почти буржуазия, убежден в нашей наивности и непрактичности.

Правда, непрактичности этой самой у нас немало, и мы вынуждены учиться в дыму сражений, но мы не были бы марксистами (и это проглядел г. Струве), если бы не исходили из учета действительности, из учета соотношения сил и нашу политику не сообразовали бы с жизнью. Этого не понял и не поймет г. Петр Струве.

К вопросам социализма он подходит, как метафизик.

> „С социалистической точки зрения,—говорит он,—обоснование производительности, или успешности производительного процесса, на дифференциальной оплате труда есть радикальное отступление от уравнительной или эгалитарной основы социалистического советского хозяйства.
>
> И то, что социалистическая мысль и социалистическая влас обращаются к этому выходу, не есть обстоятельство, чисто ист рически определяемое культурным уровнем русского народа, есть существом дела обусловленная сдача центральной прини пиальной позиции социализма не как правовой или эконом ческой техники, а как социально-политической идеалогии, отк от эгалитарной идеи.
>
> Отказ этот обусловлен тем, что то буржуазное начало, к торое можно охарактеризовать как **начало расценки люде по их личной годности**, есть необходимый двигатель всяк экономической деятельности, которого нельзя устранить, не по рывая в корне всей хозяйственной жизни...“

Ни один сколько-нибудь сведущий социалист не представля себе дело в таком упрощенном виде и не мыслит себе социализ осуществленным в один день; наоборот, в нашей экономической п литике **с самого начала** выдвигался принцип соревнования, с перничества, расценка людей по их личной годности вплоть особой оплаты специалистов.

Представление г. Петра Струве о коммунистах характерно сво вульгарностью:

> „Для коммунистов обобществление хозяйства есть средств уравнительность же представляет цель. Уравнительная цель д коммунистов и еще более для масс, психологию которых и комм нистическая власть не может игнорировать, гораздо интересн и важнее организационного средства и подавно интереснее важнее необходимых для экономической организации буржуазн методов“.

Это, конечно, в корне не верно. Все полезное мы возьмем у кап талистов, больше того, будем „учиться“ у них, по выражению т. Л нина. Надежды г. Струве с этой стороны подкопаться под социали напрасны. Для нас должны быть показательны эти тайные опасен буржуазии, что мы сумеем использовать все полезные достижения к питализма в деле организации хозяйства.

Г. Струве обосновывает далее и неизбежность крушения комм нистов в советской России:

> „В самом деле, предположим, что Советская власть, разс или постепенно, отказывается от своей экономической систем что она, как принято теперь говорить, эволюционирует. Тог

она лишается кадров своих приверженцев, каковыми являются непосредственно зависящие от нее привилегированные „коммунистические" элементы, и, что еще важнее, открывает путь для образования, сплочения и работы в стране кадров абсолютно враждебных".

В этой фразе выражены полностью надежды наших врагов. Конечно, мы не должны закрывать глаза на те опасности, какие несет с собою новый курс нашей экономической политики. Опасность заключается не в том, что этот курс приведет к лишению кадров приверженцев Советской власти. Эти кадры отдают себе отчет в необходимости поворота, и улучшение положения страны явится наилучшей агитацией за Советскую власть. Но, конечно, гораздо серьезней другое указание,—то, что это откроет путь для образования и сплочения в работе контр-революционных кадров. С этой опасностью придется считаться, тут — кто кого. Ведь вообще путь революции полон опасностей. Не может быть такой революции, которая бы совершилась в мире и покое.

Путь, по которому идет мировая социальная революция, это путь, полный борьбы; особенно тяжела эта борьба для пионеров социальной революции.

Время работает на социальную революцию. А наша первая задача укрепить экономическое положение страны, создать крепкую и мощную советскую Россию.

И на этом пути, г. Петр Струве, мы посмотрим, кто — кого.

Достоевский, как художник и мыслитель.

(Стенограмма речи, произнесенной А. В. Луначарским на торжестве в честь столетия со дня рождения Ф. М. Достоевского.)

Товарищи! Я не имею в виду читать сегодня лекцию или делать доклад о Достоевском. Даже в пределах той темы, которую устроители этого вечера мне отвели, я собираюсь только наметить несколько главных идей или тех, которые мне представляются основными в творчестве Достоевского.

Итак, Достоевский, как художник.

Конечно, вряд ли найдется человек достаточно дерзкий, который усумнился бы, что Достоевский—художник и притом великий. И на примере Достоевского, как художника, особенно легко показать всю несостоятельность тех представлений о художнике, которые в последнее время, если не доминируют у нас над прочими представлениями, то все же чрезвычайно шумно о себе заявляют.

Мы неоднократно в этой самой зале слышали от теоретиков искусства, что „форма и содержание в искусстве неотделимы". Что это —совершенное старье различать их между собою. Что художественное произведение совпадает со своей формой. Что художник является прежде всего „формовщиком" своего произведения. Быть художником—значит искать совершенства формы!

Так вот, если именно с этой точки зрения подойти к Достоевскому, то он художник слабый. Никакого совершенства формы в его произведениях нет. Даже наоборот, большая часть его произведений не доделаны, как-то не закончены, внешне не отшлифованы. Но эта слабость совершенно искупается титаничностью художественного содержания.

Вот по поводу этого представления, едва ли не господствующего у нас, о неотделимости формы и содержания в искусстве т. Маяковский, человек талантливый, сказал однажды острые слова: „Вот эти люди! Для них форма и содержание в искусстве все равно, как генерал в мундире". В этом определении наша мысль может показаться очень смешной на первый взгляд; однако, на самом деле оно, действительно, приблизительно так. Есть художники, творчество которых к мундир без генерала, есть такие, у которых оно—генерал в мундире, а есть и произведения вроде генерала без мундира.

Были такие художники, которые употребляли самые великолепные, самые прекрасные краски и формы для своего творчества и надевали эту роскошную внешность на манекен. Правда, такие произведения имеют много внешней красоты, ловкой компановки, внеш-

орнаментовки, но они все-таки остаются манекеном, одетым в ...тый хорошим портным сюртук, портным, который, кроме такого ...ошо сшитого сюртука, ничего больше не может дать... Словом, мундир без генерала.

Однако, совершенно несомненно, есть и такие художники, у которых имеется этот генерал, да такой, который способен командовать в течение столетий целыми колоннами людей и который ходит однако почти голым. И вот Достоевский именно такой художник. Он не заботится о туалете. Генерал его очень часто ходит даже не причесанным, но все-таки Достоевский остается великим художником.

Достоевский, как вы знаете, четыре года был на каторге. В сущности же он был почти всю жизнь на каторге. Почти всю жизнь он ужасающе нуждался. Ему часто, очень часто ради хлеба приходилось печь главу за главой своих романов, совершенно не обрабатывая их, даже не заканчивая как следует. Об этом он постоянно скорбит в своих письмах. Само собой разумеется, при таких обстоятельствах нельзя винить Достоевского в том, что он не находил, или вернее не искал кристаллизованных форм, скажем таких, какими нас балует Пушкин. Но тогда, чем же объясняется то, что эти незаконченные, недоделанные, формально не совершенные произведения все-таки находятся на вершине искусства?

Чехов в одном из своих писем сказал о писателях, ему современных: „Мы очень искусны по части формы. Мы сумеем все очень стильно изобразить. Мы знаем, как сконструировать фразу, главу и т. д., но одного у нас нет, самого главного нет—Бога. Нет того, во что мы верим, потому что мы все дети безвременья".

Вспоминаются мне также слова апостола Павла, удивительно в данном случае подходящие: „Если на всех человеческих языках говорить будете, но любви не имеете, то будете как кимвал бряцающий". Чем больше,—чем шире имеется у человека то, что здесь разумеется под любовью, живое, глубокое чувство, тем более способен такой человек быть художником. Пусть форма его произведений несовершенна, но если есть мощное содержание в его душе, то такой художник может пользоваться неизмеримой славой в течение веков. Если же, наоборот, есть только одна форма, прекрасный, звонко бряцающий кимвал, то такой художник будет только модой. Он будет пользоваться только мгновенной славой. Ему может быть отведена только отдельная страница в истории литературы, но в Пантеон мировой литературы такой художник-писатель не войдет.

У Достоевского был этот Бог, про которого говорит Чехов. У его было огромное, мучительное, постепенно вырабатывающееся credo. У него была своя, совсем особенная манера преломлять свои переживания сквозь призму своего сознания. Он был до такой степени исполнен своим Богом, он был в такой мере одержим мыслеобразами, что является для нас столько же художником, сколько пророком и публицистом. То и другое у него неразрывно сливается.

Достоевский был художником-лириком, который в особенности пишет о себе, для себя и от себя. Все его повести и романы—одна огненная река его собственных переживаний. Это сплошное признание сокровенного своей души. Это страстное стремление признаться в своей внутренней правде. Это первый и основной момент его творчестве. Второй—постоянное стремление заразить, убедить, потрясти читателя и исповедать перед ним свою веру. Вот эти оба свойства творчества Достоевского присущи ему так, как ни

одному другому лирику, если под лирикой разуметь призыв потрясенной души.

Таким образом, Достоевский великий и глубочайший лирик. Но лирик ведь не непременно должен быть художником? Он может выражать свои переживания разными способами, в форме публицистической, в проповедях, например. Они не непременно должны быть художественными. Достоевский выражает свои переживания, признания не в прямой форме, а в форме мнимо-эпической. Он замыкает свои признания, страстные призывы своей души в рассказы о происшествиях. Он пишет повести и романы. Подходя к его произведениям, мы должны совершенно отказаться от требований формальной красоты. Достоевский не заботится о внешней красоте. Посмотрите на его повести и романы. В них фраза до крайности безыскусственна. Огромное большинство главнейших действующих лиц говорит одинаковым языком. Посмотрите на самую конструкцию его романов, на конструкцию глав в них. Она чрезвычайно любопытна. Часто даже интересно разрешить эту задачу, - где у Достоевского играла роль воля, при конструировании глав романов, а где просто случай. Его роман зачастую принимает самые причудливые формы. И как геолог разбирается, как произошла какая-нибудь Этна или Фузияма, так интересно разобраться и здесь. Какая разница, напр., с Данте, которого недавно чествовали: там все от общего массива до мелочи — архитектурно, все повинуется плану и твердой зодческой воле. В произведениях Достоевского вы не найдете красивых описаний. Он проходит совершенно равнодушно мимо природы. Словом, как я уже сказал, внешней красоты в его произведениях нет. Но дело-то в том, что у Достоевского вы и не останавливаетесь на форме, вы останавливаетесь перед гениальностью содержания. Он обходит эту ненужную форму. Он стремится поскорее заразить, потрясти нас, исповедаться перед вами. И это два первые двигателя, которые определяют собою самое основное в творчестве Достоевского. Но если бы были на-лицо только эти свойства, то не было бы у Достоевского стимула к тому, чтобы завлекать нас, захватывать нас так, как он это делает в эпических художественных формах. Делает же он это потому, что над всеми его стремлениями высказаться, выявить свою внутреннюю правду, доминирует еще один основной мотив — огромное, необъятное, могучее стремление ж и т ь. Все стирается перед этим страстным стремлением жизни. Как будто чувствует этот человек, что материала ему отпущено для жизни больше, чем можно пережить в одном существовании. Вот это-то страстное, непобедимое стремление жить и делает Достоевского х у д о ж н и к о м в первую очередь. И он создает и великих, и низких, и богов, и тварей. Может быть в своей реальной жизни он отнюдь не живет так интенсивно, как тогда, когда он рождает в мир своих героев, всех этих людей, которые все его дети и которые все — он сам в разных масках. Достоевский связан самыми теснейшими нитями со всеми своими героями. Его кровь течет в их жилах. Его сердце бьется во всех создаваемых им образах. Достоевский не просто рождает - творит свои образы. Он рождает их в муках, с учащенно бьющимся сердцем и с тяжело прерывающимся дыханием. Он идет на преступление вместе со своими героями. Он живет с ними титанически кипучей жизнью. Он кается вместе с ними. Он с ними, в мыслях своих потрясает небо и землю. И потому, что ему в сильнейшей степени присуще стремление жить, дано понимание самых сокровенных глубин жизни, потому он способен к дару пророчества, ибо если мы вкладываем в это слово понятие о прорицании, то именно

я душа, как Достоевского, всегда стремящаяся выявить свою [вну]треннюю правду, признаться в самых глубинных своих пережи[вани]ях, наиболее содержит в себе данных к прорицанию. Такая душ[а мож]ет выражать таинственные глубины человека и судеб челове[ческ]их. Достоевский проявляет свой пророческий дар в мечтах и [г]резах о возможностях жизненных, о том, как может быть он мог бы [жи]ть. И из-за этой необходимости самому переживать, страшно ко[нк]ретно, все новые и новые авантюры, он нас потрясает так, как [н]икто. Но помимо того, что Достоевский сам переживает все проис[ш]ествия со своими героями, сам мучается их мучениями, он еще и [с]макуст эти переживания. Он подмечает постоянно всякие мелочи [ч]тобы до галлюцинации конкретизировать свою жизнь. Они ему нужны [э]ти мелочи, чтобы смаковать их как подлинную внутреннюю жизнь.

Необходимо отметить еще одну особенность творчества Досто[ев]ского. Поскольку его интересует самый „субъект" в переживаниях и [с]амые переживания как таковые, постольку он очень мало остана[в]ливается на описании среды, окружающей его героя обстановки. [П]роходя мимо этого, он стремится поскорее подвести читателя к [п]отоку, к калейдоскопу мыслей, к музыке чувств своего героя. Поэтому [Д]остоевского называют писателем-психологом.

В письме к своему брату, после того, как он начал „Село Сте[п]анчиково", он пишет: „Начал писать комедию, дело подвигается, но [б]росил форму комедии,—хочется подольше пожить с моими героями, [п]обольше о них рассказать, и выходит повесть. Достоевский не может [п]исать кратко. Он намеренно затягивает свои произведения, потому [ч]то, создавая героев, он живет с ними одной жизнью. При этом [Д]остоевскому не важно, что его герой делает. Ему важно, что он [д]умает и говорит. Достоевский —страстный разговорщик. В его про[и]зведениях постоянно идут длиннейшие монологи и диалоги. Но [и]менно этим он заставляет нас подойти вплотную к человеческой [д]уше, заглянуть на самое дно ее и посмотреть, что там делается.

Достоевский пишет романы и повести. Но эти романы и повест[и] [в] сущности драмы. Драмы, чрезвычайно сценичные притом. В ни[х] [в]се основано на переживаниях человеческой души. Остальное задет[о] [м]имоходом, вскользь. Его краткие отметки о костюмах действующих [л]иц, об обстановке похожи на ремарки.

Итак, Достоевского называют психологом, поскольку его больше [в]сего интересуют переживания человеческой души. Но по-моему он [н]е столько психолог, сколько в его произведениях можно найти материал [д]ля психологии, ибо мы под психологом разумеем человека, который не [т]олько умеет анализировать человеческую душу, но и выводить из [э]того анализа какие-то психологические законы.

Чтобы понять, что делает Достоевский с психикой—возьмем хоть [б]ы такой пример - вода. Для того, чтобы дать человеку полное предста[в]ление о воде, заставить его объять все ее свойства, надо ему пока[з]ать воду, пар, лед, разделить воду на составные части, показать, что [т]акое тихое озеро, величаво катящая свои волны река, водопад, фонтан [и] проч. Словом—ему нужно показать все свойства, всю внутреннюю [д]инамику воды. И, однако, этого все-таки будет мало. Может быть [д]ля того, чтобы понять динамику воды, нужно превысить данные [в]озможности и фантастически представить человеку Ниагару, в сотн[ю] [р]аз грандиознейшую, чем подлинная. Вот Достоевский и стремится [п]ревозмочь реальность и показать дух человеческий со всеми его не[и]змеримыми высотами и необъяснимыми глубинами со всех сторо[н]. Как Микель Анджело скручивает человеческие тела в конвульсиях, в

агонии, так Достоевский дух человеческий то раздувает до гиперболы, то сжимает до полного уничтожения, смешивает с грязью, низвергает его в глубины ада, то потом вдруг взмывает в самые высокие эмпиреи неба. Этими полетами человеческого духа Достоевский не только приковывает наше внимание, захватывает нас, открывает нам новые неизведанные красоты, но дает очень много и нашему познанию, показывая нам неподозреваемые нами глубины души.

Достоевский хочет жить. Этого мало. Достоевский наслаждается жизнью, наслаждается страстно, мучительно, до боли. Все его романы есть гигантский акт сладострастия. И это он сам прекрасно понимал. Он неоднократно останавливался на мысли, что все провалы жизни он испытывает как наслаждение, которое доставляет даже сама боль.

Вчера были вскрыты оставшиеся после Достоевского документы. Среди них найдены две новых главы из его романа „Бесы". Теперь эти главы будут напечатаны. В них есть одно место, где Ставрогин говорит: „Если бы виконт, от которого я получил пощечину, схватил бы меня за волосы, да нагнул бы еще, так, может быть, я и гнева-то никакого не ощутил". В этих главах самым ярким и определенным образом анализирует Достоевский наслаждение страданием, преступлением и унижением.

Как неоднократно было замечено, центральным движущим стимулом художественного творчества является половое чувство. Это же чувство служит стимулом в стремлениях к славе, к жизненным успехам и т. д. Это же чувство остро проявляется в творчестве Достоевского. Достоевский в душе обнимал и мадонн и носился на шабаш с бесстыдными ведьмами. Отсюда он пишет своей волшебной кистью судороги духа. Определенно нет ни одного самого маленького момента, который не отражался бы в его душе как наслаждение. Не как счастье, не как гармония, а как сладострастие, могущее включить в себя и мучительнейшие переживания.

Наличие этих свойств есть „демоническое" Достоевского. Можно ли найти другого писателя, демон которого имел бы столь широкие и темные крылья. Правда, в этом отношении ужасен Бальзак, но до безмерного демонизма Достоевского он не доходит.

Однако, весь ли Достоевский выражается в этом? Нет не весь, ибо Достоевский не только художник, а и мыслитель. Тут он тоже огромен. Не в том смысле, что у него можно найти уроки светлой мысли. Нет. Кто ищет этого, тот обращается к самому слабому месту Достоевского, к самому пустому из ящиков его письменного стола. Достоевскому, как мыслителю, присущи только те свойства, кои вытекают из основ его духа. Каждая мысль, которую он высказывает, имеет свое место, как определенная величина в общей системе его духа.

Достоевский умеет превратить действительность в наслаждение. Он макает зачастую свою волшебную кисть в грязное болото и наслаждается этой грязью. Но это не значит, что он оправдывает ее. Нет. Он страдает от житейской грязи. Он часто возвращается к мысли, что страдание имеет искупительное значение. Он считает, что страдать должны все, ибо все виноваты за каждый грех в каждом преступлении. Преступление—всеобще, наказание должно лечь на всех. Таково миропонимание Достоевского. Мысля так, он восстает и протестует против одного, против страданий невинных. В особенности против детских страданий. Кто смел, не исключая и Бога, заставлять страдать невинных? Он заставляет своего Ивана за это итти бунтом

ив Бога. Но не только грех влечет его к себе. Достоевский бесно любит и надзвездные области неба, и они ему открыты. Он я на небе. Он знает, про что поют там ангелы, как это знала онтовская душа. Он умеет понимать и ощущать гармонию бытия т им овладевает стремление к гармонизации жизни и искупления. Это заставляет его итти к петрашевцам. Это заставляет его чувствовать на себе обаяние утопического социализма. Да, Достоевский — социалист. Достоевский—революционер! Ему в величайшей мере присуща мысль, что люди должны построить себе новое царство на земле. И этот идеал рая на земле, гармонической жизни в полном смысле этого слова опять-таки в полной мере присущ Достоевскому. Поэтому Достоевский не мог не ощущать на себе гнета самодержавия и всех ужасов зла, греха и преступления, тесно спаянных с ним. И Достоевский знал, что есть только один путь преодоления самодержавия—путь революционный. Когда человек, вступив на него, говорит: Я Коллективный Всечеловек, вот этими моими руками преображу землю и я продиктую миру, чем ему быть,—какая необъятная человеческая гордыня! Но в то же время сильна в нем была мысль о смирении, даже о желании унижения, ибо и в унижении он находил наслаждение. В этом отношении Достоевскому свойственен был некоторый мазохизм.

Именно эта пассивная сторона, именно это стремление страдать, наслаждаться в страдании, смиряться в страдании — выросла у Достоевского под влиянием гнета самодержавия. Самодержавие послало Достоевского на каторгу и преступление его заключается далеко не в том, что подорвана была внешняя жизнь писателя, что ему причинены были великие физические и нравственные муки, оно еще более ужасно, потому что загнало внутрь великую душу Достоевского, его гордые порывы, его человечное, его социализм, и заставило его душу искать для себя другого, в сущности искаженного, русла. Таким руслом не только для него, но и для искалеченных тем же самодержавием великих душ, вроде Гоголя и Толстого, оказывалась религия. Поток духа Достоевского впал в это русло, так сказать, минуя и огибая кряжистое самодержавие.

Каторга унизила Достоевского, и больно читать эти слова, проникнутые тоном самоуничижения: „меня покарала десница царя, но я готов лобзать ее", эти письма к родственникам „благодетелям, милостивцам", которых он просит не забывать его.

Достоевский — прикованный Прометей — отнюдь не грозит попрометеевски Зевсу. Протест показался бы ему смешным и бессильным Поэтому Достоевский смиряется, ища в соблюдении этого смирения какой то новой на этот раз гордости.

Достоевский уже из недр своей семьи, обладавшей крепким православным укладом, вышел с предпосылками христианства. Теперь, когда он нуждался в оправдании своему смирению, христианство оказалось подходящим для него миросозерцанием. В свое христианство Достоевский внес максимум революционности.

Самодержавие, это угрюмый и мрачный каземат но, войдя в него, вы увидите там, в темном углу, чей-то образ и перед ним теплющуюся неугасимую лампаду. Когда вы вглядитесь в черты того или той, чей образ изображен на этой деревянной доске, то вы увидите изможденный, полный печали лик Христа или Матери его. Ведь это Бог и Богиня, которым молится и сам самодержец. Откуда они взялись? От нас, от пролетариев, из тех общественных низов, которые приблизительно за две тысячи лет в мучительной борьбе выковали себе ре-

лигию, оправдывавшую их покорность. Сколько в ней гнева, мести и поразительных извращений человеческого духа! Чего тут только нет: отказ от всех прелестей мира и вместе с тем мечта о блаженстве, о предельных и даже беспредельных наслаждениях.

Он горько сознавал, что действительность и ее вершина — государство противоречат не только его идеалу братства и искупления человечества от греха, но и идеалу христианскому — церкви. Вы помните эту сцену из „Братьев Карамазовых", когда монах доказывает, что единственно правильная власть есть церковь и что церковь некогда поглотит государство и одна будет править и душами и телами людей. „И буди, и буди",—восклицает монах, поддерживаемый своими единомышленниками. Эта церковь, торжества которой ждет Достоевский, как в свое время ждали царства Иеговы на место царства царей его дальние предшественники, пророки Израиля и Иудеи — не нынешняя церковь господствующих, а воссозданная церковь угнетенных и обездоленных, церковь подлинного Христа, а не великого инквизитора. Русский извод первобытного христианства с его своеобразным аскетизмом и его своеобразными противоречиями привлекал Достоевского и давал ему базу для его пламенного идеализма и в то же самое время, повторяю, оправдывал ее покорность властям предержащим. Святые с их эксцессами, аскезом, самопожертвованием, все эти катакомбы с мерцающими огнями, вся эта огромная духовная сила мучеников и проповедников и вся дразнящая глубина таких положений, как знаменитое русское — „не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься", все эти столь родственные Достоевскому притчи основаны на покаянии и прощении (Блудный сын, Проститутка у ног Христа). Однако, надо помнить, что все это представляет собою только собрание психологических курьезов, только более или менее красивую археологию, если нет веры. Достоевский верит, Достоевский изо всех сил усиливается верить. Но как только критическая мысль ставит его перед понятием о Творце и Промыслителе вселенной, того мира, который полон неправд, так начинается вновь и вновь душевная трагедия. Его грызет сомнение.

Формула Ивана: „Бога-то я приемлю, но мира его не приемлю" несомненно опрокидывает самого Бога, ибо Бог известен нам только через посредство мира. Бог — творец, создавший этот самый мир мук, в котором, сладострастно захлебываясь, в кровавых слезах плавает душа Достоевского, такой Бог не может быть им принят, как Справедливость. И чем же заслоняется Достоевский от собственной своей критики, вложенной в уста Ивана Христом, которого выдвигает Алеша. Христос сам страдал. Достоевский прибегает к таящемуся внутри христианства абсурду, что Бог сам несовершенен, что он сам страдалец. Дело Христа фактически утверждает, что Бог ошибся, создавая мир, создавая Адама и, что для исправления ошибки, он вынужден был Сына своего единородного, в сущности себя самого, предать унизительной казни. Вот за этот-то христианский абсурд и прячется Достоевский. Самодержавие дало сокрушительный толчок судьбе Достоевского и направило его по этому пути. Но душа его часто стремится выпрямиться. В недрах его смиренномудрого миросозерцания вылезет яд. Это своеобразная особенность гения, когда его бьют, звучать благовестом на весь мир. Самодержавие сделало все, чтобы искалечить Достоевского. Но искалеченный Достоевский остался великаном.

Великий искатель социальной гармонии, хотя бы через мистику, религию и христианство, Достоевский был также еще и патриотом. Россия ему рисовалась, как одна неуемная безмерная душа, как

и необъятных противоречий. Но именно эта варварская, невеже-
ная, плетущаяся в хвосте цивилизации страна Петров Великих и
сжигателей, рисовалась ему, как наиболее способная построить
миру нечто новое, светлое и великое. Именно Россия, верил он,
эидет на этот тяжелый подвиг достижения в муках великих целей,
етлого будущего человечества. Вера в мистическую сущность своей
одины мигрирует постепенно с Запада на Восток, хотя началась она
а Востоке и нашла самое бурное выражение в библейских про
эках. Франция, в эпоху Великой Революции, провозгласила себя
сточем мира, искупительницей человечества и объявила войну двор
м и мир хижинам. В разграбленной Наполеоном Пруссии великий
ихте провозглашал, что народ философов и поэтов, глубинный гер
нский народ принесет собою спасение человечеству. Дальше, раз
омленная Польша устами Товянских и Мицкевичей провозгласила
овым Христом измученного, жаждущего правды польского хлопа. И
своей знаменитой речи о Пушкине Достоевский, следуя за некото-
ыми славянофилами, но с гораздо большей полностью провозгласил
ский народ народом избранным. Именно из отверженности своей,
мук своих, из цепей своих может вынести русский народ, по-До
оевскому, все те необходимые высочайшие душевные качества, ко
рых никогда не обретет омещанившийся Запад. И, что же, скепти-
зм перед этим пророчеством Достоевского в наши дни должен по
окнуть? Фактически Россия выполняет роль руководительницы
его мира пролетариев Запада и колониальных рабов Востока.
нечно, дело только начато, но начато оно несомненно. Конечно,
от сдвиг покупается страшной ценой, в страданиях и борениях
разве Достоевский предполагал, что призыв России к служб
ру произойдет без греха и убийств, без голода, без мук? Нет,
зовенькая, чистенькая революция показалась бы Достоевскому на-
ешкой над порывами и чаяниями восторженных душ. Для него
дущее России сплелось с представлением о подвиге, в понятие
торого входят и муки, и победа.

Если бы Достоевский воскрес, он, конечно, нашел бы достаточно
авдивых и достаточно ярких красок, чтобы дать нам почувствовать
ю необходимость совершаемого нами подвига и всю святость креста,
торый мы несем на своих плечах. Достоевский сделал бы больше
научил бы нас найти наслаждение в этом подвиге, найти насла-
дение в самых муках и глазами, полными ужаса и восхищения в
но и то же время, следить за грохочущим потоком революции.

Блок, покойный Блок был достаточно учеником пророческим,
обы следовать перед нами, как бы в духе Достоевского. И он го
рил: „Поток революции разрушает твои надежды, твои мечты. Он
сет с собою много мути и грязи. Но прислушайся, о чем говорит
Его гул всегда звучит о великом".

Россия идет вперед мучительным, но славным путем и позади
благословляя ее на этот путь, стоят фигуры ее великих пророков
среди них, может быть, самая обаятельная и прекрасная фигура
дора Достоевского.

Художник жизни.

(О Льве Толстом.)

В. Вересаев.

I.

В письме к одной своей приятельнице Гюстав Флобер пишет: „Я опять возвращаюсь в мою бедную жизнь, такую плоскую и спокойную, в которой фразы являются приключениями, в которой я не рву других цветов, кроме метафор". Эрнест Фейдо передал Флоберу просьбу одного своего знакомого писателя прислать ему автобиографию Флобера. Флобер отвечает: „Что мне прислать тебе, чтоб доставить удовольствие моему анонимному биографу? У меня нет никакой биографии".

Так, в общем, мог бы ответить любой из писателей, особенно из писателей нашего времени, когда писательство стало специальностью. В большинстве случаев жизнь писателей сама по себе удивительно неинтересна. Обидно неинтересна. И они совершенно не заслуживают биографии. Все интересное, все глубокое и прекрасное, все живое, что в них есть, они вкладывают в свои книги, и для жизни ничего не остается. Прочтите биографии Гейне или Бодлера, Ибсена или Достоевского, вычеркните в них все, что непосредственно относится к писательству,—и какая останется скучная, серая обыденщина! Если она кое где и прерывается каким-нибудь ярким, катастрофическим событием, то это является только случайностью, как, например, случайностью была, по собственному признанию Достоевского, его каторга.

Это отсутствие биографии у современного писателя не случайно, оно является естественным следствием писательства, как ремесла, я бы сказал, — следствием слишком высокой оценки своего писательского призвания. Писательство, это—все! Писатель прежде всего есть писатель! Бальзак поучает Теофиля Готье, что писатель должен чуждаться женщин. Готье рассказывает: единственная уступка, на которую Бальзак соглашался, и то с сожалением, это, чтобы видеться с любимой женщиной по получасу в год. Переписку он допускал: „Это вырабатывает стиль". Братья Гонкуры в одном месте своего дневника высказывают сожаление о солнечном дне, отданном ими наслаждению весною вместо работы. Виктор Гюго превратил себя в своего рода заведенный механизм, существует по циферблату, чтоб ничем не нарушить правильности своей работы. В определенный час он позво-

мет себе небольшую прогулку, но всегда по одной и той же дороге: пойдя другим путем, можно, пожалуй, опоздать на минуту. Флобер работает по шестнадцать часов в сутки, не отрываясь от стола.

Флобер в этом отношении вообще особенно характерен. Переписка его дает богатейший материал для характеристики душевного строя специалиста писателя. „Литература,—пишет он,—стала у меня конституционною болезнью; нет средств избавиться от нее. Я одурел от искусства и эстетики, для меня невозможно дня прожить свободно от этой неизлечимой язвы, которая меня грызет". — „Жизнь моя,—пишет он в другом письме,—была очень плоской и благоразумной,—по крайней мере, в действии Что касается внутренних переживаний,—о, это дело другое! Я истощился, скача на одном месте (je me suis usé sur place,—курс. автора), как лошади, которых дрессируют в конюшне; это ломает им ноги".—„Молодость моя,—пишет он еще,—была прекрасна по своим внутренним переживаниям. Огромная вера в себя, великолепные порывы души, что-то бурное во всей личности. У меня было сердце, широкое, как мир, и я вдыхал все ветры неба. А потом, мало-по-малу, я ссохся, заработался, завял. О, я обвиняю в этом только себя! Я находил удовольствие в подавлении своих чувств и в терзании сердца. Я отталкивал человеческие опьянения, которые мне представлялись. С остервенением я с корнем вырывал из себя человека обеими руками,—обеими руками, полными силы и гордости. Из этого дерева с зеленеющею листвою я хотел сделать колонну, совершенно нагую, чтобы на вершине ее возжечь, как на алтаре, я не знаю, какое небесное пламя".

Мать Флобера однажды сказала ему:

— Чрезмерная страсть к фразам иссушила твое сердце.

И на эти убийственные слова он, высохший для жизни обожатель фраз, находит в сердце только такой отклик: „Великолепные слова! Муза должна повеситься от зависти, что не она их изобрела!"

Можно умиляться на самоотверженную жизнь таких „подвижников искусства", как их многие называют. Для меня она представляется ужасною. Где же человек с его широкими, разносторонними потребностями души, где он сам, вне его книг? Как, наконец, не понять, что и творение писателя только тогда будет проникнуто живым трепетом и светом жизни, когда жизнь самого писателя действенна, глубока, ярка, звучит всеми доступными человеку струнами? А. О. Смирнова приводит в своих записках такие слова Пушкина: „Греки, может быть, писали меньше, чем мы, и даже наверное меньше. Это и отличает их от нас, современных людей. Мы слишком литературны, — в том смысле, что мы только писатели, что мы живем вне всяких человеческих и общих интересов... Это была счастливая эпоха, когда именно мало занимались литературой, а просто ж и л и,—и жизнь создавала произведения, отражавшие ее".

Флобер говорит: „Я истощился, скача на месте"... „У меня нет никакой биографии"... У Льва Толстого е с т ь биография,—яркая, красивая, увлекательная биография человека, ни на минуту не переставшего ж и т ь. Он не скакал на месте в огороженном стойле,—он, как дикий степной конь, несся по равнинам жизни, перескакивая через всякие загородки, обрывая всякую узду, которую жизнь пыталась на него надеть... Всякую? Увы! Не всякую. Одной узды он во-время не сумел оборвать... Но об этом после.

Как всякий живой человек, Толстой не укладывается ни в какие определенные рамки. Кто он? Писатель-художник? Пророк новой ре-

лигии? Борец с неправдами жизни? Педагог? Спортсмен? Сельский хозяин? Образцовый семьянин? Ничего из этого в отдельности, но все это вместе и, кроме того, еще много, много другого

II.

Я не буду останавливаться на детстве Толстого. В детстве все мы—живые люди; в детстве все мы, как Толстой, кипим, ищем, творим, живем. Вон даже Флобер, и тот знал в детстве „великолепные порывы души, что-то бурное во всей личности".

Вот—Толстой-юноша. Он живет в Казани; сначала готовится в университет, потом становится студентом. „Единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование", вспоминает Толстой в своей „Исповеди".—„Я старался совершенствовать свою волю,—составлял себе правила, которым старался следовать; совершенствовал себя физически, всякими упражнениями изощряя силу и ловкость и всякими лишениями приучая себя к выносливости и терпению". В „Отрочестве" он рассказывает: „Несмотря на страшную боль, я держал по пяти минут в вытянутых руках лексиконы Татищева или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах".

Рядом с этим—другого рода совершенствование,—фанатическое, почти религиозное самоусовершенствование в искусстве быть человеком comme il faut. Великолепный французский выговор, длинные, чистые ногти, уменье кланяться, танцовать и разговаривать, постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки на лице. Однажды идет Толстой с братом по улице, навстречу едет господин, оперившись руками на палку. Толстой пренебрежительно говорит брату:

— Как видно, что этот господин какая-то дрянь!

— Отчего?

— А без перчаток.

Толстой-студент усердно посещает все великосветские балы и собрания, всюду танцует, ухаживает за дамами, весь отдается наслаждению жизнью. Вспоминателям и биографам очень хочется рисовать жизнь Толстого, как житие пророка. Н. П. Загоскин, в своих воспоминаниях о студенческой жизни Толстого в Казани, пишет, что Толстой „должен был" чувствовать „инстинктивный протест" против окружавшей его развращающей среды. В своей биографии Толстого П. И. Бирюков приводит эти слова Загоскина. Толстой в рукописи просматривал работу Бирюкова. И живой человек, возведенный в сан пророка, с добродушною усмешкою разрушает стройное здание своего „жития" и делает на полях рукописи такое замечание: „Никакого протеста я не чувствовал, а очень любил веселиться в казанском, тогда очень хорошем обществе". Далее Загоскин выражает удивление нравственной силе Льва Николаевича, сумевшего устоять против всех этих соблазнов. Толстой замечает: „Напротив, очень благодарен судьбе за то, что первую молодость провел в среде, где можно было смолоду быть молодым, не затрагивая непосильных вопросов и живя хоть и праздной, роскошной, но не злой жизнью".

Рассеянная светская жизнь далеко не поглощает всех сил Толстого. Он в то же время много работает, читает, думает; пишет статью „О цели философии". В 1847 году он выходит из университета. Почему? Одна из причин была та, что уезжал из Казани брат его Николай; вторая причина,—очень характерная для Толстого, никогда не

обиевшего ходить в жизни проторенными дорожками. Профессор гражданского права Меер задал ему работу,—сравнить „Наказ“ Екатерины „Духом законов“ Монтескье. Толстой увлекся этой работой. „Она открыла мне,—вспоминает он,—новую область умственного самостоятельного труда, а университет со своими требованиями не только не содействовал такой работе, но мешал ей“.

Следующие три-четыре года Толстой проводит в Москве и Ясной Поляне. Жадно и бурно отдается наслаждению жизнью. Светские удовольствия, охота, связи с женщинами, увлечение цыганками и особенно картежная игра. Она была едва ли не самою сильною из его страстей, и случалось, проигрывался он очень жестоко. Эти периоды бурного наслаждения жизнью сменяются припадками религиозного смирения и аскетизма.

В 1851 году он уезжает на Кавказ юнкером. Живет в станице, дружит с казаками, ухаживает за казачками. Кутит, играет в карты, играет своею жизнью. Отправляется в рискованные экскурсии. Однажды неприятельская граната разорвалась у самых ног Толстого, разбив колесо и лафет пушки, при которой Толстой был „уносным фейерверкером“. Уж в глубокой старости Толстой несколько раз вспоминает об этом случае и в письмах, и в дневнике: „Если бы дуло пушки, из которой вылетело ядро, на одну тысячную линию было отклонено в ту или другую сторону, я бы был убит“. В другой раз, во время „сквозной оказии“ на Грозную, Толстой чуть не попал в плен к чеченцам и только, благодаря лихости своего коня, ускакал от них со своим кунаком, мирным чеченцем Садо. В это же время в „Современнике“ появляется первое литературное произведение Толстого „Детство“ и обращает на себя внимание всех любителей литературы.

Толстой переводится в дунайскую армию, действующую против турок, участвует в осаде Силистрии. Он захлебывается огромными впечатлениями жизни. „Сколько я переузнал, перечувствовал в этот год!“—пишет он брату Сергею. Начинается севастопольская кампания. Толстой спешит перевестись в Крым. Один из бывших боевых товарищей его вспоминает: „Толстой своими рассказами и куплетами воодушевлял всех в трудные минуты боевой жизни. Он был в полном смысле душой батареи. Толстой с нами,—и нет конца общему веселью. Нет графа, укатил в Симферополь,— и все носы повесили. Возвращается мрачный, исхудалый, недовольный собою. Отведет меня в сторону подальше и начнет покаяние, как кутил, играл, где проводил дни и ночи,—казнится и мучится, как настоящий преступник“. В бригаде Толстой оставил по себе память, как ездок, весельчак и силач. Так, он ложился на пол, на ноги ему ставился в пять пудов мужчина, и он, вытягивая руки, поднимал его вверх. На палке никто его не мог перетянуть. Толстой выдерживает знаменитую севастопольскую осаду, обращает на себя общее внимание своею храбростью. В „Современнике“ появляются его рассказы „Севастополь в декабре“, „Севастополь в мае“ и производят сенсацию. Вдова Николая I плачет над этими рассказами, Александр II приказывает перевести их на французский язык.

После сдачи Севастополя Толстой был послан курьером в Петербург. Он приехал, окруженный двойным ореолом,—героя, вышедшего из ада осажденного Севастополя,—и восходящего литературного светила первой величины. „Вернулся из Севастополя с батареи,—рассказывал Тургенев Фету,—остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане и карты во всю ночь; а затем до двух часов спит, как убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукой“

Петербургская литературная семья приняла Толстого с распростертым объятиями. Семья эта была очень блестящая: Тургенев, Некрасов, Го чаров, Островский, Григорович, Фет... Но не застенчивым новичко ослепленным блеском ярких имен, вступает Толстой в эту заповедну среду. „С первой минуты,—рассказывает Фет,—я заметил в молодо Толстом невольную оппозицию всему общепринятому в области с ждений".—„Какое бы мнение ни высказывалось,—сообщает Григор вич,—и чем авторитетнее казался Толстому собеседник, тем настойч вее подзадоривало его высказать противоположное и начать резать на словах. Глядя, как он прислушивался, как всматривался в собесе ника из глубины серых, глубоко запрятанных глаз, и как ироническ сжимались его губы, можно было подумать, что он как бы заране обдумывает не прямой ответ, но такое мнение, которое должно был озадачить, сразить своею неожиданностью собеседника". Всех он рошит, задирает, раздражает,—и всех поражает огромностью стих кипящего в нем таланта. Писемский мрачно говорит: „Этот оф рицка всех нас заклюет, хоть бросай перо!"

В ноябре 1856 г. Толстой выходит в отставку. Ну, теперь ж писателя определена. Общепризнанный талант, редакции напер приглашают его в свои журналы. Человек он обеспеченный, о завт нем дне думать не приходится,—сиди спокойно и твори, тем б что жизнь дала неисчерпаемый запас наблюдений. Перебесился, полагается молодому человеку, теперь впереди—спокойная и поче жизнь писателя. Гладкий, мягкий ход по проложенным рельсам. нец биографии.

Но не так у Толстого. Биография только начинается. Да, он шет, одно за другим дает произведения, вызывающие все боль надежды. Но вместе с тем уезжает к себе в деревню и страстно рется за сельское хозяйство. Вводит всяческие улучшения, дело пит. Но за что ни возьмется, всего ему мало. Брат его Николай сказывает Фету: „Левочка желает все захватить разом, не упуская чего, даже гимнастики. Конечно, если отбросить предрассудки, с торыми он так враждует, он прав: гимнастика хозяйству не помешает староста смотрит на дело иначе: „Придешь, говорит, к барину приказанием, а барин, зацепившись одной коленкою за жердь, ви в красной куртке головою вниз и раскачивается; волосы отвис мотаются, лицо кровью налилось; не то приказания слушать, не на него дивиться". На глазах Толстого рабочие пашут, косят, моло среди них выдается красотою и уверенностью работы один работ Юхван. И уж, конечно, простым зрителем Толстой оставаться не жет: ему непременно нужно всему этому научиться, и научиться можно лучше, чтоб работать не хуже самого Юхвана. И он с у чением „юхванствует," перенимает все приемы Юхвана, ходит за хою, растопырив локти, как Юхван. Это выражение—„юхванствова навсегда осталось в семье Толстого для обозначения увлечения сельско-хозяйственными работами. Страстно увлекается он также с тою. Однажды Толстой чуть не погиб от медведицы. Она повал его в снег и начала грызть голову,—прорвала ему щеку под лев глазом и сорвала всю левую половину кожи со лба. В то же вр Толстой начинает заниматься в школе с крестьянскими детьми.

Товарищи-писатели, суть жизни своей видящие в писательс с усмешкой разводят руками, глядя на этот огромный талант, будто так мало придающий себе значения. Тургенев пишет Фе „А Лев Толстой продолжает чудить. Видно, так уж ему написано роду. Когда он перекувыркнется в последний раз и встанет на ног

А Толстой, весь захваченный жизнью, как будто совсем забывает о писательстве,— он уже автор „Детства и отрочества", кавказских и севастопольских рассказов, „Трех смертей", „Семейного счастья". И товарищи из сил выбиваются, стараясь направить заблудшего на „настоящий путь". Дружинин пишет ему в 1860 году: „На всякого писателя набегают минуты сомнения и недовольства собою, и, как ни сильно и ни законно это чувство, никто еще из-за него не прекращал своей связи с литературой, а всякий писал до конца. Но у Вас все стремления, и добрые и недобрые, держатся с особым упорством, потому Вам нужнее, чем кому другому, подумать о том. Прежде всего вспомните, что после поэзии и труда мысли все труды кажутся дрянью. Qui a bu, poira, и в тридцать лет оторваться от деятельности писателя значит лишить себя половины всех интересов жизни".

Но в том-то и особенность Толстого, что нет для него живого труда, который бы мог ему показаться дрянью, раз он захватил его душу. И вот он,—художник,—едет за границу с специальною целью изучить постановку там школьного дела. Объезжает Германию, Швейцарию, Италию, Францию, Англию, Бельгию. Жадно, как всегда, ловит впечатления. „Я везу,—пишет он своей тетушке Т. А. Ергольской,—такое количество впечатлений, знаний, что я должен бы много работать, прежде чем уложить все это в моей голове".

В Россию Толстой возвращается в апреле 1861 года, в самый разгар радостного возбуждения и надежд, охвативших русское общество после манифеста 19 февраля об освобождении крестьян. Толстой рассказывает: „что касается до моего отношения тогда к возбужденному состоянию общества, то должен сказать (и это моя хорошая или дурная черта, но всегда мне бывшая свойственной), что я всегда противился невольно влияниям извне, эпидемическим, и что, если я тогда был возбужден и радостен, то своими особенными, личными, внутренними мотивами—теми, которые привели меня к школе и общению с народом".

Всею головою Толстой уходит в самую разностороннюю деятельность,—занимается сельским хозяйством, работает в качестве мирового посредника, вызывая злобу и доносы дворянства; главным же его делом теперь становится народная школа. Он открывает в Ясной Поляне школу для крестьянских детей и сам занимается с ними, пишет ряд статей о народном образовании, издает педагогический журнал „Ясная Поляна". Как всегда у Толстого, все у него ново, своеобразно, дерзко, ко всему свой подход, вне всякого шаблона. Не будем оценивать педагогических взглядов Толстого. Но посмотрите, как все оригинально и необычно в этой школе, созданной Толстым, как непохоже на школу, какою мы привыкли ее себе представлять.

„На деревне встают с огнем,—пишет Толстой.—Уж давно виднеются из школы огни в окнах, и в тумане, дожде или в косых лучах осеннего солнца появляются на буграх темные фигурки. С собою никто ничего не несет,—ни книг, ни тетрадок. Уроков на дом не задают. Мало того, что в руках ничего не несут, им нечего и в голове нести. Никакого урока, ничего, сделанного вчера, он не обязан помнить нынче. Его не мучает мысль о предстоящем уроке. Он несет только себя свою восприимчивую натуру и уверенность в том, что в школе нынче будет весело так же, как вчера. Никогда никому не делают выговоров за опоздание, и никогда не опаздывают, нешто старшие, которых отцы другой раз задержат дома какой-нибудь работой. И тогда этот большой рысью, запыхавшись, прибегает в школу".

И послушайте, каким образом происходит преподавание в этой школе. Вот перед нами, так сказать, амбулаторный урок народоведения. Толстой вечером выходит с ребятами из школы.

„На дворе было не холодно, — зимняя безмесячная ночь с тучами на небе. Мы пошли через лес. Дорожка чуть виднелась, огни деревни скрылись из вида. Мы разговорились о кавказских разбойниках. Я стал рассказывать об абреках, о казаках, о Хаджи-Мурате. Семка шел впереди, широко ступая своими большими сапогами и мерно раскачиваясь здоровой спиной. Пронька попытался было идти рядом со мной, но Федька сбил его с дорожки, и Пронька, должно быть, по своей бедности, всегда всем покоряющийся, только в самых интересных местах забегал сбоку, хоть и по колено утопая в снегу. Всякий замечал, кто немного знает крестьянских детей, что они не привыкли и терпеть не могут всяких ласк, — нежных слов, поцелуев, троганий рукой и т. п. Потому-то меня особенно поразило, когда Федька, шедший рядом со мной, в самом страшном месте рассказа, вдруг дотронулся до меня слегка рукавом, потом всей рукою вдруг ухватил меня за два пальца, и уж не выпускал их. Только что я замолкал, Федька уж требовал, чтобы я говорил еще, и таким умоляющим, взволнованным голосом, что нельзя было не исполнить его желания.

„— Ну, ты, суйся под ноги! — сказал он раз сердито Проньке, забежавшему вперед; он был увлечен до жестокости, ему было так жутко и хорошо, держась за мой палец, и никто не должен был сметь нарушать его удовольствие. — Ну, еще, еще! Вот хорошо-то!

„Мы прошли лес и стали с другого конца подходить к деревне.

„— Пойдем еще, — заговорили все, когда уже стали видны огни. — Еще пройдемся!

„Мы шли, кое-где проваливаясь по рыхлой, плохо наезженной дорожке; белая темнота как будто качалась перед глазами, тучи были низкие; конца не было этому белому, в котором только мы одни хрустели по снегу; ветер шумел по голым макушкам осин, а нам было тихо за лесом. Я кончил рассказ тем, как окруженный абрек запел песню и потом сам бросился на кинжал. Все молчали. Семка спросил:

„— Зачем же он песню запел, когда его окружили?

„— Ведь тебе сказывали, — умирать собрался! — огорченно ответил Федька.

„— Я думаю, что молитву он запел, — прибавил Пронька.

„Все согласились. Мы остановились в роще за гумном, под самым краем деревни. Семка поднял хворостинку из снега и бил ею по морозному стволу липы... Мне странно повторить, что мы говорили тогда, но я помню, мы переговорили, как мне кажется, все, что сказать можно о пользе, о красоте нравственной и пластической".

Да, счастлив был Толстой, что умел **так** описать все это. Но еще более счастлив он был, что умел все это **пережить**, что умел извлекать из жизни **такие** радости!

III.

В сентябре 1862 года в жизни Толстого происходит событие, оказавшее огромное влияние на всю его последующую жизнь. Он женится на восемнадцатилетней девушке Софье Андреевне Берс.

К браку Толстой всегда относился очень серьезно, почти благоговейно, и видел в нем очень важный акт жизни. Еще в 1854 году

пишет брату Сергею с батареи около Севастополя: „Одно беспо ит меня: я четвертый год живу без женского общества, и могу всем загрубеть и не быть способным к семейной жизни, которую и к люблю". В 1856 году он пишет одной девушке, бывшей неко рое время почти что его невестой: „От этого-то я так боюсь брака, о слишком строго и серьезно смотрю на это. Есть люди, которые, женясь, думают: „ну, не удалось тут найти счастье, у меня еще жизнь впереди". Эта мысль мне никогда не приходит, я все кладу на эту карту. Ежели я не найду совершенно счастья, то я погублю все,— свой талант, свое сердце, сопьюсь, картежником сделаюсь, красть буду, ежели не достанет духу зарезаться".

Кстати сказать, роман Толстого с этой барышней (Валерией Владимировной Арсеньевой), — недавно только, после смерти Софьи Андреевны опубликованный,—производит очень для Толстого тяжелое впечатление своею рассудочностью и неразвернутостью: только-только еще зарождается чувство, обе стороны даже еще не уверены вполне, любят ли они,—а Толстой все время настойчиво уж говорит о требованиях, которые он предъявляет к браку, рисует картины их будущей семейной жизни и т. п. Серенький роман этот интересен только как показатель силы, с какою Толстой рвался к семейной жизни.

Софья Андреевна для тогдашнего Толстого оказалась прямо идеальною женою и вполне осуществила в себе те требования, которые Толстой предъявлял к семейной жизни. Красавица, светски-воспитанная (что для тогдашнего Толстого являлось необходимым условием); умелая, домовитая и энергичная хозяйка дома, всегда со связкой ключей на поясе; патриархально семейственная, всю жизнь свою кладущая в мужа и детей. Чуть не год за годом идут у них дети, и оба они только радуются на это. Между мужем и женою—то тонкое, своеобразное взаимодействие, взаимодействие мужского и женского начал, которое обрисовано в „Войне и мире" в отношениях между Пьером и Наташей. „После семи лет супружества, — рассказывает Толстой,—Пьер чувствовал радостное, твердое сознание того, что он не дурной человек, и чувствовал он это потому, что он видел себя отраженным в своей жене. В себе он чувствовал все хорошее и дурное смешанным и затемнявшим одно другое. Но на жене его отражалось только то, что было истинно-хорошо; все не совсем хорошее было откинуто. И отражение это произошло не путем логической мысли, а другим, таинственным, непосредственным отражением".

Софья Андреевна являлась неутомимою заботницею о Толстом и помощницею в его литературных работах. Она окружила его самым внимательным и нежным уходом, строго, ревниво оберегала его покой и удобства во время работы. Переписывала его черновики, которые он потом черкал и исправлял, а она опять переписывала. Но участие ее в творческой работе Толстого не ограничивалось только такою внешнею помощью. „Вот, Таня, я настоящая писательская жена!"— пишет она в 1874 году своей сестре. Действительно, она была настоящею писательскою женою.

В чем достоинства такой писательской жены, истинной подруги и помощницы в творческой работе мужа-художника? Не просто в том, что она обладает тонким критическим чутьем и эстетическим вкусом, умением понять то, что хотел сказать художник. Дело гораздо сложнее и тоньше. Бессознательным, интуитивным женским своим чутьем она чувствует саму душу художника-мужа, сливается с нею и как бы сама живет душою в этой родной ей душе. Этим бессознательным своим чутьем она безошибочно улавливает в работе своего друга все фаль-

ливое, слабое, неудавшееся. Ей незачем доказывать, обосновывать свое мнение, она, может быть, даже не сумеет этого. Но нужно ли и самому-то художнику доказывать себе, что такое-то место фальшиво или слабо, раз он почувствовал это? Такая подруга-жена художника является живым воплощением его собственной художественной совести. „Это плохо, фальшиво!" — Почему? — „Не знаю, а только плохо, фальшиво!" И такой умственно-неубедительный довод убеждает художника, потому что она высказала только то, что ему говорила его собственная художественная совесть, но что он хотел задушить, заглушить в себе из лени, из нежелания опять и опять перерабатывать неудавшееся место. Сила и слабость такой подруги-жены заключается в том, что она чувствует, что именно может и должен сделать не художник вообще, а именно он, данный художник, Лев Николаевич, потому что с ним созвучна ее душа. Незаменимая помощница и вдохновительница для Толстого, она, наверное, тольк вредила бы своею помощью и мешала бы, напр., Достоевскому. умный друг-мужчина, вроде Н. Н. Страхова, своими тонкими крит ческими замечаниями одинаково был бы полезен и Толстому и Дост евскому. У женщины же дело не в уме, не в ее „малом умственно хозяйстве", которое Толстой ставит очень невысоко, а в могучей огромной силе иррационального чувствования.

В 1864 году, во время работы над „Войной и миром", Толст пишет Софье Андреевне: „Ты, глупая, со своими неумственными инт ресами, мне сказала истинную правду. Все историческое не клеится идет вяло". В 1878 году он пишет Фету: „Прочтя ваше стихотворен я сказал жене: „стихотворение Фета прелестно, но одно слово нех рошо". Она кормила и суетилась, но за чаем, успокоившись, взяла читать и тотчас же указала на то слово, которое я считаю нехороши „как боги".

Восемнадцать лет этой счастливой семейной жизни были дл Толстого временем наиболее продуктивного художественного творч ства. За этот период им написаны „Война и мир" и „Анна Каренина не говоря о многих мелких рассказах. Но колоссальная работа по с зданию этих произведений берет только небольшую часть сил Толстог То-и-дело он отрывается от этой работы для неудержимо манящe его жизни во всех ее проявлениях. В 1863 году он пишет Фету: „ живу в мире, столь далеком от литературы, что, получая такое письм как ваше, первое чувство мое — удивление. Да кто же такой написа „Казаков" и „Поликушку"? Да и что рассуждать о них?.. Теперь ка писать? Я в „юхванстве" опять по уши. У меня пчелы, и овцы, и новы сад, и винокурня". В 1870 году он пишет Фету: „С утра до ноч учусь по-гречески. Я ничего не пишу, а только учусь. Невероятно, ни на что непохоже. А livre ouvert читаю Ксенофонта. Жду с не терпением показать кому нибудь этот фокус. Но как я счастлив, чт на меня Бог наслал эту дурь! Я убедился, что из всего истинно-пре красного, что произвело слово человеческое, я до сих пор ничего н знал, как все". Не зная до того греческого языка, Толстой изучил ег в три месяца. Свой „фокус" он показал в Москве проф. Леонтьеву Тот не хотел верить возможности такого быстрого изучения древнег языка и предложил почитать вместе с ним à livre ouvert. В трех слу чаях между ними произошло разногласие в переводе. После уяснени дела профессор признал мнение Льва Николаевича правильным. Н такой бешеный темп занятий греческим языком совершенно расстрои здоровье Толстого, и ему пришлось ехать в самарские степи лечитьс кумысом.

Опять всею головою Толстой уходит в школьное дело. Зани-
ся в школе сам, приохочивает к занятиям Софью Андреевну,
т статьи о народном образовании, подвергает уничтожающей
ике существующие методы народного обучения, изобретает свой
об обучения грамоте, устраивает в Москве состязание с Москов-
ким Комитетом Грамотности в сравнительных достоинствах своего
етода и общепринятого звукового. На-ново пишет учебники по всем
редметам. „Я до одурения занимаюсь эти дни окончанием арифме-
ики,— сообщает он Страхову.— Вы будете смеяться надо мною, что
взялся не за свое дело, но мне кажется, что арифметика будет
учшее в книге". И тетушке своей, графине А. А. Толстой, он пишет.
Я опять в педагогике, как четырнадцать лет тому назад; пишу ро-
ан, но часто не могу оторваться от живых людей для воображаемых".
І прибавляет, что о себе ему писать нечего, потому что „счастливые
ароды не имеют истории".

И все-таки всего ему мало, этому ненасытному к жизни человеку
Жадными, „завидущими" глазами смотрит все время Толстой на жизнь
все старается захватить в ней, ничего не упустить. Все он пере-
спытал, все умеет, все знает,— и не как-нибудь, не по-дилетантски,
основательно. Приехал в Ясную Поляну один француз. Беседуя с
Толстым и графиней на кругу, перед домом, француз подошел к
еку, на котором упражнялись сыновья Толстых и проделал какой то
ехитрый тур.

— Вот это искусство вам, граф, уж наверно незнакомо!— лю-
езно-заискивающе обратился он к Толстому.

Лев Николаевич засмеялся и начал наглядно показывать фран-
узу, как надо обращаться с реком. Француз только покачивал головой
і восклицал на все лады: „ого! ага!", при виде, как чисто и отчетливо
роделывал Лев Николаевич различные упражнения на руках.

Умел ли Тургенев играть на фортепиано? Знал ли Достоевский
древне-еврейский язык? Пробовал ли Гончаров заниматься скуль-
птурой. Играл ли Некрасов в шахматы? Ездил ли Чехов на велоси-
педе? Играл ли Короленко в лаун-теннис? Умел ли Фет вязать чулки?
Вопросы странные и смешные. Какое отношение это имеет к упомя-
нутым писателям? Может, умели, может, нет. А о Толстом заранее
можно уверенно сказать: да, все это он пробовал, все это умел. И
относительно него эти вопросы не смешны. Я не знаю, умел ли Тол-
стой вязать чулки. Но я знаю, что до женитьбы Толстой проводил
длинные зимние вечера в Ясной Поляне со старушкой няней Агафьей
Михайловной. И просто нельзя представить себе, чтоб, глядя, как она
на его глазах вяжет чулки, он не захотел бы сейчас же все это по-
нять и научиться делать сам.

Детское что-то есть в той внимательной и радостной серьезности,
с какою Толстой делает всякое дело. И совершенно с тою же серьез-
ностью он способен жить чисто детскими радостями. Девушке пере-
писчице он уже восьмидесятилетним стариком говорит:

— А как мне хотелось вчера с вами прыгать с лестницы! Главное,
обидно было, что никто из вас не умел прыгнуть, как следует. Надо
прыгнуть и присесть немножко.

И вот что он пишет в 1864 году жене:

„Веселее всего, даже блан-манже, и шума, и Николая Богдано-
вича было вчерашний день то, что мы с Таней и Петей в пристройке
повторяли все: „Са-а-аш Куп-фер-шмидт!" (!!!staccato) этаким голосом".

Вы только представьте себе: взрослый, тридцатишестилетний
человек, как раз в это время писавший „Войну и мир",— произве-

дение, всей глубины которого и доселе еще не в силах вскрыть критика,— засел в пристройке с ребятами-подростками и, забавляясь гулкими отзвуками, в радостном одушевлении кричит с ребятами „этаким голосом“:

— Са-а-аш Куп-фер-шмидт!!!

Ощущение блаженной и творческой полноты этой красивой, гармонической жизни хорошо передает в своих детских воспоминаниях один из сыновей Толстого, Лев Львович. Мальчик смотрит в окно, как отец едет на прогулку.

„Я наблюдал, как отец садился верхом, как он собирая поводья в левую руку и ловким движением закидывал правую ногу за седло Не успев вдеть ногу в стремя, он отъезжал от крыльца, увозя с собою на простор природы свои мысли и вдохновения. Я хорошо чувствовал тогда настроение отца и то, чем он жил и чем был счастлив. Он писал. День за днем он развертывал из своего воображения бессмертную повесть, и ничто не мешало ему в этом, а, напротив, все содействовало. Он был счастлив, занятый своею любимою работою, потому что она легко удавалась ему, потому что он делал дело, которое прежде всего удовлетворяло его самого, потому что от жизни он в то время получил все, что только мог и чего хотел. У него была жена, совершенно исключительная по достоинствам женщина, была куча здоровых детей, была слава, кругом его была русская природа и русский народ, который он привык любить с детства больше всего на свете“...

Маленький Лева лежит вечером в постели и думает. Из залы доносятся тихие аккорды: отец сидит за фортепиано, обдумывая на завтра свой роман, и тихо играет.

„Умиленный, я засыпаю под эти звуки, чтоб проснуться завтра для нового счастливого дня. Я безотчетно чувствовал в те годы, что целое море счастья было разлито вокруг моей детской жизни; я не понимал тогда, что этим морем, этим великим океаном была жизнь моего отца“.

Действительно, счастье было полное. Трудно представить, чего же не хватало для еще большей полноты этого счастья.

И сбылось то, о чем Толстой мечтал в юности: „Мне хотелось, чтоб меня все знали и любили. Мне хотелось сказать свое имя,— и чтобы все были поражены этим известием, обступили меня и благодарили бы за что-нибудь“. Так оно и случилось. Стоило Толстому появиться в каком-нибудь собрании,— и все именно бывали „поражены этим известием“, готовы были обступить его и восторженно благодарить. Самые знаменитые люди за счастье считали послужить Толстому своим талантом. Однажды Толстой, по случайным причинам, не смог попасть на концерт приехавшего в Москву Антона Рубинштейна, и был этим очень огорчен. Антон Рубинштейн узнал про это, приехал сам к Толстому и целый вечер играл ему. Толстой заинтересовался музыкою Чайковского. И Чайковский, польщенный, по его словам, „как никогда в жизни“, специально для одного Толстого устраивает в консерватории концерт из своих произведений. Исполнители в этот вечер,—пишет Чайковский,—„играли как никогда. Видно было, что, играя так удивительно-хорошо, они старались для очень любимого и дорогого человека“.

Ко всему этому жизнь Толстого отнюдь не была узко-эгоистическою. Беды, которые попадались ему на глаза, вызывали в нем горячий сочувственный отклик и потребность сейчас же вмешаться, действовать. В 1866 году рядовой Шибунин, солдат расположенного

из Ясной Поляны полка, дал пощечину своему ротному командиру, доводившему его несправедливыми придирками. Солдат был предан военно-полевому суду. Толстой выступил его защитником, сказал на суде горячую речь, но, конечно, ничего не добился. Шибунин был приговорен к смертной казни и расстрелян.

В 1873 году Толстой проводил лето в Самарской губернии. После нескольких недородных годов губернию поразил полный неурожай. Надвигался голод. Между тем не только никто в центре не знал об этом, но даже местная администрация не знала... или не хотела знать. Толстой поднял шум в газетах, ярко обрисовал надвигающуюся беду, страстно звал на помощь... И посыпались пожертвования, всюду образовались комитеты помощи голодающим..

IV.

Толстому шел шестой десяток лет. Уж теперь-то, казалось бы, жизнь вполне определилась,—счастливая и самоудовлетворенная жизнь большого художника, получившего всеобщее признание. И в это-то как раз время в душе Толстого происходит глубокий надлом, и вся его на редкость счастливая, гармоническая, жизнь совершенно для него обессмысливается. Вопросы о ценности жизни, о смысле ее перед лицом неизбежной смерти,—вопросы, занимавшие в его произведениях и раньше центральное место,—теперь встают перед ним с настойчивостью небывалою. Острота их сама по себе в большой степени обусловливалась, повидимому, тою своеобразною физическою ломкою, которая происходит в организме человека на перевале, отделяющем зрелый возраст от старости. В своей „Исповеди" Толстой рассказывает об отчаянии, которое овладело им, о том, как он близок был к самоубийству, как прятал от себя шнурок, чтоб не повеситься, и не ходил с ружьем на охоту, чтоб не застрелиться. Конечно, он бы не убил себя,—слишком велик был в нем запас жизненной энергии, слишком исчерпывающие ответы дал на эти проклятые вопросы сам он, как художник, из бессознательных глубин своего влюбленного в жизнь духа [1]). Он нашел бы то или иное оправдание жизни, перевал был бы перейден, и явилась бы новая душевная гармония,—гармония умиротворенной, просветленной старости.

Но в состоянии того обостренного зрения, которое было вызвано указанным кризисом, Толстой увидел еще нечто такое, что сделало совершенно немыслимым возвращение к какой бы то ни было гармонии прежнего типа. Выбит был из-под здания какой то самый основной устой, и все прекрасное, гармоническое здание заколебалось и рухнуло навсегда. Устой этот был выбит ярко и глубоко почувствованною истиною, которую Толстой формулирует в „Исповеди" так: „Жизнь нашего круга не есть жизнь, а только подобие жизни, условия избытка, в которых мы живем, лишают нас возможности понимать жизнь... Жизнь трудящегося народа, всего человечества, творящего жизнь, это—сама жизнь, и смысл, придаваемый этой жизни, есть истина". Широко открывшимися глазами человека, проснувшегося от глубокого сна, смотрит Толстой на окружающие уродства жизни. Какое же возможно гармоническое, не развращающее душу счастье среди этой униженной, задавленной, задыхающейся жизни?

---

[1]) См. В. Вересаев. „Живая жизнь". Ч. I. О Достоевском и Льве Толстом.

До этого времени Толстой был поистине „пьян счастьем". Он был как-то странно слеп к неустройствам жизни. Попадавшиеся ему на глаза беды и несправедливости вызывали в нем горячий отклик и действенное сочувствие; но все они были для него так чем-то, печальными **случайностями** жизни. В конце сороковых годов он поселяется в своей крепостной деревне, с большим одушевлением старается улучшить жизнь принадлежащих ему рабов, но ему и в голову не приходит, что их беспечность, развращенность и нелюбовь к труду являются неизбежным последствием рабства, что прежде всего нужно их отпустить на волю. Мало того, уже много позже, в своем ответе критикам „Войны и мира" он с задором утверждает, что так называемые „ужасы крепостного права" были редкими исключениями, что в общем крестьянам жилось тогда ничуть не хуже, чем теперь. Или вот, едет он за границу и в Люцерне наблюдает, как нищий-певец поет перед богатым отелем, как богачи туристы с удовольствием слушают его и холодно отворачиваются, когда он протягивает к ним шапку. Толстой возмущен, взбешен; в этом маленьком проявлении огромного уклада мещанской жизни он видит что-то небывало-возмутительное, чудовищное, в рассказе своем „Люцерн" публикует на весь мир это событие с точным указанием места и времени, и предлагает желающим „исследовать" этот факт, справиться по газетам, кто были иностранцы, занимавшие в тот день указываемый отель.

Но теперь,—теперь хмель счастья рассеивается. Все доступное человеку счастье, все целиком, пережито Толстым, испробовано.

Licht wird alles, was ich fasse,
Kohle alles, was ich lasse,—

„светом становится все, чего я коснусь, углем становится все, что я оставляю". И сиявшее таким ярким светом личное счастье превращается в перегоревший уголь, в золу, которая совершенно неспособна дать душе ни света, ни тепла.

„У нас теперь много народа—пишет Толстой Черткову,—мои дети и Кузьминских, и часто я без ужаса не могу видеть эту безнравственную праздность и обжирание. Их так много, они все такие большие сильные, и я вижу и знаю весь труд сельский, который идет вокруг нас. А они едят, пачкают платье, белье и комнаты. Другие для них все делают, а они ни для кого даже для себя—ничего. А это всем кажется самым натуральным, и мне так казалось; и я принимал участие в заведении этого порядка вещей". А вот—другая сторона, судьба людей, не призванных к участию на пиршестве жизни. В Москве к Толстому пришел однажды его переписчик, ночующий в ночлежном доме, и взволнованно рассказал следующее: в той же ночлежке жила больная двадцатидвухлетняя прачка; она задолжала за квартиру шестьдесят копеек, и полиция, по жалобе хозяйки, выселила ее. Больная и голодная, она весь день просидела на паперти церкви, вечером воротилась к дому, упала в воротах и умерла. Толстой пошел в ночлежку. „Деревья Нескучного сада синели через реку; порыжевшие воробьи так и бросались в глаза своим весельем; люди как будто тоже хотели быть веселы, но у них у всех было слишком много работы". Он пришел на квартиру. „В подвале гроб, в гробу почти раздетая женщина с закостеневшей, согнутой в коленке ногой. Свечи восковые горят. Дьячок читает что-то вроде панихиды, я пришел любопытствовать. Мне стыдно писать это, стыдно жить. Дома блюдо осетрины, пятое, найдено несвежим. Разговор мой перед людьми мне близкими об этом встречается недоумением,—зачем говорить,

сли нельзя поправить. Вот когда я молюсь: „Боже мой, научи меня, как мне жить, чтобы жизнь моя не была мне гнусной!" И он прибавляет в своем дневнике: „А солнце греет, светит, ручьи текут, земля отходит. И Бог говорит: живите счастливо!"

И с страстным, безоглядным увлечением Толстой, никогда ни в чем не знавший половины делает из этого свой вывод,—своеобразный и решительный, отвергающий всякие компромиссы: „Да, на слова людей, которые скажут, что наука, свобода, культура исправит все это, можно отвечать только одно: „Устраивайте, а пока не устроено, мне тяжелее жить с теми, которые живут с избытком, чем с теми, которые живут с лишениями Устраивайте, да поскорее, я буду дожидаться внизу"... Чтобы устроить, мало материально все переменить, увеличить; надо душу людей переделать, сделать их добрыми и нравственными. А это не скоро устроите, увеличивая материальные блага. Устройство одно—сделать всех добрыми. А для этого едва ли не лучшее средство—уйти от празднующих и живущих потом и кровью братьев, и пойти к тем замученным братьям. Не едва ли, а наверное".

Нужно отдать все свое имущество, отказаться от всех культурных навыков, опроститься, жить трудовою жизнью, не противиться злу насилием, смиряться, терпеть, и не словами, а собственной жизнью своей проповедывать людям добро и любовь. Я не имею в виду рассматривать и подвергать критике эти взгляды Толстого. Но совершенно ясно одно: слишком все это было высказано категорически и безусловно, это не было „литературой", теоретическими рассуждениями „вообще", это был единственный, неизбежный для Толстого жизненный выход, слово его повелительно требовало от него своего претворения в жизнь. „Я буду дожидаться внизу".

И вот он,—он все-таки остается „наверху". Друзья в недоумении враги злорадствуют. Он с прежнею страстностью продолжает проповедывать, все время: „я понял", „мне стало ясно",—а сам вниз не идет. Богатств своих не раздает; как жуликоватый купец, подготовливающий злостное банкротство, переводит имущество на имя жены; продолжает жить в барской усадьбе прежнею роскошною жизнью, а из требований своего учения приспособливает для себя то, что выгодно и приятно: занимается физическим трудом,—очень полезный моцион при умственной работе, носит удобную блузу вместо стеснительных сюртуков и крахмальных воротничков, бросил пить вино и курить, что весьма полезно для здоровья. И даже деньгами никому не хочет помогать: он, видите ли, отрицает пользу денежной помощи. Помните вы гаденькие подхихикивания Мережковского, рисующего, как Толстой спасается от мужика, просящего у него на корову, как перепрыгивает через канаву со словами: „я этого ничего не знаю!". Словом,—лицемерие, фарисейство, искание популярности, желание производить вокруг себя шум.

Попробуем стать на эту точку зрения. Прежде всего, какой же был для Толстого смысл искать популярности, славы? Слава, как мы видели, была такая, что большей и желать было невозможно. И слава прочная, без терний, никем не оспариваемая. А тут все время,—и в печати, и в бесчисленных письмах, и в разговорах с искренними искателями,—постоянно одно и то же: „что проповедуешь, и как живешь!". И в ответ—бегать глазами по сторонам, оправдываться, никому не убедительными доводами объяснять расхождение своего слова с делом. Хорошая слава, приятная! И врагу такой не пожелаешь!.. А живи Толстой по прежнему, не обличая сам своей жизни,—кто бы со

стороны упрекнул его за его благосостояние? Всякий бы сказал: хвала судьбе, что автор „Войны и мира" имеет возможность творить в благоприятных условиях! Ведь в ужас приходишь, когда видишь, как приходилось работать, напр., несчастному Достоевскому, как он наспех писал свои вещи, не успевая их даже перечитать, как в отчаянии восклицал: „Если бы мне достаток Тургенева или Толстого,—да я бы такую вещь написал, что ее бы и через сто лет перечитывали!" Да, никто бы не упрекнул Толстого. На что уж Советская власть беспощадна ко всяким имущественным привилегиям, а и она вскоре после своего установления поспешила назначить исключительно-крупную пенсию—да еще не самому Толстому, тогда уже умершему, а его вдове, игравшей в последнем периоде жизни Толстого весьма сомнительную роль.

И что, наконец,—с указанной точки зрения,—мешало Толстому осуществить в жизни его учение? При его потребностях в последнее время богатство его было для него одеялом в сто аршин. Взял бы он себе две—три десятинки, построил бы скромный хуторок, поселился бы в нем с одною из сочувствующих ему дочерей, Марьей или Александрой Львовной; развел бы огород, пчельник, обрабатывал бы поле. К физическому труду он был очень способен и охоч, работу деревенскую знал великолепно. Один яснополянский крестьянин отзывается о нем: „Как работает, как пашет, как косит! И силища какая! Если плоха лошадь, то его хоть самого запрягай в соху. Без обеда выходит три осминника". И если бы Толстой роздал свое имение, какая могла бы ему грозить нищета? Да за любую повесть или статью он всегда мог, если бы хотел, получить колоссальный гонорар. Нет, даже с этой обывательской точки зрения Толстому решительно ничего не мешало устроить жизнь по своему учению,—по крайней мере, в таком масштабе, чтобы заткнуть рты хулителям.

А что Толстой переживал в душе за время своего сидения в Ясной Поляне, это мы имеем возможность узнать только теперь, когда нам, по крайней мере, в некоторой степени стали доступны его дневники и интимные строки из писем к друзьям. Мучительно читать их. Это какой-то сплошной вопль отчаяния человека, который задыхается от отсутствия воздуха, бьется о стены своей тюрьмы и не может вырваться на свежий воздух.

„Неужели,—пишет он Черткову,—так и придется мне умереть не прожив хоть один год вне того сумасшедшего, безнравственного дома, в котором я теперь вынужден страдать каждый час, не прожить хоть одного года по-человечески разумно, т.-е. в деревне, не на барском дворе, а в избе среди трудящихся, с ними вместе трудясь по мере своих сил и способностей, обмениваясь трудами, питаясь и одеваясь, как они, и смело без стыда говоря всем ту Христову истину, которую знаю".—„Отец, помоги мне!—пишет он в дневнике.— Впрочем, уже лучше. Особенно успокаивает задача, экзамен смирения, унижения, совсем неожиданного, исключительного унижения. В капиталах, в остроге можно гордиться унижением, а тут только больно если не принимать его, как посланное от Бога испытание".

И одиночество,—поражающее, глухое одиночество. „Вы, верно, не думаете этого,—пишет Толстой в одном письме,—но вы не можете себе представить, до какой степени я одинок, до какой степени то, что есть настоящий „я", презираемо всеми, окружающими меня".— „Чувствую,—пишет он в дневнике,—что моя жизнь, никому не только

: интересна, но скучно, совестно им, что я продолжаю заниматься такими пустяками".

И сама жена - близкий, неизменный и любящий его друг,—и она теперь относится не только с отчуждением, а с прямою враждою к тому новому, чем живет ее муж. „Я начинаю думать,—пишет она ему,—что если счастливый человек вдруг увидел в жизни только все ужасное, то это от нездоровья. Тебе бы полечиться надо... Это тоскливое состояние уж было прежде давно: ты говоришь: „от безверья повеситься хотел" А теперь? Ведь ты не без веры живешь, отчего же ты несчастен?" - с тупым недоумением спрашивает она. И все убеждает его полечиться,—и кумысом, и тем, и другим. „Я так тебя любил,—отвечает Толстой,—и ты так напомнила мне все то, чем ты старательно убиваешь мою любовь!.. Обо мне и о том, что составляет мою жизнь, ты пишешь, как про слабость, от которой ты надеешься, что я исправлюсь посредством кумыса". А Софья Андреевна все с большим раздражением нападает на него: „Я вижу, что ты остался в Ясной не для той умственной работы, которую я ставлю выше всего в жизни, а для какой-то игры в Робинзона... Тогда уж лучше и полезнее было бы с детьми жить. Ты, конечно, скажешь, что так жить—это по твоим убеждениям и что тебе так хорошо. Тогда это другое дело, и я могу только сказать: „наслаждайся", и все-таки огорчаться, что такие умственные силы пропадают в колоньи дров и шитье сапог. Ну, теперь об этом будет. Мне стало смешно, и я успокоилась на фразе: „чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало".

Поражает это невероятное непонимание души Толстого, причин, вызывающих его „тоскливое состояние". Конечно, это тоскливое состояние было вовсе не от болезни. Органически-болезненный переход от зрелого возраста к старости, отразившейся в „Исповеди", был назади. Толстой вступил в старость,—в ясную, просветленную и умиротворенную старость, прекраснейший удел хороших людей. В письмах, в дневниках Толстого мы постоянно встречаем отражение этого своеобразного старческого жизнеощущения,—„чувства расширения жизни, переступающей границы рождения и смерти", как выражается Толстой. Он пишет в дневнике: „Радостно то, что положительно открылось в старости новое состояние большого, неразрушимого блага. И это—не воображение, а ясно сознаваемая перемена состояния души, переход от путаницы, страдания к ясности и спокойствию. Вот именно выросли крылья. Это-то и есть молитва". И жизнь кругом захлестывает его душу волнами блаженной радости. „Вышел вечером за лес и заплакал от радости, благодарной за жизнь",—пишет он в дневнике.

Но какой-то тяжелый внешний гнет лежит на его жизни и все время мешает ему выпрямиться, мешает целостно зажить этою блаженною жизнью. И в отчаянии он пишет: „Хочется плакать над собою, над напрасно губимым остатком жизни". Он знает ясно и твердо, чего ему нужно, и в какие формы надо отлить этот остаток жизни, чтоб он не был загублен. Это—уход из томящей обстановки Ясной Поляны и бездомовное странничество по степным и лесным просторам родной земли. „Необходимость бездомовности, бродяжничества для христианина,—пишет он одному из своих друзей,—была для меня в самое первое время моего обращения самой радостной мыслью, объясняющей все, и такою, без которой истинное христианство не полно и не понятно". Любовно рисует он искупительное странничество о. Сергия, с жадным любопытством изучает историю загадочного старца Федора Кузьмича. Есть легенда, что этот старец был император Александр I, симулировавший в Таганроге свою смерть, положивший в

свой гроб засеченного шпицрутенами солдата, а сам ушедший в серое народное море во искупление своих царских грехов. Толстой даже начал писать записки этого Федора Кузьмича. „Тело солдата,—рассказывает у него Кузьмич,—в закрытом гробу похоронили с величайшими почестями. Я же пережил ничтожные, в сравнении с моими преступлениями, страдания и незаслуженные мною величайшие радости".

Всякий, обладающий внутренним зрением, наблюдая Толстого в последний период его жизни, видел ясно, что он давно уже вышел духом из окружавшей его обстановки. Недавно умерший В. В. Розанов гениальным своим пером так рисует свое впечатление от Толстого: „Мне он показался безусловно прекрасен". Именно так, как ему должно быть. „Только не здесь, не в барской усадьбе. Как все это не идет к нему, отлепилось от него! Сидеть бы ему на завалинке около села или жить у ворот монастыря,—в хибарочке „старцем"; молиться, думать говорить—не с „гостями", а с прохожими, со странниками,—и самому быть странником. В каком бы доме, казалось, он ни жил, „дом" был бы мал для него, несоизмерим с ним; а соизмеримым с ним, „идущим к нему", было поле, лес, природа, село, народ, т.-е. страна и история. Он явно вышел, перерос условия видного, индивидуального существования, положения в обществе, „профессии", художества и литературы. „Исповедь" его, по которой он и з о в с е г о в ы ш е л,—была в высшей степени отражена в его фигуре, которая явно тоже и з о в с е г о в ы ш л а, осталась одна и единственна, одинока и грустна, но велика и своеобразна".

Да, именно так! Микула Селянинович в детской курточке сидит в душной спаленке. А самый близкий ему человек смотрит, дивится его „тоскливому состоянию", с усмешкою говорит: „чем бы дитя ни тешилось, только б не плакало!" И с любовною заботою: „полечись кумысом"...

Если бы Толстой был писателем, то томление по этой новой, заманчивой для него жизни разрешилось бы просто. Он написал бы историю странничества Федора Кузьмича или о. Сергия, написал бы ярко, захватывающе,—и получил бы удовлетворение. Но Толстой,—Толстой не был писателем. Он был, пользуясь удачным выражением его биографа, П. И. Бирюкова, „свободным художником жизни". И, лишенный возможности воплотить свои замыслы в жизнь, в делание, он испытывал муки художника, у которого остановлен и задавлен его творческий порыв.

V.

Но почему же, почему он в таком случае не уходил?

Давно уже смутные слухи настойчиво указывали на одно определенное лицо, упорно загораживавшее Толстому дорогу к новой жизни. Теперь обе стороны ушли из жизни, теперь опубликованы многие интимные места из дневников и переписки Толстого, напечатан набросок его откровенно-автобиографической драмы „И свет во тьме светит". И нет теперь никакого сомнения, что лицом этим была его милая, любящая Кити,—его жена.

Тот же В. В. Розанов так описывает свое впечатление от Софьи Андреевны: „Вошла графиня Софья Андреевна, и я сейчас же ее определил, как „бурю". Платье шумит. Голос твердый, уверенный. Красива, несмотря на годы. Мне казалось, что ей все хочет повиноваться или не может не повиноваться; она же и не может, и не хочет ничему повиноваться. Явно—умна, но несколько практическим умом. „Жена ве-

кого писателя с головы до ног", как Лир был „королем с головы до ног".

Вот тут—вся суть этой тяжелой драмы. Жена великого писателя с головы до ног. А он,—он ни мизинчиком не писатель. О, отчего он не был писателем! Будь он Флобером, Зола, Ибсеном, Достоевским,—как бы хорошо, как радостно и благообразно шла бы жизнь! Широкая слава, всеобщее уважение. Лавреат и почетный член академий всего мира. Колоссальные гонорары. Прекрасная барская усадьба для лета, уютный дом в Москве для зимы. Вполне обеспеченное существование. Большая, дружная семья, счастливые дети, бесчисленные, милые внучата. Всегда полный дом самых избранных гостей. Чего еще желать? О, ей, хозяйке,—ей тут работы без конца; но она на это не жалуется. Работа радостная и привычная. Сложное управление домом и хозяйством, оберегание покоя и удобств великого своего мужа, заботы и хлопоты о детях. Денег, конечно, никогда не хватает,—расходов так много! Но энергии у нее довольно. Она сама обшивает мужа и детей, сама издает сочинения мужа,—это гораздо выгоднее, чем продавать издателям. Тонет в корректурах, принимает подписку. Судится с мужиками: они так наглы, так бесцеремонно рубят ее лес; если не будет острастки, то скоро и парк начнут рубить. Мало того, что на расходы нужны деньги. Нужно еще обеспечить всех детей. А их очень много. Все они женаты, замужем. Каждому нужно по хорошему именьицу.

И вдруг он, центр и солнце этой гармонической системы, говорит: ничего это не нужно. „То, что ты называешь важными делами, я называю пустейшими из пустейших". И мало того, что это не нужно. Все это преступно. Это—разврат, это—грабительство. Нужно отказаться от неправедно нажитого богатства, отдать землю мужикам, отказаться от права литературной собственности и начать жить трудами рук своих. Все это, конечно, очень было бы хорошо и трогательно в романе. Но в жизни, в жизни! Одним махом собственными руками разрушить благополучие, создавшееся ими обоими в течение десятков лет. Ей самой сбросить с себя шелка и батисты, превратиться в деревенскую бабу, ставить хлебы и доить коров. Детям превратиться в бедняков, захудалых графчиков, и тяжелым трудом зарабатывать себе черствый кусок хлеба. А они так неподготовлены к труду, так привыкли к балам, к винту, к борзым собакам... Да что это,—сон? Блажь спятившего с ума человека, не понимающего, что он говорит?

Долго ей хотелось верить, что это так и есть, что это только минутная блажь. Она пишет сестре: „Левочка все работает, как он выражается, но—увы!—он пишет какие-то религиозные рассуждения... Но делать нечего, я одно желаю, чтоб уж он поскорее это кончил и чтоб прошло это, как болезнь". И через пять лет опять: „Левочка кончает свое печатанье, которое сожгут, но все-таки, я надеюсь, что он успокоится". И его самого она пытается убедить, что ничего плохого нет в его жизни, приводит самые неопровержимые доводы: „да ведь это все было. Ведь это у всех,—и за границей, и везде".

Но он не успокаивается, и даже ссылка на заграницу его не убеждает. Он серьезнейшим образом собирается отказаться от владения всем своим имуществом. Тогда любящая жена превращается в разъяренную тигрицу, защищающую свое логово и своих детенышей. Тут уж не до того, что об ней будет говориться в биографиях, не до уважения к великому своему мужу, тут все средства хороши. Когда Толстой захотел осуществить свое намерение,—рассказывает его биограф П. И. Бирюков,—„ему было категорически объявлено, что если он начнет раздавать имущество, то над ним будет учреждена опека за

расточительность, вследствие психического расстройства. Таким образом, ему угрожал дом умалишенных, а имущество все-таки осталось бы в руках семьи".

Начинается долгая, упорная, скрытая от чужих взглядов борьба. Для обеих сторон это не каприз, не упрямство, а борьба за жизнь, за существование. В июле 1891 года Толстой решил опубликовать в газетах письмо с отказом от собственнических прав на свои литературные произведения. Произошла бурная семейная сцена. Характер ее мы ясно можем себе представить по сценам, происходящим между мужем и женой в упомянутой драме „И свет во тьме светит".

— Нет, это ужасно! За что такая жестокость? Ну, ты считаешь грехом, ну, отдай мне (плачет).

— Ты не знаешь, что ты говоришь. Если я отдам тебе, я не могу оставаться жить с тобой. Я должен уйти.

— Как ты жесток! Какое же это христианство? Это — злость. Ведь не могу я жить, как ты хочешь, не могу я оторвать от своих детей и отдать кому-то... За что ты ненавидишь и казнишь жену, которая тебе все отдала? Скажи, что я: ездила по балам, наряжалась, кокетничала? Вся жизнь моя отдана была семье. Всех сама кормила, воспитывала, последний год вся тяжесть воспитания, управления делами все на мне...

— Да ведь тяжесть эта от того на тебе, что ты не захотела жить как я предлагал.

— Да ведь это невозможно. Спроси у всего света. Невозможно оставить детей безграмотными, как ты хотел, и мне самой стирать и готовить кушанья...

Софья Андреевна так была потрясена разговором, что решила покончить с собой. Она пошла одна на станцию железной дороги Козловку-Засеку, чтоб лечь под поезд. Случайно на большой дороге ее встретил возвращавшийся с прогулки муж ее сестры, А. М. Кузьминский. Вид ее поразил его; он добился от нее признания в ее намерении и сумел отговорить ее.

Толстой настаивал на своем решении. Осенью он послал ей в Москву письмо с отказом от прав на свои литературные произведения и просил ее напечатать письмо в газетах. Софья Андреевна отказалась. Толстой напечатал сам. Этот отказ от собственности на произведения, напечатанные после 1881 года, был единственной победой, которую Толстой сумел одержать в борьбе с женой.

Борьба продолжалась,—упорная, мелочная, повседневная. Управляющий Ясной Поляны поймал мужиков за кражей леса; их судили и присудили к шести неделям острога. Они пришли к Софье Андреевне просить, чтоб их помиловали. Софья Андреевна ответила, что ничего не хочет и не может для них сделать. Опять произошел крупный разговор с Львом Николаевичем. Он указывал ей, что пусть у нее нет веры, чтоб простить мужиков из убеждения; пусть нет любви к нему, чтоб из-за нее сделать это; но неужели же он не в праве ждать от нее хоть на столько простого уважения к себе, чтоб не делать ему таких неприятностей, как эта? Софья Андреевна осталась непоколебимой и отправила мужиков в острог.

В этом же разговоре Толстой категорически заявил жене, что видит для себя только два выхода из создавшегося положения: либо отдать землю крестьянам и отказаться от имущества, либо уйти из дома. Попытки первого исхода разбились об упорное сопротивление Софьи Андреевны. Оставался второй исход,—казалось бы, самый про-

ой и для обеих сторон наиболее безболезненный. Но не так оказалось на деле.

17-го июня 1884 года Толстой пишет в дневнике: „Вернулся с гулянья бодрый, веселый, и вдруг начались со стороны жены бессмысленные упреки за лошадей, которых мне не нужно, и от которых я хочу избавиться. Я ничего не сказал, но мне стало ужасно тяжело. Я ушел и хотел уйти совсем, но ее беременность заставила меня вернуться с половины дороги в Тулу. Дома играют в винт бородатые мужики, — молодые мои два сына. Пошел к себе спать на диване, но не мог от горя. Ах, как тяжело! Только что заснул в третьем часу, она пришла, разбудила меня: „Прости меня, я рожаю, может быть умру". Пошла наверх. Начались роды; то, что есть самого радостного, счастливого в семье, прошло, как что-то ненужное и тяжелое... Если кто управляет делами нашей жизни, то мне хочется упрекнуть его. Это слишком трудно и безжалостно. Безжалостно относительно ее. Я вижу, что она с усиливающеюся быстротою идет к погибели и к страданиям душевным — ужасным. Когда приехал из Тулы брат, я в первый раз в жизни сказал ему всю тяжесть своего положения. Не помню как прошел вечер"...

В декабре 1885 года Толстой однажды входит к жене, — лицо страшное.

— Я пришел сказать, что хочу с тобой разводиться, жить так не могу, еду в Париж или в Америку.

Софья Андреевна удивленно спросила:

— Что случилось?

— Ничего, но если на воз накладывают все больше и больше, лошадь станет и не везет.

„Что накладывалось, неизвестно, — в наивном недоумении пишет она сестре. — Но начался крик, упреки, грубые слова, все хуже, хуже. Когда же он сказал, что „где ты, там воздух заражен", я велела принести сундук и стала укладываться. Прибежали дети, рев... Стал умолять остаться. Я осталась. Но вдруг начались истерические рыдания, ужас просто, подумай, Левочка, и всего трясет и дергает от рыданий. Тут мне стало жаль его..." И в сознании полной своей правоты она горестно пишет дальше: „Понимаешь; я часто до безумия спрашиваю себя: ну, теперь за что же? Я из дома ни шагу не делаю, работаю с изданием до трех часов ночи, тиха, всех так любила и помнила это время, как никогда. И за что?" И сейчас же следом: „Подписка на издание идет сильная. Денег выручила 2000 за 20 дней". И заканчивает: „Я все эти нервные взрывы, и мрачность, и бессонницу приписываю вегетарианству и непосильной физической работе. Авось он там у Олсуфьевых образумится. Здесь топлением печей, возкой воды и пр. он замучил себя до худобы и до нервного состояния".

И такие сцены разыгрывались все чаще. Уходу Толстого из дома Софья Андреевна противилась также упорно, как раздаче имущества. Почему? Ответ мы находим в драме „И свет во тьме светит".

— Нет, ты христианин, ты хочешь делать добро, говоришь, что любишь людей, за что же ты казнишь ту женщину, которая отдала тебе всю свою жизнь?

— Да чем же я казню? Я и люблю, но...

— Как же не казнишь, когда ты бросаешь меня, уходишь. Что же скажут все? Одно из двух: или я дурная женщина, или ты сумасшедший... И за это я должна нести позор. Да и не позор только. Самое главное то, что ты теперь не любишь меня; ты любишь весь

мир и пьяного Александра Петровича,—а я все-таки люблю тебя, не могу жить без тебя. За что? За что? (плачет).

— Ведь ты не хочешь понимать моей жизни, моей духовной жизни.

— Я хочу понимать, но не могу понять. Я вижу, что твое христианство сделало то, что ты возненавидел семью, меня. А для чего, —не понимаю.

— Маша! Я не нужен тебе. Отпусти меня. Я пытался участвовать в вашей жизни, внести в нее то, что составляет для меня всю жизнь. Но это невозможно. Выходит только то, что я мучаю вас и мучаю себя. Не только мучаю себя, но и гублю то, что я делаю. Мне всякий имеет право сказать и говорит, что я обманщик, что я говорю, но не делаю, что я проповедую евангельскую бедность, а сам живу в роскоши под предлогом, что я отдал все жене.

— И тебе перед людьми стыдно? Неужели ты не можешь стать выше этого?

— Не мне стыдно,—но и стыдно,—но я гублю дело Божие.

— Делай то, что ты проповедуешь: терпи, люби. Что тебе трудно! Только переносить нас, не лишать нас себя. Ну, что тебя мучает?

— Не могу я так жить. Пожалей меня, я измучился. Отпусти меня. Прощай.

— Если ты уйдешь, я уйду с тобой. А если не с тобой, то уйду под тот поезд, на котором ты поедешь. И пропадай они все, и Миша, и Катя! Боже мой, Боже мой! какое мучение! За что? За что? (плачет).

Простой уход для Толстого становится невозможен. Ему остается только бегство,—тайное бегство свободного человека из собственного дома. Крепкими сетями жалости и любви опутан лев, и у него нет сил разорвать эти сети. Нужно потихоньку, ночью, высвободиться из этих сетей и бежать.

В 1897 году Толстой начинает подготовлять бегство, сговаривается с друзьями. Он собирается поехать в Калугу к И. И. Горбунову, а оттуда в Финляндию, о чем списывается со своим единомышленником, финляндским писателем Иернефельдом. Жене он оставляет письмо. В нем он пишет:

„Как индусы под шестьдесят лет уходят в лес, как всякому старому религиозному человеку хочется последние годы своей жизни посвятить Богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису, так и мне, вступая в свой семидесятый год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения, и хоть не полного согласия, но не кричащего разногласия своей жизни с своими верованиями, со своей совестью. Если бы открыто сделать это, были бы просьбы, осуждения, споры, жалобы, и я бы остался, может быть, и не исполнил бы своего решения, а оно должно быть исполнено. И потому, пожалуйста, простите меня, и в душе своей, главное, ты, Соня, отпусти меня добровольно, и не сетуй на меня, не осуждай меня. То, что я ушел от тебя, не доказывает того, что я был недоволен тобой. Я знаю, что ты не могла, буквально не могла и не можешь видеть и чувствовать, как я, и потому не могла и не можешь изменить свою жизнь и приносить жертвы ради того, чего не сознаешь. И потому я не осуждаю тебя, а, напротив, с любовью и благодарностью вспоминаю длинные 35 лет нашей жизни. Благодарю, и с любовью вспоминаю и буду вспоминать за то, что ты дала мне. Прощай, дорогая Соня. Любящий тебя Лев Толстой".

Но он на этот раз не уехал. Письмо осталось не отправленным. Характерна запись Толстого в дневнике в день отправки письма к Иернефельду: „Внутренняя борьба. Мало верю в Бога. Не радуюсь экзи-

ену, а тягочусь им, признавая вперед, что не выдержу. Всю ночь нынче не спал. Рано встал и много молился. Написал письмо Иернефельду. Это одно важно. А силы нет противостоять привычному соблазну. Приди и вселися в ны. Возбуди воскресенье во мне!". Как будто ясно: соблазн, это — остаться дома, не уехать. Но на запрос Иернефельда о просимой у него помощи Толстой отвечает: „теперь соблазн, который заставлял меня искать этой помощи, минован". И при личной встрече с Иернефельдом в Москве, Толстой сказал: „Да, да, соблазн минован на этот раз".— И потом, оглянувшись, с глубочайшим вздохом скорби прибавил: „Вы извините меня, Арвид Александрович, что я так живу, но, должно быть, так надо". И Черткову он пишет через четыре дня после вышеприведенной записи в дневнике: „Я плох. Я учу других, а сам не умею жить. Уж который год задаю себе вопрос, следует ли продолжать жить, как я живу, или уйти,—и не могу решить. Знаю, что все решается тем, чтобы отречься от себя, и когда достигаю этого, тогда ясно". Как видим, то для него соблазн — остаться дома, то соблазн как раз обратное, уйти из опостылевшей обстановки. И вопроса этого он никак не может решить.

Со стороны казалось бы,—вопрос так ясен и бесспорен. Прочтите драму „И свет во тьме светит". Вы недоумеваете,—что же мешает Николаю Ивановичу поступить так, как ему приказывает совесть? Что его связывает с его тупою, хитрою и бессердечною женою? Почему он так покорно и робко отступает каждый раз перед ее напором? Ответ может быть только один: слабый, безвольный человек, совершенно ясно видящий дорогу, но не смеющий выйти из-под власти своей Ксантиппы. Между тем в ремарке этот Николай Иванович характеризуется, как „сильный, энергичный".

Дело в том, что отношения между Толстым и Софьей Андреевной вовсе не походили на отношения между Сократом и Ксантиппой, и не походили также на отношения между Николаем Ивановичем и Марьей Ивановной в драме „И свет во тьме". Драма эта представляет из себя только взволнованный набросок, сделанный художником в горячке личных переживаний. Это только схема, только голый остов, который еще должен был заполниться живою плотью и кровью, засиять внутренним светом толстовского творчества, стоящего выше личного раздражения, полного любви и всепонимания. Тогда и сущность драмы стала бы нам понятнее.

Софья Андреевна — не Ксантиппа, и отношение к ней Толстого не отношение к своей жене Сократа, стоически-спокойно несущего посланную ему судьбою семейную казнь. Толстой горячо и нежно любит жену. В разлуке они неизменно пишут друг другу каждый день. Если два-три дня нет писем, оба они одинаково уж волнуются и беспокоятся. В каждом письме он подробно ей сообщает о своем здоровье и житье, — что сегодня у него была изжога, что покалывает в бок, что маленький угар был, что мышь мешала ему спать. Чуть он себя почувствует немного худо, — она все бросает и, сама больная, в жару, едет к нему. В 1895 году он ей пишет: „Хотел тебе написать, милый друг, в самый день твоего отъезда, под свежим впечатлением того чувства, которое испытал, а вот прошло полтора дня, и только сегодня пишу. Чувство, которое я испытал, было странное умиление, жалость, и совершенно новая любовь к тебе, любовь такая, при которой я совершенно перенесся в тебя, и испытывал то самое, что ты испытывала. Это такое святое, хорошее чувство, что не надо бы говорить про него, да знаю, что ты будешь рада слышать это. Странно

это чувство наше, как вечерняя заря. Только изредка тучки твоего несогласия со мной и моего с тобой уменьшают этот свет. Я все надеюсь, что они разойдутся перед ночью, и что закат будет совсем светлый и ясный". После смерти их любимого мальчика Ванечки Толстой пишет одному из своих друзей: „Больше чем когда-нибудь, теперь, когда она так страдает, чувствую всем существом истину слов, что муж и жена не отдельные существа, а одно".

При таком их взаимном отношении нам легче станет понять, почему так смертно труден был для Толстого его уход от жены. Для него это значило — с мукой, с кровью вырвать из сердца глубоко вросшую в него любовь, и вырвать всякую жалость. Он будет глубоко и блаженно дышать свежим воздухом чистой, новой жизни, а в это время она, эта больная, измученная женщина, будет где то в одиночестве озлобленно исходить в проклятиях и хулениях на жизнь, а возможно,—будет уже лежать в земле, изрезанная в куски колесами увезшего его поезда,— как Анна Каренина, „жестоко-мстительная, торжествующая, свершившая угрозу никому ненужного, но неизгладимого раскаяния". Одною из особенностей Толстого была, между прочим, его способность до боли ярко и осязательно представлять себе рассказываемые или воображаемые события. И он не мог не знать, что угрозы Софьи Андреевны не были пустыми угрозами. После совершившегося бегства Толстого в 1910 году она, как тогда писали в газетах, действительно бросилась в студеный октябрьский пруд, чтоб утопиться, и ее вытащили следившие за нею близкие.

Вот в чем был „соблазн", тридцать лет удерживавший Толстого от ухода, а не в салате из помидоров и ячменном кофе со сливками, которые ему готовила Софья Андреевна. Вот почему он говорил себе „так надо!". То „неожиданное, исключительное унижение, которое ему постоянно приходилось испытывать дома, представлялось ему, именно вследствие своей тяжести, тем бременем, которого он не имеет права сбросить. „Такое желание,—пишет он Черткову,—есть желание внешних благ для себя,— такое же, как желание дворцов, и богатства, и славы, и потому оно не Божие". — И в дневнике он пишет: „Вместо жертвы примера победительного,— скверная, подлая, фарисейская, отталкивающая от учения Христа жизнь. Но ты, Боже, знаешь, что в моем сердце, и чего я хочу. Если не суждено, не нужен я тебе на эту службу, а нужен на навоз, да будет по-твоему. Это скверный эгоизм. Самому хочется? Да. Дай мне жизни настоящей. И эта жизнь есть, и дана, и просить нечего".

Несомненно, что такое решение, даже с евангельской точки зрения было падением, было сбереганием души,—тем сбереганием, о котором в Евангелии сказано: „кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее". И Евангелие говорит слишком ясно: „Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит... жены своей, и детей своих, тот не может быть моим учеником". Вот на эту-то святую „ненависть" у Толстого не хватило душевной силы. Но именно этот „соблазн", и только этот, удерживал его от ухода, а не привязанность к внешним благам, его окружавшим.

И столь же несомненно, что, будь у Толстого не такая жена, он уж давно легко и радостно ушел бы в новую жизнь. Как жадно томился он по жене, истинной ему духовной подруге и помощнице, показывает любопытное послесловие его к одному чеховскому рассказу. Помните вы рассказ Чехова „Душечка"? Очень глупенькая девушка с бесконечно любящею душою выходит замуж за антрепенера летнего сада. Всем сердцем она живет его интересами. Самым важным

нужным на свете она считает театр, негодует на публику, которой нужен „балаган“, которой подавай „пошлость“, а вот у нас вчера шел „Фауст на изнанку“, и почти все ложи были пустые. После смерти антрепенера она выходит за лесного торговца, — и самым важным делом в жизни начинает считать лесное дело, а о театре отзывается: Мы люди труда, нам не до пустяков. В театрах этих что хорошего?“ Сходится потом с ветеринаром, — и самым важным в жизни считает ветеринарный надзор и т. д. Отношение Чехова к ней — добродушно-насмешливое, и другим, конечно, отношение это и не может быть: полюбит такая „душечка“ революционера,—и пойдет с ним на смерть; а останется жива, выйдет за палача,—и будет ругать революционеров, задающих так много работы ее мужу. Но Толстой от этой „душечки“ в восторге; его так подкупает ее способность слиться душою с делом любимого человека, что смешных и отрицательных ее сторон он совершенно не замечает. „Без женщин-врачей и сочинительниц мы обойдемся, но без помощниц, подруг, утешительниц, любящих в мужчине все то лучшее, что есть в нем, и незаметным внушением вызывающих и поддерживающих в нем все это лучшее, — без таких женщин плохо бы было жить на свете. Не было бы Марии и Магдалины у Христа, не было бы Клары у Франциска Ассизского, не было бы у духоборов их жен, которые не удерживали мужей, а поддерживали их в их мученичестве за правду. В этой любви, обращена ли она к антрепренеру Кукину или к Христу, главная, великая, ничем не заменимая сила женщины“.

Относительно Толстого нам горько приходится пожалеть, что женою его не была хоть бы „душечка“, если не Мария и не Клара. Мы имели бы в таком случае перед собою невиданно-красивую и своеобразную жизнь, цельную и гармоническую. В изображении самого крупного художника она, может быть, казалась бы нам неправдоподобной. А мы бы ее увидели въявь, собственными глазами.

VI.

Но этого не случилось. На дороге Толстого выросла непреодолимая для него преграда,—и „биография“ остановилась. Степной конь, вольно мчавшийся по равнинам жизни, был насильственно взнуздан и поставлен в конюшню. Помните, как у Флобера: „я истощился, скача на одном месте, как лошади, которых дрессируют в конюшне: это ломает им ноги“. На целых тридцать лет Толстой оказался запертым в такую конюшню.

Тяжело наблюдать за этот период жизнь Толстого. Такая она сдавленная, скомканная, такая для него несвойственная! По существу он не имеет возможности претворить своих стремлений в дело, а стремления есть, властно требуют своего осуществления. И получается осуществление на одну сотую, на одну тысячную долю,—маленькое, никчемное, вызывающее улыбку и раздражительное недоумение. Дом полон прислуги; горничным и дворникам делать нечего,—а Толстой сам стелет себе постель и топит печку. На корм охотничьим собакам молодых графов тратится по сорок четвертей овса в год,— „вдвое более того, что осчастливило бы десятки семей“, по замечанию Толстого,—а Толстой в этой избыточной жизни сам шьет себе сапоги. Лакеи самым существом своей работы поставлены в унизительное положение,—а Толстой, в этих условиях их работы, демонстративно здоровается с ними за руку, вызывая в них только смущение и конфуз.

„Какая-то игра в Робинзона,— презрительно пишет Софья Андреевна. Чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало!"

В Москве Толстой уходит на Воробьевы горы пилить с мужиками дрова,— дело, для них нужное, а для него, на их глаза, барское баловство. В деревне у себя сам пашет, косит, убирает сено, когда есть наемные работники. И описание участниками этой работы Толстого дает тяжелое впечатление какой-то ребяческой забавы, игры в мужички,— как Толстой серьезно подбадривает их, как говорит: „Наляжем! После солнца нельзя работать. Так старики учат!" Он и на деревне работает,— пашет землю у вдовы, сам складывает ей печку. В условиях той бедности, которой Толстой для себя желал, это была бы, действительно, проповедь христианской любви делом. Но теперь, когда это делал барин-граф, когда мимо на великолепных лошадях со сворами борзых собак проезжали сытые, бездельные его сыновья,— вдова могла видеть в работе Толстого одну лишь блажь: купил бы сынам парою собачек меньше,— и нечего было бы самому пачкаться, да морить себя на ее пашне. И, конечно, Толстой хорошо понимал всю фальшь и ненужность этих своих трудов. „Мне нехорошо,— пишет он Черткову,— физическая работа почти бесцельная, т.-е. не вынужденная необходимостью, отношений с окружающими меня людьми почти нет: приходят нищие, я им даю гроши, и они уходят. Мне очень тяжело".

В дневнике своем он рассказывает, как однажды хорошо поговорил с встречным мужиком-пахарем о Боге, как убедил его бросить пить вино. Мужик пришел к нему за книжками. „Я с гостями сидел на великолепной террасе, перед разбитыми клумбами, с урнами среди цветочных горок,— вообще среди той роскошной обстановки, за которую всегда стыдно перед людьми рабочего народа, когда вступаешь с ними в человеческие сношения". Этот стыд,— тяжелый, стесняющий, давящий душу,— теперь становится постоянным душевным состоянием Толстого. И это у человека, по натуре своей не переносящего ничего половинчатого, недоделанного, никакой фальши! По натуре своей,— бойца, смелого и задорного! Что же это за муки должны были быть!

Пришел однажды в Москве к Толстому сын известного сектанта-крестьянина Сютаева. Сын этот отказался от несения военной службы и только-что отбыл наказание в шлиссельбургском дисциплинарном батальоне. После беседы молодой Сютаев собрался уходить, а было уже поздно. Толстой стал оставлять его ночевать. Тот жмется и отказывается.

— Что такое? Почему?

— Да признаться, Лев Николаевич, в бане давно не был. Очень вошь замучила.

— Ну, вот, пустяки какие! Оставайся. Я очень буду рад, если в моем доме рабочая вошь заведется. (Воспоминания И. Ф. Наживина.)

Кто в здоровых, нормальных условиях станет радоваться такой своеобразной чести? И кто, не принужденный переживать этого вечного стыда за себя, способен говорить так?

И все теперь — против Толстого, и даже слава его превращается для него в проклятие. Товарищи его и ученики идут в ссылку, в тюрьмы, в дисциплинарные батальоны, а его самого никто не смеет тронуть. Он пишет министрам, что корень зла — в нем, Толстом, что странно наказывать распространителей его учения, а его самого не трогать. Министры молчат. Александр III злорадно замечает: „Толстой ждет от меня мученического венца,— не дождется!" Кто делает то,

то считает делом своей жизни, не должен бояться мученического венца. Но нелепо желать его. В тех же условиях, в которые попал Толстой, самодовлеющее мученичество,— само по себе столь противное его здоровой натуре,— начинает ему представляться верхом счастья. Он пишет одному из своих единомышленников, сидящему в тюрьме: „Ничто бы так вполне не удовлетворило меня и не дало бы мне такой радости, как то, чтобы меня посадили в тюрьму, хорошую, настоящую тюрьму: вонючую, холодную, голодную. Это доставило бы мне на старости лет искреннюю радость и удовлетворение".

Жажда дела все время мучит его великая. Но нет утоления этой жажде. В 1885 году он пишет жене из Крыма: „Здесь хорошо, но хорошо с людьми своими и с делом. Дело-то, положим, есть мне всегда, но какое-то слишком уже легкое. А я привык к очень напряженному". А какое такое напряженное дело, в которое он бы ушел всею душою, мог он найти в условиях своей жизни?

В 1891 году значительную часть России постиг жестокий голод. Паллиативное кормление голодающих могло удовлетворить Толстого в 1873 году, во время самарского голода, при тогдашнем его отношении к бедам жизни, как к несчастной случайности. Теперь же он так относиться к этому не мог. Он пишет Лескову: „Люди, которые живут всегда не заботясь о народе, часто даже ненавидя и презирая его, вдруг возгораются заботами о меньшом брате! Мотивы их — и тщеславие, и честолюбие, и страх, как бы не ожесточить народ. Я же думаю, что добрых дел нельзя делать вдруг по случаю голода, а что если кто делает добро, тот делал его и вчера, и третьего дня, и будет делать его и завтра, и послезавтра, и во время голода, и не во время голода".

Но слишком в нем сильна потребность деятельности. Он едет в голодные местности на несколько дней, чтобы на месте ознакомиться с положением и написать статью о голоде,— увлекается, и остается на два года, и развертывает свою знаменитую деятельность по кормлению голодающих. И два года устраивает столовые, в осеннюю распутицу переезжает из деревни в деревню, весь уходит во всякого рода счеты и расчеты, подсчитывает муку, картофель, горох. „Тут отношения кормящих к кормимым,— пишет он художнику Н. Н. Ге,— тут греха конца нет, но не могу жить дома, писать. Чувствую потребность участвовать, что-то делать". И все-таки его временами охватывает омерзение. „Я живу скверно,— пишет он одному из друзей.— Сам не знаю, как меня затянуло в эту работу по кормлению голодных. Не мне, кормящемуся ими, кормить их. Но затянуло т. к, что я оказался распределителем той блевотины, которою рвет богачей. Это скверно и противно, но не могу. Раз попавши в это положение, уж невозможно, прямо не могу отстраниться".

Нет подходящего дела, которое бы давало удовлетворение душе. И вот весь огромный избыток энергии, раньше уходивший у этого человека в жизнь, теперь направляется... на писание. Он пишет, пишет, пишет... Все пишет о том, как нужно служить Богу, как нужно жить. Еще в 1881 году он писал В. И. Алексееву: „То, что я писал и говорил, достаточно для того, чтоб указать путь; всякий ищущий сам найдет, и найдет лучше и больше, и свойственнее себе доводы, но дело в том, чтоб показать путь. Теперь же я убедился, что показать путь может только жизнь, - пример жизни... Действие этого примера одно дает толчок, пример, доказательство возможности христианской, т. е. разумной и счастливой жизни при всех возможных условиях,- это одно двигает людей".

Но этого-то одного Толстой и не имел возможности дать. Он пишет другу, сообщившему ему о мужественном поведении в тюрьме двух его последователей: „Какая сила! И как радостно — все-таки радостно за них и стыдно за себя... Одно остается: сидя за кофеем, который мне подают и готовят, писать, писать... Какая гадость! Как бы хотелось набраться этих святых вшей. И сколько таких вшивых учителей, и сколько сейчас готовится"... •

И он пишет, пишет.. Ужасно много пишет. „Я перестал себя чувствовать: une machine à écrire (пишущая машина)",— сообщает он жене. Когда сотни за сотнями перелистываешь страницы религиозных писаний Толстого, думаешь: все учение Христа полно изложено в одной маленькой книжечке, да и то наполовину заполненной повторениями и рассказами о всяких чудесах. Нужно ли было для дела Толстого его многописание? И суть здесь не в несогласии с его взглядами. Книга Иова и Евангелие, Платон и Марк Аврелий, Паскаль и Ламеннэ, Шопенгауэр и Ницше,—можно с ними совершенно не соглашаться и все-таки с наслаждением читать их и перечитывать. Но навряд ли кто-нибудь, кроме правоверных учеников Толстого, перечитывает томы его религиозных писаний. Скучны они. И в них совершенно уже не чувствуется духа искания,—этого духа, составляющего главную прелесть Толстого. Теперь истина вся целиком в его обладании.

Случилось то же, что случилось бы, если бы Толстому в свое время не пришлось жениться. Мы знаем, какое важное и серьезное значение придавал он семейной жизни. Женился он уж тридцати четырех лет. Легко могло случиться, что и в эти годы он не нашел бы подходящей подруги,— именно потому, что слишком большое значение придавал этому. И остался бы холостяком. И тогда бы всю жизнь он много и упорно писал бы о счастье и поэзии семейной жизни,—желанной и недостигнутой. И не было бы у нас „Крейцеровой Сонаты", не услышали бы мы от него о браке того, что он писал, изжив семейную жизнь. Например: „Главная причина семейных несчастий та, что люди воспитаны в мысли, что брак дает счастье. Но брак есть не только не счастье, но всегда страдание, которым человек платится за удовлетворенное половое желание" (Дневник).

Так и теперь. Найденная Толстым истина, не претворенная в жизнь, постепенно закоченела, застыла, сделалась абсолютною. Толстой стал „пророком". Тяжелая болезнь в 1901 году, как подступившая смерть в 1910 г., повидимому опять всколыхнула этот ищущий дух. Характерно наблюдение Максима Горького о перемене, которую он заметил в Толстом во время болезни: „Болезнь еще подсушила его, выжгла в нем что то, он и внутренне стал как бы легче, прозрачнее, жизнеприемлемее. Глаза еще острее, взгляд пронзающий. Слушает внимательно и словно вспоминает забытое или уверенно ждет нового, неведомого еще. В Ясной он казался мне человеком, которому все известно и больше нечего знать,—человеком решенных вопросов".

Нечего гадать, что было бы с Толстым, если бы он осуществил в жизни свое учение,—к какого рода углублению и расширению живой жизни он бы пришел. Но одно несомненно,—к у д а - т о он пошел бы дальше. Один богатый и знатный японец, бывший журналист, Току Томи, стал толстовцем. Он пишет о себе в сборнике, изданном П. А. Сергеенко ко дню 80-тилетия Толстого: „Теперь я живу на маленькой ферме недалеко от Токио, в крошечном домике, со своею женою и собакою. Я развожу картофель и другие овощи. Я провожу день за днем, работая заступом, обрабатывая землю и выпалывая сор-

іе травы. Почва так не возделана, сорные травы так быстро растут, обенно в эти летние дни. Все время, всю энергию я трачу на то, обы полоть, полоть, полоть... Может быть, таков склад моей души, жет быть, таков строй несовершенного мира. Однако, я вполне астлив. У нас прекрасный сон и хороший аппетит. У нас есть все, что нам нужно".

Он вполне счастлив. И, может быть, на всю жизнь останется счастлив и доволен собою. А Толстой, — он, возможно, пополол бы год—другой, а потом... Потом дикий конь перескочил бы через забор огорода и помчался бы куда-то вдаль... Куда? Кто знает? Но как обидно, как горько обидно, что судьба так долго проморила в запертом стойле этого великолепного арабского коня и на тридцать лет задержала его прекрасный бег!

VII.

В 1910 году, темною октябрьской ночью, Толстой тайно покинул Ясную Поляну. В письме, оставленном жене, он писал, что не может больше жить в той роскоши, которая его окружает, что хочет провести последние годы жизни в уединении и тиши, просил жену понять это и не ездить за ним, если она узнает, где он

Он поехал к своей сестре-монахине в Шамардино, Калужской губернии, думал прожить там с месяц. И вдруг зловещий призрак женщины, искривившей всю его жизнь за последние тридцать лет, опять встает на горизонте. Получено известие, что Софья Андреевна едет за ним. Больной с повышенной температурой, под дождем и ветром, он рано утром с другом-доктором и дочерью уезжает на лошадях за восемнадцать верст в Козельск, там садится в поезд, чтобы пробраться в Ростов. На станции Астапово, тяжко больного, его приходится снять с поезда и поместить в домике начальника станции.

Он умирает,—это ясно и для него самого, и для всех окружающих. И не как пророк он умирает. Опять перед нами прежний Толстой,—ничего еще окончательно не нашедший, все еще ищущий.

— А мужики-то, мужики-то как умирают,—жалостно говорит он. Как видно, мне в грехах придется умирать...

И перед самою смертью шепчет про себя:

-- Не понимаю, что мне делать!

Последние слова Гете были: „побольше света!". Последние слова Виктора Гюго были тоже какие-то очень хорошие,—не помню, какие Последние слова Толстого: „не понимаю!". И пускай. В своем роде эти слова еще прекраснее, чем самые возвышенные изречения.

Толстой не был пророком, не был святым. Но он был чем-то, что не менее важно для жизни. Он был страстным, безоглядным искателем, человеком, „взыскующим града". И был он еще художником, сумевшим собственную свою жизнь сделать одним из самых прекрасных своих произведений. И благодарение судьбе, что она дала ему возможность своим уходом внести последний, заключительный штрих в это художественное произведение жизни. Толстой умер не в прочно оседлом яснополянском обиталище, он умер в пути, на глухом полустанке. Но через этот полустанок, ярко блестя рельсами, уходит вдаль бесконечная дорога...

Некрасов и современность

В. Плетнев.

Исполнилось 100 лет со дня рождения великого поэта-гражд нина и около 45 лет отделяет нас от дня его смерти. Советская Ро сия собирается чтить его память. Будут вечера-спектакли, концерт речи, статьи, посвященные памяти поэта. И сейчас уже мы имеем ря печатных произведений, посвященных памяти Некрасова.

В них добросовестно, умело дается биография поэта, оцен его деятельности—все как полагается литературной критике, испо няющей свой долг.

Но... „редко и холодно, нет кипучих"! Все, что мы до сих пс имеем, все это убийственно плоско, компилятивно, равнодушно, х лодно и, что хуже всего, не глубоко.

Почему так?

Разве поэт-гражданин, борец за права человека, художник, отр зивший в своем творчестве бесконечную глубину народных страдани глубоко переживший их сам, не трогает сердца сейчас, не став перед каждым перечитывающим и вспоминающим его ряда жгучи проблем современности?

Разве творчество поэта-гражданина настолько кастрировано бе пощадным временем, что о нем можно говорить только языком архив А до сих пор мы иного не слышали. Мы думаем, что в таком отн шении к великому поэту гражданину, как в зеркале отражается наш современность и... лик нашей российской интеллигенции.

В самом деле? Стоит ли много говорить о творчестве Некр сова в наши дни? Такой вопрос задают.

> ...прочен и легок
> на диво слаженный возок...

Что скажет современному утонченному поэту проза Некрасов

Современный поэт прошел круг всевозможных исканий. Пере ним кумиры, которым он поклоняется, кумиры, о которых можно ск зать словами Некрасова:

> ... Вы еще не в могиле, вы живы;
> Но для дела вы мертвы давно.

Что значит для современного поэта крестный путь жизни Некр сова, когда над Россией пронесся великий ураган революции, когд в Европе то тут, то там вспыхивают зарницы предвестницы велич вой мировой грозы.

Современный мир художников двулик. С одной стороны, художгордо полагает, что он обстрелян молниями рев люции. обож ее огнем, хотя ни для кого не тайна, что за исключением небшой группы поэтов, принявших на свои плечи тяготы револю-, у поэтов современности и под микроскопом трудно найти следы ран и ожогов от революционного огня. Но в стремлении выпятить на первый план свои поэтические ажуры современным поэтам откавать нельзя. Они в высшей степени „революционны" в этом смысле.

Другой круг художественного мира живет в плоскости иных настроений. Если первый живет по принципу „во всяких жизненных невзгодах держи хвост трубой", то второй, растеряв все, что имел, облекся в покаянные ризы и льет поэтические слезы своей души и страдает, претендуя пополнить собою мартиролог мучеников и страдальцев русской литературы.

Но и тем и другим, несмотря на разность их душевных переживаний обще одно: они глубоко до корня аполитичны и антигражданственны.

Многие ли из современных художников имеют право сказать, что они несли и несут на себе непомерную тяжесть эпохи великого оздоровления истерзанной войною и блокадой родной страны?

Не в том смысле, что они так же, как и другие, голодали и жили в холоде, а в смысле их готовности активно двигать вперед дело революции?

Мы смело и открыто считаем себя в праве сказать, что за чрезвычайно редкими и тем более счастливыми исключениями—нет, не многие.

Современный художник в массе своей антагонистичен революции, он ее органический противник, он не приемлет ее, она ему чужда и враждебна.

И российские художники сделали из этого свои выводы.

Одни пошли благословлять на разорение России Колчака, Деникина, Юденича, Врангеля и сейчас сменяют кровавые „вехи", поставленные ими на пути революционной России, „идут в Каноссу" целовать лицо родной страны, так недавно еще оплеванное и затоптанное ими.

Другие заперлись в „кафе", отгородились от революции защитным цветом „революционного хулиганства", гордясь своею независимостью от революции.

Третьи смолкли и ушли, иногда оплаканные, иногда безвестные.

Четвертые живы еще, но мертвы для дела, ибо у них нет ни сил, ни мужества пойти на тернистый путь революционного строительства, и они, подчеркивая свою „честность с собой", в глубоко индивидуалистических писаниях изливают свою скорбь.

И... вся наша интеллигенция за редкими и счастливейшими исключениями представляет собою болото, отравляющее дыхание революции трупным ядом разложения.

Не она ли наполняет сейчас народившиеся с молниеносной быстротой кабарэ и кафэ, не она ли возрождает узкий индивидуализм со всеми его онерами, богоискательством, мистицизмом, за которыми по логике вещей неизбежна полоса гнуснейшего разврата.

Не она ли в те дни, когда в Поволжьи голод и тиф косят тысячи детей, афиширует „вечера веселья и радостных настроений", не она ли наполняет вечера юмора, не она ли злорадствует, сливаясь с обывателем над героическими усилиями пролетарских и крестьян-

ских масс, на своем горбу вывозящих страну из пропасти хозяйственного разложения?

В поэзии—форма, утонченность, индивидуализм мыслей, переживаний, настроений, или—„покаяния двери отверзи ми".

В театре уже „Генеральша Матрена".

И во всем другом свободная торговля.

Но ведь каются многие, плачут каясь. Не мешайте!

Пусть он бичует себя, господа!
Дайте излиться прекрасному сердцу.

Пусть. Но мы знаем в литературе иные мысли, иные слова, из которых можно и должно научиться многому.

И мы прошли бы мимо их, как Данте в аду мимо тех, которые „были ни в тех ни в сех, но сами по себе", если бы... если бы мы не знали также отчетливо и ясно, что час великого испытанья всех наших сил

настал и требует ответа...

что пора понять,

Что белый свет кончается не нами,
Что можно личным горем не страдать.

Она не обрела пути, по которому стремительно несется колесница человечества и, застыв в своем бездействии она неизбежно попадает и будет попадать под колеса исторического движения.

Ибо в сердце нашей интеллигенции нет даже и того, когда

Торжествует мстительное чувство;
Догорая, теплится любовь.

И наша оценка Некрасова будет иной. Мы подходим к нему не с меркой лет, не с чертами и черточками биографии, не с оценкой его личных качеств „по свидетельству современников".

Мы хотем знать и ценить не Некрасова человека, а Некрасова поэта-гражданина. Мы хотим ответить не на вопрос, „чем был Некрасов для своего времени", а на вопрос, „что он есть для нашего времени, для нашей бурной, огненной эпохи".

Может ли из его творчества научиться чему-либо тот, кто несет на себе тяжесть революции; несет ли ему творчество Некрасова то, что может облегчить его тернистый путь?

И мы полагаем, что Некрасов поэт-гражданин в своей актуальности в революции и для нее несоизмеримо выше вылощенных поэтов современности.

Мы знаем, что это вызовет со стороны последних „взрыв негодования", „презренье", они назовут такой взгляд тупостью, неспособностью понять значимость и силу современной поэзии.

Все это для нас ясно!

Но не менее ясно для нас, что мастерские, тонкие, сильные стихи современных новаторов поэзии, их мысли, чувства, переживания не могут научить тому, что дает стимул движению по пути революции.

И слова поэта:

Поэтом можешь ты не быть.
Но гражданином быть обязан...

нас являются заповедью, которой должен следовать всякий поэт, отором живет активное чувство борьбы, революционной стравоистину творческое устремление. Ибо мы знаем, что в рабо- в крестьянине стихи Некрасова вызовут глубокий внутренний гест против того строя, который остался позади нас, просветят ознание, еще затемненное проклятьем 300-летнего гнета. Они вызовут душе каждого протест против издевательства над человеческой ичностью, против рабства, позовут вперед от проклятой жизни рошлого, внушат каждому глубокую любовь и уважение к прошлой орьбе и всем тем, кто отдал ей свою жизнь, силу и страсть.

Всего этого не дает, не может дать поэзия современных поэтов афэ и кабарэ, также как и поэзия поэтов упадка, разочарованья, еуверенности и бессилия.

Мы знаем также, что для современного пролетарского и крестьян кого художника творчество Некрасова будет ярким доказательством ого, что искусство не только форма, не только виртуозничанье, игра ловами, а и огненная мысль, сила протестующего духа, сила, разруłающая старое во имя строительства новой жизни.

Вспоминается, когда В. П. Боткин и И. С. Тургенев подсмеиваись над Некрасовым за его слова „Пусть не читает моих стихов светкое общество,—я не для него пишу",—он ответил им:

„Имеете право потешаться надо мной. Я вас еще более потешу удивлю, если выскажу вам свою откровенную мысль, что мое авторкое самолюбие вполне будет удовлетворено, если бы, хотя после моей мерти, русский мужик читал мои стихи".

Некрасов не ошибся: его стихи читаются и будут читаться долго, чень долго, мы будем глубоко переживать „Размышления у парадого подъезда", „Железную дорогу", „Кому на Руси жить хорошо"; з массы выделятся те, которые по своему оценят неумершую мощь, илу, значимость гражданских мотивов Некрасова, отдадут ему должное, айдут ему достойное место в ряду двигающих вперед дело революции.

Имя Некрасова должно быть поставлено на-ряду с великими мами своего времени. Мы не обойдем его имени, говоря о Черныевском, Добролюбове, Герцене и других.

Пусть в его поэзии нет призывов, равных по мощи призывам Колокола", — пусть он не звал на баррикады, пусть срывался иногда намеченного им пути служения народу... Физическая смерть Некраова стерла все эти мелкие штрихи его личной жизни и перед нами о стихи, которые „жгутся", которых до сих пор нельзя читать равноушно, в которых народу отдано все, в которых кроме него нет действующего лица.

Стихи Некрасова—это грубые корявые вязы, посаженные на зыучем песке, своими корнями укрепившие его, создавшие почву для ого, чтобы могло исполниться желание поэта:

Буря бы грянула, что ли —
Чаша с краями полна!

Мы не можем быть равнодушными к тому, про кого писал Неасов:

Не спасал ты утопающих,
Но и в воду не толкал...

и к тому, кому он же сказал:

Наполняя ум свой знаньями,
Обходил ты жизни грязь.

И раскаянье их не ново, это обычная болезнь нашей интеллигенции, любящей попариться в бане самоистязаний. Здесь, как нигде, к месту злое, но меткое определение поэта-гражданина:

И всегда по возможности будем
Верны истине задним числом.

Революция стала истиной современности; в нее нельзя не верить, фактов нельзя отрицать. Давайте становиться верными ей. Этой гибкости станового хребта не время теперь.

Революционная эпоха требует отчетливости, ясности, прямоты мысли, слова, действия. С ней нельзя безнаказанно играть в индивидуалистические игрушки, мимо ее уроков нельзя проходить равнодушно.

И она вправе требовать от российского интеллигента служения себе, движения в ногу с массой. Было время, когда интеллигент

Слыл умником и в ус себе не дуя.
Поклонники в нем видели Мессию.

И минуло оно. Масса, двигающая революцию, сама себе Мессия. Она многому научилась в тяжкой суровой школе революции, чтобы идти за „изливающимися прекрасным сердцем“, прекрасным, но дряблым, слабым, никчемным и лишним.

Ей нужна сила, твердые руки, готовность к борьбе, к неизбывному тяжкому труду, нужно ясное сознание пути и цели, твердая ставка на свой ум, руки, силу, единое сознанье.

Дает ли это хоть в малой степени современная интеллигенция России?

Нет! Или если и дает, то „редко и холодно“ за паек, из-под палки, из за животного чувства самосохранения; в лучшем случае без души,—в худшем со скрежетом зубовным и с затаенной мыслью о „реванше“.

Она привыкла смотреть сверху, пассивность страдания принимать за активность бытия.

Грянь над пучиною моря,
В поле, в лесу засвищи,
Чашу вселенского горя
Всю расплещи!

Спустя почти 50 лет грянула буря, „чаша вселенского горя“ расплеснулась по всему миру и горит кровавым заревом грядущего восстания угнетенных масс на всем земном шаре.

И „суровый неуклюжий стих“ Некрасова, звавший

На бой, на труд!
За обойденного,
За угнетенного,

будет звучать призывом:

Иди и гибни безупречно—
Умрешь не даром... Дело прочно,
Когда под ним струится кровь...

призывом к борьбе, к творчеству не во имя своего я, а во имя масс, стремящихся сейчас к освобождению, творящих воистину „прочное дело“, ибо под ним „струится кровь“ лучших наших товарищей.

Поэт, пролетарий, художник, творец новой жизни, нового искусства, возьми от „неуклюжего" стиха поэта гражданина то, что делало его „жгучим", его глубокую нерушимую связь с жизнью, его глубокую гражданственность, научись у него видеть жизнь не через очки своего я, а глазами своего класса!

Прошло полстолетья, изменились формы поэзии, стих Некрасова устарел, но не устарело, а живо содержание „в кровь иссеченной музы" великого поэта-гражданина.

Еще стыдней в годину горя
Красу долин небес и моря
И ласку милой воспевать...

говорил поэт.

И разве не жизненны сейчас эти слова, когда русская поэзия в огромной части своей в годину тяжелых испытаний, когда все кругом зовет „на бой, на труд", предается воспеванию разочарованного „я", отгораживается от черной тяжкой работы по возрождению страны, живет в дебрях формальных исканий, без тени гражданственности и творческой жизненной силы?

Поэтому-то в юбилей Некрасова так тускло и серо, так безнадежно „добросовестно" говорят о нем.

Он чужд нашей современной интеллигенции. Как поэт он для нее ничто, как гражданин... но что ей до этого, если нет понимания гражданственности, если большинство интеллигентов не хочет да и не имеет права называться гражданами революции.

В стихах Некрасова есть туманные блестки грядущей борьбы и это делает его поэзию близкой нам. В стихах современных поэтов нет и тени отражения величия мирового пожара. Поэтому им чужд Некрасов, а они чужды нам. И широкие массы, знакомясь с творчеством Некрасова

Как много сделал он, поймут,
И как любил он, ненавидя...

и многому научатся из „неуклюжих" стихов поэта.

Грядущая красота, грядущая поэзия вырастет не на изнеженной почве индивидуалистических переживаний, а из мощных порывов к революционному творчеству, на суровых путях тяжкой борьбы и труда, и в этой борьбе имя Некрасова для каждого работника будет жить, как завет, как знамя.

Кони о Некрасове и Достоевском [1].

С. Бобров.

О значении Кони-писателя нет надобности особо распространяться. Все, написанное этим умным, живым, высоко-благородным и добросовестным человеком, все войдет в историю нашей русской цивилизации одной из самых волнующих ее страниц. Кони перевидал на своем веку тысячи людей, выкинутых законом за борт какой-либо жизни,— и это только укрепило в нем веру в человека. „Общее место!"—пожалуй, возразит нам на это какой-нибудь недоросль из недокисших, но уже рафинированных, но не к нему, а через его голову, к русскому читателю: — не утопли ли мы в куче безответственного — ах! какого всем нам необщего хлама (крови, нищеты и стыда)? После постыдного, выросшего в предвоенном кошмарном разгуле „противочувствий" (как говорил Пушкин), нашего артистического и жизненного „экспрессионизма", где оказалось, что все дозволено, лишь бы это все хоть как-нибудь волновало обкушавшегося погребителя, — какое неожиданное облегчение эти спокойные старческие строки, живые, спокойные, простые как мир и стоть же величественные. Последнее слово не описка. Прочтите эту маленькую брошюрку о Некрасове и Достоевском, и она пахнет на вас таким миром и душой, что невольно вы вспомните лучшие строки истинно-человеческой грусти Пушкина.

Вот маленькая статеечка о Некрасове, так ли о нем теперь принято говорить? На вечерах его памяти пишущий эти строки мучительно выслушивал аподиктических болтунов, решавших вопрос: был ли сей, вышеупомянутый Некрасов прохвостом и мракобесом или тому возможно подобрать смягчающие обстоятельства? Что, — интересовались господа судьи — он любил от всей души Муравьева-Виленского, или лобзал его стопы из простой беспринципности? и проч., и проч. Ни одного слова ни о писателе, ни о человеке, а так, как в тюремном ведомстве: „при сем препровождается один арестант". — при глупейших предположениях литературных полицейских проходил поэт Некрасов, препровождаясь при оных. Кони говорит мало... да вот парочка цитат: „я жадно всматривался в его желтоватое лицо и усталые глаза и вслушивался в его глухой голос..." (потом рассказ о Некрасове-игроке в собственном изложении, стр. 29). Еще: „Последнее время он мог лежать только ничком, в очень неудобной позе, под одной простыней, которая ясно обрисовывала его страшно-иску-

---

[1] А. Ф. Кони. Некрасов и Достоевский по личным воспоминаниям. Спб. Коо-из-во литераторов и ученых. 1921. Стр. 84. Продажн моск. цена 12 т. р.

далое тело. Голос был слаб, дрожащая рука — холодна, но глаза были живы, и в них светилось все, что оставалось от жизни, истерзанной страданьем... На мои извинения (был занят, не мог зайти) он ответил, говоря с трудом и тяжело переводя дыхание: „Да что вы, отец! — я ведь это так говорю, я ведь и сам знаю, что вы очень заняты, — да и всем живущим в Петербурге всегда бывает некогда... Вот я умираю, а, оглядываясь назад, нахожу, что нам все и всегда было некогда. Некогда думать, некогда чувствовать, некогда любить, некогда жить душою и для души, некогда думать не только о счастии, но даже об отдыхе, и только умирать есть время". Любопытен рассказ о школе имени Некрасова.

Теперь о Достоевском. Этот писатель, в противоположность Некрасову о котором нечаянно вспомнили по календарю не может пожаловаться на невнимание. О нем уж лет пятнадцать как болтают неумолчно. Но, дорогие друзья, что же мы себе сделали из этого писателя, который так или не так, а входит в ряд наших первоклассных писателей? Из этого скромного в общей сложности человека который отправлялся от Евгения из „Медного Всадника" (от фельетониста — между прочим), человека болеющего душой о ближнем... о больном соседе? И вот идет ряд наслоений, надстроечек — и Достоевский превращается в какую-то реинкарнацию Магомета в великую мистическую величину, в носителя какой-то — чорт ее знает, что это за продукт! — русской идеи. Кто то сидит над его романами и старательно вылавливает оттуда весь антураж, с адской подозрительностью косясь на все, что было важным, существенным, главным для самого писателя. Мы-ста, да мы-ста! дивный российский припев, — шапками закидаем и проч. Покойнику Достоевскому вставляют в уста вот эту-то белиберду. Он ли не знал цену России, — не он ли кровавым презрением облил российскую нищету, рассказав однажды: был он в Германии, видит новый мост, стоит немец и пучливо гордится мостом, национальное самолюбие Достоевского задето, надо что-нибудь ответить немцу и он отвечает: „у нас есть журналы... у нас делают офицерские вещи... у нас...". Ведь эти „офицерские вещи" так и висят на нас, как поганая кличка на дурачке, а мы все сидим да выкапываем, где это Достоевский сказал, что мы мессиане и раззолачиваемся в этой презреннейшей, анти-культурной спеси. Там, где Достоевскому нужно было показать человека, он пользовался соответственным реквизитом, этот реквизит наши дыромоляи перетянули в искомый центр своих логомахий, на этой бессмысленной передержке построена вся русско-индейская философия, к которой привязывается вдрызг затрепанное имя Достоевского Это и сделало его для русского читателя апологетом всякой азиатчины и мракобесия. Тяжелый тип отверженника, выношенный Достоевским, имеет характер, вообще говоря, сардонический, его изложение не однажды сводится к сатире, выделение комического элемента в декоративную часть не может, конечно, служить здесь противопоказанием, — а в некоторых вещах комизм имеет свое серьезное место (что и заслужило Достоевскому своевременно обвинение в предательстве). Европеец видит естественно в Достоевском сатирика, иначе же он обвиняет его в проповеди актуального аморализма и понимает его как террориста культурных движений, как это делает недавно появившаяся книга Германа Гессе. Вся передержка строится, вообще говоря, на том основании, что Достоевский все же не лишал своих персонажей облика человеческого, — его сатира приобретает еще более мрачный характер, ибо не противопоставляет отрицательные стороны человеческого уклада его положительным

сторонам. В этом то пункте и идет надстройка, говорящая, что нижеописанный кошмар является бытием человеческим по существу, хотя, конечно, сатирик вовсе не обязан, оплевав весь мир, рецепствовать в положительную сторону. Однако, ряд жи ейски-обязательных выводов, созданных романистом для своих героев, не может никого натолкнуть на мысль, что этот сорт жизни может быть каким-либо образом идеализован. Так-то совершается осознание творчества Достоевского, фактически являясь мрачным извращением его чувств. Величайший генезис гибели человека в человеке, вскрытый им, понимается толковниками, как процесс, и как таковому, ему навязывается автономная энергия и особое бытие, „не дайте погибнуть гибнущему" — говорят строки Достоевского, тут, конечно, — и это минус, — начинается путаница, автор не философ, мышление его не упорядочено, смысл же ламентаций сводится к требованию от коллектива новых жизненных условий. К этому читатель подводится двояко: сатирически в плане осмеяния и развертывания отвратительных картин гибели, и сантиментально в аспекте указаний на замучивающуюся душу человеческую. Кони говорит: „ему было дано проникновенно затронуть роковые и противоположные вопросы тяжкого отсутствия уединения и насильственного одиночества" (разбивка автора) Это определение представляется нам, как необыкновенно точная фиксация основных сантиментальных сторон Достоевского. Так развивая эту мысль, можно точнейшим образом выделить весь пафос Достоевского, ничуть не затрагивая его, как разрушителя. Кони говорит: „его язык тревожный, нервный, страстный", его „переходы от описания умиляющих душевных явлений к изображению страстей и пороков в их крайнем развитии, при чем он идет к павшим, погрязшим и несчастным с чувством жалости, не брезгая ими, не гнушаясь, а не разглядывая их, как это иногда делается в современной беллетристике с холодным любопытством в увеличительное стекло", — все это давало ему „оценку своего таланта, как жестокого и упреков в мучительстве читателя". Нет сомнения, что такие упреки лишь оборотная сторона той мрачной славы, которую навязали ныне Достоевскому Мережковский с присными, и все это сводится к душевной глухоте критика к живому и основному. Кони говорит об „удивительном умении находить душу живу под самой грубой мрачной обезображенной формой", но так самая удивительность этого процесса указывает на то, что тут читатель имеет дело с жизненным искажением, фактически лишь подтверждающим правило. Кони пишет дальше „три рода больных в широком и техническом смысле слова, представляет жизнь, в виде больных волею, больных рассудком, больных, если можно так выразиться, от неудовлетворенного духовного голода" — в этой схеме возникают страдания героев Достоевского; прибавив сюда первую формулу Кони: „отсутствие уединения и насильственное одиночество", получаем законченный макет трагедий Достоевского, что, конечно, не решает смысла данных трагедий. Опираясь на такой макет, возможно в общем виде построить любую сцену Достоевского в том объеме, какой найдет нужным исследователь.

Необыкновенно интересно все, что рассказывает Кони о Достоевском на Пушкинских днях — „Три дня продолжались торжества, при чем главным живым героем этих торжеств являлся, по общему признанию, Тургенев. Но на третий день его заменил в этой роли Федор Михайлович Достоевский. Тому, кто слышал его известную речь в этот день, конечно, с полной ясностью представилось, какой громадной силой и влиянием может обладать человеческое слово,

когда оно сказано с горячей искренностью среди назревшего душевного настроения слушателей. Сутуловатый, небольшого роста, обыкновенно со слегка опущенной головой и усталыми глазами, с нерешительным жестом и тихим голосом, Достоевский совершенно преображался, произнося свою речь. Еще накануне, слушая его на вечере превосходно читающим „Как весеннею раннней порою" и декламирующим Пушкинского „Пророка", нельзя было предвидеть того полного преображения, которое с ним произошло во время его речи, хотя стихи были им сказаны прекрасно и производили сильное впечатление, особенно в том месте, где он, вытянув перед собою руку и как бы держа в ней что-то, сказал дрожащим голосом: „и сердце трепетное вынул". — Речь Достоевского в чтении не производит и десятой доли того впечатления, которое она вызывала при произнесении. Содержание ее в свое время дало повод к ряду не лишенных основания возражений. Но тогда в Пушкинские дни, с эстрады Дворянского Собрания, пред нервно-настроенной и восприимчивой публикой, она была совсем иною. Участники этих дней не только особенно горячо любили в то время Пушкина, но многие простаивали подолгу перед его памятником, как бы не в силах наглядеться на бронзовое воплощение „властителя дум" и виновника общего захватывающего одушевления. В мыслях о судьбе и творчестве безвременно погибшего поэта сливались скорбь и восторг, гнев и гордость истинною, непререкаемою славой русского народного гения. Эти чувства, без сомнения, глубоко влияли и на Достоевского, которому лишь в конце его „судьбою отсчитанных дней" пришлось испытать общее признание после долгих лет тяжелых страданий, материальной нужды, упорного труда и вольного и невольного непонимания со стороны литературных судей. На эстраде он вырос, гордо поднял голову, его глаза на бледном от волнения лице заблистали, голос окреп и зазвучал с особой силой, а жест стал энергическим и повелительным. С самого начала речи между ним и всею массою слушателей установилась та внутренняя духовная связь, сознание и ощущение которой всегда заставляют оратора почувствовать и затем расправить свои крылья. В зале началось сдержанное волнение, которое все росло, и когда Федор Михайлович окончил, то наступила минута молчания, а затем, как бурный поток, прорвался неслыханный и невиданный мною в жизни восторг. Рукоплескания, крики, стук стульями сливались воедино и, как говорится, потрясли стены зала. Многие плакали, обращались к незнакомым соседям с возгласами и приветствиями; многие бросились к эстраде и у ее подножия какой-то молодой человек лишился чувств от охватившего его волнения. Почти все были в таком состоянии, что, казалось, пошли бы за оратором по первому его призыву, куда угодно... Так, вероятно, в далекое время умел подействовать на собравшуюся толпу Савонарола. После Достоевского должен был говорить Аксаков, но он вышел перед продолжавшею волноваться публикой, и назвав только что слышанную речь „событием", заявил, что не в состоянии говорить после Федора Михайловича. Заседание было возобновлено лишь через полчаса"... Читатель извинит нам затянувшуюся цитату. Вся статья о Достоевском написана у Кони с таким подъемом и чувством, что всю ее хочется процитировать. Так же волнуют рассказ о смерти Достоевского, другом вечере в память Пушкина, похоронах. Можно от души поблагодарить Кони за этот замечательный подарок читающей России ко дню юбилея Некрасова и Достоевского.

Внутри советской России.

Кое-какие итоги „нового курса."

Вл. Сарабьянов.

Общие замечания. Кустарная промышленность и новая экономическая политика. Арендная практика. Ее недостатки. Крупная государственная промышленность. Центр и места. Новые права. „Разгрузка" государства. Работа и хлеб. Тарифный вопрос. Коллективные формы оплаты и производительность труда. „На коммерческих началах". „Разбазаривание". Плановое распределение, контроль и инициатива. Наличный расчет. Трестирование предприятий. Заключение.

Новый курс экономической политики преследует две цели: вдохнуть жизнь в нашу крупную промышленность и пополнить рынок продуктами обрабатывающей промышленности, привлекши к производственной работе кустарей, мелких и средних промышленников, не говоря уж о заграничных концессионерах, которые фактически будут обслуживать не только вольный рынок, но и государство, а потому и крупную государственную промышленность.

Новая политика, таким образом, построена на глубоком противоречии, на борьбе двух диаметрально противоположных сил и принципов: с одной стороны, раскрепощение стихий, вызов их из подполья, законодательным порядком утверждение анархии производства и обмена, с другой же стороны, сосредоточение всех организованных сил пролетариата, его государственного аппарата и партии на укреплении планового регулирования и управления не только крупными государственными промышленными предприятиями, но и раскрепощаемой стихией, например, через превращение государства в „оптового купца".

На этот путь мы уже вступили, определились кое-какие итоги, борьба внутри государственных сил развертывается с большой страстностью, при чем, как всегда, на-лицо немало уродливости, крайностей, неумения определить свое место.

Одни уклоняются в сторону „раскрепощения стихий", забывая, что диктатура пролетариата есть плановое овладевание хозяйством во всем его объеме, включая, конечно, и стихию его; в этом—смысл государственного капитализма в период, переходный к коммунизму.

Другие, обратно, раскрепощают стихию, всеми силами протестуя, раскрепощают уже раскрепостившуюся стихию, обрекая тем самым себя на самый типичный хвостизм, граничащий в конечном итоге с пассивностью в общем жизненном потоке.

Бытие наше, исполненное тьмы противоречий, и здесь сыграло главную роль в определении характера конфликтов в недрах нашей идеологии.

И действительно, внимательный наблюдатель заметит тенденцию к подъему, вполне выявленную кривой производительности основных отраслей промышленности.

Отсюда вывод: „сами справимся, поменьше аренд", „все—для крупной промышленности".

С другой стороны, наличие наших запасов быстро сходит на „нет", а потому иные выводы: центр тяжести—на аренду, кустарную промышленность и т. п. Новая политика, поскольку она выражена в декретах и разного рода постановлениях, предлагает синтезировать выводы обоих противоположных течений и дает определенные директивы.

На наших складах мало сырья, не хватает пеньки, кожи, жиров и других видов сырья, на которых базируется обрабатывающая промышленность.

Однако каждому экономисту известно, что, во-первых, Россия была страной, вывозящей в больших количествах сырье, что, во-вторых, с 1914 года вывоз этот сначала сильно сократился, а затем совсем прекратился, что, в-третьих, наша промышленность с 1917 год (1916-й по производительности был самым высоким в сравнении даж с последними довоенными годами) стала быстро свертываться, что, в четвертых, эпоха „военного коммунизма" была эпохой государственной монополии, не допускавшей подпольной работы кустарей (а их был несколько миллионов). Каждый экономист сделает отсюда вывод, что несмотря на сокращение посевов, падение урожайности, сокращени числа голов скота, все же сырье у нас „в природе" имеется, но д наших складов не доходит.

И если мы переживаем товарный голод, то не должны ли мы избрать тот путь, на котором наша страна сумеет переработать спрятавшееся или, вернее, спрятанное сырье и насытить хотя бы в не большой доле наш рынок?

Отсюда—раскрепощение стихии путем легализации вольного рынка и призыва кустарей к производственной деятельности. Каковы результаты в плоскости кустарной промышленности? Никто, даже сам главкустпром, ничего толком об этом не скажет. Органам главкустпрома, прежде чем начать планомерную работу, пришлось выступит застрельщиком в борьбе с косностью, тяжелоподъемностью, оппозицией наших хозяйственных органов. Прошло немало месяцев, пока наконец, главкустпром занял надлежащее положение. Теперь он начал свою организационную работу и, конечно, далеко еще не выше из стадии „первоначального накопления".

Однако, мы уже читаем и в газетах, и в провинциальных журналах, и в докладах хотя бы президиуму В. С. Н. Х., что кустарничество быстро вылезает из подполья. Мы узнаем, что тот или другой трест, главкрас, губсовнархоз купил или заключил договор на партию—часто довольно крупную—кустарных изделий. Такие сообщения встречаются с каждым днем чаще. Нужно, однако, заметить, что з годы систематических голодовок и преследований кустари перешли к земле и крепко с нею связались, некоторые настолько крепко, что от земли к кустарному станку они возвращаются не так быстро, как желательно главкустпрому. К тому же и кустарническая работа базируется на инструменте, который достать не так легко. В конце концов, цена на хлеб стоит так высоко, в связи с засухой, что труд на земле выгодней, нежели труд в некоторых кустарных производствах

Наша промышленность деградировала не только из-за сырьевого голода, но и топливного. Мы уже твердо знаем, что дров, угля и нефти хватит только для крупных и государственно-важных заво

фабрик. Однако у нас на-лицо и лес, в котором кто-то заинтересованный может нарубить дрова и вывезти их. Мы знаем, наконец, что ıс имеются орудия производства, стоящие в зданиях, которые следало бы отапливать, за которыми нужно было бы следить, чтоб они разваливались. Мы не можем использовать ни этих орудий, ни зданий, ни рабочей силы, числящейся за безработными предприятиями. И мы открываем арендную кампанию.

Что сделано в этой области? На этот вопрос мы ответим уже с цифрами в руках.

Мы имеем две сводки о сдаче предприятий в аренду, из которых одна—на 1-ое октября, вторая—на 1-ое ноября.

По первой сводке было сдано в аренду свыше 600 предприятий, по второй - свыше 4.200. Увеличение - в 7 раз. Чем больше будет крепнуть сознание в коммунистических и советских кругах в правильности и необходимости нового курса, тем, очевидно, успешнее будет протекать наша арендная кампания.

4.200 предприятий для начала это уже много.

Но очень радоваться этой цифре не приходится, так как слишком односторонне протекает процесс сдачи в аренду.

Свыше 2.400, например, сданных в аренду предприятий, это—мельницы. На втором месте стоит группа по обработке животных продуктов, т.-е. всякого рода колбасные заведения, консервные и т. п.

Совсем мало сдано мыловаренных заводов (30), лесопильных (55), кожевенных (141).

Крупных предприятий сдано $^1/_4$ % всего числа зарегистрированных сводкой арендованных единиц.

Кто является арендатором,—трудно сказать. Крупные территориальные объединения производителей и потребителей заарендовали 32 предприятия, бывшие владельцы - 60, различные кооперативные и артельные организации - 500, государственные учреждения - 25.

Кто прикрылся именем кооперации или артели, мы, к сожалению, не знаем. Сводка эта вообще не заслуживает полного доверия, так как Ц. У. У. С. Президиума В. С. Н. Х. ее сделал по данным московских газет, в которые, во первых, попадает не всякое сообщение с мест, а во-вторых, „Роста“ — не совсем достоверный информатор.

Мы не можем также сказать, какой процент от общего числа предприятий республики составляют сданные заведения, так как старая статистика не охватывала всех предприятий, а новая вообще хромает на обе ноги.

Срок договоров—не долее 6-ти лет, и, как исключение, от 6 до 15 лет.

Условия договора: отчисление определенной доли производства или определенного количества продуктов, иногда уплата деньгами. Из других условий договоров,—говорит „Экономическая Жизнь“ (№ 252),—чаще всего встречается указание на обязательства арендаторов оборудовать предприятия (214 договоров), выполнить государственные заказы или обработать сырье (54 договора), повысить производительность предприятий или зафиксировать норму производства, иногда с течением времени возрастающую (310 предприятий), обязательство арендаторов пустить предприятия в ход не позже определенного установленного срока (105 предприятий).

Судя по данным двух сводок арендная кампания развертывается.

Арендная практика уже взволновала немало наших товарищей. И действительно. Решили сдать арендатору заводик, потому что мы его не в силах использовать за отсутствием сырья, топлива, и вдруг,

когда договор заключен, когда арендатор вступил в права владельца, на складах обнаружены и запасы сырья, и достаточные количества топлива, и даже... готовых изделий, которые арендатор и спешит сплавить на вольный рынок.

Арендная практика волнует и по другому поводу.

Какие предприятия сдаются? Как мы видели, в значительной доле—мельницы. Что приносят мельницы их эксплоататору? Муку, самый нужный, ходкий и ценный продукт.

Не лучше ли было бы, если бы государство само управилось с этими мельницами? Да, лучше, если бы оно управилось. Но ведь здесь-то и суть вопроса: раз сдают, значит сами не управляются.

Затем беспокоят и те известия, которые нам передают „беспокойные" сотрудники „Росты": „арендаторы с жаром взялись за дело"... и т. п. Казалось бы, радоваться нам: больше изделий попадет на рын крестьянин сытее будет, рубль так стремительно падать перестан Однако имеется во всех таких радостных вестях и элемент траурнос Ведь в самом деле. Если арендаторы „с жаром... и проч.", то, к будто, они наших хозяйственников надули, дали государству в каз или на склад меньше, чем могли бы дать.

Некоторые „места" встали в решительную оппозицию к арендн политике. На украинской конференции совнархозов выяснилось, ч местные органы боятся остаться в „нетях", так как предприятий, пр дуктивность работы которых губсовнархозы могли бы гарантироват нет или крайне мало, а потому их придется сдать в аренду. Что ж будут делать тогда совнархозы?

Это течение сильно на Украйне по вполне понятным причина Там вся почти крупная промышленность сосредоточена в руках гла ных и центральных правлений. И на долю губсовнархозов пришли слабомощные заводы и заводики.

Но что же поделаешь, если эксплоатация этих последних, кро убытка, ничего не приносит. В этих случаях наталкиваешься даже на такс взгляд: лучше повесить замок на предприятие, чем сдавать его в аренд Конечно, вреднее такой точки зрения трудно и придумать.

Бывают перегибы и в другую сторону. В Донбасе мелкие шахт сдают в аренду частным лицам; получая от последних 30% добыч угля в качестве арендной платы; Донгубэкономсовещание образовывае комиссию по использованию мелких шахт (К. И. М. К. П.) и „после разны переговоров и „тонких" дипломатических ходов" удается „добитьс от Ц. П. К. П. (центральн. правления каменноугольной промышленност издания приказа о предоставлении К. И. М К. П. исключительного права н аренду мелких шахт губернии". И что же в результате? „Районно управление давало согласие на передачу ряда шахт. Когда на них нач нались работы, получался приказ об отобрании шахт обратно. *Иногд предпочиталось затопление шахт, чем сдача их в аренд комиссии* (курсив наш. *Вл. С.*) Не разрешалось пользование кон ными подъездными путями и погрузочными пунктами, даже бездей ствующими Был разослан приказ, абсолютно воспрещающий отпус материалов для нужд комиссии несмотря на то, что приказом 229 тако отпуск частным предпринимателям допускался". Все это мы читае в журнале Донгубэкономсовещания и там же находим справку, чт себестоимость добытого комиссией угля лишь незначительно превышае стоимость мирного времени.

Что это, как не уродливость? Предпочитать частное лицо совет скому органу, хотя этот последний проявляет себя в качестве приличног хозяйственника. Но такие случаи встречаются не часто; по крайней

, нам, внимательно следящим за текущим материалом, приходилось ...киваться на них в виде редкого исключения.

Вообще же арендная кампания еще только начинается, и много ...ностей лежит на ее пути. Одна из них, уже отмеченная в печати, ...ется вопроса, кому следует получать арендную плату, губсовнархозу ... другому какому-либо органу. Некто Б. М. в „Известиях В. С. Н. Х." № 11) спрашивает:

„Не лучше ли было бы для чистоты, так сказать, позиции губсов...архоза, для создания более ясного и отчетливого представления о ...ротиворечии между интересами развития местной мелкой промышлен...ости и непомерной, неумеренной ставкой арендной платы, чтобы ...зимаемая арендная плата поступала в какой-нибудь общегосударствен...ый фонд, а не в распоряжение совнархоза", и дальше отмечает су...щественность этого вопроса с противоположной точки зрения: „Если ...ы арендная плата не поступала в доход губсовнархоза, последний ...икогда не колебался бы при выборе между арендатором, предлагаю...щим сравнительно высокую ставку, и органом наркомпути, нуждаю...щимся в мастерской для нужд железной дороги и берущим мастерскую ... эксплоатацию безвозмездно и т. п.".

Вопрос поставлен, но еще не разрешен, и таких вопросов много.

Но как бы правильно мы ни проводили арендную кампанию, как ...ы охотно ни становились на новый путь наши хозяйственные органы, ...дать солидного арендатора нам придется очень и очень долго. Транс...орт работает с такими перебоями и так медле но, что арендатора ...н обслужит не всегда и не в полном объеме. Заработная плата соста...вляет столь крупный процент общих издержек производства, что арен...атор должен искать барышей только в высокой цене на свои изделия.

Соотношение же цен на хлеб и на фабрично-заводские изделия ...ак будто бы не склонно изменяться в сторону последних. Преиму...щественным арендатором является мелкий предприниматель, артель ...абочих или же наши же советские органы.

Однако пустить в ход многие тысячи мелких и средних фабрик ... заводов они не в состоянии.

Средний элемент будет играть небольшую роль в деле развития ...роизводительных сил, главный же источник рынка, это—кустарничество ... советская крупная промышленность. Но эта последняя требует опре...деленных условий своего существования, удовлетворить которым и ...ер-тся новая политика. Эпоха военного коммунизма была эпохой ...ентрализма, при котором всякая инициатива и самодеятельность мест ...ыли придавлены „инстанциями" и „начальством". Конечно, подобный ...ентрализм имел право на существование, пока места еще только вы...уплялись, пока наличие фронтов не позволяло заниматься реоргани...зацией, но как только фронты стали ликвидироваться, жизнь буквально ...возопила против вынужденного централизма...

С одной стороны, спор о „главкизме", с другой—„места и центр". ...ба вопроса лежат совершенно в одной плоскости, и оба они решены ... сторону раскрепощения местных органов. За главками-центрами ...ставлены функции „регулирования", за местами же—управления.

Итоги в этой области таковы: раскрепощение непосредственно ...правляющих органов идет чрезвычайно быстрым темпом, но, можно, ...пожалуй, утверждать, уже проведено повсеместно за редким исклю...чением, когда все еще мы колеблемся выпустить из своих (централь...ных) рук бразды управления теми отраслями промышленности и от...дельными производственными единицами, которые особенно важны для ...государства или сложны по своей конструкции.

Однако, если места раскрепощаются, если функции управления быстро переходят только в их руки, если, наконец, и им и вам, читатели, известно, что значит „управлять", то в отношении центров такой ясности нет на-лицо.

Действительно, что значит—„регулировать"? И возьмется ли кто-нибудь дать точную формулировку этому понятию? Сомневаемся. Каждый день вносит в содержание этого понятия все новые элементы, отметает старые. И, нам кажется, пока существует государство, центры и места, функции регулирования будут непрерывно меняться не только для данного времени, но и для каждого пространства под регулированием мы будем понимать одно в отношении металлопромышленности и другое—химпромышленности.

Жизнь—штука сложная и не позволяет себя регламентировать по надуманным схемам, часто ломая их на другой же день, как они вычерчены. Так случилось в отношениях к местам, поскольку под ними понимались губсовнархозы. Как известно, решено было львиную долю предприятий, находившихся в руках центральных правлений, изъять из их ведения, передав в управление губсовнархозов С этой целью было приступлено к пересмотру списков промышленных заведений Этот пересмотр уже коснулся громадного большинства предприятий а список их в реестровых книгах губсовнархозов сильно возрос. Но жизнь, практика уже сломила тенденцию переноса центр тяжести в губсовнархозы, что и выразилось в организовывании так называемых трестов. Практика показала, что проблема восстановления промышленности лежит по-прежнему в плоскости разграничения функций центров и мест. Практика подтвердила, что места должны быть раскрепощены от опекания их центром. Практика потребовала и осуществила расширение прав непосредственно управляющих органов, в особенности первичных (заводоуправлений).

Но та же практика внесла корректив в понятие слова „места". Если в период натиска на главки-центры определенно смешивали, отожествляли главки с главправами, противопоставляя и те и другие губсовнархозам, то теперь главправы столь же определенно причислены к „местам", а не к главкам; главк—это центральный аппарат, ведающий данной отраслью промышленности в целом. В этом смысле отдел металла В. С. Н. Х. является главком. Поскольку существует главгвоздь, которому вменено в обязанность управлять (раньше) или регулировать (теперь) всю гвоздильную промышленность, он несомненно главк. Но гомза, управляющая лишь некоторыми транспортными и металлургическими заводами, не главк, а главправ (главное правление) и подлежит регулированию (раньше управлению) со стороны главка—отдела металла.

В общем натиске на главкизм первоначально пострадали и главправы, которые иначе, как местами, и не могут расцениваться. Но есть места и места. Одни из них построены—по территориальному принципу (губсовнархозы), другие—по производственному (гомза, центи и подобные), третьи—и по тому, и по другому (мальцовский округ или гозачужлав). Как строить местные органы или, правильнее, как разбить предприятия по управляющим группам, это дело практики, изучения конкретных условий производственной жизни. К этому конкретному изучению и призвала нас практика, опровергнув „губсовнархозный" догмат и вернув нас к главправам, то-есть к местным управляющим органам, построенным по производственному принципу, о чем мы будем говорить в дальнейшем.

Если здесь практика внесла ограничительный корректив, то в об... прав местных или, это будет точнее, управляющих органов несла расширительное толкование. Мы не предполагали, что управляющие органы потребуют столь широких прав, как это на-лицо ь.

Мы предоставили им право продавать и покупать на изготовлене изделия, а теперь они действуют уже в плоскости денежного об... щения. Мы считали возможным поставить между ними и крестьянином операцию, однако дело пошло дальше, и сделки с деревней теперь ключают часто и помимо кооперации.

Законы товарного обращения действуют помимо нас, и, если мы тим их использовать, нам нужно не только познать и понять эти коны „необходимости", но и действовать сообразно им, отвоевывая царства необходимости позицию за позицей во имя царства свободы.

Расширение прав управляющих органов пошло по следующим тям. Во-первых, в области снабжения им дано право перейти к самоабжению. Если раньше какой-нибудь губсовнархоз или главправ лучал дрова от главтопа, то теперь он их может добывать сам, лучая лесосеки и работая на них под техническим наблюдением влескома. Во-вторых, облегчено распоряжение финансовыми средами, так как число параграфов расходной сметы сокращено до семи.

Декрет о расширении прав государственных предприятий в об...сти финансирования и распоряжения материальными рессурсами от ...го августа с. г. перечисляет эти параграфы:

1. Заработная плата.
2. Сырье, основные и вспомогательные материалы.
3. Топливо.
4. Оборудование и инструменты.
5. Строительно-ремонтные работы.
6. Подсобные предприятия.
7. Прочие расходы.

Как видит читатель, от заводоуправления теперь не требуется эрoческого дара предусматривать на 6 месяцев вперед, на какое рье, в каком количестве придется израсходовать ту или иную ...му; параграф 2-й охватывает сырье вообще плюс основные и вспомогательные материалы, и в пределах этого параграфа управорган ...ен распоряжаться предоставленными ему средствами вполне свободно.

В-третьих, управляющие органы получили право иметь дело с ...ьным рынком, не только закупая там различного рода товары, но ...окупая „услуги", т. е. вступая в сделки с кустарями, подрядчиками, ...чиками и т. п.

Наконец, в-четвертых, заводоуправление в известных пределах ...ершенно самостоятельно распоряжается фондом заработной платы, ...аче сказать, само определяет размер ее (в определенных профсоом рамках) для каждого работника предприятия.

На этом, однако, жизнь не останавливается, требуя разрешения ...к крупных производственных органов самостоятельной (по соглашению с Н. К. В. Т.) закупки нужных продуктов за границей. Этот во...ос только еще поставлен и решен в очень узких рамках—в отношении преимущественно образованных трестов.

Но что его придется разрешить в сторону предоставления такого ...ава,—для нас это несомненно. Расширяя сферу проявления инициа-

тивы и самодеятельности управляющих органов, мы еще не реш… вопроса об оживлении крупной промышленности.

Что толку, если инициатива определенного количества работ… ков, которых физически хватит, предположим, на 20 предприятий, б… дет рассеяна между сотней заводов?

Мы в данный момент всерьез и надолго проводим полити… целесообразной, разумной разгрузки государства.

Мы знаем, что топлива и сырья хватит лишь на крупные фа… брики-заводы, мы высчитали, что рабочим дать от государства прод… вольствие мы в силах только в строго ограниченных пределах. Н… есть еще один момент, который мы почему-то замалчиваем: у нас ма… своих организаторских сил. Мы, правда, выросли за эти 4 года, в… главе целого ряда предприятий стоят наши коммунисты-рабочие, т… лантливо руководя делом. Но мы выросли лишь в той мере, в к… крупная промышленность требует организаторов; для средней… следних уже нет, их надо создавать, обучивать в крупных… приятиях.

Вот эта задача — дать управляющим органам посильную за… управлять только вполне жизненными предприятиями, которы… можем обеспечить топливом, сырьем, продовольствием, куда ре… рующий орган, быть может, в силах направить технических специ… профсоюз—хороших хозяйственников организаторов и админист… ров,—вот эта задача должна быть решена правильно и быстро, и… мы утонем в пучине больших и малых дел, взвалившн себе на п… непомерную тяжесть.

Губсовнархозам уже дана телеграмма Лениным о немедле… выяснении, какие предприятия останутся на государственном сна… нии, и некоторые из губсовнархозов ответили.

Каков же результат? Во-первых, ответы на телеграмму определ… показывают, что наши губсовнархозы все еще требуют выучки… в части азбучных истин: на простой вопрос Ленина не сумели… точного, ясного ответа.

Во-вторых, поскольку ответы можно расшифровать получа… чрезвычайно пестрая картина.

Одни (Орел) не оставляют на государственном снабжении… одного предприятия, другие (Уфа) оставляют слишком много. Ме… прочим, нельзя пройти молча мимо такого пикантного явления: уф… ский губсовнархоз и закрыл бы некоторые предприятия, да не… тает денежных знаков для расчета с рабочими. Замечательно!

Но, как бы пестра картина ни была, одно ясно: наши управл… ющие органы, иначе сказать государство, разгружаются от лишнего… ласта, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Параллельно со… этой организационной работой происходит процесс решительного… рыва с тарифной политикой старого времени. Рабочий класс пока… что он умеет работать и на голодный желудок, но всякому герои… положен физический предел. Цифры производительности тр… стоят в самой непосредственной, тесной связи с цифрами выда… мого рабочим продовольствия. Во 2-м полугодии 1920 года, мы п… жили необычный для нас подъем промышленности, и месяцы подъ… (сентябрь - декабрь) были месяцами хлебного благополучия. Стоило б… прекратиться выдачам, как производительность моментально ринул… вниз. В этом году заводы из рук вон плохо работают вплоть до… тября; но вот появляются сентябрьские выдачи, и кривая произво… дительности круто поднимается вверх.

Какие бы формы управления мы ни выдумывали, без сытого

го промышленности не будет. В профсоюзах уже весной кипит та по определению прожиточного минимума, таблицы добросовест- труженика Штульмана ходят по рукам, вызывают немало го х прений. Одни относятся к „прожиточно минимальной" политике, к химере, другие, наоборот, проявляют изумительный оптимизм, лишь в будущем проявят себя третьи, призывающие опереться на рожиточный минимум, сократив число лиц, состоящих на государ- венном снабжении, тоже до минимума. В отношении к тарифной литике заслуживают большого внимания слова С. Н. К. от 16-го сен- ября с. г.:

„В первую очередь должна быть изменена система тарифа, как новного фактора в развитии промышленности.

„В основу системы тарифа должны быть положены реальные пред- посылки, упрощение этой системы тарифа до максимальных пределов, деление фонда продовольствия и продуктов широкого потребления я рабочих и служащих, занятых в государственной промышленно и. Отделение от предприятия всего, что не связано с производством что носит характер социального обеспечения. Установление твердой язи рабочего и служащего с предприятием и учреждением. Государ- венная помощь в виде детских садов, домов, яслей и проч. не должна ыть связана с заработной платой ни в какой степени. Проведение изложенных основ и системы заработной платы приведет к тому, что круг предприятия будет происходить самомобилизация квалифици- рованной рабочей силы. Мы не будем больше видеть инженеров, за- нимающих должности старших конюхов, заведующих продовольствен- ной частью или занимающихся починкой кухонных приборов и горе ок; мы не будем видеть также квалифицированных рабочих, зани- мающихся посадкой картофеля и очисткой выгребных ям".

Опорный пункт найден, нужно лишь осуществить конкретно но- ые начала. Отчисления от продукции не свыше 5%, с целью обеспе- ить рабочего 20 пудами муки в год уже не удовлетворяют рабочих. Арендаторы дадут больше, на частного заказчика на дому вы- днее работать, чем на государство. В результате принцип прожи- очного минимума начинает проводиться на местах. То из одного, то другого пункта республики идут вести о миллионных ставках, чув- вуется дух азарта. Нет времени ждать заключительного, решающего она конференции профсоюзов, места проявляют инициативу. Вот стов-на-Дону. Он вычислил минимум, он определил рабочим и слу- жащим „прожиточные" оклады, производительность решительно под- лась, но... платить нечем оказалось. Рабочие уже не верят обеща- ниям ростовских управленцев. Подобные же сведения поступают и из ругих мест, но не часто: все же боязнь остаться в качестве обман- щиков останавливает многих от азартных действий в области „тариф- ых поворотов".

В целях установления связи производителя с предприятием вво- ится и коллективное снабжение, о котором не стоит повторяться, так к ежедневная пресса посвятила ему немало столбцов. Результаты е на-лицо. Коллективные формы оплаты повели за собой сильное днятие производительности.

Так, например, на Коломенском заводе она поднялась на 11%, Мытищенском—на 35% на Петровском, Макеевском и Юзовке—на 36 и 68%, на Подольских заводах—на 65%, на Боровичских -на %. Если взять интенсивность труда, то легко найти случаи прибли- ения к довоенным нормам. Вообще же, как правило, она повышается 20—35%. Нельзя обойти молчанием тот неверный взгляд, который

уже грозит превратиться в аксиому: „интенсивность труда", это—первый, повышающе действующий на количество продукции фактор. Конечно, этот взгляд совершенно не отражает действительности. Дело не в интенсивности, которая, конечно, повышается при лучших условиях оплаты труда, а в возможности поставить все производство при нормально работающих бригадах на твердую почву.

Как бы ни была высока интенсивность труда рабочих, если бригада не полна, если не достает в ней квалифицированных рабочих, продукция должна быть ничтожной.

Коллективное снабжение, сдельщина и прочие производительные формы оплаты труда тем и ценны при настоящих условиях, что они эмансипируют завод от элементов случайности, произвола и т. п. Во-первых, притекает квалифицированная рабочая сила, что позволяет заводу заниматься **своим** делом, во-вторых, рабочие работают полное время, что увеличивает продукцию и уменьшает себестоимость, в-третьих, меньшая доля из топлива и т. д. падает на освещение, отопление и прочие подсобные статьи расхода, в-четвертых, резко падает процент невыхода на работы.

Любопытно влияние коллективного снабжения или сдельщины на размер непосещаемости работ, например, по болезни. Казалось бы, в этой графе цифры должны были бы изменяться в зависимости от времени года, наличия эпидемий.

Однако мы уже имеем иные зависимости: вводится сдельщина,—падает невыход по болезням, и не потому, что организм рабочего подкормился. Выдачи были в конце месяца, а выход стоял высоко в течение всего месяца, если рабочим было объявлено о них. Тов. **Гинзбург** в № 250 „Экономической Жизни" приводит данные по 12 предприятиям, на которых прогулы пали с 21 процента до 8. Донбасс в октябре дал минимум невыходов и максимум выработки угля за 1921 г. Как в абсолютных цифрах, так и в относительных (на рабочего) гомзенские заводы—Сормовский, Коломенский, Мытищенский и несколько заводов Приокского горного округа показали резкое поднятие в сентябре кривой производительности. В сентябре было введено на этих заводах коллективное снабжение.

Из провинции к нам доходят те же вести. Костромской губсовнархоз гордится своим опытом с типографиями.

Работали 3 типографии и с трудом выпускали лоскуток, именуемый газетой. Ввели новые формы оплаты труда, и картина резко изменилась: одна типография закрыта, две другие не только выпускают газету (а не лоскуток) и справляются с заказами, но просят Москву дать им работы: своей, оказывается, недостаточно.

Практика еще слишком пестра, решающие формы оплаты еще не установлены, мы находимся в процессе нащупывания пути. Можно, все же, установить, что над всякого рода премиями, коллективными снабжениями начинает торжествовать сдельщина, о которой тов. Гинзбург там же пишет:

„Опыт диктует улучшение системы. Места начинают практиковать увеличение фонда предприятий в прямой пропорции к росту производительности и, наконец, выдвигается наиболее развитой вид коллективной оплаты—бюджетно-сдельная система. Здесь устанавливается не случайный фонд, а прямой обоснованный расчет с предприятием с единицы изделия. При этом в основу оплаты труда берется приближение к прожиточному минимуму за довоенные нормы выработки".

Такая пестрота форм оплаты труда уже заставляет многих поднимать тревогу о „сепаратных действиях", стихиях, кустарничестве.

Мы, однако, находим в этой пестроте лишь доказательство ини·ивности мест, которые вырвались из тисков опекавшего их до времени центра, и каждый по своему пытается выйти из тупика 'о ошибок? Да, но еще больше коллективной, пестрой, разностоей учебы, в результате которой центру удастся в будущем,—возожно, недалеком,—создать плановую систему, не в кабинете надуманную, а на массовом опыте проверенную.

Здесь инициативы проявлено, пожалуй, больше, чем где либо, бо и рабочие не хотят ждать, да и управленцам не сдвинуть дела ез участия заинтересованных рабочих. Заинтересовать же можно по разному: с пользой для производства и совсем без пользы. Вот и пробуют, подходят с разных сторон.

Все эти новые для советской промышленности явления: самостоятельность в управлении, право покупать и продавать, широко пользоваться в пределах параграфа расходной сметы кредитами, применять самые разнообразные формы оплаты рабочих,— все это неминуемо приводит к необходимости вести точный учет приходуемых и расходуемых средств, ставить на крепкие ноги калькуляцию (вычисление себестоимости) и даже организовать статистику, как средство предвидения, расчета.

Таким образом переход предприятий на работу на так называемых коммерческих началах, т.-е. на основе хозяйственного расчета, уже встречает готовую материальную почву.

Трудно, правда, определить, что такое — „коммерческие начала". 'о следует понимать под хозяйственным расчетом.

Однако приблизительное определение дать можно.

Если предприятие, с определенного срока начнет работать без субсидирования с стороны „казны", сохраняя свой основной капитал и увеличивая его пополнениями из оборотных средств, оно ведет дело с хозяйственным расчетом.

„Коммерческие начала" — не совсем точное выражение, так как эн них предприятие бездоходное теряет смысл мы же пока стремимся к безубыточности, ставя доходность, как цель **второго** этапа развития советской промышленности. При переводе предприятия на „хозяйственный" расчет мы, снабжая его на первых порах денежными и другими какими-либо средствами, требуем от него полного самоснабжения. Если оно получит из госфонда топливо, сырье, материалы, то должно будет полученное оплачивать полной ценой своими изделиями.

Так же как и государство, получая изготовленные изделия, запишет предприятию стоимость этих последних. Предприятие будет платить за все, начиная с нефти и кончая электрическим освещением и телефонами.

Этот хозяйственный расчет, однако, превратился бы просто в способ выяснения убыточности или доходности предприятия, если бы не было предоставлено предприятиям права обращать свою продукцию в качестве оборотных средств в продажу на частном рынке.

Таковое право им было предоставлено, в результате чего началось бесплатное „разбазаривание", и не только изготовляемых изделий, но сырья, и полуфабрикатов. Это разбазаривание грозит оставить государство без изделий для рационального их распределения. Централизация последнего, если она проводится при условии поставленного на здоровые ноги учета и без волокиты, является могущественным орудием в руках государства.

Но в том-то и беда, что условия для такой централизации не созрели.

с одной стороны, безхозяйственность в центре превращает централизованное распределение в способ анабиозирования изделий, сдаваемых в госфонд, вырывает из сферы производства и обмена большие по нашим временам массы товаров и средств производства; с другой же стороны, учет поставлен так отвратительно, что сведений с мест либо не поступает совершенно, либо им опасно доверяться. Нельзя не подчеркнуть то печальное явление, которое мы, хозяйственники, называем „патриотизмом мест“: завод имеет 3 милл. пудов чугунного лома, а в ведомостях отмечает 1 или $1^{1}/_{2}$ милл. п., чтобы не отобрал распределяющий орган. В результате всех этих моментов мы и получаем столь известную и печальную картину: в центре распределения не знают толком, что на его складах имеется, выдаются наряды на предметы, которых нет, в такие места, где их никогда не было.

И все же органы, распоряжавшиеся госфондом, крепли и, очевидно, справятся со своей задачей, если ее упростить, свернуть.

Государство не может отказаться от функций планового распределения, ибо это было бы колоссальным отступлением, к которому обстоятельства вовсе не вынуждают. Только размах работы этих распределительных центров должен быть сужен, иначе наши предприятия останутся без оборотных средств, и все их начинания, все попытки хозяйничать инициативно, быстро и толково будут упираться в „наряды“, телеграфирование, командировки в центр и в адресаты нарядов, а между тем тут же, рядом, на рынке можно получить оборотные средства и нужные изделия.

Переходная, неминуемо компромиссная форма найдена, и С. Н. К. издает постановление, согласно которому вся выработка предприятий, снабжаемых государством сырьем, топливом, продовольствием, денежными знаками и т. п., поступает в распоряжение государства (госфонд) за исключением строго установленной в сметном порядке доли, которую можно реализовать через кооперацию или рынок, при чем эта доля не должна превышать 50%, продукции.

Те же предприятия, которые целиком сняты с государственного снабжения, получают право пускать в оборот все изготовленные изделия. И на первых и на вторых одинаково распространяется правило—удовлетворять заявки сначала государственных органов, затем кооперации и лишь в третью очередь частного рынка.

Право реализации изготовляемых изделий в качестве оборотных средств послужит могучим толчком к развитию промышленности, но уже выявляется малая осуществимость этого права в отношении тех отраслей, которые изготовляют изделия государственной важности и непригодные для реализации на частном рынке. Гомза, например, в ведении которой находятся паровозо-вагонно-строительные заводы и несколько металлургических, может пустить в оборот на рынок всего лишь 8 % продукции. Металлопромышленность в целом по государственным соображениям едва ли сможет найти оборотные средства через продажу своих изделий, так как страшный металлический голод требует сосредоточения большей части изготовляемых металлических изделий и металло-сырья в руках государства.

Таким образом, хозяйственный расчет является могучим фактором развития промышленности, но его действие в некоторых отраслях производства сведено к минимуму. Какой выход будет найден для этих последних, покажет будущее. Пока же отметим те несуразности, которые не могли не выявиться в связи с лихорадочным проведением в жизнь начал хозяйственного расчета. Со всех сторон несутся жалобы на предприятия, изготовляющие необходимые для строительства из

; содержание жалоб — требование со стороны этих предприятий ы за отпускаемые продукты наличными.

Подобные требования приносят несомненную пользу, заставляя бителей не раз взвесить надобность покупки, но ведь есть и хозяйства, которые не имеют иных средств, кроме государ ...ных, а потому не имеют и возможности расплатиться наличными меем ли мы выйти из тупика этих противоречий, и возможен ли от выход? Нам кажется, что таковым выходом явится снабжение добных хозяйств денежными средствами в таком размере, чтобы и могли расплачиваться наличными.

В конечном счете государство приобретет для своей крупной промышленности более быстрый темп оборота, потеряет же едва ли много, бросив какое-то добавочное количество денежных знаков, количе во, являющееся частным от деления суммы всех расплат „за налич ый" на число оборотов.

Иного выхода, пожалуй, пока нет, так как предприятия будут ибегать ко всяческим мерам, лишь бы не отпустить изделий потре телю, уклоняющемуся от уплаты наличными.

Наша статья затянулась, а между тем никак нельзя пройти мимо такого серьезного явления нового курса, как трестирование. Сколько мнений, недоумений, дискуссий, резолюций вызвали эти, по удачному ражению тос. Смилги, сверхдредноуты—тресты.

Опять главкизм? А между тем центр тяжести в вопросе главкизма ежа и стоит совсем не там, где полагают товарищи из оппозиции естированию. Совсем вопрос не в том, чтобы губсовнархозы больше лучили, а в более серьезном моменте—опекания мест центром, свя вание местной инициативы директивами, мелочным регламентиро нием сверху. В этой плоскости главные правления одинаково были утаны сетью центристских распоряжений, как и губсовнархозы вый курс превращает центры лишь в регулирующие органы и звязывает руки управляющим.

Таким образом главкизм подвергнут остракизму, и местные ор ны получили возможность проявить самодеятельность и хозяйствен ю сметку.

Но в еще большей, мы бы сказали, степени выдвигается вопрос формах управления промышленностью на новом базисе. Ясно, что бсовнархозы не могут управлять не только всей промышленностью, даже и большей ее частью, понимая под количеством не число едприятий, а сумму выработки.

У нас на-лицо такие производства, как топливодобывающие ефть, уголь), машиностроительное, транспортное, металлургическое, ектротехническое и т. п. Предприятия каждого из них крепко свя ны друг с другом единством производственного процесса, связью с раничным рынком, наличным техническим персоналом. Поэтому угольная промышленность сосредоточена в руках Центрального авления каменноугольной промышленности (Ц. П. К. П.) и нелепо было передавать шахты в управление губсовнархозов.

У нас работают транспортные гиганты центра (Сормовский, Ко менский, Брянский...) и работают недурно—под управлением глав вза гомам. Если бы мы разбросали гомзенские заводы по губсов рхозам, то вместо одного управляющего ока, знатока в своем спе альном деле и в известных пределах обеспеченного средствами, ишлось бы иметь дело с нижегородским, московским, тверским бинским и проч. губсовнархозами.

Отсюда вывод: вопрос о распределении предприятий между губернскими территориальными органами и „производственными главправами отнюдь не принципиальный, а практический, и если выгодно построить новый главправ, нам не к чему вести принципиальные диспуты, а следует исходить из соображений целесообразности. Так и подходит к вопросу Совет Труда и Обороны, 17 августа 1921 года постановляющий: „Ввиду исключительного значения для лесного экспорта Р. С. Ф. С. Р., представляемого лесной промышленностью Архангельско-Беломорского района, в целях поднятия и развития лесозаготовительной и лесообрабатывающей промышленности этого района, распространить на этот район и лесообрабатывающие предприятия этого района как по механической, так и по химической переработке дерева, нижеследующее положение, дающее возможность поставить данную отрасль промышленности на началах хозяйственного расчета. Для управления лесной промышленностью Северо-Беломорского района и эксплоатации лесных богатств его в составе „главлескома" учреждается особое правление, именуемое „северолес". Это и есть сверхдредноут-трест.

Северолес в своей производственной деятельности руководится общими директивами главлескома; внутренний распорядок определяется только правлением: оно заведывает всем имуществом фабрик и заводов; распоряжается всеми без исключения делами вверенных предприятий; запасы сырья, фабрикатов, изделий, а также кредиты, ассигнованные в распоряжение соответствующих местных органов для означенных предприятий на 1 января 1922 года, как денежными знаками, так и лесными материалами, поступают в распоряжение правления в виде досметного материального и финансового аванса: „правлению предоставляется право пополнения недостающих продовольственных и друг. материальных рессурсов за счет своей продукции, реализуя ее как на внешнем, так и на внутреннем рынке, при чем в первом случае оно действует под контролем и по указанию Н. К. В. Т. Правление может быть отстранено президиумом В. С. Н. Х. в случае обнаружения последним явных злоупотреблений в действиях правления и постановлением подлежащих судебных органов".

Так, в общих чертах, построены „северолес", „химуголь", „югосталь", так, очевидно, будут строиться и другие тресты—главправы

Трестов организовано только шесть: еще днепролес, льноправление и трест анилиновых красок. Прошло каких-нибудь три месяца с момента образования первого гиганта, а мы уже имеем сведения о быстром развертывании им работы.

Льноправление обнимает 17 фабрик Костромского и Муромского районов со 134 тыс. (из общего количества в 402 тысячи) веретен и с 4.600 (из 14½ тыс.) станков, включая в себя, таким образом, около ½ всей льняной промышленности. К моменту образования льноправления 15 августа все 17 фабрик бездействовали из-за отсутствия топлива и продовольствия; Костромского района фабрики имели 8% потребности топлива, а фабрики Муромского района—23%.

На 1-ое ноября первые обеспечены 84% своей годовой потребности, а Муромские—95—100%, при чем заготовка топлива продолжается.

По 1-ое ноября отправлено на фабрики хлеба, мяса и другого продовольствия на 5—6 недель и заключен ряд договоров на поставку продовольствия на 6 месяцев. Для изготовления веретен и рогулек приспособлен специальный небольшой завод, первая партия изделий с которого уже поступила. Из 17-ти бездействовавших фабрик 7 уже

отают, 6 должны пойти в первых числах, остальные—с середины бря; в числе последних начнет работать бездействовавшая 3 года агопрядильня. Разбазаривания не было, и в докладе гордо звучат в... „В руки спекуляции фабриками не отпущено ни одного куска ни, ни пуда пряжи. Все количество ткани до сих пор поступало ... товарообмен за продовольствие и топливо и передано в руки государственных же органов: губтопов, губтекстилей, главков, губсоюзов"...

Производственная программа на операционный год намечена в 160 тысяч пудов пряжи и 48,7 миллионов кв. аршин ткани. Эта программа, говорит тов. Маркович в „Экономической Жизни" (№ 250), исходя из одной смены в 8 час. работы, составляет 60 довоенной производительности указанных фабрик и составляет 79... по пряже и 38% по ткани от выработки прошлого года.

Благоприятные результаты для льняной промышленности от организации льноправления уже на-лицо.

Быстро крепнет и другой трест—химуголь, вмещающий в себя единственный по мощности оборудования содовый завод, 2 стекольных, химические, церезиновый (всего 10 основных заводов), один соляной рудник, 73 каменноугольных рудника, ремонтные заводы, мельницы, маслобойки, типографии и много других.

Месячные итоги (сентябрь) деятельности химугля таковы: суточная добыча угля была до приемки рудников (в первых числах сентября) в 7—9 т. пудов при расходе в 7 т. п.; затем добыча растет, давая за весь сентябрь 770 тысяч пудов при расходе в 280 тысяч пудов; в октябре предполагают добыть 1.250 тысяч пудов; производительность забойщиков растет, достигая 70 /₀ производительности 1915 года; продовольственный кризис ликвидирован усилиями правления; приведен в порядок целый ряд заводов, строят подъездные пути, засеяно до 400 десятин озимого клина, ремонтируются жилые помещения.

Если так заработают и остальные тресты, едва ли жизненна будет противотрестовая оппозиция.

Но... объявилась, кажется, серьезная болезнь—„трестомания".

Проглядывая телеграммы „Росты", то-и-дело наталкиваешься на всевозможные тресты во всех концах республики, при чем одни друг их называют самозванцами, либо вступают (уже) друг с другом в договоры.

Поток трестов. Явочным порядком. Недаром губсовнархозы буквально взвыли от этих трестов. Приглашает коллегия губсовнархоза директора какого нибудь завода, чтобы дать ему приказ, а директор отвечает, что, мол, мы составляем проект треста и в скором времени сами себе хозяевами будем. Это—уродливая сторона трестового явления, с ней нужно бороться.

Трестирование оборачивается и другой своей стороной, чрезвычайно для нормального производства существенной,—стороной комбинирования. Губсовнархоз—тоже комбинат, поскольку в нем имеются предприятия разных производств, но этот комбинат—стихийного типа: и не построен целесообразно, и соответствия как и производственной связи между различными предприятиями не имеется; лишь коллегия ... на всех.

В трестах же комбинирование проводится глубоко целесообразно, и химический трест пускать в ход кирпичного завода не станет ради продажи кирпичей на рынок, ибо такой завод, если он пущен в ход, должен помогать работе основных производств.

Югосталь является трестом металлургоугольным, химуголь вла-

.деет шахтами, дающими уголь для химических заводов, у северолеса имеется ряд подсобных предприятий и т. д.

Мы не имеем места вдаваться в детали, а потому о комбинатах специально говорить что-нибудь мы не станем.

Подытоживая работу нескольких месяцев „нового курса", мы с уверенностью говорим, что из мертвой полосы советская промышленность выходит... Может быть, это временно, может быть, азиатчина плюс „мелкобуржуазность" возьмут свое, но не бывать бы счастью, да несчастье помогло. Наличие звеньев разорванной цепи капитализма, звеньев, проявляющих колоссальную деятельность, не даст застояться пролетарским силам.

Да и сознание опасности, глубокое понимание необходимости победить на хозяйственном фронте сильно чувствуется в рабочем классе.

Топливный фронт оправляется, химическая и текстильная промышленность крепнут, и весь вопрос для последних—сырьевой.

Пройдут года два—три, и проблема сырьевая встанет во весь свой грозный рост. Нужно теперь же принимать меры к развитию хлопководства, добывания льна, пеньки, кожи.

Верховные органы республики уже встали на путь самой решительной борьбы с грозящим нам сырьевым голодом.

Большие опасения внушает металлургический фронт, не имеющий источников оборотных средств. Здесь, очевидно, государство должно поставить эту отрасль промышленности в условия „социального обеспечения". Выход должен быть найден, иначе рушится план восстановления и пересоздания всего хозяйства республики.

С новым курсом начинается новая полоса и для рабочего класса: он вновь будет собран в крупные предприятия, он вновь сольется в единую армию в процессе производства. Мелкие отряды его попадают в сферу частного капитализма и мелко-буржуазной стихии. Но и в этом есть плюс, так как здесь, на арендованных фабриках и заводах, рабочий восстановит или поддержит свои трудовые, производственные навыки, а может быть, в борьбе со своими классовыми врагами вернет себе пролетарскую идеологию, за последние годы спячки фабрик и поездок в деревню за продовольствием получившую уклон в сторону собственнических инстинктов.

Читатель готов уже упрекнуть автора этих строк в излишнем оптимизме. С цифрами в руках доказать обоснованность оптимизма пока невозможно, но нужно быть среди хозяйственников-пролетариев, читать доклады с мест, провинциальные газеты, чтобы проникнуться убеждением: „Жив курилка, и курилка этот не простой, а пролетарский"

Сравните газеты год тому назад с сегодняшними. „Хозяйство", „аренда", „тресты", „прожиточный минимум", „новый курс"—вот темы провинциального писателя и, очевидно, читателя.

Пусть там много наивного: есть и умное, а, главное, много бодрости и уверенности в победе.

Провинция, по газетам, смелее, ярче, чем Москва. Там больше и ошибок—не беда; перемелется—мука будет.

Больше твердости в курсе, меньше панику нагоняющих речей и.. статей, еще меньше боязни ошибок. Не выпускать из рук планового регулирования, еще больше раскрепостить советскую периферию в деле управления.

Сим победиши!

От Редакции: Вследствие болезни сотрудника журнала статья по иностранному обозрению не вошла в номер.

Курология.

(Ученое исследование о курах.

Демьян Бедный.

Введение.

Отмюдь не потому, что мысль моя тупа,
Ленива иль однообразна,
Не потому, что я не выдержал соблазна -
Начать рассказ с попа,
Нет, правда: в школе нам долбил отец-Василий,
Что богу стоило порядочных усилий
Задачу выполнить, которой нет трудней,
То-бишь сварганить мир в каких-нибудь шесть дней.
К седьмому дню господь, надорванный с натуги,
Так измытарился от сотворенных дел,
Что, опочив, на мир уж больше не глядел:
Светила по небу описывали круги,
Меж ними и землей гуляли облака,
Земля покоилась на некоей основе...
Все это слышать вам не внове,- -
О вымыслах таких мы судим свысока.
Не так об этом судят куры.
Мне, изучившему историю культуры
Сих достославных птиц,
Творенья гениев куриных и талантов,
Мне посчастливилось средь древних фолиантов
Немало выискать страниц,
Согласно коим,
Как люди, например, ия хвалятся собой,
Своей отличною от тварей всех судьбой,
До кур, однакож, далеко им!
Святая библия у кур в большой чести.
Но про порядок мирозданья
У кур еще свои имеются преданья,
А цифра пять у них куда важней шести.
День пятый - - вот венец творенья!
В день этот праотец петух, иль прапетух,
Уже блистал в раю красою опереньи
И кукурекал во весь дух.

— „Ку-ку-ре-ку!" — вот всех начал начало.
Когда б „кукуреку" в раю не прозвучало
Перед зарей шестого дня,
То дрыхнувший творец, храпевший, что есть мочи,
Он весь бы день шестой проспал до темной ночи,—
И не было б тогда на свете — ни коня,
Ни всякого скота (ни одного бы стада!),
Ни зверя хищного, ни гада,
Ни — пусть коробит вас от этого стиха,
Но я за это не в ответе,—
Людей бы не было на свете,
Когда бы не было на свете петуха!
Но обратитеся вы к „Новому Завету".
Я думаю, что все картину помнят эту:
Архиерейский двор, костер, и у костра
Фигура жалкая апостола Петра.
На всех иконах Петр, посмотришь, ликом светел,
А совесть у него не так-то уж чиста.
Когда, струхнувши, он отрекся от Христа,
Кто пристыдил его?— Честнейший некий петел!

Востоковед ученый, Масперо,
Подробно описал куриное перо,
Что сохранилось в лучшем виде
В египетской какой-то пирамиде.
Согласно надписи, строитель-фараон,
Чьей бранной доблести весь древний мир дивился,
Готовясь в поход на пышный Вавилон,
Куриной костью подавился.

Про кур, в историю влетевших (а не в суп!),
Я написать бы мог поболе,
Но из-за скудости бумажной, поневоле,
Я на примеры буду скуп.
А их в истории отнюдь не единицы.
Прав автор одного ученого труда,
Сказав, что нет такой в истории страницы,
Где б не было куриного следа.
Что в сих словах ни капли нет обмана,
Пример классический — Res publica Romana [1]).
Врагов имея без числа,
Сия республика и крепла и росла.
И хоть сенат ее в великом был почете,
Творя, поистине, великие дела,
Однакоже, в конечном счете,
Как поступить должны сенаторы отцы,
В важнейших случаях вопрос решали куры,
Чьих предсказаний образцы,
Сводили в формулы жрецы,
Куриной мудрости разгадчики, авгуры.
Кто знает? Может быть, один куриный знак
Мог повернуть все дело так.

[1]) Республика Романа — древняя римская республика

Что Рим бы отступил совсем на третью сцену
А пальма первенства досталась Карфагену?!
Или восставший раб, отчаянный Спартак,
К патрициям пылавший лютой злобой,
Прихлопнувши сенат здоровым кулаком,
Возглавить мог своей особой
Капитолийский Совнарком,—
И мы читали бы в ученейших трактатах
О бесподобных результатах
Великих социальных мер
Античной Р. С. Ф. С. Р.

Когда б я показать желал в чужих цитатах
Своей учености невиданный размер,
Притянут был бы мной в свидетели Гомер,
Затем я слово б дал, конечно, Геродоту,
Поставив все ж ему по части кур на вид,
Что прав не он, а Фукидид,
Чью гениальную работу
Хоть не успел еще доселе я прочесть,
Но думаю: про кур там что-нибудь да есть.

В историю свою Тит Ливий вставил оду
Гусям, что Рим спасли и римскую свободу.
Героям воздана заслуженная честь,
С чего не следует, что гусь средь кур — патриций.
Тит Ливий описал, как высший род ауспиций,
Клич вещий в небе журавлей.
Клич этот означал:—„Фабриций иль Сульпиций!
Враг Рима обречен. Иди и одолей!"
И рапорт: „veni, vidi, vici!",
Которым некогда так Цезарь прогремел,
Своим прообразом клич журавлей имел.
Сие особенно для кур отметить лестно,
Зане доподлинно из сказок мне известно
(Не орнитологам оспаривать меня!),
Что курам журавли — какая-то родня.
Тем самым с курами по родственному праву
Пусть делят журавли заслуженную славу.
Что ж до гусей, то сколь ни велико
Их, справедливое отчасти, самомненье,
Но... вещь лукавая — сравненье.
Простым гусям до кур все ж очень далеко!
Сошлюсь хотя б на те тацитовские главы,
Где столь восхвалены куриный быт и нравы,
Их простота
И чистота,
И знатность редкая куриных древних линий.
Объездив многие места,
До сотни насчитал родов куриных Плиний,
Из коих большинство гербом своим древней,
Чем род античных Анталкидов
Иль древний царский род Давидов.
В трактатах нынешних их список пополней:
Куриный Нестор наших дней

Нашел четыреста куриных главных видов!
Из геологии, как я знаток и в ней,
Я вам добавлю напоследок,
Что мною найденный в раскопках „первокрыл" —
Он, несомненно, был
Прямой куриный предок.
Как, бишь, учеными наименован он?
Archeoptéryx ma... macrural.. *)
Такая, знаете ли, огромнейшая кура,
Ни дать, ни взять — летающий дракон!

Так вот какого рода птицам
Я посвящаю этот труд.
Пускай ученые шумят по всем столицам,
Что в мелкий порошок они меня сотрут
Своим критическим, профессорским разбором.
На это я скажу с присущим мне задором:
— „Они буржуи все! И, как буржуи, врут!"
Но академики-социалисты хором,
Я жду, почтут мой труд высоким приговором,
Академическим венком
И... соответственным пайком!

(Продолжение следует.)

*) Археоптерикс макрура — ископаемое крылатое пресмыкающееся, величиной с курицу.

Критика и библиография.

Литературные заметки.

I.

Эпопея Андрея Белого *).

I.

Говорят, Андрей Белый — гениальный поэт. Абеляр тоже был ниальным человеком. И все-таки я не могу усвоить себе схоластического метода мышления.

Гениален был Птоломей. И все-таки знаю, что земля движется круг солнца. И не только я. Любой школьник знает об астрономии льше Птоломея.

Но Птоломея величие я понимаю. Он жил тогда, когда еще не было оперника. В наши дни он показался бы юродствующим.

Андрей Белый, это — нечто, следующее за ультрафиолетовыми лу ми, которых не только самым изощренным глазом, но и ни в какие иборы не разглядишь.

Может быть там и вибрируют необычайные волны эфира, может ть когда-нибудь марсиане, спустившись на землю, научат нас раз чать вещи, которых мы не видим. Но, пока мы — люди, там, за еделами наших способностей — непроглядная тьма. А если это — ликая изощренность, то цена ей ровно такая же, как и тьме проглядной.

Непонятными чарами влечет вдохновение, экзальтация, все виды тузиазма, даже когда они близки к безумию. В их пламени откры ются законы, управляющие жизнью веков и тысячелетий, — законы, обнажающиеся на путях опыта и научного исследования.

Но пламя, слишком пылающее, не светит и не вдохновляет. Есть ани, которых не преступишь безнаказанно. Пророчество, оторвавшееся от земли, упивается магией слова и переходит в бессвязный ед.

II.

Андрей Белый что-то носит в себе от огромности нашей революционной эпохи, сдвигающей с места целые материки понятий и чувств. кая революция может быть осознана в пламенном озарении творческого гения, близкого к пророческому ясновидению, скорее, чем в эпотливом исследовании фактов.

*) „Записки мечтателей“, кн. 2—3 и 4

Белому чудится, что на дне его души бурлят основные творческие силы, призванные взорвать твердыни обреченного мира, что в себе носит он самое существенное и важное, что встретится и сольется в ликующей радости с тем, к чему бессознательно, но верно стремится наше время через все противоречия, через зигзаги, нелепости и безумия. И может показаться порою, что он прав, что нужно было извлечь из его души голос истины, прислушаться к нему, как прислушивались к голосу древних пророков, следуя им и предотвращая неслыханные бедствия.

„Если бы вняли, не произошли бы события мира так именно, как они протекали, мир вынес бы поучительные примеры: происходящее в индивидуальном сознании, в „я“ одного человека,— картина вселенной; прообраз ее начинаний; и—планов о будущем. Ныне, когда осознали, что „я“ сознавания не есть данное мне индивидуальное я,—должны бы понять: с той минуты, когда во мне „я“ осознало себя вне условий обычных критериев индивидуального сознавания— материалы сознания того „я“ в виде действий, событий, сознания и пережитий „субъекта“, живущего в данное время, в том именно пункте пространства (на углу Базельланда)—„события эпохальные“. Не узнали они „я“ во мне. Да и я не узнал, что я—бомба, взорвавшая прошлое“.

Не разгадали в герое эпопеи пророка. Миллионы делали свое дело. Пограничные шпионы следили за проезжающими. Что делать? Война. Некогда копаться в тонких переживаниях души человеческой. А если и приходится заглянуть туда, то только для того, чтобы узнать: откуда и куда едет, не везет ли чего неприятелю! Двигаются войска, работают тысячи бюро. Время серьезное. Всех нужно проверить. Всякий человек на учете. Борьба на жизнь и на смерть.

Содрогаться перед кошмарными образами современности недостаточно. Мало - метаться „в разрывах сознания“ и видеть дьявола, играющего людьми и событиями,—за всеми этими картинами.- „Наши столичные улицы -осуществленная черная месса: брюнет в котелке здесь—икона; иконы свои—поразвесило черное братство на стенах домов, где брюнет в котелке—размалеванный нагло на боке стены,— с высоты шестиэтажного дома, осклабясь, показывает на калошу прохожим“.

Спора нет: окружающий нас мир кошмарен. Бездонна бездна лжи, в которую погружено европейское общество. Уродливы образы и циничны формы, в которых выявляет свое лицо жизнь наша. Творящая личность в ужасе смотрит на эти картины, вернее марионетки, прыгающие механическими прыжками по воле повелителя мира—всесильного мещанства.

III.

Галлюцинации героя „Эпопеи“ однако не волнуют, что-то отталкивает от него, и в отвергнутом им мире кажется порою больше правды, чем в его ужасе перед этим миром. Герой и шпион на границе,- тут еще веришь автору, что первый прав, а второй призрак, кошмар. Веришь, что рассеется второй, когда первый водворит в мире таящуюся в нем правду. Но герой едет дальше. Мелькают новые образы, и все они так же кошмарны: города, улицы, вагоны, чиновники, военные и т. д. Не за что ухватиться, не с чего начать. И чудится, что и герой „Эпопеи“ и сам автор слишком высоко занеслись в своем презрении к миру. В воображении Андрея Белого не только „брюнета в котелке“ привязал за волшебную ниточку дьявол, заста

вает прыгать перед его глазами, дразнить его и корчить рожи. Дьявол заставляет скалить зубы его собственного отца, ученого профессора „юмористика", „предпочитающего листики лекций всей мистике", и мать его, рачительную хозяйку, без конца „перетирающую флакончики", усматривающую пылиночку даже тогда, когда уже „все пере терто и все перевязано".

Нет любви в том, кто ничего не усмотрел в этих „листиках", „флакончиках", „пылиночках". Это—тоже бальмонтовское: „я проклял вас, люди: живите впотьмах".—Иной занимается наукой, иной наводит чистоту и порядок в доме, третий следит за проезжающими на границе, четвертый идет на смерть,—но с тех высот, с которых созерцает мир Белый, все это—одинаково „пылиночки". И слово какое! Из уничижительных уничижительнейшее.

Мои мечты—вздыхающий обман,
Ледник застывших слез, зарей горящий,
— Безумный великан,
На карликов свистящий.

А ведь сам Белый влагает в уста своего героя признание о „взрывах неописуемой чисто духовной любви ко всему человечеству". И заболел герой от того, что „не справился с мощным напором любви, его разорвавшей". Какая уже тут любовь! Великану не пристало любить карликов. Его дело свистеть на них. Не волнует это презрение великана и не пугает, и даже хочется невольно уступить тому влечению, которое зовет к карликам, а не к надменному и очень уж требовательному великану. Мне, по крайней мере, более значительным кажется дело ученого отца героя, чем пренебрежительное хихиканье маленького Летаева над „листиками его лекций". Пусть уж лучше профессор „открывает звуки гармоний при помощи чисел; не внятное, неисчислимое он от себя оттолкнет, восхищаясь и малою мушкой, и тем, что картину Рицциони возможно разглядывать в лупу". Право, в этом занятии больше смысла, чем в высокомерном пренебрежении ко всему в мире.

IV.

Монотонна и длинна эта эпопея о жизни Летаева. И чем чаще мелькают люди-пылиночки, чем свирепей свистит великан на карликов, тем больше становятся карлики и меньше—великан. И не только профессор с листиками лекций, но и мать, перетирающая флакончики, и даже шпион на французской границе начинают расти, заслоняя великана. У всех у них есть назначение, все они занимают какое-то место в системе организованной общественности, все они выполняют свой долг, как они его понимают. Спору нет—неказиста эта общественность, нелепа и кошмарна. Но от самого принципа организации не уйдешь, вне общежития не обретешь спасения.

Наше время властно направляет на ясный путь борьбы с обреченным миром. В недрах устарелой общественности действуют силы для образования новой. И только тот станет героем современной эпопеи, только тот примет участие в мистерии наших дней, кто обопрется на эти силы, увидит грядущие миры, уже возникающие в пламени, пылающем в этих силах. Для этого нужно спуститься на землю, нужно превращение демона в ангела, нужно нечто большее, чем огульное

смешение живого и мертвого, умение расчленять, право воскликнуть: „Не все я в мире ненавидел, не все я в мире презирал".

Герой „Эпопеи" не носит в себе этих душевных качеств. Он раздувает свою личность до кошмарных пределов.

„Так,—бродя по берлинским проспектам, я всматривался в происшествия улицы; и—происшествия эти складывались мне в узор переживаний, облежавший узор переживаний моих: становилися мною; пролетки, трамваи, потоки прохожих—потоками шариков крови моей мне казалися. Я—вмещалось в все: выходило навстречу ко мне из-за угла перекрестка знакомым, меня останавливавшим и начинавшим бросаться случайными фразами"...

Все—из него, ничто от внешнего мира:

„Голод, болезни, война голоса рев революции — последствия странных поступков моих; все, что жило во мне, разорвавши меня, — разлетелось по миру; когда то оно яро вырвалось из меня самого, вместе с сердцем моим. (это было в тишайшем углу Базельланда)... и мир, раскидавшийся от меня на восток и на запад, на север, на юг, внял ли он происшедшему?"

Герой эпопеи—болезненное завершение прошлого, а не пророческое видение будущего. В нем воплотилось бессилие методов целой эры. В его метаниях—последняя попытка—на старых путях отыскать средство к решению новых проблем; его галлюцинации—болезненный ужас человека, корнями вросшего в прошлое, ужас перед новым, чуждым, непонятным миром. Гипертрофированное представление о своей личности, безнадежное неумение понять значение объективных условий действительности и их роль в деле разрешения проблем нашего времени; высокомерное парение над скорбной драмой нашего временного бытия,—все это не пути героев настоящей и грядущей эпопеи. Пред нами—долгий и трудный путь ограничения личности, ее смирения перед силой объективного хода истории, период борьбы, развертывающейся на основах суровой дисциплины. Еще далеко до того времени, когда в организованном обществе творческая фантазия приобретет право неограниченного полета. Мы еще—в стадии борьбы за достижение права на существование, достойное человека, мы еще—в „прологе" истории, по выражению Маркса.

И всякий, кто требует себе этого права, уже теперь роковым образом обращает свои взоры во тьму прошлого, а не к свету грядущего.

Наше время учит, что через организованную общественность идем мы к освобождению личности, через железную диктатуру к неограниченной свободе. Герой эпопеи идет иными путями через необузданную свободу к необузданной свободе и не придет ни к чему.

V.

Шестьсот лет тому назад Данте написал свою поэму, поэму о душе человеческой, прошедшей через ад и чистилище к совершенству. И Белый ведет своего героя по пути самопознания. Три загробных царства, три грешника в пасти Люцифера, три части поэмы, трижды три круга ада, столько же небес, одинаковое окончание каждой из трех частей поэмы, эта символика слов и чисел говорит о магической силе, которую приписывал им Данте. Андрей Белый возрождает эти приемы после столетий напряженной работы научной и социальной мысли. Что было понятно во времена средневековья, то звучит бре-

или шуткой в наши дни. Не знаю, серьезно ли говорит автор насмехается, когда мы узнаем от него, что „созерцание треуголь а на калоше, которою топчем мы знак божества, есть пародия на ад: и не спроста святым этим знаком давно штемпелюют калоши, кедневно мы топчем в грязи властный знак божества“; что „горит над аптеками электрический знак опрокинутой пентаграммы“, а „звез дой Соломона клеймят пищевые продукты“; что когда около Бергена погибала норвежская шхуна, слышались крики о помощи: это вскрикивала грядущим моя там душа“, хотя герой эпопеи пребывал в это время со своей Нэлли в „уютнейшем, черепитчатом городке Вюртем берга“.

Белый верит в чудеса и в магию слов. Он располагает их зигзагами, треугольниками, колонками, лестницами, влагая таинственный смысл в эти причудливые словесные фигуры. Он искренне думает, что кошмарная картина прохождения бумаги об его пребывании в Лондоне по девяти подотделам разных ведомств станет особенно выразительной и страшной, если он в колонку девять раз впишет:

в Лондоне
в Лондоне
— в Лондоне
— в Лондоне
в Лондоне
— в Лондоне
— в Лондоне
— в Лондоне
в Лондоне
— Мы!..

Не убедительно, монотонно и скучно для нас, для кого вера в магию—пережиток. И никуда не приведет своего Летаева автор, ибо не с того конца он начал. В страдании своем и герой, и автор по человечеству всяческого сочувствия заслуживают, но помочь им нельзя, а сами себе не помогут, и людям пути не укажут, где помощь найти.

На ложном пути Белый, и не быть ему глашатаем века своего, ибо век выявляется в созидающих силах своих, а не в уходящих.

VI.

Ложен путь Белого, и яснее станет это, когда обратимся к нему самому. В тех же „Записках мечтателя“ объясняет он, „почему не может культурно работать“.

„Будь у меня время, деньги, бумага, чернила, перо,—я бы создал творение редкое... я—Микель-Анджело, порывающийся изваять целый горный ландшафт... почему мне не верят, что полон я творчества, что „Петербург“ лишь начало моей эпопеи, которую осуществить я могу лишь в условиях специальных; я мастер огромных полотен; огромные плоскости нужны для кисти моей; многоэтажные стены дворцов мне могли бы отдать для моих тит ничных сюжетов; их—нет у меня; и от того-то единственно я не пишу эпопеи своей.... Мне возражают любители произведений моих: „вы дали уже „Петербург“. Но на это отвечу я с горечью: „сколько же я загубил „Петербургов“... Дайте мне пять-шесть лет только minimum условий работы,—вы будете мне благодарны впоследствии... дайте возможность бросить всех вас года на два... отпустите меня на свободу... Дайте мне несколько жалких поленьев (или пищи), бумаги, чернил, чтобы орудия воплощения замысла или

рука оболочки моей беспрепятственно могла выводить на бумаге слова. Обеспечьте (о нет, не меня: мое детище): я верну вам затраты.... Сознавая в себе свою силу, через голову всех обращаюсь к России с уверенным словом: „Я—нужен тебе! и я знаю, чем именно нужен".

Сколько заблуждений в немногих строках! Если бы мог понять Белый глубочайший смысл, сокрытый в кровавых исканиях нашего времени, легко сам бы себе объяснил свои недоумения. Прежде всего спросил бы себя, кто те люди, к которым обращается он с этим требовательным: „дайте", „обеспечьте".

Словно не ведает он, что те, кто читает его и верит в титанические возможности его души,—ничтожная капля в океане тех, кто не знает, кто никаких слов читать не умеет, а тем более мудреных слов Белого, что эти немногие, читающие и знающие, сами бьются и сами охотно, по-барски, крикнули бы всем, всем, всем: „Дайте", „обеспечьте". Точно не ведает Белый, что так было и будет, пока творческий гений будет жить среди океана невежества и страданий, и что есть своя жуткая правда в движении волн этого океана, стихийно затопляющих без разбору, и прекрасных „Титаников", и бедных рыбаков...

И в барском величии своем, через „голову всех" кричащий России, не ведает Белый еще и другого. Он ли один погибает среди социального хаоса? Он много загубил „Петербургов", но хоть один „Петербург" написал. А сколько погибло таких, в ком силы таились для эпопей, быть может, более грандиозных, чем повесть о Летаеве, и не только „Петербурга" они не писали, но и писать вообще не умели, ибо грамоте не выучились и в отупляющем труде образ человеческий потеряли.

VII.

Андрей Белый—гений. По крайней мере так думает он и те, чьей душе говорят его творения. Не знаю, вся ли Россия так думает, но это и не важно. Нет надобности обосновывать гениальностью своих прав на кусок хлеба, теплый угол, перо и чернила, на досуг для творчества. Слышит ли Белый голос барски отвергнутого им в крови истекающего века? Он сулит больше, чем просит поэт. Не гения одного, а всякую человеческую личность на пьедестал хочет он вознести. Не больше прав имеет Белый, чем все мы, на обстановку для творческой работы. Но и не меньше. Не количеством отпущенных ему природой сил измеряются права человека, а естественным стремлением к человеческому существованию, а человеческого существования не бывает без творчества.

Но представим на минуту, что Россия со всеми раздирающими ее социальными противоречиями и непримиримыми интересами вдруг объединилась во имя Белого и забыла все для того, чтобы дать ему возможность дописать свою „Эпопею". Сможет ли она уделить от бедности своей поэту „многоэтажные стены дворцов", которые нужны ему для его полотен? Кто знает, до каких пределов могут дойти притязания гения и какая „обстановка" ему в конце концов может понадобиться.

Удалиться на несколько лет и писать на покое—это скромное и законное желание будет доступно всякому человеку в том мире, к которому через потоки слез и крови неудержимо стремится человечество. Оно идет к этому будущему через пламя войн и революций, в котором испепеляются величайшие ценности и величайшие возможности. Счастлив тот, кому удастся урвать час досуга и пережить

ство творчества во время тернистого пути, не дождавшись земли анной. Можно уронить слезу о тех, кому не выпало на долю астье, но наивными кажутся они, когда взывают к быстро бегущей пытаются остановить несметный поток людей и заставить по- треть на себя и только на себя. Конечно, жизнь не ответит им, не нет считаться с теми, кто не считается с нею. Андрей Белый болен, когда он выздоровеет, он ужаснется вот этих строк:

„Мне негде печататься! Помню, когда-то давно, миллионеры, с безностью расточая свои комплименты писателю Белому, когда он ступал к „Петербургу", спокойно смотрели, как я голодал; а „из ельства" прижимали меня; все же порою „издательства" мне кидали ши, чтоб не умер я с голоду; в социалистическом государстве же пролетарий, пока обречен на голодную смерть, если я захочу жить ствительным делом своим, а не кидаться в „комиссии", где я все ько путаю".

Неправду фактически говорит Белый: чем хуже „комиссии" „ста к в три четверти листа", которые, по его собственному признанию, кимали от него „издательства" и даже „товарищи по редакции". если бы даже и было то правдой, все же скажем: писатель, в наше ть трудное, время, вздохнувший только о крохах, падавших к нему стола миллионеров, — такой писатель не глашатай своего века.

П. С. Коган

Обзор областной поэзии *).

I. Тверь. 1) „Зарницы“. Альманах Тверск. Лит.-Худ. О-ва имени И. С. Ники(тина). Кн. 1. 1920. 56 стр. Ц. 100 р. 2) Матвей Дудоров „Аккорды“. 1920. 32 стр. 3) Н. Власов-Окский. „Рубиновое Завтра“. Изд. „Коллектив“. 1920. 10 стр. Ц. 30 р. 4) Н. Рогожин. „Листопад“. 48 стр. Без цены.

II. Рязань. 1) „Сегодня“. Сборник стихов. Изд. Ряз. Отд. В. С. П. 34 стр. Без цены. 2) „Коралловый Корабль“. Гос. Изд. 1921. 32 стр. Без цены.

III. Вологда. Алексей Ганин: 1) „В огне и славе“. 2) „Мешок алмазов“ 3) „Сарай“. 4) „Певучий Берег“ 5) „Священный Клич“. 6) „Красный Час“. Литограф. изд. по 10 стр. без указания цены, года и места изд. Изд. „Глина“.

IV Пенза. Сергей Спасский. „Рупор над миром“. Центропечать. 192[illegible] 16 стр. Без цены.

V. Казань. 1) Арий Лавэ. „Революций, Революций“. Каз. Отд. В. С. П. 1920. 24 стр. Ц. 12 р. 2) Он же. „Века в минутах“. Там же. 1921. 32 стр. Ц. 125 р. 3) А. Безыменский. „Октябрьские Зори“. Изд. Комсосола. 1920. 56 стр. Ц. 10 р. 4) Абдулла Тукаев. „Коза и баран“ Пер. П. Радимова. Госизд. 1921. 16 стр. с иллюстр. Без цены.

VI. Саратов. 1) Мих. Зенкевич. „Пашня танков“. 1921. 32 стр. Без цены. 2) Димитрий Петровский: „Пустынная Осень“. Изд. „Верблюженок“. 1920. 29 стр. Без цены.

VII. Ростов н/Д. 1) Лесник Голубев-Багрянородный. „Ожерелье Ласков“. Изд. „Егосамость“. 1919. 16 стр. Ц. 4 р. 2) Он же. „Слезы восковые“ Там же. 1919. 16 стр. Ц. 5 р. 3) От Рюрика Рока. Чтения. 1921. Без цены. 16 стр. 4) „Вот“. Сборник стихов: Рост. Отд. В. С. П. 64 стр. Без цены. 5) Георгий Шторм „Карма йога“. Рост. Отд. В. С. П. 32 стр. Без цены. 6) Константин Российский „Полиелей“. Рост. Отд. В. С. П. 16 стр. Без цены. 7) Евдоксия Никитина „Розы расцветные“. Изд. „Культура и Жизнь“. 48 стр. 1919. Ц. 40 р.

VIII. Харьков. 1) Илья Березарк. „Изощренная Нега“. 1921 [illegible] стр. Без цены.

IX. Одесса. Владимир Нарбут. „Плоть“. 1920. 32 стр. Ц. 60 р.

X. Баку. 1) Михаил Данилов. „Серый Слоник“. 1921. 2) Он же. „[illegible]лымя“. 1921.

XI. Ханская Ставка. Илья Шехтман. „Корабли“. 1920

Без руля и ветрил плывет поэзия по городам и селам. Поэтов народилось нескончаемое число. Талантливые и бездарные самобытники и шарлатаны, они растут после бури—одни, как цветы другие—как бурьян. Оторванность от центра замыкает их в узкие круги, борьба, идущая в центрах между пролеткультом и эстетами доходит до них глухими отголосками. Даже невозможно собрать в Москве все книги, вышедшие в областях. Но все же, когда прочтешь груду книг и книжек, которые оказалось возможным собрать, получаешь впечатление свежего горного ветра, прорывающегося сквозь

*) В обзор не включены Закавказье Туркестан и Сибирь и многие области, из которых не поступило материала. Просьба ко всем организациям поэтов всех республик и областей федерации прислать весь вышедший материал в редакцию „Красной Нови“ на имя автора обзора.

шное ущелье. Сквозь жалкое эстетство, провинциальный индивидуализм, иногда просто претенциозную бездарность можно разглядеть ... ренную, крепк ю жилу новой русской поэзии.

Революция раскидала поэтов по всем углам. Во многих местах это привело к зарождению литературной культуры. Под молотом событий отк вались многие поэты, которых революция застигла в самом начале работы, и радостно узнавать во вчерашних юнцах — иногда почти мастеров.

По организованности впереди всех стоит Тверь. Там работают „Никитинцы", со давшие свое лит.-худ. общество и собравшие поэтов-тверичей в тесную семью. Старый, милый поэт С. И. Дрожжин стоит во главе кружка. Там работают: Н. Власов-Окский, И. Синяков, П. Раменский, Л. Мошин, К. Ковалев, В. Оранский, Я. Уховский, М. Дудоров. Последний так определяет направление „никитинцев": „Поэзия „никитинцев" прежде всего обращает внимание читателей своей скромностью и последовательным развитием поэтического дарования поэта, идущего ранее намеченным путем, не подпадая под временные веяния новых литературных течений". Поэт критик резко отграничивает свой кружок от поэзии пролеткульта, которую никитинцы упрекают в „громких словах, порой ничего не говорящих", и даже в введении в поэзию терминологии производств. И действительно, „скромности" у никитинцев очень много. Литературного консерватизма еще больше. И оттого их стихи производят впечатление старых, давно прочитанных, пыльных страниц. „Светлые грезы" и „Юные мечты" по-прежнему рифмуют у них с „цветами" и „слезами", и „печаль", конечно, с „далью". Если бы не стояло на книжках фамилий, нельзя было бы отличить стихи Дудорова от Рогожина или других. Революция никак не коснулась их своим дыханием. А слушатель и читатель изменился. И стихи никитинцев не доходят до него. Несомненно, что такой консерватизм может в корне погубить все дело никитинцев. За китайской стеной своей скромности они, поэты трудовых масс, останутся поэтами для себя. Утверждаю, что, называясь „никитинцами", они своего патрона, Ивана Саввича, не знают. Ибо сам Никитин был поэтом бурного образа, и если его стригли под майковскую гребенку в петербургских редакциях, то в черновиках и вариантах сохранилось много первобытной его красоты. Кроме того, Никитин был поэтом песни, ритма, и внимательное изучение его дает великолепные уроки вольнопесенья. От настоящего Никитина вовсе не так далеко до пролеткультовцев и даже до имажинистов, как думают тверские скромники. И хотелось бы, чтобы „никитинцы" поняли это, вылезли бы из-за своей загородки и вышли бы на большую литературную дорогу. А „с мечтами" и „грезами" они останутся в своей, быть может, уютной избушке, никому ненужные и неродные. Песня у них есть, да гармоника плоха.

Повидимому, есть литературная организация и в Рязани. В рязанском сборнике „Коралловый Корабль" есть стихи Льва Никулина, мастерски владеющего стихом. Но общего облика, который имеют тверичи, рязанцы не имеют. Их сборник пестрый. Неприятно дает себя знать влияние московского кабачка Сопо. Иван Грузинов, докатившийся в Москве в последней своей книжке „Серафические Подвески" до чистой порнографии, уже в Рязани заявил о своих намерениях: „Невозможного последнюю грань юным экстазом сотру". Такие демонстрации ничего общего с поэзией не имеют. Увлечение рваными рифмами Сопо, кабацким урбанизмом (поэзия города), дешевым экзотизмом без достаточного знания эпохи, искание внешней

эффектности, всех этих „певучих тайн" и архимандритовских образов, „неестественного грима", „электрического кэк-уока", „шальных проституток",—словом, явный налет самодовольного мещанства чувствуется в обоих рязанских сборниках. Это не работа. Это могила поэзии. Никому не нужны эти жалкие маски, в которые рядятся рязанские поэты. Сопо-поэзия подлежит ликвидации. На строгую работу должны немедленно перейти рязанцы, если желают участвовать в общем литературном расцвете.

Мы не думаем, что в Харькове один только поэт, Илья Березарк и что он выражает собой харьковское направление. Но поскольку можно судить по этой одной дошедшей до Москвы книге, и Харьков близок к Рязани по своим настроениям. „Изощренная Ида" Березарка—это все та же кафэ-поэзия. „Искал изощренную Иду изломанный псевдо-безумец". Этому определению нельзя отказать в точности. Вовсе не безумцы все эти Березарки, а вполне сознательные гешефтмахеры, знающие свой мещанский рынок. Подобная „поэзия"—недурное коммерческое предприятие. Всякий „нувориш" с удовольствием почитает про „изощренную деву". Но поэзия мстит примазавшимся к ним торгашам: и у рязанцев, и у харьковца, и у подобных им ростовцев часто прорывается тема собственной смерти, какое-то особенное самоуслаждение своим гниением. Кафэ-поэзия—продукт разлагающегося класса мелких и крупных мещан. И помимо воли этих франтов, их творчество бессознательно живописует их незавидный удел: „Мне лежать в этом синем сугробе, будто руки скрестив во груди" (!) (Березарк). „Белый саван—твоя весна" („эстетично-изломанные" рязанцы). „Я лишь отдохнуть хочу. Пусть черный могильный выступ Пусть надпись веселая: „Чушь" (Ростов).

Сквозь этот общий налет мещанства можно разобрать отдельные голоса, ищущие прорыва в современность. Уличная девушка иногда вдруг вызовет братский звук. Картина голода призовет к порядку. Даже память борцов за свободу тревожат иногда рязанские поэты. Но общая атмосфера не дает этим робким звукам принять яркую форму. Свежее и молодое тонет в цилиндре фатовства.

Особенно сильно эта гибель молодых сил в старом навозе чувствуется в работе ростовских (на-Дону) поэтов. Там тоже есть отделение В. С. П. Там тоже процветает щегольство цинизмом и беспринципностью. Именно там родилась школа „ничевоков", переселившаяся потом в Москву. Конечно, это вовсе не школа, как большинство современных „школ". Но тенденция „ничевочества" настолько махровая, что может служить символом для всей кафэ поэзии! „Пророк" ничевоков, Юрий Рок, предсказывает, что каждый человек утонет в восторгах маркиза де Сад. Ему становится „яснее, яснее nihil, и его совечный закон". Ему „лежать и гнить отрада под веселой надписью: „Чушь". Картина разложения доведена до конца. Поэзия мещанства точно изображает его судьбу. Истерический поэт Л. Голубев Багрянородный, выпустивший свои книжки в Ростове раньше Ю. Рока, далеко не бездарный, тоже мечется между порнографией и каким-то мистицизмом. „Ни восторга, ни светлой мечты",—говорит он: „мне жить не хочется".

В последнем сборнике Ростова „Вот" есть определенное стремление поэтов отразить современность. С искренностью говорит Нина Грацианская „Народ, который я моим звала с младенческой любовью, не отрекусь! Сквозь алый дым, сквозь путь твой, расцвеченный кровью, с тобой пойду, куда пойдешь". Порыв есть, песня тоже. Но осознание событий затемнено. Поэтессе мнится вторая Византия! Реальная, новая. Россия закрыта от нее, и в результате все тот же припев: „все

умереть мне". Ее сотоварищи по сборнику в таком же лесу не ...ния. Иннокентий Крашенинников недурно описывает красную ...зу, Березарк, начавший с Иды, видит в Москве „сердца вселен- Конст. Рославлев изображает октябрьскую схватку на Арбате. ...рганский рисует трибуна и пытается дать картину быта рабочих— ...чти у всех ростовских молодых поэтов есть желание увидеть рево- ...цию. Но мещанское болото, в котором они живут, мода, идущая ... Москвы, застилают им глаза цветными стекляшками. И когда хо- ...шь найти за их внешними картинами мысль — ее нет. Бисмарк, Еги- ...г, московские церкви — летят калейдоскопом. Нет почвы, нет идеи. И ...тихоньку вылезает все та же нигилистическая песенка: „Жил себе, ...л, ни плох, ни хорош, на спину горбик нажил, скоро гробик нажи- ...шь". И дальше, все оттуда же: „А у бога есть рай, баюшки-бай, ...й!" (Филов). Знание техники, хороший стих помогает прикрыть ни ...ту идейную порфирой образов, но, если почитать до донышка,— ...чего не найдешь. Брянчат громко, а музыки не слышно. „Тучи ...ются, струи льются, звон стекла. Часты капли, так не так ли, жизнь ...ошла"—разливается Евдоксия Никитина. Мещанство на-лицо.

На той же стадии понимания — вернее, непонимания — революции ...ходится пензенский поэт Сергей Спасский. Поэтический глаз его, ...жалуй, зорче, чем у ростовцев. Может быть, он даже участвовал в ...волюции. „И кто то пулю высек из дула, и кто-то грудью бежал ...ймать ее"—такие крепкие образы рождаются из жизни. Н пряжен- ...сть боевой схватки чувствуется в иных его строках. Но все эти ...рные картины головою упираются в детское неведение смысла про- ...ходящего. „Что мы? Разве знать нам, маленьким, простым? Только ...ихов кружевные томы, только слов ускользающий дым". Это, по ...айней мере, искренне, и потому, симпатичней ростовской бутафории. ...эт не боится до конца признаться в своей бедности: „И вот уста ...е, слабые, молим: Господи, да будет воля твоя". И все револю- ...онные картины гаснут в старом рабстве небесам.

Судя по казанским изданиям, любовь к книге и поэзии назрела в Казани. Своими средствами, с трехцветными гравюрами на лино- ...уме. там издали татарскую сказку. Из стихов дошли до нас „Стихо- ...сунды" Ария Ланэ. Зараженный модернизмом, поэт признается: ...Мне так хочется в:обрать (!) смысл революции". И „взбирает". „Ре- ...люция прет пятнами солнца". „К чорту бессмертие". Предлагает ...ою руку рабочему на помощь в борьбе". Все это так беспомощно- ...ибо, что нельзя поверить поэту в его уверениях: „В воздухе буря. ...гда она пронесется, я полечу". Не полетит. Повторить два раза ...заглавии книжки слово „революция"—это не значит ее изобразить. ...жно отказаться поскорей от крика, изучить современность и упорно ...ботать над своим талантом. В Казани есть у кого можно поучиться ...ботать. Это—А. Безыменский. Дар поэта и сердце революционера в ...м очевидны. Некоторые недостатки его поэзии вполне исправимы. ...авные из них — это обилие лозунгов в стихах и злоупотребление ...зыком передовых статей. Но Безыменский умеет быть и настоящим ...этом:

Огнем нас цепи жгли на стуже
В промерзлой, каторжной степи.
Просили снять. И вышло хуже.
Эх, вспомнишь, сердце заскрипит!
К рукам примерзла цепь. И что же?
Мы ждали—руки отдохнут.
Но сняли цепь—и сняли... с кожей...

Вот это поэзия революции. Безыменский умеет сказать и сильнее:

Мертвая улица. Темные змеи
Мрака ночного украли весь свет.

Радость октября хорошо знакома поэту:

Мы достанем с неба солнце,
Чтобы выткать одеянье
Миру скорби и страданья,
Мы сорвем его лучи.
Мы грядущего ткачи.

Его „Странник", „Кузница Коммунизма", „Железный ветер „Былое", „Порыв"—полны юного огня и силы. Это—песни, вырвавшиеся изнутри. В них есть ритм борьбы и подлинная красота дух Это—песни коллектива. Это — то, что стоит писать. При некотором углублении не столько в технику, сколько в природу поэзии, Безыменский может выработаться в крупного поэта. Он видит и слышит, остальное приложится. Вся революционная поэзия страдает некоторой „литературностью". Это неизбежный результат наплыва идей в поэзию, до революции пребывавшую в чистой музыке. Известно, что эстеты определяют технику поэзии формулой „не что, а как", т. е. важно не содержание, а форма. Революция вбросила в поэзию мысль. Мысль несколько торчит во всей революционной поэзии. Спокойная работа гармонизует вскоре союз мысли с образом. Для нового поэта важно и „что" и „как". Тверичи, например, совсем не думают о втором. Ростовцы ищут синтеза. На путях искания его возможно много ошибок.

Сплошной ошибкой в этом смысле является рыхлая, сырая книга Димитрия Петровского „Пустынная Осень", вышедшая, если не ошибаемся, в Саратове. Испещренная цитатами, захватывающая все эпохи, занимающая 208 страниц, она целиком может итти в печку. При некотором даровании, уме и чувстве формы, автор все же тонет в бездне болтливости. На одну счастливую строку у него сотни негодных. Это—типичная работа в келье, без коллективной проверки,—и кроме того, на поводу у дешевой мистики.

В том же Саратове вышла другая книга, направления противоположного всякой болтливости и растрепанности в поэзии. Мы говорим о „Пашне танков" Мих. Зенкевича. Автор вышел из первой группы акмеистов, вместе с Ахматовой, Нарбутом (см. ниже) и Мандельштамом. Уход в провинцию спас его, как и Нарбута, от вырождения в салонное пустозвонство, которое претерпел акмеизм в последней своей стадии (Г. Иванов, Адамович и дальнейшие). Зенкевич и Нарбут сохранили заветы первой школы акмеизма, требовавшей вначале на ряду с полной воплощенностью образа и его глубинной связи с содержанием. „Пашня танков" — крепкая книга. Душа машины, танка, дредноута, аэроплана, пропеллера слышится в тяжелых стихах Зенкевича. Он умеет изобразить свой предмет и честно выполняет одну из задач современной поэзии. Но достаточно сравнить его с Гастевым, чтобы увидеть недостаток содержания: у Гастева — восторг рабочего, овладевшего машиной,—великое социальное чувство нашей эпохи. Зенкевич же боится машины, хотя и рисует ее хорошо. Его авиатор разбивается. Его машины—орудие власти и уничтожения. „Месиво человеческого мяса, меся, разметывая туловищ ошметки, размызгивая мозги, солнцем разрывая целуя цель, ложился в бархатно

ерное ложе за десятидюймовым снарядом снаряд". Явная недохватка понимания событий не позволяет отнести книгу Зенкевича к революционной поэзии, хотя все формальные данные для этого имеются.

Несколько ближе к ней стоит Владимир Нарбут в своей книге „Плоть". Великолепно умеет он изображать жирный быт хутора, иногда едкой иронией освещая человеческие и звериные туши. Он спрашивает свою „плоть", кому она поет славу. „Не матери-земле-ль, чтоб из навоза создать земной, а не небесный рай?" Конечно, от этой догадки далеко еще до новой идеологии. Но все же презрение к разлагающемуся старому миру, в котором Нарбут так хорошо ухватил все признаки тления, есть для него начало дороги. Если он со своим языком, со своим уменьем видеть и показывать предмет, пойдет дальше по этой дороге, он может дать подлинные песни революции. Если же он не овладеет мировоззрением новой эпохи, он останется образцовым могильщиком эпохи уходящей.

Ведь вот, на тех же тропах поэзии, Илья Шехтман (Кремлев) в своей книге „Корабли", и особенно в стихах, помещенных в № 1 бакинского „Искусства", такими же методами рисуя охоту на кабанов, уют охотничьей хижины, умеет дать всечеловеческую радость, побеждающую природу нового человека.

„Встаньте, живые, из тесных гробов!" — зовет вологодский поэт Алексей Ганин: „Гряди, гряди! Да не смутится боем, кто верит в свет" — „Под черепом моим пространства, боги, бури". „Кто будет выбивать лабазникам медали и строить палачам для завтра мавзолей. Отныне алтарей, всех библий и скрижалей священней во сто крат упругая мозоль" — в этих призывах уже явственно слышится голос нового владыки мира — Труда. Правда, поэзия Ганина слишком еще подвластна Есенину раннего периода. Запах мессианства, религиозные образы, как у Клюева, можно найти в его стихах. Но важно отметить, что поэт нащупывает коренную жилу трудовой поэзии. Пафос победителей мира ему не чужд. Ветхи его мехи, но вино бродит в них уже новое.

Необозрима гамма чувств у нового человека. Он — владыка машин. Он — коллектив. Он - творец. И он весь в язвах борьбы. Еще нет поэта, который охватил бы весь этот портрет. Но вот уже у бакинского поэта, Михаила Данилова, есть смелый и прямой подход к теме. Вот что пишет он про мышцы рабочего, — певец не разлагающейся плоти, как Нарбут, а полной энергии:

Мы—сильные мышцы, мы тверды как камень.
Мы—жизни творимой рычаг.
Нам любо, сплетясь в шевелящийся узел,
Упругие взмахи бросать!
Нам любо железо, тяжелые грузы,
Люба трудовая роса.
Мы—силы сознанья, мы—радость здоровья.
Мы—счастие вечной борьбы.
Мы—сильные мышцы, налитые кровью,
Рабочего мяса горбы.

Победой звучит его голос:

Пламя в горне пляшет весело.
Хрустко щелкнуло плечо.
Первый взмах рука отвесила
И—еще.

Кровь огнем метнулась в голову,
Мышцы зноем оросив.
Погляди на полуголого:
Ведь, красив?
Полоса гудит, как колокол,
В сердце —радостная дрожь.
Отойди, бродящий около:
Не поймешь!

Это — подлинный родник рабочей поэзии. Незаметно со всех сторон, подземными путями пробивается он, и скоро загремит повелительно. Такое же досадливое „отойди!" — скажет поэзия труда всем эстетам, кафе-поэтам, шарлатанам и крикунам, устроившим сейчас на рабочем празднике свой сорочий базар. Выделятся сильные, к ним подтянутся слабые из талантливых, а все „ничевочество", как мусор, отметется в сторону. Областная поэзия говорит то же самое, что и поэзия Москвы, где „Кузница" работает рядом с Сопо: мы переживаем канун великого расцвета поэзии труда. И чтоб скорее он наступил, нужно организовать здоровые силы, смести очаги разложения, и объединить голоса тех, кто слышит новую песню.

Сергей Городецкий.

(*Окончание следует*).

Н. Евреинов. Самое главное. Для кого комедия, а для кого драма, в 4 действ. Спб. Госиздат. 1921 г. Стр. 138. Ц. 1500 р.

Великая безвкусица представляется читателю этой книги. Начиная с обложки худ. Анненкова, на которую смотришь, как на курьезный мезальянс Кандинского с Мисс (нарисован, кстати сказать: распятый паяц, по-видимому в пику покойному Ропсу, который, раз желая указать всем своим добрым знакомым, что он отнюдь не клерикал, нарисовал на кресте — проститутку). Что же хотел изъяснить здесь своим приятелям Анненков, остается его секретом, - или это, чтобы Госиздат чувствовал, что и Евреинов насчет низвержения богов? Сюжет пьесы расшифровывается с трудностями, — „самое главное" по автору — любовь, извините за выражение. Извиняться по этому поводу рецензент должен ввиду неприличного тона, взятого автором во всей книге, - о любви говорили и до Евреинова достаточно много, но это нас не возмущало: об этом говорилось серьезно. Евреинов или паясничает самым грубым и фальшивым образом или сюсюкает. Все персонажи — глупее автора, а это уже дрянной симптом. Вспоминается не то позорная чепуха „Кривого зеркала", не то аверченковская компания. Пиши, пожалуй, смешные вещи, если ты умеешь быть веселым и непринужденно-остроумным, но если тебе для того, чтобы насмешить читателя, надобно заставить человека спрашивать об „одеяле", когда ему толкуют об „идеале", — не ясно ли, что ты залез в чужую специальность? Пафос Евреинова... о, какие это все пустяки, какое резонерство первокурсника! Куда-то подклеен и социализм, совсем уже зря. Кроме того, все это весьма „сценично" — т.-е. говоря откровенно и попросту, все в книжке направлено к тому, чтобы актерской жестикуляцией, беготней и трюками сделать ход действия забавным и сколько-нибудь занимательным. Достигается ли это? В известной мере — да, но какова эта занимательность? Да не выше пресловутого Макса Линдера.

Цвг

Обзор популярной литературы по принципу относительности.

1. Ueber die Spezielle und die Allgemeine Relativitätstheorie (Gemeinverständlich) von A. Einstein. Zwölfte Auflage (51—55 Tausend) Vieweg. 1921. О специальной и всеобщей теории относительности (общедоступное изложение) А. Эйнштейна, 12 издание (51—55 тысячи). Издание Gruber'a, 91 стр. 1921.

2. P. Lenard. Ueber Relativitätsprincip, Aether, Gravitation. Dritte Auflage, Leipzig 1921. Ф. Ленар. Принцип относительности, эфир и всемирное тяготение. Третье издание. Гирцель в Лейпциге. 44 стр. 1921 г.

3. А. Эйнштейн. Эфир и принцип относительности. Петроград Научное Книгоиздательство. 27 стр. 1921.

4. M. Schlick. Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik. Berlin. Springer. Dritte Auflage 1920. М. Шликк. Пространство и время в современной физике. Берлин. Издание Шпрингера 1920 (третье издание) 65 стр.

5. R. Lämmel. Wege zur Relativitätstheorie. Stuttgart. Kosmos Р. Леммель. Пути, ведущие к теории относительности. Штуттгарт издание Космос. 1921. 76 стр.

За последние три года на книжном рынке в Западной Европе появились многочисленные популярные книги и брошюры по принципу относительности. Издаются они в огромном количестве экземпляров и, повидимому, тотчас же раскупаются. Насколько можно судить по дошедшим до нас образцам, эта литература за очень немногими исключениями крайне невысокого достоинства. Главный недостаток—исключительная тенденциозность изложения: дело обыкновенно представляется так, как будто теория относительности уже окончательно установлена и все возражения устранены. Приятное исключение составляет прежде всего книжка самого Эйнштейна: это несомненно лучшее популярное изложение принципа относительности. Общедоступной, в широком смысле этого слова, однако ее назвать нельзя: она требует от читателя подготовки в объеме школьного курса алгебры и геометрии. К числу исключительных достоинств книги следует отнести выдержанную объективность: автор нигде не пытается скрыть от читателя, что возможны и другие объяснения приводимых им фактов помимо его

теории. Наоборот, он считает особым достоинством своей теории то, что она приводит к выводам, согласным с выводами других теорий, часто отправляющихся от посылок, ничего общего не имеющих с теорией относительности. Выдвигая эту особенность своей теории, Эйнштейн тем самым и не может внушить читателю во что бы то ни стало, что другого объяснения, кроме вытекающего из его теории, и быть не может; т. е. вполне сознательно не делает того, к чему стремятся почти все популяризаторы принципа относительности.

Почти все изложение ведется на примере движущегося железнодорожного поезда и на рассуждениях о том, как воспринимаются физические явления наблюдателями, сидящими в поезде или находящимися где-нибудь вблизи рельсового пути, по которому пробегает поезд. Правда, речь идет о таких измерениях, которые фактически выполнить нельзя, однако в принципе против такого изложения возражать не приходится, так как самые основные положения теории часто выступают всего яснее именно при таком изложении. Крайне любопытно вскользь брошенное замечание (стр. 12), что для большей простоты рассуждений удобнее считать в примере с поездом, что воздух вообще отсутствует. Для специалиста ясно, в чем тут дело. Присутствие воздуха, усложняющее все рассуждения с движущимся поездом, неизбежно наведет читателя на мысли об эфире! А для эфира в теории относительности нет места — по крайней мере в прежних ее вариантах, о которых собственно в этой части книги идет речь. Объяснить же, почему эфир неудобен для теории относительности в немногих словах не так-то легко.

Как мы увидим из дальнейшего, в последнее время сам Эйнштейн склоняется к мысли, что его теория и теория эфира совместимы друг с другом. Большая часть книги Эйнштейна посвящена изложению „специальной" теории относительности, „всеобщая" же теория, опубликованная в специальных журналах (Annalen der Physik) в 1916 году, изложена сжато. Здесь читателю многое приходится принимать на веру, но во всяком случае книжку Эйнштейна можно рекомендовать всякому, желающему познакомиться с этим новым учением. (Русский перевод появился недавно — „Издательство Слово", Петроград 1921, но, ввиду большого спроса, в Москве Госиздатом будет выпущено другое издание.)

Прекрасным дополнением к книге Эйнштейна может служить книжка известного германского физика Ф. Ленара, выдержавшая за два года три издания. В этой книжке в действительно общедоступной форме указаны те трудности и противоречия, к которым приводит всеобщий принцип относительности, что особенно важно, так как обычное изложение бывает сплошь и рядом крайне тенденциозным. Эту характерную особенность популярной литературы Ленар оценивает следующим образом:

„Популярные книги и лекторы излагают принцип относительности с настолько односторонних точек зрения, что невольно закрадывается подозрение, не стремятся ли к этой односторонности только ради привлечения внимания: это явление прискорбное, что оно существует и было бы нездоровым и еще более прискорбным признаком, если бы оно не вызвало противодействия. „Релятивистам" (т.-е. сторонникам принципа относительности), однако, во всяком случае следовало бы спокойнее относиться к этому противодействию, так как оно вызвано ими же самими" (стр. 38).

Главное возражение основывается на разборе одного из примеров, приводимых в книжке Эйнштейна. Быстро и равномерно бегущий

ізодорожный поезд внезапно тормозится и притом настолько)о, что в вагонах все слетает со своих мест, багаж вылетает из и т. д. По Эйнштейну возможны два объяснения: или поезд в і деле двигался по поверхности земли; вследствие быстрого за ния появившиеся силы инерции произвели разрушительную ..у, или — и это будет второе объяснение — поезд был неподвижен, земной шар вместе с рельсовым путем, станционными зданиями, локольнями и проч. двигался в противоположную сторону. Земля все на ней находящееся затормозилось, вследствие чего по йнштейновой теории появляется новое поле силы жести, производящее разрушение в поезде. Ленар задает вполне конный вопрос: почему разрушения всегда произойдут в поезде, же и тогда, когда тормозится земной шар, а не поезд? Почему лжна существовать какая-то удивительная и непонятная односто-нность? И почему при торможении земли не произойдут разруше я на ее поверхности, не пострадают здания, деревья, колокольни. вета на эти вопросы Эйнштейн не дал, хотя этот вопрос и был ставлен еще до съезда в Наугейме осенью 1920 года. (В добавле-е к третьему изданию приложен крайне интересный обзор прений оисходивших на этом съезде.) Ленар объясняет это противоречие и, что всеобщий принцип Эйнштейна не приложим к силам трения, оявляющимся при торможении поезда, потому что эти силы не про-рциальны массам. Таким образом выясняется граница приложи-сти этого всеобщего принципа, который тем самым теряет уже свой рактер всеобщности.

В тесной связи с только что указанным возражением стоит вто-е возражение Ленара по поводу трудностей, возникающих при по-тках приложить принцип Эйнштейна к вращательным движениям.)иводим полностью это едва ли не наиболее любопытное место ей книги. „Вращение, как частный случай неравномерного движения ожет быть установлено абсолютно[1]), как это, например, и произво-тся с помощью маятника Фуко для вращения земли. Глашатаи все-щего принципа относительности отрицают такое абсолютное опре-ление вращения или относятся к нему с сомнением, что, повиди-му, заставляет их испытывать большое философское наслаждение; и подсовывают читателю мысль, что опыт с маятником будет про-кать совершенно одинаково, будет ли иметь место вращение земли и вращение всего мира вокруг земли. Я не знаю, замечают ли они и этом, что простая постановка этой альтернативы (сопровождае-я оскорблением здорового рассудка Коперника и Галилея) равно-льна недозволенному „мысленному опыту" — и притом недозволен-му именно с точки зрения принципа относительности. При этом пыте" даже и не очень далеким небесным телам придется припи-ть скорость, во много раз превосходящую скорость света, в то емя как допущение возможности таких скоростей равносильно ровержению простого (специального) принципа относительности"[2]).

Далее Ленар довольно подробно останавливается на отношении

---

[1]) Т.-е. в пределах самой движущейся системы. Пассажир, идущий по вагону жущегося поезда, отлично соображает, когда поезд внезапно затормозится или когда описывает дугу на закруглении пути. Для этого не требуется сравнивать положе- поезда с видимыми в окна предметами, не участвующими в движении поезда. В м смысле еще со времен Ньютона говорят, что неравномерное движение воспри-іается безотносительно или „абсолютно"

[2]) Так как основное положение этого принципа: не может быть скорости, боль- скорости света, равной 300.000 километров в секунду.

принципа относительности к эфиру. Он справедливо указывает, что добровольный отказ от эфира равносилен отказу от объяснения многих и многих гл в современной физики, потому что каких-либо новых объяснений, взамен старых, этот новый принцип попросту не дает.

Ленар вкратце излагает свои воззрения на эфир; но это наименее удачная часть книги, так как она переполнена ссылками на предшествующие работы автора и, если читатель не знаком заранее с ними, то ему трудно следить за ходом мысли автора. Впрочем, эта часть книги составляет всего 4 страницы из 44. Крайне интересно указание Ленара на то, что Эйнштейн, изгнав из своей теории эфир, вынужден был, сам того не замечая, ввести его вновь. Действительно, Эйнштейн „вводит пространственные координаты, которые этому принципу свойственны и которые по изменяемости их свойств могут легко являться определяющими состояниями пространства, при чем получается впечатление,—говорит Ленар,—как будто здесь только что изгнанный эфир под измененным словом „пространство", сам дал о себе знать".

В последнее время Эйнштейн, действительно, стал на эту точку зрения (А. Эйнштейн „Эфир и принцип относительности". Петроград. Научное Издательство. 1921).

Вот заключительные слова этой речи, произнесенной Эйнштейном 5 мая 1920 года в Лейдене:

„Резюмируя, мы можем сказать: всеобщая теория относительности наделяет пространство физическими свойствами; таким образом, в этом смысле эфир существует. Согласно всеобщей теории относительности пространство не мыслимо без эфира; действительно, в таком пространстве не только не было бы распространения света, но не могли бы существовать масштабы и часы и не было бы никаких пространственных и временных расстояний в физическом смысле слова. Но нельзя представить себе этот эфир из частей, которые можно исследовать во времени; такими свойствами обладает только весомая материя; точно также нельзя применять к нему понятие движения". Всякий беспристрастный читатель должен будет согласиться, что в этом новом толковании теория относительности приводит в подлинном смысле к какому-то абсолюту: к эфиру, к которому запрещается применять понятие движения! Теорию Лоренца философы поднимали на смех, так как из нее вытекает, что движение земного шара не передается окружающему эфиру, и потому, следовательно, она допускает возможность абсолютного покоя; но из того, что не всякое движение может передаваться эфиру, было крайне легкомысленно делать вывод, что данная теория приводит к абсолютной неподвижности эфира. Эйнштейн же определенно говорит, что о движении эфира не может быть и речи. Интересно знать, что скажут теперь критики, которые расхваливали теорию относительности за то, что она изгнала окончательно абсолютно неподвижный эфир?

Интересно сопоставить, с только что приведенными словами Эйнштейна, торжественное заявление на съезде в Наугейме о том, что эфир окончательно упразднен. Ленар по этому поводу делает следующее ироническое замечание: „Упразднение эфира было провозглашено в Наугейме (на съезде), как окончательное решение. При этом никто не рассмеялся. Я не знаю, впрочем, обстояло ли бы дело иначе, если бы кто нибудь провозгласил упразднение воздуха". Съезд происходил в сентябре 1920 года. Сопоставление этих двух дат и двух выдержек показывает, что в лагере сторонников теории относительности не все благополучно.

Последние две книжки Леммеля и Шликка ниже всякой критики. [Ав]торы сознательно злоупотребляют неподготовленностью и неосведомленностью доверчивого читателя и сразу принимаются его „обрабатывать“ в желаемом им направлении. Леммель начинает с внушения читателю, что в мире существуют две категории явлений: одни обусловлены „силами природы“, — другие — „жизненной силой“(!!!). После воскрешения витализма автор убеждает, что закон тяготения не доказан, но в него „верят“. Молекулярное строение вещества и теория строения атома, перешедшая из области гипотез в область прочно обоснованных фактов, признается автором лишь как „фантастическая картина“ (стр. 68, 69). Очевидно, это делается в угоду философии Маха, которого автор считает „творцом новой физики“(!). На стр. 70, после ряда ошеломляющих неподготовленного читателя рассуждений о тождестве энергии и материи, автор обращается к нему с вопросом, не замечает ли он (читатель) как постепенно „самое бытие материи непрерывно отступает перед взором исследующего ее человека“(!), а так как перед тем доказывалось, что материя и энергия одно и то же, то значит остается сделать вывод, что и бытие энергии куда-то отступает! А немного дальше на той же странице говорится без всяких, конечно, объяснений, что „свет есть вещество“(!).

Книга Шликка, написанная, правда, в гораздо более умеренном тоне, почти вся состоит из специфически философских рассуждений, например: обладает ли реальностью пространство и время. А конец книги весь переполнен цитатами из Юма, Канта и Маха.

Вообще эти две книжки Леммеля и Шликка являются образцовым примером того какую опасность представляет теория Эйнштейна, когда она попадает в руки людей, стоящих далеко от производства самой науки, от непосредственных опытных исследований, т.-е. от единственного источника действительно новых идей—новых течений научной мысли.

А. Тимирязев.

Ионас Кон. Общая эстетика. Гос. Изд. Москва 1921.

Переведенная и выпущенная в свет Госиздатом книга И. Кона принадлежит к тому разряду буржуазной научно-художественной литературы, который можно назвать философско-эстетическим. Социальные корни этого направления глубоко уходят в почву капиталистического общества, обнаруживая при этом то любопытное обстоятельство, что и в области эстетической буржуазная наука не может никакими псевдопозитивными вуалями скрыть своего классового лица, что и здесь буржуазная наука является ничем иным, как теоретическим оправданием форм буржуазного бытия.

Суть дела вкратце сводится к следующему:

Основной и характернейшей чертой буржуазного искусства является его полный разрыв с реальной жизнью. Художественное творчество, не направленное на созидание форм живой действительности, замкнулось в рамки индивидуалистической, в себе и для себя существующей обособленности, выливаясь в законченные, искусственные образцы. Тем самым искусство было противопоставлено жизни и, разумеется, к невыгоде последней. Вместе с тем мышленье, неспособное найти жизненной первопричины такого положения, но в то же время ясно сознававшее какое-то огромное превосходство художественной гармонии, стало искать истоков этой гармонии не в реальных процессах человеческой деятельности, не в том, что можно назвать художе-

ственным производством, а в каких-то особых, вне и над жизнью существующих нормах; таким образом к понятию искусства добавилось понятие так наз. „прекрасного“ или „красоты“. А поскольку вопрос о красоте неизбежно сводится к вопросу о вкусах и, следовательно, оценках, постольку наука о „прекрасном“ превратилась в науку о ценностях (И. Кон пишет: „Эстетика имеет целью исследование особого рода ценностей, господствующих в прекрасном и в искусстве“, стр. 14).

Это был самый легкий способ отрезать себе всякий путь к опытному, естественно-научному анализу. Раз речь шла об „особого рода ценностях“, то тут оставался один выход: опереться не на факты, итти не путем индукции, а взять отправным пунктом заранее принятые за истину положения. Такие положения каждый исследователь брал, согласуясь, конечно, лишь со своими вкусами, из неисчерпаемого склада метафизик и гносеологий (И. Кон пишет: „Предлагаемый опыт с самого начала становится на почву, подготовленную для эстетической науки Кантом“, стр. 3). Став догматической, эстетика оказалась одновременно и недоказательной и неопровержимой. Иначе говоря: она потеряла всякое самостоятельное научное значение.

Естественно поэтому, что такое положение долго продолжаться не могло. Успехи положительных наук, с одной стороны, запросы новейшей художественной практики, перед которой эстетика импотентно пасовала, с другой—вызвали к жизни ту дисциплину, которая известна под именем искусствоведения и которая, объединяя исследователей под знаменем борьбы с эстетикой, сразу же поставила вопрос об изучении художественных явлений на опытную и, в частности, экспериментальную почву. Первое время пока новое движение еще не встало на ноги, исход борьбы мог казаться сомнительным, но в настоящее время ясно даже слепому, что буржуазно-гносеологическая эстетика умерла. Но даже не вдаваясь в подробные доказательства по этому поводу, можно заранее утверждать, что для марксизма единственным научно ценным материалом послужит лишь искусствоведение.

И вот спрашивается теперь: зачем Госиздату, органу пролетарского государства, понадобилось издать глубоко устарелую, реакционно метафизическую болтовню о „прекрасном“, „красоте“, „ценностях“ и прочем? Специалисты по истории эстетических учений великолепно могут познакомиться, если у них хватит терпения и трудолюбия, с работой И. Кона в подлиннике, а всем остальным она совершенно не нужна. Мало этого. В наши дни, когда вопросы искусства поставлены так резко и волнующе остро, когда так необходим теоретический материал по всем этим вопросам, Госиздат вместо того, чтобы помогать жизни и прислушиваться к ней, как это следовало бы пролетарскому органу, занимается тем, что пробует затуманить головы читателей абстрактными и реакционными рассуждениями немецкого кабинетного фетишиста. Пора понять, что в науке тоже ведется своеобразная классовая борьба и что издать книгу вроде „Эстетики“ Ионаса Кона это значит бить по самим себе.

Б. Арватов.

„Пролетарская Революция“. Исторический журнал Истпарта. № 1. 1921 г. Госиздат.

Вот издание, на которое должно быть обращено самое серьезное внимание и которое должно сыграть огромную роль в деле воспитания нашего молодого поколения! Мы до ужаса мало знаем о нашем прошлом, о том, что было десять, пятнадцать, двадцать, тридцать и

ц. лет тому назад. Возникновение и развитие нашей партии, главные этапы русского рабочего движения,—основные данные об этом известны лишь весьма узкому кругу лиц. У нас нет ни одного сносного, хотя бы сжатого, хотя бы схематичного очерка истории Р. К. П. На-спех написанные коротенькие брошюры на эту тему изобилуют, как теперь выясняется, весьма существенными ошибками.

Изучение нашего прошлого крайне затруднено тем, что материалы мало доступны. Наша история, это —история пролетарского подполья, и ее нельзя изучить, не проделав огромной предварительной работы по собиранию и систематизации фактов и документов. Работа эта может быть выполнена лишь усилиями большой группы лиц. И совершенно справедливо удивление автора вступительной статьи „От Истпарта" о том что „до сих пор, за три года, не образовалось исторического журнала, посвященного специально рабочей революции в России".

„Пролетарская революция,—читаем во вступительной статье,—ставит своей задачей опубликование материалов, в первую голову по тому отделу истории русской революции, который до сих пор оставался более всех в тени: по истории пролетарского революционного движения в России. Сюда войдут прежде всего документы по истории Р. К. П. и ее предшественницы—большевистской фракции Р. С.-Д. Р. П.,—но также, разумеется, и документы других партий, поскольку в них отразилось рабочее движение, и документы рабочего движения беспартийного, организованного (история профсоюзов) и неорганизованного („стихийные" забастовки, отдельные случаи фабричных „волнений" и т. д.)".

„Пролетарская революция,—говорится далее во вступительной статье—будет печатать лишь наиболее крупное, яркое и характерное, помещая одновременно сводки, небольшие монографии, основанные на более полном изучении материала". Далее будут печататься документы госуд. архива Р. С. Ф. С. Р., извлечения из белогвардейских архивов, воспоминания и т. д.

„Мы пишем о вечно живом и вечно юном пролетариате, а не о мертвых приказах и канцеляриях, и мы зовем к себе всех живых, интересующихся историей пролетарской революции",—говорит Истпарт.

Какие цели преследует исторический журнал Истпарта? *Для кого* он издается? На эти вопросы вступительная статья дает такие ответы:

„Наша цель именно в том и состоит, чтобы помочь писанию истории пролетарской революции в России. Документального сырья никто читать не станет, кроме самих историков, а нам нужны книжки, которые бы читались и рабочим, и студентом". И дальше: „Наш журнал должен стать... необходимой базой для будущих историков пролетарской революции, это — его первое и главное назначение". С другой стороны, журнал должен стать „абсолютно необходимым источником" для наших партийно-советских школ, для лекторов, студентов и т. д.

Вступительная статья Истпарта кончается следующим интересным замечанием:

„Исторически работать можно научиться только на первоисточниках: человек, который никогда ничего не видал, кроме чужих „изложений", никогда не сделается ученым, навсегда останется дилетантом".

Насколько в первой книжке своего журнала справился Истпарт с поставленной себе задачей?

Половину всего журнала занимают ценнейшие материалы о первом съезде Р. С.-Д. Р. П. Здесь на первом месте стоят две статьи тов. Эйдельмана. Первая статья была напечатана в 1907 г. в историческом сборнике „Наша Страна", заменившем закрытое правительством „Былое". В ней тов. Эйдельман дает очерк развития с.-д. работы в Киеве в 90-х годах и излагает историю 1-го съезда Р. С.-Д. Р. П. Во второй статье т. Эйдельман исправляет ошибки и неточности, допущенные Вл. Акимовым (Махновцем) в его статье о первом съезде. („Минувшие годы", февраль 1908 г.). Статьи т. Эйдельмана являются незаменимым пособием для всякого, желающего иметь представление о первом съезде.

Интересна статья т. Невского: „К вопросу о первом съезде. Российской Социал-Демократической партии". В основу статьи т. Невского положены документы, извлеченные из недр департамента полиции, а именно: проект устава, проект манифеста, несколько статей и выдержек из Киевской „Рабочей Газеты", несколько воззваний и доклад Зубатова в департ. полиции о первом съезде. Все эти документы напечатаны в журнале в виде приложений. Статья т. Невского, к сожалению, носит несколько отрывочный и спешный характер.

В отделе: „Материалы по истории контр-революции" помещены: письмо Авксентьева к с.-р. юга России, письмо Сазонова к Вологодскому (премьер-министр Колчака) и Набокова к Колчаку, письмо Карташева (теперешний председатель эмигрантского „национального союза") к Пепеляеву (мин. внудел Колчака), заметка о попытке Италии торговать с белым Доном.

Все эти документы. снабженные примечаниями т. Пионтковского, сами по себе представляют значительный интерес. Они вносят новые штрихи в историю интервенции.

Интересны воспоминания Н. Семашко. Автор дает краткие, красиво написанные отрывки о нашем прошлом, начиная с девяностых годов. Весьма любопытны строки, относящиеся к Г. В. Плеханову. Ценными являются воспоминания А. Н. Винокурова (о парт. работе в Екатеринославе), Вл. Виленского-Сибирякова (об окт. днях в Сибири), А. Шестакова (о раб. движении в Донбасе).

Отдел библиографический составлен довольно удачно. Большое недоумение вызывает лишь статья т. Ольминского о книге тов. Преображенского: „Бумажные деньги в эпоху пролетарской революции". Какое отношение имеет к Истпарту финансово-экономическая книга, вышедшая в 1920 году? Недоумение рассеется, если принять во внимание, что тов. Ольминский выступает в статье со своей „особой" точки зрения. Он вооружается против „ходячих советско-партийных предрассудков", предостерегает от „трясины нынешних предрассудков" и т. д. Тов. Ольминский имеет неоспоримое право рассуждать о любой книге так, как ему угодно, но мы также имеем непререкаемое право настаивать на том, чтобы „исторический журнал Истпарта" занимался исключительно историей, а не текущей финансовой политикой...

Журнал имеет ряд существенных недостатков редакционно-технического характера. Слабо чувствуется редакторская рука. В примечании к вступительной статье „От Истпарта", например, читаем:

„Не могу не вспомнить, с каким ликующим лицом встретил меня, в 1905 году, один очень выдающийся профессор-есте-

:нник"... Статья была написана, очевидно, в первом лице, пред·агалось дать ее за подписью. А когда она пошла „От Истпарта",—актора на месте не оказалось. Такие досадные редакционные махи встречаются нередко.

Журнал не сшит,—как только разрежешь, сразу разваливается. ок и проволоки у нас мало, но для такого издания, как „Проле·_,:кая Революция", обязательно должны найтись и нитки, и клей. і лучшая бумага—в возможно большем количестве. Тираж 1-го номе·)а—5200 экз., это—капля в море.

Мы не сомневаемся, что журнал „Пролетарская Революция" быстро избавится от досадных недостатков, скоро станет твердо на юги и выполнит взятую на себя великую историческую задачу.

Ил. Вардин.

P. S. Когда настоящая заметка уже была написана, вышел из :ечати № 2 журнала. Во втором номере помещены статьи: Д. Зенковского „Тени минувшего", Павловича „Письмо к тов. о втором съезде '. С.-Д. Р. П.", Бонч-Бруевича „Некоторые сведения о юношеских одах В. И. Ленина", П. Лепешинского „К вопросу о преподавании урса истории русской рев. в губсовпартшколах", „Письма Ленина 917 г.", воспоминания об Артеме Котова, Сережникова и Френкеля, Іациса „Тверская группа Р. С.-Д. Р. П.", Бонч-Бруевича (первый русский :имеограф), М. Ольминского (Черный гектограф) и др. Расширен тдел библиографии. За недостатком места и времени оценку второго омера приходится отложить.

И. В.

Я. Яковлев. Русский анархизм в великой русской ре·олюции. Всеукр. Гос. Изд. Харьков 1921 г.

Книжка тов. Яковлева о русском анархизме представляет значи·ельный интерес. Она дает сжатый очерк развития анархических те·ений в России. Особенно подробно автор останавливается на ха·актеристике анархо-махновщины. Это вполне понятно, ибо махновское вижение анархисты пытались превратить в „анархическую революцию".

Махновщина представляла собою первую широкую попытку „тво·ить анархию". Задача коммуниста—показать трудящимся, как на еле выглядит анархия. Брошюра т. Яковлева и дает необходимый ля оценки „анархической революции" материал.

Далее т. Яковлев характеризует анархистов подполья, анархо·индикалистов и анархо-универсалистов. К сожалению, он не оста·авливается на федерации анархо-коммунистов (группа журнала „По·ин"). В смысле практического „творения анархии" эта группа ничем :бя не проявила,—она лишь поддерживала теоретический „огонь" у отухающего „очага" анархии. Махновщина показала практическое божество анархизма, группа „Почин" демонстрировала собою его дейное банкротство...

Мы всегда говорили о белых, буржуазно помещичьих, генераль·ских фронтах. Но наша революция имела и черный анархический ронт. Порою этот фронт, в борьбе с белыми, примыкал к нашему ронту. Но в общем он всегда оставался самостоятельным, напра·ленным против нас фронтом.

Брошюра т. Яковлева является пока единственной, дающей оценку практическому анархизму в России. Интересная брошюра т. Преображенского об анархизме и коммунизме ее заменить не может, ибо в этой последней весьма мало материала о работе русских анархистов за последние три года.

Анархизм, это — течение развала, разложения, дезорганизации, мелкособственнического рвачества, шкурничества, озорства, разгильдяйства. В нашей отсталой крестьянской стране анархисты вдвойне опасны. Мы должны решительно бороться против них, а поэтому мы должны знать их. Брошюра т. Яковлева дает основной материал, поэтому каждый активный работник должен ознакомиться с ней.

Ил. Вардин.

Белая печать.

О гражданской войне.

(Беглые заметки.)

С легкой руки **Раковского**, о книге которого („В стане белых"), вышедшей в Константинополе, не раз уже говорилось в нашей прессе, заграницей, где приютилась „Россия № 2", выходят одна за другой книги, посвященные недавно законченной гражданской войне. Общим для всех произведений этого рода является недоумение по поводу того, как это могло случиться, что „московские палачи" разбили бесконечно благородных, безупречно-честных, гениальных и небывало храбрых генералов, запоздалое раскаяние по поводу сделанных ошибок, полное неуменье разобраться и понять, в чем действительные ошибки заключались, и, наконец, плохо скрываемое сознание безвозвратной непоправимости разгрома белых армий и безнадежности новой интервенции.

Для будущего историка эти книги представят полезный материал. Но мы сейчас детальной историей гражданской войны не занимаемся. Для нас гораздо важнее сейчас учесть опыт гражданской войны в целях непосредственного его практического применения в будущих революциях и войнах. А для этого надо посмотреть, как учитывают тот же опыт наши враги. У них немало ученых и способных генералов, которым найдется что сказать. Да и времени у них теперь гораздо больше, чем у нас.

Предо мною две книги: 1) **Роман Гуль**. Ледяной поход (с Корниловым). Изд. С. Ефрон. Берлин. 160 стр. и 2) **В. фон Дрейер**. Крестный путь во имя родины. 1921 г. 160 стр.

Роман Гуль в качестве эпиграфа к своей книге выставил изречение Дантона: „j'aime mieux être guillotiné, que d'être guillotineur"", что в вольном русском переводе означает: „Лучше пусть мне отрубят голову, чем я стану рубить головы другим". У Дрейера эпиграфа нет, но зато есть предисловие Куприна, пытающегося казаться веселым при отчаянном невезении. Куприн заканчивает предисловие таким пророчеством: „Окончательное низвержение большевиков вооруженной рукой не только возможно, но и неизбежно, но и неотвратимо". Сам же Дрейер заключает свою книгу словами „московские палачи".

Таким образом и Гуль и Дрейер ставят и, каждый по-своему, решают вопрос о терроре: Гуль по мелко-буржуазному умывает руки и осуждает террор и со стороны белых, и со стороны красных. Дрейер оставляет право террора только за белыми, а красным в этом праве

решительно отказывает. Наша точка зрения на террор общеизвестна и отличается одинаково и от сантиментальной, оппортунистической, интеллигентски внеклассовой постановки вопроса у Гуля (постановки, которая, как увидим ниже на-руку белым) и от откровенно-готтентотской постановки у Дрейера: ежели у меня украли жену, то это—зло, ежели я украл чужую жену, то это—добро. Мы всегда считали террор в открытой вооруженной борьбе двух классов, именуемой гражданской войной, неизбежным и с этой точки зрения „законным" явлением. Для нас вопрос не в праве на террор со стороны обоих борющихся классов, а в действительных возможностях и условиях его осуществления, определяемых реальным соотношением сил, степенью опытности в деле террора, степенью решимости на беспощадную борьбу и степенью свободы от мелко-буржуазных иллюзий, будто можно обойтись без гражданской войны, без ожесточенной вооруженной борьбы, без террора, будто можно основной вопрос о диктатуре одного из борющихся классов, раз эта борьба уже стала в порядок сегодняшнего дня истории, разрешить мирным, демократическим, парламентским путем.

Если поставить вопрос так, то, оглядываясь на историю нашей гражданской войны, мы вынуждены будем установить, что наши враги были и несравненно выше подготовлены к террору, чем мы, и обнаружили гораздо больше решимости в переходе к террору и больше свободы от мелко-буржуазных предрассудков. Вот почему мелко-буржуазно-интеллигентские сантименты в этом деле (в стиле Гуля) и проповедь их, особенно в начальный период гражданской войны, когда пролетариат только что захватил власть, а буржуазия спешно организует контр-революционное восстание, на-руку именно буржуазии и крайне вредна пролетариату.

Вспомните-ка восстания юнкеров в Петрограде и Москве, благодушно всепрощающее отношение к ним со стороны Советской власти, давшее им возможность собраться на Дону. Это—с одной стороны.

А вот вам некоторые картинки из другого лагеря, относящиеся к той же эпохе (первой половине 1918 года):

Пьяный лакей, собрав на вокзале народ, кричал: „Афицера, юнкаря—это самые буржуи, с кем они воюют? С нашим же братом—бедным человеком! Но придет время с ними тоже расправятся, их тоже вешать будут!"

Понятно, лакей был арестован.

Ночь он проспал в караульном помещении. „Отпустите его, только сделайте внушение, какое следует",—говорит утром полковник С. поручику З.

Мимо меня идет З. и лакей. З. делает мне знак: войти в комнату. Вхожу. Они за мной. З. запирает дверь, вплотную подошел к лакею и неестественным, хриплым голосом спрашивает: „Ну, что же, офицеров вешать надо? Да?"—„Что вы, ваше благородие,—подобострастно засюсюкал лакей,—известно дело—спьяну сболтнул".—„Сболтнул!.. твою мать!"—кричит З., размахивается и сильно кулаком ударяет лакея в лицо раз, еще и еще... Лакей шатнулся, закрыл лицо руками, протяжно завыл. З. распахнул дверь и вышвырнул его вон". (Гуль, стр. 19, 20).

Вот еще эпизод:

„Из караула пришел полпор. К-ой и кап. Р. Подсели к нашему чайнику. „Сейчас одного „товарища" ликвидировал",—говорит К-ой.—„Как так?"—спрашивает нехотя кто-то.—„Очень просто,—быстро начал он, отпивая чай,—стою вот в леску, вижу,—„товарищ" идет, крадется, оглядывается. Я за дерево,—он прямо на меня, шагов на десять подошел. Я выхожу,—винтовку на изготовку конечно,—захохотал К—ой,—„стой!"—говорю. Остановился. Куда идешь?—Да вот домой, в Сулин,—а сам побледнел. К большевикам идешь, сволочь!—шпион ты... твою мать!—К каким большевикам, что вы, домой иду,—а морда самая комиссарская.—Знаю, говорю... вашу мать! Идем, идем со мной.—Куда?—Идем, к уже бу-

дет, говорю. —Простите, говорит, за что же? Я человек посторонний, пожалейте.— А нас вы жалели, говорю... вашу мать?! Иди... Ну и „погуляли“ немного. Я сюда чай пить пришел, а его к Духонину направил“... „Застрелил?“ — спрашивает кто-то. — „На такую сволочь патроны тратить! Вот она матушка, да вот он батюшка“.—К-ой приподнял винтовку, похлопал ее по прикладу, по штыку и захохотал“ (Гуль, стр. 24—25).

Но это пока только цветочки, а вот и ягодки:

Из-за хат ведут человек 50—60 пестро одетых людей, многие в защитном, без шапок, без поясов, головы и руки у всех опущены.

Пленные.

Их обгоняет подп. Неженцев, скачет к нам, остановился, под ним танцует мышиного цвета кобыла.

„Желающие на расправу!“—кричит он.

Что такое?—думаю я.—Расстрел. Неужели?

Да, я понял: расстрел вот этих 50—60 человек с опущенными головами и руками.

Я оглянулся на своих офицеров.

Вдруг никто не пойдет, пронеслось у меня.

Нет,—выходят из рядов. Некоторые, смущенно улыбаясь, некоторые с ожесточенными лицами.

Вышли человек пятнадцать. Идут к стоящим кучкой незнакомым людям и щелкают затворами.

Прошла минута.

Долетело: пли!.. Сухой треск выстрелов,—крики,—стоны...

Люди падали друг на друга, а шагов с 10-ти, плотно вжавшись в винтовки и расставив ноги, по ним стреляли, торопливо щелкая затворами. Упали все. Смолкли стоны. Смолкли выстрелы. Некоторые расстреливавшие отходили.

Некоторые добивали штыками и прикладами еще живых.

Вот она, гражданская война; то, что мы шли цепью по полю, веселые и радостные чему-то—это не „война“... Вот она, подлинная гражданская война“... (стр. 64—65).

Таких сцен у Гуля немало. Приведем же одну, последнюю.

Мы на полотне. Кругом бестолково трещат выстрелы. Впереди взяли пленных. Подпор. К-ой стоит с винтовкой на перевес — перед ним молодой мальчишка кричит: „Пожалейте, помилуйте!..“

„А... твою мать! Куда тебе—в живот, в грудь!—говори“... бешено-зверски кричит К-ой.

„Пожалейте, дяденька!“

Ах! Ах!—слышны хриплые звуки, как дрова рубят. Ах! Ах!—и в такт с ними подп. К-ой ударяет штыком в грудь, в живот стоящего перед ним мальчишку...

Стоны... тело упало...

На путях около насыпи валяются убитые, недобитые, стонущие люди...

Еще поймали. И опять просят пощады. И опять зверские крики.

„Беги... твою мать!“ Он не бежит, хватается за винтовку, он знает это „беги“...

„Беги... а то!“ — штык около его тела, — инстинктивно отскакивает, бежит, оглядываясь назад, и кричит диким голосом. А по нем трещат выстрелы из десятка винтовок, мимо, мимо, мимо... Он бежит... Крик. Упал, попробовал встать, упал и пополз торопливо, торопливо, как кошка.

Уйдет!—кричит кто-то, и подпор. Г-нь бежит к нему с насыпи. „Я раненый! раненый!“ — дико кричит ползущий, а Г-нь в упор стреляет ему в голову. Из головы что-то летит высоко, высоко во все стороны...

„Смотри, самые трусы в бою, самые звери после боя“,—говорит мой товарищ“ (Гуль, стр. 84—85).

Заметьте, что это только то, что видел один человек, Гуль, на небольшом участке, и попробуйте теперь суммировать все проявления белогвардейского террора. Вы получите общую картину очень большой (хотя еще не полной: мелко-буржуазная психология мешает) решимости и значительного, унаследованного от царских полицейских и тюремщиков (всякий, подвергавшийся в царских тюрьмах избиениям, подтвердит это) опыта в способах устрашения.

С благодушно всепрощающим отношением к московским и петер-

ским юнкерам ни малейшего сходства. Твердая решимость быстро и всеми средствами покончить с врагом и подавить его. И это *в феврале—марте 1918 г.*

Нас ни в какой степени не интересует вопрос, кто первый начал террор. Спор об этом, особенно охотно пережевываемый „надкассовой", „внеклассовой", „сверхклассовой" интеллигенцией,—есть спор пустой и праздный, ненаучный и схоластический, а главное, практически абсолютно бесцельный. В самом деле, какой судья, стоящий вне воюющих классов, мог бы беспристрастно вырешать этот спор? И если бы даже удалось найти такого чудесного судью, согласились ли бы оба воюющие класса подчиниться его решению? С какой стати, из-за чего они бы сделали это? К чему практически привело бы такое согласие. К тому, что класс, признанный виновным, сказал бы: „Да, признаю себя виновным, я—первый, казните меня?"

Это—смехотворная, слащавая утопия, обнаруживающая теоретическую беспомощность и практическое бессилие у тех, которые ее проповедуют. А проповедуют ее безмозглые мещане от интеллигенции. Вооруженная война классов может кончиться только победой одного из них и гибелью или беспощадным подавлением другого. Мир между ними невозможен, пока один класс не разоружит другого. А такой мир есть на деле подавление одного класса другим.

Научно-теоретическая и практически-политическая постановка вопроса о терроре в гражданской войне состоит не в сантиментальном хныканьи и не в изысканиях, кто в этом виноват, а в изучении условий применения террора и наиболее целесообразного его проведения. Наша ошибка в начале заключалась в чрезмерной мягкости, нерешительности, неумелости. Именно после захвата власти пролетариат должен немедленно беспощадным террором разбить всякие попытки буржуазии (а т а к и е п о п ы т к и н е м и н у е м ы) к организации контр-революционных восстаний. Превентивной, предупредительной роли террора, который во много раз затруднил бы организацию белых армий, мы совершенно не учли, проглядели ее. Помнится, даже тов. Ленин погрешил в начале 1918 г. заявлением, что „в основном гражданская война окончена", что вообще русская буржуазия бессильна организовать восстание против Советской власти. Между тем книга Гуля, рисующая первоначальный (весна 1918 г.) период организации на Дону и на Кубани белогвардейских отрядов,—период, когда они еще не пользовались никакой поддержкой Антанты и когда им приходилось организовываться и воевать в очень трудных условиях, обнаруживает, что сил у нашей контр-революции нашлось достаточно.

Здесь с нами произошла та самая ошибка, которая в военном деле носит название „недооценки сил противника".

Книжка Гуля именно тем и интересна, что охватывает первоначальный период гражданской войны после захвата власти пролетариатом, ее зарождение. Читая ее, еще раз убеждаешься, какое огромное значение имеет п р е д в а р и т е л ь н а я, еще до захвата власти пролетариатом, подготовка кадров его будущей классовой армии и немедленная после захвата власти расправа с буржуазией, чтобы сковать ее волю к организации своих сил, чтобы обезоружить ее, нанести ей сильнейшее потрясение, надолго ошеломить и устрашить.

Гуль описывает поход Корнилова (который почти без всяких оснований назван „ледяным походом") из Ростова до Екатеринодара и от Екатеринодара до Новочеркасска.

Вы видите, как небольшой вооруженный, но плохо снабженный отряд офицеров, руководимый опытнейшими и решительными генера-

лами, в течение трех месяцев одерживает одну за другой ряд побед над значительно превосходящим его численно противником, плохо организованным и еще хуже руководимым. Конечно, у Гуля множество преувеличений и панегирический тон по отношению к Корнилову и Деникину. Но основной факт от этого не меняется: били, били и били. И наверняка, будут бить, если пролетариат заблаговременно, до захвата власти, не подготовит кадров своей будущей классовой армии и если на другой же день после захвата власти он не проявит по отношению к буржуазии беспощаднейшего террора.

* * *

Книга Дрейера как бы составляет непосредственное продолжение книги Гуля. Но Гуль, так сказать, „авансом" дает плохую аттестацию Дрейеру. Вот как описывает Гуль возвращение в Новочеркасск:

Бегут берега, посвистывает пароход - подходим к Аксаю.

— „Господа, немцы! Смотрите, немцы!" — кричит раненый. Все метнулись к борту. Рядом с пароходом, на его волнах—плывет-качается лодка. На веслах, в серой форме с красными околышами—два немца. На руле—барышня в белом.

— „Вот сволочь!"—качает головой раненый.

— „Как неприятно все-таки. На Дону —немцы!"—говорит другой.

— „Это что же, союзники, иль победители?"—криво усмехается старый капитан.

Пароход свистит, причаливая к Аксаю. На берегу—немецкие часовые. Офицер в светло-сером, почти голубом мундире, с моноклем в глазу, отдает им какие-то приказания. Часовые стоят, как деревянные, с откинутыми назад руками. На берегу гуляют чистенькие блестящие немцы.

Рваные, грязные, вшивые, хромые, безрукие раненые выползли на берег. Смотрят на них. Немцы тоже смотрят и чему-то смеются меж собой.

Пароход плывет дальше. Разговоры на палубе смолкли. Все притихли... (стр. 154).

А Дрейер начинает свою книгу так:

„К середине 1918 г. положение на юге России было таково:

Под покровом немецких штыков еще существовала Украйна гетмана Скоропадского; Крым был оккупирован германскими войсками; на Дону атаман Краснов своим могучим организаторским талантом поднял Тихий Дон и собрал казачью конницу; на Кубани вела беспрерывно бои с большевиками, под руководством Деникина, добровольческая армия—наследие убитого под стенами Екатеринодара Корнилова.

Большая половина области Кубанской и вся Терская, а равно часть Северного Кавказа были заняты войсками „Советской России"; южнее, за Кавказским хребтом выкристаллизовывались отпавшие от прежней империи государственные образования Грузия и Азербейджан.

Добровольческая армия, созданная из горсти храбрецов, уже совершила свой эпический „ледяной поход" и, усиленная казачьими пополнениями и офицерами, стекавшимися со всех уголков беспредельной Русской земли, была крепка духом, сильна презрением к красному врагу и полна веры в своих вождей и в свое правое святое дело... (стр. 1).

Как видите, между Гулем и Дрейером налицо существенное разногласие по вопросу о немцах: наивный и простодушный Гуль выкладывает все, что знает, в том числе и немцев, которых он самолично видел на Дону. Хитроумный же и скрытный Дрейер кивает на Скоропадского, а своих немцев заслоняет „могучим организаторским талантом" Краснова (на немецкий счет), того самого, ну, конечно, „безупречно честного" Краснова, который в ноябре 17 г., под честное слово о дальнейшем неучастии в борьбе против большевиков был отпущен ими на свободу (какими мы были дурачками в 1917 г.) и который теперь пишет за границей плохие романы.

Этот эпизод заранее уже определяет ценность книги Дрейера,

тем более, что главная задача Дрейера—восхваление на все лады Врангеля,—восхваление настолько неумеренное, что оно в конце концов превращается в акафист Врангелю. Книга явно писана по заказу друзей Врангеля. Поэтому вся история гражданской войны превращается у Дрейера в историю легендарных подвигов Врангеля и его длительной борьбы с Деникиным.

Для будущего историка гражданской войны представит интерес только первая половина книги Дрейера (до Крымской операции), содержащая новые еще не опубликованные документы. В этот период Дрейер, видимо, непосредственно „состоял при особе Врангеля". Крымскую же кампанию Дрейер описывает со вторых рук.

В силу предвзятой цели возвеличить Врангеля и унизить Деникина объективная и научная ценность книги Дрейера умаляется до последней степени. Аттестации, которые при этом раздает Дрейер направо и налево Деникину и его ближайшим сотрудникам, учтивостью и деликатностью не отличаются. Вот образцы.

Деникин „необыкновенно самоуверенный", „безграмотный в военном отношении", забывший „все принципы стратегии".

Май Маевский — „генерал-алкоголик", „своим примером развративший войска" (та же характеристика относится и к Шкуро), „чуть не каждый вечер в центре города, в лучшей гостинице устраивавший грандиозные попойки", на которых он до утра плясал и веселился под звуки музыки.

Мамонтов—„считал себя, после прибыльного рейда по большевистским тылам, лучшим кавалерийским генералом".

Из документов, приводимых Дрейером, наибольший научный интерес представляют доклады генерала Чекатовского, Улагая и Науменко о состоянии белой конницы и ее разложении во время отступления. Основную причину разложения Дрейер видит в грабежах: „Корпуса Мамонтова и Шкуро, говорит он (стр. 55),—потеряли всякую боеспособность после грабежей в рейдах и налетах".

Впрочем, по свидетельству Врангеля в его докладе Деникину (9 декабря 1919 г., № 010464), это в одинаковой мере относится и к белой пехоте. Вот что говорит Врангель по этому поводу:

> Расстройство увеличилось еще и допущенной командующим армией мерой „самоснабжения" частей. Сложив с себя все заботы о довольствии, штаб армии предоставил войскам довольствоваться исключительно местными средствами, используя их попечением самих полков и обращая в свою пользу захватываемую военную добычу.
>
> Война обратилась в средство наживы, а довольствие местными средствами в грабеж и спекуляцию.
>
> Каждая часть спешила захватить побольше, бралось все, что не могло быть использовано на месте — отправлялось в тыл для товарообмена и обращения в денежные знаки... Подвижные запасы войск достигали гомерических размеров,— некоторые части имели до двухсот вагонов под своими полковыми запасами... Огромное число чинов обслуживало тылы. Целый ряд офицеров находился в длительных командировках по реализации военной добычи частей, для товарообмена и т. п.
>
> Армия развращалась, обращаясь в торгашей и спекулянтов...
>
> В руках всех тех, кто так или иначе соприкасался с делом „самоснабжения", а с этим делом соприкасались все до младшего офицера и заводного раздатчика включительно, — оказались бешеные деньги, неизбежным следствием чего явились разврат, игра и пьянство... К несчастию, пример подавали некоторые из старших начальников, гомерические кутежи и бросание бешеных денег, которые производились на глазах всей армии... (Дрейер, стр. 60).

Разлагающее действие грабежей и „самоснабжения" мы достаточно знаем и по опыту Красной армии, где, однако, принятыми, с некоторым запозданием, мерами удалось не допустить развития их до

пределов, угрожающих развалом армии. В условиях гражданской войны грабежи, реквизиции, конфискации и др. виды самоснабжения приобретают самое широкое распространение в силу ряда причин: слабая дисциплинированность войск вследствие быстрого их формирования и недостаточного обучения, плохая организация снабжения, снабжение за счет трофеев, которое при неорганизованности вырождается в грабежи. и пр. Полностью избежать этих явлений, особенно на первых порах, когда армии еще только спешно сколачиваются, невозможно. Мелко-буржуазные интелигентики могут сколько угодно хныкать по этому поводу. От этого хныканья дело ни на иоту не изменяется. Действительные меры борьбы против грабежей заключаются не в хныканьи, а прежде всего в организации правильного снабжения, в организации правильной конфискации и правильного распределения трофеев, в решительных трибунальных мерах против нарушителей правильной организации снабжения, а также, что не менее важно, в хорошем примере со стороны командного состава. Именно в организации более или менее правильного снабжения и в относительно хорошем (с точки зрения „самоснабжения") командном составе было преимущество Красной армии перед белой. Врангель правильно ухватил в своем докладе эти два основные момента.

Небезынтересно, как Врангель оценивал стратегическую обстановку в начале декабря, когда он принял командование Добровольческой армией. Вот что он пишет Деникину в упомянутом уже докладе:

> Гонясь за пространством, мы бесконечно растянулись в паутину и, желая все удержать и всюду быть сильными, оказались всюду слабыми...
>
> Между тем, в противоположность нам, большевики твердо придерживались принципа полного сосредоточения сил и действий против живой силы врага. В то время, как продвижение Кавказской армии к Саратову создало угрозу коммуникациям Восточного большевистского фронта, красное командование спокойно смотрело на продвижение наших сил к Курску и Орлу и неукоснительно проводило в жизнь план сосредоточения ударной массы в районе Саратова с тем, чтобы, обрушившись на ослабленную тысячеверстным походом и выделением большого числа частей на Добровольческий фронт Кавказскую армию, отбросить ее к югу.
>
> Лишь после того, как остатки Кавказской армии отошли к Царицыну и, окончательно обескровленные, потеряли всякую возможность начать новую наступательную операцию,—красное командование, сосредоточив силы для прикрытия Москвы, начало операции против Добровольческой армии, растянувшейся к этому времени на огромном фронте при полном отсутствии резервов, и, обрушившись на нее, заставило ее катиться назад.
>
> Несмотря на расстройство транспорта и прочие затруднения, принцип сосредоточения сил проводился красным командованием полностью... (стр. 59).

Нужно прямо сказать, что похвала Врангеля заслужена красным командованием не вполне, и вот почему: во-первых, план сосредоточения наших сил в районе Саратов – Камышин – Царицын проводился красным командованием с большим запозданием и именно потому, что оно смотрело на продвижение Деникина к Воронежу и Харькову чрезвычайно тревожно и нервно. Во-вторых, этот план проводился недостаточно последовательно и твердо ввиду разногласий внутри красного командования по поводу этого плана.

Пишущему настоящие строки в свое время пришлось настойчиво указывать на необходимость не допустить ни в каком случае сдачи Царицына путем сосредоточения к нему всех сил, освободившихся к этому времени на Востфронте. Между тем, туда была брошена только одна бригада, а бывшие к этому времени свободными две дивизии и две бригады пошли на Харьковское и Воронежское направление, а часть даже на Питерский фронт. В результате Царицын был сдан, и наши части были отброшены на север почти до Саратова, а на Харь-

ковском и Воронежском направлении не удалось не только остановить, но даже замедлить наступление Деникина. Стратегия затыкания дыр и подбрасывания новых частей под ноги победоносному противнику вполне оправдала свою дурную репутацию.

Только после отката к Саратову началось усиленное пополнение наших сил в этом районе. Об этом именно периоде и говорит Врангель.

Единственным документальным следом спора о Царицыне в рядах нашего командования, насколько помнится, была телеграмма Р.В.С. Востфронта, который после падения Царицына, опасаясь за свои сообщения, настаивал на быстром сосредоточении сил в районе Саратова и на подчинении этого участка Южного фронта ему.

Между тем, огромное стратегическое значение Царицына было резко подчеркнуто неоднократными упорнейшими боями, как при взятии его белыми, так и при обратном овладении им. Белые генералы превосходно поняли это*). Неудивительно поэтому, что на следующий же день после падения Царицына туда приехал Деникин со своим штабом, в сопровождении французского атташе, а затем начальник английской миссии при Деникине, генерал Хольман, который привез Врангелю орден, „пожалованный“ ему английским королем (Др., 30—31). Хоть и англичане, а значение Царицына учли гораздо лучше нашего.

Удержи мы в свое время Царицын (а это было возможно), Деникин не посмел бы так далеко зарваться на север и на запад, что значительно сократило бы срок всей кампании. Именно на следующий день после взятия Царицына, сидя в вагоне на Царицынском вокзале, Деникин „посмел“ и дал свою знаменитую „Московскую“ директиву. Вот начало этой директивы:

Вооруженные силы Юга России, разбив армии противника, овладели Царицыном, очистили Донскую область, Крым и значительную часть губерний Воронежской, Екатеринославской и Харьковской.

Имея конечной целью захват сердца России — Москвы, приказываю.. (стр. 30).

Весь этот эпизод с разногласиями внутри красного командования точно так же, как и разногласия по оперативным вопросам между Врангелем и Деникиным, описываемые Дрейером, поучителен лишь в одном отношении: разногласия внутри командования вредны, а потому необходимо принимать все и всяческие меры к их устранению и недопущению.

Этот вывод очень, чрезвычайно, исключительно не нов, но реальное его значение от этого ничуть не умаляется.

* *
*

Что касается Крымской операции, Дрейер дает о ней в своей книге мало нового и главным образом занимается цитированием брошюры С. Смоленского „Крымская катастрофа“.

Прежде всего отметим, что в штабе Врангеля колебались между выбором стратегического плана перед началом нашего наступления на Перекоп и Чонгар.

Вот что Дрейер сообщает на этот счет:

Имея довольно точные сведения о сосредоточении армий Южного Советского фронта, Врангелю оставалось принять свое решение. В штабе было разработано два плана: первый—которому сочувствовал генерал-квартирмейстер —св-

*) „Главнейшим и единственным нашим операционным направлением должно быть направление на Царицын“, — писал Врангель 4/IV 19 (Др., 13).

дился к тому, чтобы отнюдь не ввязываться в упорный бой, оставить в северной Таврии на главных операционных направлениях слабые арьергарды, главными силами отойти за сильную укрепленную позицию на Крымских перешейках; второй план заключался в том, чтобы путем маневра, действуя по внутренним операционным линиям, как это было в течение всей летней кампании, бить противника по частям и затем уже, действуя по обстановке, остаться по-прежнему в сев. Таврии или запереться в Крыму. Второй план поддерживал начальник штаба Шатилов, и к нему естественно должен был склоняться Кривошеин, озабоченный вывозом зерна из Геническа и Скадовска, без чего финансовый кризис обещал превратиться в катастрофу.

Разбираясь в прошлом теперь, когда известная историческая перспектива позволяет о многом судить с большей объективностью, мы естественно обязаны поставить упрек главнокомандующему, невольно принесшему стратегию в жертву политике.

Врангель, конечно, меньше всего этого хотел, и если склонялся к доводам Шатилова, то только потому, что второй план более отвечал его кипучей натуре, не боящейся риска. Врангель не утратил еще веры в свое боевое счастье, хотя уже было два предупреждения, и пошел ва-банк, чтобы сразу убить крупную карту...

В последних строках Дрейер явно запутался. Врангель, конечно, меньше всего этого хотел. Чего этого? Второго плана? Значит, он был за первый план? Но ведь второй план „отвечал его кипучей натуре, не боящейся риска“, его вере в „боевое счастье“. Подите, разберитесь-ка!

Дрейер захотел одним выстрелом двух зайцев убить: изобразить Врангеля и осторожно-мудрым (первый план), и кипуче-смелым (второй план), и получилось нечто совсем несуразное, что Врангель был сразу за два плана. Вот что значит переусердствовать в хвалебном рвении!

Какое решающее значение во всей Крымской кампании имели бои между 7—14 октября в районе Никополя и Каховского плацдарма, видно из признания Дрейером четырех положений:

1) В результате боев у Никополя Кубанская конница „потеряла сердце“; 2) в результате боев у Каховки пехота (2-я армия Битковского) также „потеряла сердце“; 3) и пехота и конница „потеряли веру в свое командование“ и критика распоряжений начальства усилилась до „небывалой степени“; 4) Врангель потерял инициативу: „инициатива принадлежала советскому командованию“.

Это—очень осторожная оценка, совпадающая с той оценкой („Начало разгрома Врангеля“), которая дана была мною, насколько помнится, 15 или 16 октября, совместно с командующим Южным фронтом в телеграмме, помещенной на страницах „Правды“ и „Известий“. Некоторые товарищи признали тогда эту оценку неправильной и чрезвычайно оптимистической. Осуждение этой оценки выразилось в трех документах: телеграмме, в которой оценка была названа „оптимистической“, статье в „Известиях“, в которой этой оценки противопоставлялось утверждение, что „по существу разгром Врангеля еще не начинался“, и в ошибочно присланной мне трибунальной повестке, из которой явствовало, что за пропуск вышеупомянутой телеграммы на страницы прессы кто-то из военной цензуры привлекался к ответственности. Последний документ показывает, какое серьезное значение было придано моей телеграмме и какой „бальшущий“ шум был по ее поводу.

Впоследствии в брошюре „Разгром Врангеля“ оценку Никопольской и Крымской операции мне пришлось не ослабить, а усилить, так как менее чем через месяц после моей телеграммы Врангель был действительно разгромлен.

В настоящее время оценка Никопольских боев, данная по горя-

ним следам, получила подтверждение и в книге Дрейера, и в статьи С. Барина („Военная Наука и Революция" № 1). Последний считает бой у Никополя решающим для всей кампании. Таким образом, спор о Никопольской операции может считаться теперь окончательно решенным, и его можно спокойно сдать в архив. Однако, вытекающие из него некоторые выводы весьма полезно сделать и теперь, в качестве опыта, данного нам гражданской войной.

Значение спора заключается в так называемом „моральном элементе войны". Все крупные знатоки военного дела единогласно признают, что „уверенность в победе есть уже половина победы". Эта уверенность, проникающая всю армию сверху донизу, от командующего армией до одиночного бойца, в условиях гражданской войны создается главным образом усиленной политической работой и первыми успехами армии. Армия, даже недостаточно хорошо снабженная, даже в тяжелых условиях, при успехе и при умелой политработе начинает верить в себя, в свою силу и непобедимость, в слабость и разложение побитого врага. Наша гражданская война дала нам многочисленные образцы такого подъема веры в себя в самых трудных, в самых неблагоприятных условиях. Напомним только два наиболее ярких примера: наступление на Восточном фронте в 1920 году и бои у Перекопа и Чонгара. (Кстати, Дрейер рассказывает, с чужих слов, об огромном количестве тяжелой артиллерии, подвезенной нами к Перекопу. Ни одного тяжелого орудия у нас там не было. Не успели подвезти.)

Та же гражданская война дала нам очень много примеров быстрого и частого перелома в настроении частей, очень характерного именно для гражданской войны.

Раз вера в себя у армии достигнута, необходимо всемерно укреплять и поддерживать ее, хотя бы даже при помощи некоторой доли здорового оптимизма. Если не верить в себя, т.-е. не верить в свою победу, т.-е. если не рассматривать дело несколько оптимистически, то ведь ни воевать, ни побеждать невозможно.

А из этого вытекает, что, во-первых, надо решительно изгонять из армии самые малейшие следы пессимизма и неверия и, во-вторых, надо старательно избегать всего, что подрывает веру в себя, разрушает уверенность в победу, расхолаживает порыв и энтузиазм.

Все это—азбучные истины, которые, казалось бы, совсем не следует повторять в серьезном, научном журнале. Однако, раз их не соблюдают, раз их нарушают, то ничего другого не остается, как повторять их и повторять.

Посмотрите в самом деле, что получается.

Армии Южного фронта после 14 октября прониклись в высочайшей степени революционным энтузиазмом, горели волей к победе, были полны уверенностью в разгроме врага, что и доказали Перекопской и Чонгарской операциями. И вот в этот-то момент, как раз накануне последнего наступления—две грозные нахлобучки: „оптимизм", „никакой победы вы не одержали" („разгром и не начинался"). Согласитесь, что такие нахлобучки, к тому же совершенно неосновательные и шедшие в разрез с действительной обстановкой, могли весьма и весьма расхолодить и даже убить всякий порыв. Ведь будь на месте командующего Южфронтом не Фрунзе, а спец, или же товарищ, не имеющий смелости на то, чтобы принять на себя полную ответственность за инициативные, смелые решения—ведь он после этакого „афронта" „потерял бы сердце", деморализовался бы, действия его стали бы нерешительными, колеблющимися, с оглядко

назад, что немедленно отразилось бы на всей армии, вплоть до одиночного бойца, внесло бы деморализацию, нерешительность, неверие в победу во все ее ряды сверху донизу.

Нет, с такими вещами надо осторожнее. Нахлобучка — хорошая вещь, но только „во благовремении".

Мы все учимся военному делу, мы все работаем над изучением опыта небывалой еще в истории трехлетней гражданской войны пролетариата с буржуазией, потребовавшей развертывания миллионных армий. Поэтому каждая ошибка, особенно наша ошибка, должна быть учтена, взвешена, изучена, оценена и, в конечном счете должна дать нам полезный урок на будущее.

С. Гусев.

Мелкое земледелие, его нужды, его политическое значение.

А. И. Чупров. „Мелкое земледелие и его основные нужды". С предисловием А. А. Чупрова. Издательство „Слово". Берлин 1921 г.

Правокадетское издательство „Слово" решило переиздать известную уже русской публике работу покойного кадетского экономиста А. И. Чупрова о нуждах мелкого земледелия. Книга Чупрова составилась из лекций, читанных автором в 1904 г. В настоящее время ее переиздали с третьего, дополненного издания 1907 г. В предисловии к новому изданию сын покойного профессора, также кадетский экономист, А. А. Чупров указывает, что книга „в целом и поныне сохраняет первоначальную свежесть и ценность".

В работе А. И. Чупрова читатель, интересующийся вопросами сельского хозяйства, найдет много ценных фактов и указаний, имеющих в настоящее время для нас практическое значение. Но издателей, повидимому, интересовала как раз не практическая, „прикладная", а чисто политическая сторона. Книга составлена в типично кадетском, умеренно-либеральном духе. Она „опровергает" марксизм. В предисловии А. А. Чупров специально останавливается на антиреволюционной роли крестьянства. В итоге книга у выбитого из колеи кадетского читателя должна вызвать настроение, что не все еще потеряно, что можно опереться на мужика в борьбе против социализма. А. А. Чупров так кончает свое предисловие:

„Придавленные ужасом событий, растерянно мятущиеся души почерпнут в них (лекциях А. И. Чупрова) проблеск надежды, а, быть может, и указания на то, куда с уверенностью в пользе для родины могли бы быть приложены опущенные в отчаянии руки".

Какой же „проблеск надежды" дает контр-революционной публике составленная 17 лет тому назад книга кадетского профессора? Что нового сказал ученый наследник ученого либерала?

* * *

Марксисты доказывали, что и сельском хозяйстве крупная собственность вытесняет мелкую. Они ошиблись. В земледелии мелкое хозяйство проявляет устойчивость и жизнеспособность. Оно имеет значительные преимущества перед крупным. Мелкое хозяйство во всем мире крепнет и развивается.

Вот положение, которое кладет Чупров в основу своей работы. Чтобы окончательно „доказать" банкротство марксизма в данном случае, он приводит свидетельские показания г.г. ревизионистов, прежде всего г. Давида—одного из вождей шейдемановской партии.

Но почему мелкая собственность, потерпев поражение в городе, продержалась в деревне? На этот вопрос г. Чупров дает такого рода ответ. Во второй половине XIX века в области земледелия были сделаны важнейшие открытия. Наука дала возможность разрешить блестяще вопрос об удобрениях, дала указания относительно рациональных способов обработки земли, обратила внимание на необходимость выбора сортов и улучшения качества семян и т. д. Все эти открытия „отразились на условиях конкуренции мелкого хозяйства с крупным. Прежние теоретики имели полное основание отказывать мелкому земледельцу в надежде на более светлое будущее". Теперь дела приняли иной оборот: мелкому земледельцу пришла на помощь наука.

И далее весьма подробно, на примере ряда европейских стран, г. Чупров показывает, каковы успехи земледелия, что достигнуто в смысле улучшения обработки, увеличения урожайности и т. д. Сообщения г. Чупрова для русского читателя весьма ценны. На европейском опыте можно многому научиться. И прежде всего тому, что наука и новая техника земледелия предоставляет все преимущества... крупному хозяйству. Да, именно крупному. Так говорят бесчисленные факты, приводимые г. Чупровым. Во второй части своей книги он вынужден несколько раз признать это. Так, на стр. 72 он пишет: „Основное преимущество крупного земледельческого хозяйства, которое особенно бьет в глаза при сравнении его с мелким, заключается в возможности применять в производстве разного рода машины, сберегающие труд и улучшающие продукт".

„Скотоводство всегда представляло сильную сторону крупных хозяйств", — признается г. Чупров. Крестьяне пытаются „сравняться в этом отношении с крупными владельцами". В результате возникают скотоводческие общества и товарищества.

„Одна из важных выгод крупного земледелия заключается в возможности присоединения к нему производств, перерабатывающих его продукты", — продолжает разоблачающий марксистскую ошибку кадетский профессор. Чтобы иметь „выгоды крупного земледелия", мелкий земледелец организует кооперативное маслоделие, сыроварение и т. д.

Далее рассказывается о кооперации в виноделии, о кооперативных предприятиях по переработке овощей, плодов, ягод, о кооперативных заводах, кооперативном сбыте и т. д. Любопытны сообщения о кооперации в найме и обработке земли. Чупров рассказывает о ряде случаев общего найма и общей обработки земли на началах, приближающихся к коммунальным. Это относится главным образом к Италии.

Сельско-хоз. кооперация на Западе приняла весьма широкие размеры. Кооперативный земледелец фактически является частью крупного хозяйства. Его так много нитей привязывает к кооперативу, что трудно сказать, что в нем преобладает: „самостоятельное" или „общественное", кто он: „независимый" мелкий „хозяйствующий субъект" или член сельской „акционерной компании".

Но мелкое земледелие не уничтожено, это факт! — победоносно восклицают враги социализма. Но разве Маркс, Энгельс, Каутский, Ленин не подчеркивали неоднократно, что мелкое земледелие будет долго еще существовать и после захвата власти пролетариатом, что победоносному рабочему классу придется вырабатывать формы сожительства с ним?

Мелкий собственник, крестьянин-товаропроизводитель „самостоятелен", — говорят нам. Но эта „самостоятельность" — одна лишь ви-

димость. Экономически он зависит от крупного торгового и банкового капитала. Фактически сельский „хозяин" находится в руках того, кто является хозяином в городе в центре экономической и политической жизни.

* * *

Перейдем теперь к русскому сельскому хозяйству.

Прежде всего Чупров указывает, что с 1861 по 1900 год площадь надельной земли оставалась почти неизменной, а население увеличилось на 79%. В результате — если в 1860 г. на каждую душу мужского пола приходилось 4,8 десятин, то к 1900 г. средний душевой надел понизился до 2,6 десятин, почти на половину. Значит, первая беда — **малоземелие**. „Все, что можно было распахать — распахано. Выгоны почти исчезли. Сенокосы удержались лишь по оврагам и отчасти по низменным берегам реки". А наряду с этим — „**неподвижность приемов крестьянского земледелия... обработка почвы не в надлежащее время и притом допотопными орудиями, посев — несортированными, легковесными, сорными семенами**"... После всего этого — заявляет г. Чупров — „от крестьянского хозяйства нельзя ждать никаких иных результатов, кроме **самых жалких**".

Но это не все: „**крестьянское скотоводство во всех его отраслях идет на убыль**... Оно гораздо ниже, нежели было 25 лет тому назад". Всем этим объясняются „**чрезвычайно низкие урожаи хлебов на крестьянских землях**"...

Но низкие урожаи — это еще ничего. Главная беда в том, что „у нас имеется целый ряд губерний, в которых за десятилетие 1896—1905 г.г. было по 4—5 неурожаев овса и по 3—4 неурожая ржи... „При подобных условиях — восклицает г. Чупров — **земледельческое хозяйство становится чистой лотереей**.

Любопытно замечание специально о восточной и южной России. По словам Чупрова, „тамошние неурожаи и правительством и обществом рассматриваются, как **неотвратимые стихийные бедствия, подобные граду или землетрясению**". Чупров далее замечает, что восточные и южные неурожаи „зависят не от одной игры стихии, но в немалой степени также от **безграничной отсталости нашей земледельческой техники**".

Какие меры предлагал Чупров для облегчения „нужд мелкого земледелия"? Основной вопрос — малоземелие. И как раз здесь г. Чупров обнаруживал удивительную „скромность".

Во-первых, говорит он, в руках дворянства осталось земель пустяки — каких-нибудь 60—70 милл. десятин. Во-вторых, этой землей уже пользуются крестьяне на арендных началах. В-третьих, можно бы подумать об отчуждении земли у дворянства, но — „эта идея может быть осуществлена лишь после упорной борьбы, а кто знает, сколько времени протянется, и чем кончится эта борьба".

Оставьте помещиков в покое! — говорил кадетский профессор, — заботьтесь о „технических улучшениях". Но у вас нет денег на это? Ничего, деньги достанете — „сторонними заработками". Так хотели решить господа кадеты земельный вопрос. Так все еще надеются они перерешить этот вопрос. Иначе они не переиздали бы книгу Чупрова, иначе они не говорили бы о „проблесках надежды"...

Как в действительности обстояло дело с дворянским и крестьянским землевладением в начале XX века? 10½ **милл. крестьянских дворов (около 50 милл. населения) имели 75 милл.**

есятин земли, а 30 тысяч помещиков имели 70 милл. земли. Ликвидация помещичьего землевладения означала, что количество крестьянской земли увеличилось бы почти вдвое. (См. Н. Ленин: „Аграрный вопрос в России к концу XIX века".)

Кадеты не хотели „обидеть" помещиков. Эс-эры и меньшевики боялись посягнуть на помещичьи имения. Партия большевиков бесстрашно встала во главе восставшего народа и смела с лица земли „благородное дворянство".

Борьба за землю окончилась победоносно. Началась великая война—с землею, война против косности, неподвижности, темноты, война против „дедовских приемов", против „старины глубокой".

* * *

Предисловие А. А. Чупрова—весьма любопытный документ. Оно начинается так:

„Переживаемый нами исторический сдвиг часто сравнивают с событиями конца XVIII века. Сходство глубоко и бесспорно: как тогда, **власть в государстве переходит к новому общественному слою; как тогда, политический переворот сопровождается хозяйственной революцией**".

Чупров определенно говорит, что „**буржуазия сходит со сцены**", что пролетариат „стремится к коренному переустройству всего уклада жизни". В устах крупнейшего буржуазного ученого такого рода признания крайне ценны.

Однако, он хочет утешить себя и других. Да, буржуазия погибает. Да, „власть в государстве **переходит**" к пролетариату. Но—радоваться ему рано: „таким же, как пролетариат, **претендентом на наследие власти выступает... трудовое крестьянство**". Это тем более естественно, что „конец XIX и начало XX века показали, что в сельском хозяйстве мелкое предприятие не вытесняется крупным". Далее Чупров убеждает кого-то, что мелкий собственник враждебен социализму. Приводит, как полагается, в свидетели одного немецкого реформиста (Ауэр) и одного итальянского (Бономи—теперешний председатель итальянск. совета министров).

„Трудовой крестьянин" претендует на власть, на мировое политическое и экономическое господство! Он конкурирует с пролетариатом! Буржуазный идеолог, заявляющий, что буржуазия сходит со сцены, и пугающий пролетариат призраком нового „претендента"—это замечательная картина. Она свидетельствует о том, что лучшие представители русской буржуазии окончательно потеряли голову, сбились с толку и сами не знают, что говорят...

Зажиточный крестьянин много неприятностей может причинить пролетариату, но не как самостоятельная, а как чернорабочая сила буржуазии. **Крупный капитал организует, объединяет, направляет, командует мелким собственником не только экономически, но и политически.** Если в государстве буржуа „сходит со сцены", если власть „переходит" к пролетариату, то сила банков и бирж, сила крупного капитала, его организующая, дирижирующая роль прекращается—экономическая и политическая власть сосредоточивается в руках рабочего класса. Он становится хозяином в городе—центре экономической и политической жизни. Без „командира", „организатора", „руководителя" мелкий собственник бессилен. Он может устраивать восстания и бунты, но победить не может.

Чупров ставит вопрос так: крестьянин буржуазной властью не дорожит, но и пролетариату власти не отдаст: раз буржуазия „уходит"—

он сам займет его место. В действительности вопрос стоит иначе: буржуазия „уходить" не собирается. Она мобилизует против пролетариата все свои силы, она втягивает в борьбу зажиточные слои крестьянства. Пролетариат пытается нейтрализовать среднее и перетянуть на свою сторону мелкое крестьянство.

Чупров рисует такую картину:

„Война придвинула момент перехода пролетариата в решительное наступление. Война встряхнула повсюду крестьянство... Борьба пролетариата за власть, ничего не суля деревне, больно бьет по ней—одни приостановки транспорта чего стоят!—и заставляют мужика взять в толк, что иначе, как действуя государственно, скопом, не отстоишь ныне своих жизненных интересов. Самоубийственная тактика пролетариата, упоенного легкими успехами в борьбе с буржуазией и забывшего думать о „мужицких сапогах", будит классовое самосознание крестьян и силою ведет их—не к социализму, а к классовой организации".

Неверно, что борьба пролетариата за власть ничего не сулит крестьянству. Победа пролетариата даст среднему и беднейшему крестьянину освобождение от чудовищного гнета милитаризма, от вечного кошмара войны, от колониальных авантюр. Пролетарская власть в ряде стран может передать крестьянам землю. Крестьяне начинают понимать значение пролетарской власти. Во Франции, Италии, Чехо-Словакии, не говоря уже о России, крестьянство поворачивается лицом к рабочему классу... Приостановка транспорта—вещь, конечно, неприятная. Но крестьянин несомненно предпочтет замерший транспорт перевозке войск и амуниции для войны. А империализм означает войну,—эту мысль крестьянин и в Европе начинает усваивать.

Ил. Вардин.

Д. Мережковский. Царство антихриста. Статьи Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус, Д. В. Философова и В. А. Злобина.—Мюнхен. Дрей-Маскен ферляг. 1921. Типография Шпамера в Лейпциге. Стр. 256.

Желтенькая так себе книжонка, в папочке, вроде детских изданий. На обложке некто, утаивший от нас свое робкое имя, изображает—тоже ведь не без этого самого—тьфу ты пропасти, прости Господи!—футуризма: стоит этакий горилла—не горилла, вообще мужчина внешности дикой, бука, одним словом, а в руках-то у него, в руках-то!—первое: бомба, второе—пистолет, пулей заряженный, а потом—факел. Сзади винтовка, еще сзади смерть в папахе, внизу трупы погибших безвременно в результате неразрешенного маменькой знакомства с букой. Страсти,—одним словом, наше место свято! А в книжке пропечатано по старой орфографии,—и все как по писаному. Кого Луначарский любит (а еще большевик!) и с кем Горький живет, и как большевики мясом расстрелянных зверей диких кормят, и как полено одно—милые вы мои,—сорок целковых просят!—охохонюшки!—и как электричество не горит, чисто нарочно, когда барыне не спится,—ведь вот озорники-то!—и как это их англичане терпят,—дураки ведь, англичане, известно—еретики, в Бога не веруют, водки не пьют, Союза Михаила-Архангела у ихнего брата и в заведении нет. И ругают же в этой книжке англичан,—недаром она в Париже издана. Уж на что святой человек Дима Мережковский, насквозь просвечивает, на три аршина в землю видит и мироточит,—а сообразил, кого надо в

Париже ругать. Рецепт-то, положим, не новый,—англичанка подлая гадит,—„армейские майоры,—как говорил Лесков,—как известно большею частью бывают меланхолики", а от той проклятой меланхолии и разлейся у него желчь, ну и напишись ему та гадкая желтая книжица. Мало у нас юмористов в Р.С.Ф.С.Р, а то бы ее издать—вот только жаль, все равно треклятая Центропечать на цыгарки всю по избам-читальням стравит,—так в серьез, юмористики у нас нет, люди мы все скучные, бюрократы, кровопийцы, хамье неумытое, то-то бы похихикать можно было. Вы вообразите положеньице: удрали четыре добрых чудака из советского отечества в европейский рай. Ехали, ехали, хоть бы кто раз удостоверение спросил,—везет же людям: тут тебе улицу без удостоверения не пройти, а они в рай без бумажек продрались. И ведь как важно: „Мы убежали от большевиков", только о том во Вцике и потели, как бы это добро не упустить. Ну и упустили,—а еще говорят, у нас Ч.К есть,—не чека это, а сонное царство, таких людей выпустить! а еще ругаемся Европа сгнила,—да как же ей голубушке не сгнить, коли мы туда такой товарец внешторгировать будем... Ну да, что зубоскалить-то, люди ведь все серьезные. Хорошо, старички, давай мириться: ну мы дураки, футуристы, хамье, аполитичники, жиды, наконец, разрушители, жулики и проч. и проч., а у вас, добрые люди, что есть?

Они, как у Толстого говорится, „писали не гуляли": вот цитатка: „Я совершенно уверен, что если бы Польша отнеслась к соседнему братскому народу сознательно... и через две—три недели стала бы разговаривать с Россией (освобожденной), эта Россия не стала бы торговаться с нею". Святые ваши слова, ваше преподобие, до торговли бы нам тут было,—когда шею свернут; не очень-то поторгуешься,—отдали бы, все бы отдали—это я вам наверно говорю—и Украйну бы отдали, и Псков, и Ростов (святыня-то, Господи!), и Литейный проспект бы отдали,—оставили бы себе на семя уж Хитров рынок и Сухареву площадь в Москве. Этакой трухой набита вся книга, написанная величественно, вроде Иезекиля. Лучше всех мадам. Так, все глупости, всю чепухастейшую чепуху, которую в Питере с голоду врали, чистенько в книжечку записала и напечатала. Что ж делать, голод не тетка, завоешь,—только обыватель-то выл, а на службу все-таки ползал, что-то делал, а Гиппиус из его вот этих голодных и холодных соплей миросозерцаньице соорудила. И чего в ее дневнике только нет: и дорого барыне, и холодно, и темно, и опять Ллойд-Джордж о ней забыл (вот память-то дырявая), и „как вы смеете", эмигранты и большевики, говорить от лица России, когда барыня не выспалась, то бишь когда России нет, да как он смеет, гадкий он человек, Юденич, „мовэ-сюжэ", итти на Питер, когда у него войска нет, это гадко—без толку убивать невинных людей, это не комильфотно, не по-джентельменски,—ну, а если ему хочется этак на белом коне да по Невскому, да чтоб сам Дима с хлебом, с солью,—вам хочется и ему хочется,—надо чужие капризы уважать, не вам одной. Прогнали Юденича: опять не так, зачем прогнали? И только на 148-ой странице барыня проснулась: „и как это они воюют? как это они, раздетые, наступают? ведь лютая зима. Ведь сегодня 26 мороза по Реомюру". Деточка, котик,—да мы семь лет так, босые и оборванные, наступали, думаете на Карпатах-то слаще было? вы „Лукоморье" читали, да о судьбах мира размышляли, „благо наследье богатых отцов освободило от малых трудов", а они дохли от цынги, пули, тифа, да глядишь матушку-дуру-Рассею-то без вашего разрешения вытащили.

Нет, окончательно и серьезно: трудно себе представить больший запас околесной, против того, каковый сооружен Мережковским с товарищи. Конечно, люди они не от мира сего, все о Боге, да о Боге,—но по божески-то (если по совести) разве так оно выходит? да какое это христианство;—за этакое христианство Аввакумовой судьбы мало. Дикой странной злобой, непонятной напитано все. Плохо ли, хорошо ли: никто же не поверит, что вся Россия, кроме этих четырех праведников с ума сошла. Да что, объясненьице просто: жили-были символисты. У оных „исполнялись сроки" и они „теорили жизнь", жили они всю жизнь, как на вокзале, вот сейчас придет курьерский и Вечная Женственность приедет. „Сроки" исполнились,— пришла нищета, резонная после десятилетия набитого чистоплюйством и истерикой. Жизнь ими сотворенная оказалась гадостью, но ведь она ими творилась же: и вот, несмотря на всю ненависть к быту,— только голодный быт и занял их умы и сердца,—на поверку, после всех философий, любая идеология (в плане сплетни, характерная подробность) проверяется бытом,—вот тебе и реалисты! С Вечной Женственностью не вышло, не приехали, быту же мстится за это проклятиями,—что за детская болтовня! Бросали бы вы, чудаки, это дело, ехали бы в Москву -а какие у нас в Москве теперь пирожные (Трамбле-то ведь воскрес) и всего по 6.500 р. за штуку, это по казенному курсу около 30 сантимов выходит, дешевка! И чудесное дело: как кто этих Трамблевских пирожных попробует, сейчас и большевиков перестанет ругать, уж очень пирожные хороши,—вам ведь, цыпочки, тоже больше о не требуется...

Боимся только, что этой теплой компании все еще крови мало Еще бы лет на десять, чтобы „они" голодные и разутые наступали А еще чеку ругаете.

Орфик

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Александр Яковлев. Порыв. Рассказ 3
Борис Пильняк. Простые рассказы 21
Лариса Рейснер. С пути. Дневник 34
Семен Подъячев. „Православные". Рассказ 47
„ „ „Из недавнего прошлого" 54
Н. Ляшко. Ворова мать. Рассказ 59
Артем Веселый. В деревне на масленице. Рассказ 69
Петр Мытарь. Сорок три. Очерк 75
А. Аросев. Октябрьский рассвет. (Из записной книжки) 86
Арнольд Колбановский. Муки слова 99
Павел Низовой. Смена. Рассказ . . . . . . 10[illegible]
А. Перегудов. Казенник 109
Е. Федоров. Четыре пуговицы 117
Стихи: Бориса Пастернака, Анатолия К., С. Обрадовича, Анны Барковой, Д. Выгодского 120

Б. М. Завадовский. Наука в советской России 128

Ю. Ларин. О пределах приспособляемости нашей новой экономической политики . 148
К. Радек. Пути русской революции. (По поводу новой экономической политики) . 162
Мо[illegible]ин. На экономические темы 198

А. Луначарский. Достоевский, как художник и мыслитель 204
В. Вересаев. Художник жизни (о Л. Н. Толстом) . . . . . . 21[illegible]
В. Плетнев. Некрасов и современность 210
С. Бобров. Кони о Некрасове и Достоевском 246

Внутри советской России

Сарабьянов. Кое-какие итоги нового курса 251

Демьян Бедный. Курология 267

Критика и библиография.

	Стр.
П. Коган. Литературные заметки (Об Андрее Белом)	271
Сергей Городецкий. Обзор областной поэзии	278
Цег. Самое главное	284
А. Тимирязев. Обзор литературы о принципе относительности	285
Б. Арватов. Общая эстетика	290
Ил. Вардин. „Пролетарская Революция“ № 1	291
„ „ Я. Яковлев „Русский анархизм“	294

Белая печать.

С. Гусев. О гражданской войне	296
И. Вардин. Мелкое земледелие (о книге Чуарова)	306
Орфик. Мережковский. Царство антихриста	310

Поправка.

В главе первой статьи «Крепостные и Сибирские годы Михаила Бакунина» («Красная Новь», № 2, стр. 165) по недосмотру мной допущена досадная погрешность. Резолюция Николая I на «Исповедь» слита с резолюцией Александра II, сделанной им на письме Бакунина. Поэтому строки:

«а после слов «кающийся грешник Михаил Бакунин» включительно до слов «наглухо запертыми» при чтении должны быть из текста выброшены.

Вяч. Полонский

«КРАСНАЯ НОВЬ»

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ и НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Книга первая.

Всеволод Иванов. Партизаны. Рассказ.— *М. Пожарова*. Стихи.— *С. Подьячев*. „Голодающие". (С натуры.)— *Д. Семеновский*. Современные частушки.— *Николай Колоколов*. Стихи. Политико-экономический отдел. *Н. Ленин*. О продовольственном налоге.— *Ш. Двойлацкий*. Накопление капитала и проблема империализма.— *К. Радек*. Третий год борьбы советской республики против мирового капитала.— *А. Хрящева*. К характеристике крестьянских хозяйств периода войны и революции. *Н. Крупская*. Система Тэйлора и организация работы советских учреждений. Искусство и жизнь. *А. Луначарский*. Наши задачи в области художественной жизни.— *В. Фриче*. Ромэн Роллан. Отдел научно-популярный. *А. Тимирязев*. Периодическая система элементов Менделеева и современная физика. Научная хроника. *Вл. Архангельский*. Наши достижения в аэрогидродинамике.— *В. Баженов*. Успехи применения радио за границей. Внутри советской России. *Е. Преображенский*. Новая полоса.— *И. Вардин*. „После Кронштадта". Иностранное обозрение. *М. Смит*. Производственные и социально-политические предпосылки забастовки английских углекопов.— *М. Павлович*. Кемалистское движение в Турции.— *М. Павлович*. С. Штаты и советская Россия. Из прошлого. *Вяч. Полонский*. Вейтлинг и Бакунин. В порядке дискуссии. *М. Ольминский*. О книге т. Бухарина.— *Не-ревизионист*. О книге т. Бухарина.— *Н. Бухарин и Г. Пятаков*. Кавалерийский рейд и тяжелая артиллерия. Из зарубежной прессы. *Н. Мещеряков*. „Наши за границей". *А. Воронский*. Уэльс о советской России. Критика и библиография. 1. *А. Воронский*. Об отшельниках, безумцах и бунтарях.— 2. *Нурмин*. Леонид Андреев. „Дневник сатаны".— 3. *А. Меньшой*. „Парализованные".— 4. *Нурмин*. Феликс Гра. „Террор". 5. *А. В.* Распад идеологии.— 6. *М. Кантор*. „Народное хозяйство", ежем. экон. журнал.— *Проф. Реформатский*. Наука и ее работники.— 8. *Мих. Павлович*. Мих. Лемке „250 дней в царской ставке".— 9. *Я. Шафир*. Н. Ашешов. Софья Перовская.— 10. *Я. Ш.* Л. Г. Дейч. „Русская революц. эмиграция 70-х годов".— 11. *А. Аросев*. Ген. Слащев-Крымский. Требую суда общества и гласности.— 12. *А. Аросев*. Мих. Павлович. Экономическое развитие и аграрная программа в Персии XX века.— 13. *Подземский*. „Красный журналист".

Книга вторая.

Вячеслав Иванов. Алтайские сказки.— *Дмитрий Семеновский*. Песнь песней. Стихи.— *Ольга Форш* (А. Терек). Чемодан. Рассказ.— *Мих. Артамонов*. Из полевых песен. Стихи. *А. Аросев*. Страда. Записки. *В. Александровский*. Из поэмы „Деревня". Стихи.— *Павел Низовой*. Крыло птицы. Рассказ.— *Борис Пастернак*. Уральские стихи. Политико-экономический отдел. *Евгений Варга*. Как строилась промышленность и разрешался земельный вопрос в советской Венгрии.— *Мих. Фрунзе*. Единая военная доктрина и Кр. армия.— *Я. Шафир*. „Экономическая политика белых". Научно-популярный отдел. *Г. Кржижановский*. Заметки об электрификации.— *Д. Прянишников*. От азота воздуха к азоту первной и мышечной ткани.— *А. Тимирязев*. Принцип относительности (о теории Эйнштейна).— *А. Тимирязев*. Успехи физики в сов. России. Из прошлого. *Вяч. Полонский*. Крепостные и сибирские годы М. Бакунина. Искусство и жизнь. *Роза Люксембург*. В. Короленко.— *В. Фриче*. От войны к революции.— *А. Воронский*. Литературные заметки. Внутри советской России. *С. Клепиков*. Неурожай 1921 г.— *П. Месяцев*. Голодное переселение.— *Я. Яковлев*. Махновщина и анархизм.— *Ил. Вардин*. Реакционная демократия. Вопросы международного рабочего движения. *К. Радек*. Комментарии к третьему Конгрессу Коми. Интернац.— *Мих. Павлович*. Восточный вопрос на III Конгрессе. Откликь на зарубежную печать. *М. Покровский*. Противоречия г. Милюкова.— *Н. Мещеряков*. Легкомысленный путешественник. В порядке дискуссии. *Сарабьянов*. От примитивов к крайностям.— *Н. Бухарин*. Настоящая потеха и настоящее мучение. Критика и библиография. *Анчар*. „150.000.000".— *Нурмин*. О новой книге В. Короленко.— *П. Яровой*.— Быт в произведениях А. Неверова.— *П. Захаров-Мечский*.— Поэзия никитинцев.— *В. Невский*. Взаимодействие или монизм.— *Вад. Смушков*. Из эпохи „Звезды" и „Правды" (1911—1914 г.г.)— *В. Смушков*. На службе германской революции — *А. Воронский*. От народнического утопизма к контр-революционной кулацкой идеологии.— *Нурмин*.— К эволюции русского либерализма.— *Мещеряков*. Мечты, мечты.— *Дон Аминадо*. „Зеленая палочка". *П. С. Коган*. Александр Блок (некролог).

Книга третья.

С. Подьячев. „Болящий". Рассказ.— *Н. Никитин.* Мокей. Сказ.— *М. Шимкевич.* Волк. Рассказ.— *Артем Веселый.* Мы. Драматические картины.— *В. Плетнев.* Золото. Рассказ.— *Е. Федоров.* Байтас. Из киргизских восстаний.— *В. Тамарин.* Пустыня (из истории одного похода).— *Е. Волчанецкая.* „За други своя". Стихи.— *Эйдеман.* Старец (с латышского). Стихи.— *К. Лаврова.* Сухмень. Стихи.— *А. Пришелец.* В засуху. Стихи. *Анна Баркова.* Женщина. Стихи.— *Демьян Бедный.* Печаль. Стихи.— *Б. И. Горев (Гольдман).* Марксизм и рабочее движение в Петербурге четверть века назад. (Воспоминания.)— *Вяч. Полонский.* Крепостные и сибирские годы Мих. Бакунина (окончание).— *Б. Завадовский.* Проблема старости и омоложения в свете новейших работ Штейнаха, Воронова и других.— *И. Степанов.* Мимо и дальше от Маркса.— *Е. Преображенский.* Перспективы новой экономической политики.— *М. Смит.* К вопросу об издержках революции.— *Е. Пашуканис.* Буржуазный юрист о природе государства.— *П. Коган.* Русская литература в годы октябрьской революции.— *А. Воронский.* Из современных настроений.— *Н. Мещеряков.* „Новые вехи".— *Ил. Вардин.* Раскол партии кадетов. За рубежом. *Антропов.* Англия. Экономические последствия мировой войны. Внутри Советской России. *В. Кураев.* От войны к миру. В порядке дискуссии. *С. Гусев.* Еще о новой экономической политике.— *Вл. Сарабьянов.* Письмо в редакцию.— *Демьян Бедный.* Когда ж он проснется? Критика и библиография. *Анчар.* О романе Бибика.— *П. Яровой.* Варвара Бутягина. „Лютики". Стихи.— *Вл. Сарабьянов.* Л. Троцкий. Новый этап. *Вл. Сарабьянов.* Гортер. Империализм, мировая война и соц.-демократия.— *Б. Э.* Восстановление хозяйства и развитие производ. сил юго-востока.— *Гр. С-ор.* Л. Крицман. Единый хоз. план.— *В. Ваганян.* Г. В. Плеханов. I. Год на родине. II. Речь на моск. гос. совещании.— *А. Воронский.* Похмелье. Г. Кирдецов. У врат Петрограда.— *Ил. Вардин.* Эс-эры и колчаковщина.— *Б. Завадовский.* „Природа".— *А. В.* Печать и Революция.

От редакции.

Редакция обращается к читателям с просьбой присылать воспоминания, отрывки, дневники, очерки, освещающие февральский, октябрьский периоды русской революции, борьбу на красных фронтах.

Адрес редакции: Сретенский бульвар, 6. 6-й подъезд (вход с Юшкова переулка), кв. 67. Тел. 2-44-19.

Государственное Издательство. Редактор А. Воронский.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.

Главное Управление

НАХОДЯТСЯ В ПЕЧАТИ И НА-ДНЯХ ПОСТУПЯТ В ПРОДАЖУ

Сазонов и Верховский. Учебник химии.
Миккельсар. Учебник геометрии для школ I ступени.
Разборная азбука—латинский шрифт.
Разборная азбука—готич. шрифт.
Пинкевич. Методика начальн. курса естествознания
Бачинский. Краткий курс физики.
Эстонская разрезная азбука готич. и лат. шрифт.
Берен. Рассказы о борьбе человека с природой.
Порецкий. Зеленый мир.
Павлов. Морское дно.
Гербертсон. Человек и его труд.
Шапошников. Живые звуки.
Зельцер и Элькина. Книга для чтения.
Горобец. Азбука. (Из деревни).
Коновеевский. Что такое радий.
Кочетов. Продзадачник.
Капелькин и Цингер. Природоведение I, II и III ч.
Бем, Волков и Струве. Сокращен. сборник упражн. и задач. по элементарн. курсу алгебры, ч. I и II.
Крубер. Курс географии внеевроп. стран.
Крубер. Начальный курс географии.
Крубер. Общее землеведение.
Крубер. Курс географии Европы.
Горохов. Букварь для взрослых.
Воронец Справочник по математике для школ I и II ступ.
Иовлев. Математика в школах для взрослых.
Азбука для глухонемых.
Воронков. По пресным водам.
Завадовский. Внешкольные биологические экскурсии.
Войнилович. Учебник английского яз.
Стернопуло. Краткая терапия внутренних болезней.
Повторительные курсы для лекпомов.
Повторительные курсы для санитаров.
Повторительные курсы для красн. сестер.
Повторительные курсы для санитаров и санитарок.
Угримов и Генсель. Основы техники сильных токов.
Хесин и Оппель. Краткие сведения об огнестрельных переломах.
Муромцев. Курс радио телеграфии.
Синцов. Краткий курс аналитической геометрии.
Алексеев. Беседа о происхождении животных и человека.
Тимирязев. Что такое физика
Понятский Как произошел человек.
Каменская. Спутник лектора.
Рейхе и Эйнштейн. Теория квантов.
Воскресенский. Курс урологии.
Ньюкомб и Энгельман. Астрономия в общепонятном изложении.
Горячкин. Теория построения с.-хоз. машин и орудий.
Сакулин. Мотивы социализма в русск. литературе.
Тимирязев. Исторический метод в биологии.
Справочник по паровозам.
Бодмер. Краткое наставление к приемке жел.-дор. материалов.
Рабинович. Постановка фармацевтического дела в уезде.
Модестов. Звездный каталог.
Боули. Элементы статистики.
Станчинский Наглядная зоология.
Львов. Каменный уголь.
Рыбников. Изучение родного языка.
Фаянс. Радиоактивность и современное учение о химических элементах.
Миз Бактерии и их значение в практической жизни.
Глезденев. Букварь на марийском языке.
Гильом. Введение в механику.
Подгорецкий. Пособие по сбору и культуре лекарственных растений.
Селла. Справочник по борьбе с малярией ч. I и II.
Тиндаль. Звук.
Плетнев. Основы клинической диагностики.
Лахтин. Кривые распределения и построение для них интерполяционных формул.
Кавун. Начальные сведения о приближенных вычислениях.
Тимирязев. Чарльз Дарвин.

Аркин. Дошкольный возраст, его особенности и гигиена.
Придорогин. Экстерьер сельско-хозяйственных животных.
Орлов. Практика низшей геодезии.
Кирхгоф. Механика.
Смородинцев. Ферменты растений и животных царств.
Берг. Рыбы пресных вод России.
Михайловский. Курс гистологии.
Петров. Товароведение. ч. II.
Мюллер. Курс практической электротехники.
Григорович. Курс лекций по электрометаллургии и железа.
Попруженко. Начало анализа.
Гебель. Основной курс теоретической механики.
Георгиевич. Химия красящих веществ.
Александров. Основной курс электротехники I и II ч.
Ляхницкий. Обыкновенные дороги.
Иванов. Начальная геометрия.
Егоров. Элементы теории чисел.
Лукменский. Практическое огородничество.
Кангль. Курс ухода за больными.
Кангль. Первая помощь в несчастных случаях и при внезапных заболеваниях.
Завьялов. Краткое руководство по физиологии человека.
Побединский. Краткий учебник акушерства.
Эккерт. Краткое руководство внутренних болезней.
Бернштейн. Клинические приемы психологического исследования душевнобольных.
Оппель. Диагностика повреждений.
Фрёнер. Руководство фармакологии для ветеринарных врачей.
Никитинский. Практикум общей микробиологии.
Ог. Геология ч. I.
Булатов и Фрейберг. Краткий учебник по гигиене.
Попровский С. Среди природы.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва • 1921.